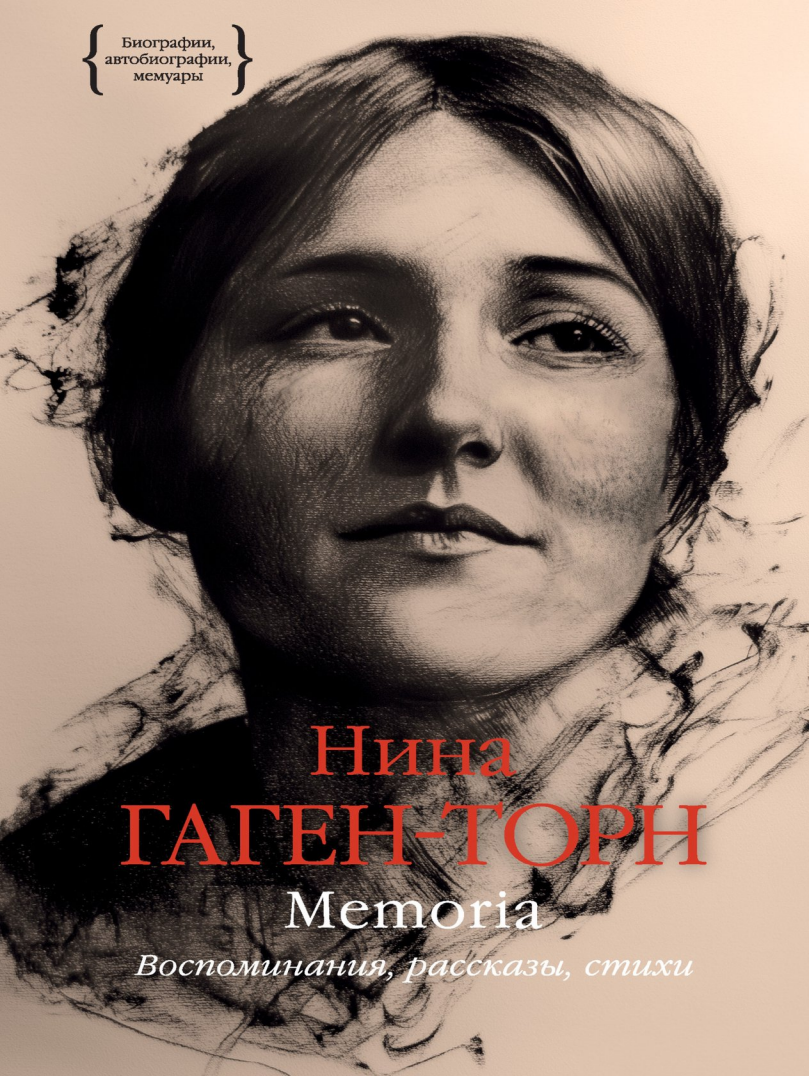
Биографии, автобиографии, мемуары



Нина ГАГЕН-ТОРН

Memoria

Воспоминания, рассказы, стихи

Memoria. Воспоминания, рассказы, стихи

Нина Ивановна Гаген-Торн

Аннотация
Нина Гаген-Торн. Memoria. Воспоминания, рассказы, стихи
Широко открытыми глазами
Об авторе этой книги
О днях далеких
Часть I. Юная кайса
  Гимназия
  ОСУЗ
  Университет
  Вольфила
  Еще об университете
  Как я стала этнографом
  «Снарк»
Часть II. Пути судьбы
  Шпалерная
  Чуриковки
  Великий Сибирский путь. (Из записок 1977 года)
  Из «Колымского дневника»
  Возвращение

Часть III. Второй тур
Арест
Этап. Пересылка
В лагерях
Девчата
О себе
Инвалидный барак
КВЧ
В больнице
О рукописях
10-е лаготделение
Бригада водокатов
О верах
О переживаниях
Рукописание
Этапы и встречи
Об одежде заключенных
Еще о рукописях
О путеводной нити
Праздники и будни
Окончание срока заключения
Часть IV. С котомкой за плечами
До отъезда
Один червонец и красный фрак
Отъезд
В Колу!

В сопках
«Мы наш, мы новый мир построим…»
В Мурманске
Териберка
Становище Гаврилово
Олеша и Борис Иваныч
У лопарей
Опять Егор
Странички из дневника
Дорога в Пермь
В Перми
На пароходе
Путевые записи
Часть V. На Енисее
Из тюрьмы на поселение
В Заливе
Дом
Ссыльные
После смерти Сталина
Жизнь продолжается
Дома
Послесловие
Приложение. Из поэтического цикла Н. И. Гаген-Торн «Дом». (1964–1977)
Фотографии

Аннотация

Нина Ивановна Гаген-Торн занимает видное место среди авторов женской «лагерной» прозы (наряду с Е. Керсновской, Е. Гинзбург, Т. Петкевич), в дневниках и воспоминаниях которых отразились судьбы людей, ставших жертвами сталинских репрессий. Известный ученый, стоявший у истоков советской этнографии, Н. И. Гаген-Торн была также талантливым поэтом, писателем и мемуаристом. Ее юность и студенческие годы прошли под знаком Серебряного века и первых лет советской республики; ей довелось услышать, как читал свои стихи Александр Блок, она участвовала в семинарах Андрея Белого и бывала на заседаниях знаменитой Вольфилы (Вольной философской ассоциации, ставшей средоточием духовной жизни Петрограда 1920-х годов). На взлете научной работы, в 1936 году, была арестована и осуждена на пять лет колымских лагерей. На воле остались две маленькие дочери. После освобождения успела защитить диссертацию – и новый срок, еще пять лет лагерей, а затем ссылка…

Но какими бы тяжкими ни были испытания, Н. И. Гаген-Торн удалось сохранить и твердость воли, и ясность ума, и жадный интерес к миру, и желание рассказать о пережитом, «чтобы остался хоть тоненький следок, как отпечаток куликовой лапки на песке у реки, в огромных песках Вечности».

Помимо воспоминаний, публикация которых стала возможной лишь в 1994 году, после смерти автора, издание включает стихи, написанные в разные годы жизни, и отрывки из дневников и писем, подготовленные Галиной Гаген-Торн, а также вступительную статью Мариэтты Чудаковой.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Нина Гаген-Торн
Memoria. Воспоминания, рассказы, стихи

Юрию Михайловичу Шейнманн упосвящается

© Н. И. Гаген-Торн (наследник), 2024
© Г. Ю. Гаген-Торн (наследник), статья, послесловие, 2024
© М. О. Чудакова (наследник), статья, 2024
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство КоЛибри®

Широко открытыми глазами

Сегодня уже и не передать того общественного накала, который разогревал изнутри участников сугубо научной, казалось бы, конференции, проходившей близ Тарту в мае 1967 года, задуманной двумя профессорами Тартуского университета — они определяли тогда мейнстрим отечественной филологии, которая стремилась противостоять ее официозной имитации: это были Юрий Михайлович Лотман и его жена Зара Григорьевна Минц. Едва ли не каждый из докладчиков и слушателей если не понимал, то чувствовал — происходит нечто экстраординарное: не просто научное, но одновременно общественное событие. По условиям советского (раннебрежневского, подмораживавшего один за другим следы хрущевской «оттепели») времени, это впечатление совершенно не обсуждалось в аудитории, но, помнится, и за ее пределами тоже — потому что всем и так все было ясно.

И дело было не только, скажем, в докладе «Блок и Юрий Олеша» Аркадия Белинкова, автора двух изданий (1960, 1965) книги «Тынянов», давно

стоявшей в домашней библиотеке не только гуманитария, но любого либерально настроенного физика или математика, и читавшейся как по ошибке легально изданная листовка. Так же воспринимался и его доклад. Научного в нем оказалось не так уж много, но политическим подтекстом была оснащена каждая фраза.

Особое измерение второму Блоковскому симпозиуму, пожалуй, в гораздо большей степени придавало присутствие трех людей, попавших на наше сборище, как в фантастическом рассказе, из другого времени — прямым ходом из Серебряного века.

Это были издатель Блока Самуил Миронович Алянский (1891 года рождения) — с ним я тогда познакомилась и, смею сказать, подружилась, — тонкий филолог Моисей Семенович Альтман (моложе Алянского на пять лет), ученик Вячеслава Иванова… И еще моложе — 1901 года рождения, — но тоже вживе видевшая и слышавшая Блока Нина Ивановна Гаген-Торн — невысокая, с прямыми, ровно подстриженными, помнится, волосами, с неуловимо мальчишеской повадкой. За ее несогнутой спиной стояли два

лагерных срока[1]. То есть с ней в зал научных заседаний вошла та страшная часть истории страны, которая успела в конце 50-х — начале 60-х просочиться в печать, но со второй половины 60-х вновь старательно оттеснялась из публичной сферы в тень.

Мы слушали сообщение Нины Ивановны о Блоке, о постоянном присутствии поэта в жизни ее поколения. «…Дыхание его лирики для нас, молодежи, было тогда так же повседневно, как созерцание Медного всадника и Исаакия, Ростральных колонн и стрелки Васильевского острова. Мы жили с постоянным, почти незамечаемым, присутствием Блока»[2].

Ранняя юность ее пала на годы революции. И она напишет в своих воспоминаниях о том, как по-разному «воспринимали революцию мы, подростки разных слоев интеллигенции». Но

---

[1] Примечания: 1

О слое, к которому принадлежали трое этих людей, — слое, возникшем в жизни нашего общества в начале 60-х годов, и об особой роли его в нашей тогдашней жизни см. в нашей работе «Поколение 1890-х годов в Советской России» (*Чудакова М.* Новые работы: 2003–2006. М., 2007. С. 481–500).

[2] Примечания: 2

Гаген-Торн Н. И. Воспоминания об Александре Блоке // Блоковский сборник. II. Труды Второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972. С. 445.

— однородность была в единстве дыхания — мы вышли из мира XIX века, где созревали наши родители, в век XX. И ясно было: этот век несет «невиданные перемены, неслыханные мятежи». То есть блоковские строки обещали им революцию неминуемо. И они верили в свои юные годы в то, что она несет обновление. А кто же в юности не жаждет нового?

Но жизнь юной Нины Гаген-Торн немыслима для нее самой без духовной составляющей (которая и останется доминантной — в любых условиях). А Петроград первых революционных лет дает немалые возможности для интенсивной духовной работы. Важнейшая черта советской жизни — ее двойственность — складывается уже в эти годы: в подвалах ЧК вовсю идет расправа над только заподозренными в чем-либо, — но те, кто туда еще не попал и о происходящем там не осведомлен, испытывают всю полноту существования, в том числе интеллектуального общения. Интеллектуалов в родном городе Нины Ивановны пока что сколько угодно. С осени 1922 года безостановочно пойдет их убыль, и город постепенно поменяет лицо.

Нина Гаген-Торн впервые попала на заседание знаменитой Вольфилы весной 1920 года — на

доклад Андрея Белого «Кризис культуры». Речь идет, по всей видимости, о заседании 21 марта 1920 года «Беседа о пролетарской культуре». Как можно видеть по опубликованным документам, Белый рефлектировал перед завороженной им, как обычно, аудиторией: если пролетариат действительно ведет нас в «царство свободы» (совершая, по Энгельсу, «прыжок» в нее из царства необходимости), то, стало быть, «в пролетариате есть зиждительная сила, какие-то особые, благоприятные условия совершить мучительный переход к раскрытию человеческой свободы…»[3]. Вот он, удивительный для советских людей последующих десятилетий, предмет горячих обсуждений весны 1920 года — пути достижения полноты человеческой свободы…

К началу XX века в России — «стране стран» — была очень хорошая научная традиция, она дала немало отличных этнографов, краеведов, демографов, географов, статистиков. Ученый по самому складу личности, Нина Ивановна Гаген-Торн стала известным этнографом, исследователем народов Поволжья. Но советская

[3] Примечания: 3

Белоус В. Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919–1924. Книга 1: Предыстория. Заседания. М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2005. С. 201.

власть дважды надолго вырывала ее из научной жизни. Репрессии затронули около 500 этнографов и ученых смежных специальностей[4]; многие из них погибли; другие выжили, оставив в тайге и вечной мерзлоте куски жизни и несостоявшихся исследований. Но именно благодаря их трудам, оставленным ими описаниям мы можем представить себе, какою была Россия XIX — начала XX века — с несметным количеством народностей и разнообразнейшими укладами жизни расселившихся по ее огромной территории русских людей.

Острый глаз ученого-этнографа соединился с рукой яркого литератора. И мы читаем в главе «С котомкой за плечами» увлекательную повесть об исчезнувшем, но запечатленном в слове мире поморов… Мы не только видим, но слышим этих встреченных юной Ниной людей.

«Олеша засмеялся.

— Нешто за рыбу деньги платят?

— То есть как же без денег?

— Да как йолы пристанут — подойдите, — вам каждый трешшину даст! Нешто могут человеку

[4] Примечания: 4

Решетов А. М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Этнографические тетради. Вып. 4. СПб., 1994. С. 186–187.

не дать? Тогда рыба ловиться не станет. Так ведется: пристанет рыбак, и кто стренется — дает рыбину. А то лову не будет. Это кажный знает.

⟨…⟩

Стройная просмоленная йола с высоко поднятым носом, сложив парус, скользнула к берегу. Парень выпрыгнул на камни, подтянул канат и закрепил якорь.

Старик с вспененной, кудрявящейся бородой подвязывал паруса и смотрел на меня светлыми глазами.

— Здравствуйте! — сказала я. — Не знаю, как полагается говорить, когда люди с лова вернулись.

— Как ни скажи, все ладно, дочка, коли от сердца скажешь… все ладно, — дружелюбно ответил старик. — Возьми-ка рыбину на уху. Вот с печенкой, мы еще не пластовали. А печень трескова больно сладка в ухе. Едала ты трескову печенку, свежую, чужаниночка? Ну, бери, на добро здоровье! — Старик взял за хвост тяжелое серебряное тело трески и бросил на берег».

Путешествуя с котомкой, Нина в окружающей жизни видела то, чего еще не осознавала. Появляются на ее страницах и дети «лишенцев», лишенные новой властью святого, можно сказать, права человека на получение образования.

«– Батька наш – „служитель культа“, выражаясь официально, – деревенский поп… Такой самый, как были отцы Сеченова, Ивана Петровича Павлова и многих других ученых. Как отцы Добролюбова и Чернышевского, наконец. В царское время мы, деревенские поповичи, с трудом пробирались в университет, голодали, мерзли, черносотенные баричи подавали нам два пальца, но мы пробивали себе дорогу. Шли в науку или в революцию. А сейчас на нас – клеймо. Прячь его или изворачивайся, откажись от того, к чему тебя тянет. Я вот в Медицинскую академию хотел поступить, хирургом стать – не приняли. ⟨…⟩ Новый мир строя, вы о таких думаете? Которые хотят учиться, быть полезными народу, а им отвечают: „У тебя батька – поп“. ⟨…⟩ Тишайший человек! Бился, нуждой задавлен, потому что за требы с крестьян ничего не брал. Из последних грошей рассовал нас, пять штук, по гимназиям, а мы от него откажемся? ⟨…⟩ Вы, Нина, человек хороший, а в жизни многого не видите. Вот и захотелось вам показать, как иногда жить приходится.

Я смотрела на них широко открытыми глазами.

– Я понимаю, Коля, я понимаю, мальчики.

– Понять нетрудно: чужой в родной стране. И не верят тебе. А чем мы виноваты?

Я перевела глаза с одного на другого. Они сидели, костистые, крепкие. Развернуться бы им, хохотать да петь во весь голос, да учиться упорно, настойчиво. Такие доходят до профессуры».

Так в поездке с сугубо научными целями начинается прозрение: «широко открытыми глазами» различает Нина очертания угрожающей селекции российского населения, катастрофический масштаб которой потрясет ее впоследствии в советских тюрьмах и лагерях.

Каждая страница в этом томе написана рукой дотошного этнографа, не пропускающего ни одной детали, но не теряющего поэтической одухотворенности и философского взгляда, окидывающего всю картину. Это — взгляд ученого, поэта и прозаика, неизменно трезво видящего происходящее. Хотя происходит-то все именно с

ним самим, и весьма болезненно.

* * *

…Арестованных довезли через всю страну до Тихого океана, а потом — морем… Когда открыли трюм в «своих» водах — выносили потерявших сознание от духоты; клали на палубу, обливали водой. Трюм задраили потому, что японцы не разрешали провоз заключенных, а обходить было далеко. Японцам сообщили, что везут скот. Они не стали смотреть какой.

Разнообразие лагерных судеб — едва ли не большее, чем у людей на воле. Да, собственно, не в этом ли была одна из невысказанных, неписаных целей: нивелировка общества?.. Грузинка, с детства живет во Франции, французский язык — второй родной. Отец — инженер, но другая его специальность — история Грузии; любовь к родине он сумел внушить детям. В Париже она выходит замуж за грузина, который тоже мечтает увидеть Грузию. Прочитав воззвание советского правительства к эмигрантам: «Родина прощает вас — возвращайтесь!», вся семья спешно начинает собираться… Одна мать умоляет не ехать. Над ней смеются. «…В последний день мать покончила с собой, оставив записку, что

у нее нет сил увидеть и пережить страдания, которые, она уверена, ждут их». (Что это? Ведь надлежащей информации о жизни в СССР нет. Интуиция? Сверхчувственное знание?..) У них уже отправлены вещи, получены паспорта. Похоронив мать, они едут: отец, дочь, ее муж, двое их детей. «Родные в Тбилиси встретили их как-то странно: с радостью, но и с каким-то ужасом». Через несколько месяцев арестованы все. О судьбе детей она ничего не знает.

Горькая мысль о детях, оставшихся без матерей, — в тысячах лагерей, раскиданных по стране. «…Она у всех спящих в бараке. Как испарение тел поднимается ночью горечь. Над городами, если смотреть с самолета, — черная шапка воздуха, пропитавшегося дымом. Над женскими лагерями в ночное время такая же шапка горечи, поднимающейся во сне: где дети?»

Многих занимает вопрос — а было ли сопротивление внутри лагеря? Или все шли на убой безвольно, как овцы?

Читаем и видим — да, было. Были «неотказавшиеся ленинцы», как они себя называли. Нина Ивановна встретила их на Колыме. Они «были уверены, что тактика партии, ведомой Сталиным, дискредитирует идею коммунизма»,

что «спасти эту идею может только жертвенная кровь коммунистов, вступивших в борьбу со сталинской линией», и они шли на это. Когда их гнали по Владивостоку, они пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой Любви беззаветной к народу». «Конвойные били их прикладами, но пение не прекращалось. Загнали в трюм, но и оттуда слышалось пение. На Колыме они объявили голодовку, требуя политического режима…» Они знали, что будет расстрел, и на это шли. «Это были мужественные люди. Вероятно, все они погибли, но веру свою в необходимость борьбы за по-своему понятый коммунизм сохранили». Какое редкое сегодня в России уменье выразить свою оценку описываемого, сохранив нужную дистанцию!..

Кроме веры политической, сопротивлением двигала иная, еще более твердая. «Субботницам» их вера не разрешала работать на власть… «Вся традиция поведения уходила за сотни лет, в старообрядчество». Их соединили в один барак, запретив общаться с остальными. «В положенные часы оттуда раздавалось церковное пение, в остальное время — молчание. Степень непоколебимости проявилась, когда одну, очень больную, вызвали и сказали: „Тебя актировали. Получи

документы и катись домой в деревню“. Она спокойно посмотрела и сказала: „А я вас не признаю. Власть ваша неправедная, на паспорте вашем печать Антихристова. Мне он не надобен. Выйду на волю, вы опять в тюрьму посадите. Не для чего и выходить“. Повернулась и пошла в барак. Она, со своей точки зрения, была вольная, в плену только тело».

За пределами этой книги осталось немало написанного ее автором. Среди прочего — и дневниковые записи, еще времени ссылки: «Читала книгу Олеся Гончара, получившего две Сталинские премии: роман и дальше в том же тоне — повесть „Микита Братусь“ и рассказы. Первое чувство — негодование: ну можно ли так бессовестно лгать! Ложь, все ложь, самая неприкрытая и беззастенчивая. Он не может не знать, что лжет. Может, думает — так нужно? Это странная психология: новое поколение выросло, воспитанное на том, что велят видеть, нужно видеть именно то, что велят, и уметь закрывать глаза на остальное. Он не может не знать о тысячах заключенных, о миллионах страданий и делает вид, что все счастливо. И невольно встает вопрос: может, и не делает вид? В самом деле не знает? Ведь не может же человек так лгать?.. ⟨…⟩…Библиотекарша,

которая мне дала книгу, сказала: „Очень, очень интересная!“ Видно, ей-то и вправду кажется, что все это „отображает действительность“ — ведь такова задача реалистического искусства».

Советская жизнь давно и прочно раздвоилась. Живут, не видя и очевидного. В рассказе — один из гулаговских городов: «Кварталы, огороженные колючей проволокой с вышками и дежурными в военной форме, сменялись кварталами высоких домов. Люди, которые шли тротуарами, не обращали внимания на вышки, на одетых в телогрейки...»

Нина Ивановна стремится понять, уловить самые разные черты, отличившие «новое» от «старого». Старики признают — «тогда боле работали-те». Ее профессиональные знания дают ей возможность понимать цену продуктам «свободного времени. Давно сказано: лень — мать культуры, то есть культура создается из стремления к свободному времени и умения его использовать». Но каково это умение у ее современников-соотечественников? «Увеличение свободного времени в деревне признают все. Сейчас не умеют его использовать по-человечески: просто сидят, болтают, перебирая им доступные события и новости, смотрят в окна. Каждый про-

ходящий человек вызывает обсуждение: куда и зачем? Раньше такое было у мещан, крестьянам некогда было, да и не было таких отвлекающих внимание и развлекающих явлений в повседневности. Сейчас как бы вся страна превратилась в мещан: она приняла внешние навыки города и бессодержательность полугородской жизни». Из далекого времени талантливый ученый невольно побуждает нас вглядеться и в сегодняшнюю российскую жизнь.

И в мемуарах, и в рассказах, и в дневниковых записях — везде зоркий взгляд этнографа, видящего вещественность быта, и непрекращающаяся рефлексия над опорами бытия. Вот у кого в любых обстоятельствах сохранялась уверенность: «Мыслю — значит существую».

Сколько людей, встретив в лагерях Нину Ивановну с ее твердой этикой, здравым смыслом, не поддавшимся советской обработке, и научной ясностью и доходчивостью суждений, получили на всю жизнь иммунитет против повседневного одурманивания «на воле»? Этого нам уже не узнать. Но мы можем с высокой степенью уверенности предполагать — немало. И вклад ее в российскую культуру и жизнь общества — неоценим.

Мариэтта Чудакова

Об авторе этой книги

Выписка из метрической книги «церкви Смоленския Божия Матери, что при Императорской военно-медицинской академии», гласит: «Декабря 2-го рождена, а 1901 года февраля 3-го крещена Нина. Звание, имя и фамилия родителей: ассистент Академической хирургической клиники надворный советник Иоанн Эдуардович Гаген-Торн и законная жена его Вера Александровна, он лютеранского, а она православного вероисповедания, оба первым браком».

Нина Ивановна Гаген-Торн — плоть от плоти питерской служилой интеллигенции, четвертое поколение ее. Нина выросла на берегу Финского залива. Семья, еще со времен ее деда, кронштадтского военного врача, обрусевшего шведа, Эдуарда Давыдовича Гаген-Торна, выезжала на лето в лоцманское селение Лебяжье, в 20 верстах за Ораниенбаумом. Там, в Лебяжьем, а позже в 6 верстах от него, в Б. Ижоре, прошло детство и юность Нины. Она лазала на сосны, ездила верхом, ходила в море на байдарке — к ужасу теток, старших сестер отца, пытавшихся опекать семью

младшего брата. И закалка вольной мальчишеской жизни очень пригодилась в ее дальнейшей трудной судьбе. Но о дальнейшем она лучше расскажет сама.

Книга кончается возвращением из ссылки в Ленинград. Дальше связных записей нет. Есть отрывочные дневниковые записи, не предназначавшиеся для публикации, с надписями: «После моей смерти никому не читать, дневники уничтожить»; «Читать только Оле» (внучке); «Все мои дневники отдайте в мой архив, в Пушкинский Дом».

Галина Гаген-Торн

О днях далеких

Каждому человеку под старость свойственно подводить итоги жизни и хочется рассказать о прожитом. Чтобы не кануло даром в Неведомое, остался хоть тоненький следок, как след куликовой лапки на песке у реки, в огромных песках Вечности.

Впрочем, желание ухватить и сохранить миг свойственно не только старости — оно залог всей культуры, начало вступления человеческой души в культуру, которая ведь и есть передача накопленного.

Я помню, как оно во мне пробудилось: девочкой я стояла над озером на крутом холме. Озеро блестело внизу светлой латунью. За ним желтели стволы сосен, синели их уходящие вдаль вершины. Волнами переливались. А над ними, у горизонта, — сиял залив и был виден поднятый в небо палец Толбухина маяка. И такая, поразившая сердце, красота жила кругом, что я не знала: куда деться, чтобы охватить и запечатлеть ее навсегда?

Немыслимым казалось, чтобы ушли и стер-

лись эти тонкие травы с лучистыми глазками ромашек, лепет осиновых листьев над головой, я, стоящая над озером, сосны внизу. Мы все должны сохраниться в какой-то памяти.

«Я нас сохраню! Сохраню навсегда и для всех!» — сказала я им всем. И была уверена, что каким-то, еще неведомым мне, актом сумею создать неувядающую жизнь.

Это было зачатьем творчества. Мне не удалось сохранить для всех ни этих сосен, ни трав, ни этой минуты. У меня, оказалось, не хватило творческих сил, чтобы навсегда и для всех сделать своим пережитое мною.

Что же делать! Если невозможно передать трепет ощущений, личное, надо постараться сохранить хоть то ОБЩЕЕ, свидетелем чему я была и что не выпускается живым и многогранным в печатные памятники нашей эпохи.

Поэтому я не буду рассказывать ⟨…⟩ о том, как в юности шумели сосны над моей головой и шумели нараставшим прибоем мысли. О том, как свежее дыхание родного Финского залива пробуждало жадность охватить землю, избегать ее ногами, проплавать ее моря и реки, насмотреться на обитающие вокруг существа.

Не буду говорить о том, что силы казались

необъятными, впереди — вечность, и достижима мечта перевернуть мир и сделать его окончательно прекрасным. Это свойственно было многим из нашего поколения.

Я буду говорить ⟨…⟩ о том, что я видела «по ту сторону жизни» — в лагерях. И о тех мыслях, которые приходят сейчас, по эту сторону, после того, как я побывала там и вернулась. Я постараюсь нарисовать правдивые портреты людей, о которых вряд ли смогут узнать иначе правду.

Эти мысли не укладываются ни в какую схему, а жизнь нашей эпохи построена по схемам, это ее основной (и неизбежный) закон.

Схемы стесняют свободу, но побуждают к движению. Мне кажется, для мысли они то же, что шлюзы для реки.

Вероятно, полезно заключить реку в шлюзы: ею можно тогда управлять, можно заставить двигать барки. Но мне милее вольная река, вольно несущая яхты, и трепет их белых парусов. И мне необходимо, как вода для жизни, вольное течение мысли, ее сверкание, когда солнце меняет цвета и создает блестящие радуги. Все это осталось на долю прошлого и, может быть, будущего…

Часть I. Юная кайса

Нина тогда напоминала то ли персонаж из скандинавских саг и преданий – юную кайсу, то ли этакую григовскую Сольвейг. Пшенно-белые волосы, голубые глаза, решительный тон… Председатель была избрана очень удачно.

Лев Успенский. Записки старого петербуржца

Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

А. Блок

Гимназия

Гимназия. сначала либеральнейшая, с оттенком демократизма гимназия Стоюниной. Ходили все девочки в голубых сатиновых халатах и легких тапочках, которые оставались в гимназии. Преподавали великолепные учителя: Н. О. Лосский, муж дочери Марии Николаевны Стоюниной, читал в VIII классе логику, а Ив. Ив. Лакрин — психологию. Стоюнинки гордились своей гимназией и своей свободой обращения. Детей не стесняли. Мне позволяли под халатом носить привычные мне штаны и матроски. Мы с Татой Глебовой и Мухой Гвоздевой, трое из нашего класса, ходили одетые мальчиками. Четыре года я училась у Стоюниной, но потом мы переехали на Бассейную улицу, в «кадетскую крепость», как называли эти кооперативные дома Товарищества. Там жила обеспеченная профессорская интеллигенция, жил и Радичев, бывал Набоков — левокадетские лидеры. Отец дружил с ними. Он к этому времени стал профессором военно-медицинской академии. Демократизм несколько выветрился из нашего дома и принял другие формы. Мама продолжала считать, что

«люди», то есть кухарка и две горничные, должны питаться так же, как и «господа». Однако «господа» ели вдоволь — «людям» же к обеду полагалось по половине рябчика и по одному куску сладкого пирога на десерт. И хотя мама и говорила, что надо бы каждой дать хотя бы по маленькой комнатке, людская была одна на троих.

Меня перевели в другую гимназию. Это мотивировалось тем, что я ни за что не соглашалась, чтобы за мной приходила в гимназию прислуга, а мама не соглашалась пускать меня одну через Невский.

В гимназии княгини Оболенской сняли с меня мальчишеские штаны, надели коричневое платье с черным передником и запретили носить носки. Это было первое и неодолимое насилие надо мной. Дисциплина и «хорошее поведение» сказывались и в том, что в «большом зале» на переменах старшим классам не позволялось бегать, а для игр отводился лишь примыкавший к нему «малый зал». А в нижний этаж, где проводили свои перемены маленькие, нас не пускали. У меня бывали приступы тоски и потребность какой-то разрядки.

Отрадой и утешением были уроки истории. Древнюю историю преподавала Наталия Да-

видовна Флитнер, египтолог, работавшая в Эрмитаже (потом, взрослой, я встречалась с нею). Средневековье преподавал Алексей Георгиевич Ярошевский. Он прочел нам отрывок из «Песни о Роланде», рассказал о рыцарских турнирах. Советовал прочесть «Айвенго» и вообще прочитать Вальтера Скотта. И вот нахлынула вдруг на меня потребность разрядки! И я стремительно решилась — устроить в гимназии рыцарский турнир!

В «малом зале» из стульев сделали возвышенный трон. Были выбраны король и королева. Облачившись в какие-то мантии, распустив локоны, они уселись на троне. Были выбраны рыцари и кони — две здоровенные толстые глупые девы, охотно шедшие на всякие шалости. «Рыцарь» Нина Мелких написала стихи:

Герольд обходит государства
С большой серебряной трубой —
Герольд, что с серыми глазами
И золотыми волосами,
Обходит герцогства и царства
И кличет рыцарей на бой.

Герольдом была я. Серебряная труба — свернутая трубкой тетрадь. А герцогства и царства

— соседние классы. Зрители турнира охотно набежали оттуда. Герольд и поэт — две Нины — превратились в рыцарей и сели на «коней». Портфели были щитами, а длинные линейки — мечами. Кони ржали и гарцевали. Мы выехали на середину круга перед троном и только собрались скрестить мечи, как появилась дежурная классная дама и, стащив нас с «коней», повела всех в директорскую. Но в директорской был инспектор и наш историк — Алексей Георгиевич. Классная дама, пылая гневом, рассказала им всю сцену.

— Ведь не мальчишки — девочки, из приличных семей, и устроили публичную драку! Чем это могло кончиться?

Алексей Георгиевич поправил очки и торопливо разгладил бородку.

— Что же это, девочки? — сказал он укоризненно. — Ну разве мыслимо драться публично?

— Это вовсе не драка, Алексей Георгиевич, — сказали мы обе, — это был настоящий рыцарский турнир.

— Мы хотели устроить военные состязания, — пояснила я.

— Необходимо поставить в известность родителей, — сказала классная дама.

— Да, да, мы разберемся на педагогическом

совете, — заверил ее Алексей Георгиевич. — Ступайте, девочки, и, пожалуйста, чтобы этого больше не было.

На педагогическом совете, кажется, очень смеялись, как сообщили нам нянечки. Дома я рассказала за обедом сама.

— Далекое отражение военного времени в детской психике, — заметил отец, торопясь на прием.

Шел 1914 год, война была летом объявлена, но еще не очень чувствовалась в быту тыла. Может быть, и правда, это она давала такие «отражения»? Но мне хочется сказать не о том, как отразилась на нас война, передать не быт эпохи, а те картины, которые, казалось, были записаны во сне. Они — черточки того, что стало потом фундаментом моей молодости, ее трудностью и ее силой. Пожалуй, это было чувство свободной уверенности в себе, в праве быть самим собой и идти своим путем, обязательно раскрывающим впереди горизонты.

Литературу преподавала Ольга Владимировна Орбели, жена Рубена Орбели, брата Леона и Иосифа Абгаровичей, человек, несомненно, культурной среды, но культуры XIX века. Она не понимала и не любила культуру начала XX века.

Помню, она дала нам сочинение на «вольную тему». А я тогда только что с упоением прочитала Рабиндраната Тагора и стала писать о нем. Незаметно, ловя что-то звеневшее в воздухе, я написала ритмической, в аллитерациях вьющейся прозой, и Ольга Владимировна подумала: Андрей Белый! Декадентство… Она прочла в классе вслух мое сочинение, иронически подчеркивая все аллитерации. Класс хохотал. Я не была уязвлена или обижена, нет, я взбунтовалась. Распахнув двери, я закричала:

— Бэби, кататься!

И толстая Бэби, мой конь из турнира, с топотом прискакала ко мне. Размахивая мечом-линейкой, я вскочила к ней на спину, и мы помчались по залу. Конечно, вскоре нас поймали и отправили в директорскую.

— Что это — опять Гаген-Торн? — с упреком сказала кроткая Елизавета Николаевна Герцфельд, директриса. — Что это, Бэби?

— Елизавета Николаевна, Бэби тут совсем ни при чем, она просто не поняла, что делает. Виновна — я. Но я просто не могла удержаться. Надо было вылить обиду!

— Какую обиду?

— Ольга Владимировна прочла вслух классу и

осмеяла мое сочинение. А я правда писала как умела, стараясь передать свое впечатление от Рабиндраната Тагора… Очень сильное впечатление. Я и не слыхала об Андрее Белом. Я написала, как я Тагора почувствовала, а Ольга Владимировна все сделала таким смешным! — И, о позор, у меня брызнули слезы! Я торопливо утерла их измазанным мелом кулаком.

— Но вы же большая девочка, Гаген-Торн, расскажите связно!

Я взяла себя в руки и сказала:

— Понимаю, это глупо — скакать по залу, но это от неожиданности и отчаяния просто!

— Ну, ступайте, успокойтесь, можно же было найти другие формы для выражения вашего волнения, — вздохнула Елизавета Николаевна.

Очень сложно передать сейчас чувства подростка: я действительно была оскорблена и взволнована, и, если бы я была ранима, это могло бы стать глубокой раной. Но тут был скорее бунт горячего жеребенка, который, если неосторожно его хлестнуть, несется очертя голову до пропасти не от страха и боли, а от бунта. Не успокой его — он и в пропасть прыгнет, не заметив. Что надо делать? Вероятно, спокойной и твердой рукой держать вожжи. Не останавливать и не

нахлестывать жеребенка, а сильной рукой дать почувствовать — сдержись.

Но в то время интеллигентные воспитатели больше всего думали о ранимости души ребенка и боялись его обидеть. Поэтому был созван специальный педагогический совет. Я, конечно, узнала об этом, как всегда, от нянечек, с которыми из принципа демократии дружила и часто забиралась к ним в комнату.

— Ольга Владимировна на совете волновались, даже заплакали, — сообщила нянечка Настя, — все про вас говорили, барышня, поминали влияние какое-то вредное. А им все про душу ребенка отвечали Алексей Георгиевич и Данила Александрович, который химии обучает.

— Ну и что? — спросила Нина Мелких.

— Да Ольга Владимировна сказали: признаю, что не права.

Мы засмеялись.

— Пойдем, ребенок, ловкий ребенок! — сказала Нина.

И мы убежали, торжествуя победу. На следующем уроке Ольга Владимировна после звонка задержала класс на минутку.

— Гаген-Торн, — сказала она, — я должна сказать, что была не права, иронизируя над вашим

сочинением. Я вовсе не хотела вас обидеть.

— Ну а я повела себя вовсе глупо, — призналась я с ноткой великодушия.

Надо ли было это делать ей? Надо ли было так решать на педагогическом совете? Вероятно, да! Для нервной и чуткой девочки это могло действительно стать серьезной травмой. И они — гуманные и вдумчивые учителя — были правы, опасаясь за душу ребенка. Но для меня, вероятно, нужно было другое — серьезный и вдумчивый разговор, а не это публичное извинение. Оно только добавило мне и без того достаточно сильное чувство «победительности», уверенности в том, что я могу и сумею сделать то, что захочу.

Я не была ни избалованной, ни злой, но во мне жила абсолютная уверенность в своей свободе. В седьмом классе все дрожали на уроках химии. Данила Александрович не был очень строг, он был презрителен и беспощаден к барышням. Шла зима 1916/17 года, и уже пахло в воздухе чем-то непонятным и тревожным. Какие-то слухи ползли по городу. И поэтому особенно оскорбительно-презрительной была его манера вызывать к доске. Он громко называл фамилию. Фигурка в коричневом платье и черном переднике вздрагивала и выходила к доске.

— Лепечите, милая барышня, — говорил он, откидываясь на стуле.

И смущенная барышня начинала действительно лепетать.

— Гаген-Торн!

Я вышла к доске.

— Лепечите, милая барышня.

Я повернулась и молча пошла на место.

— Что, ни слова не знаете?

— Нет, знаю, но я не барышня и лепетать не умею!

«Данило» расхохотался:

— Тогда отвечайте как умеете, уважаемый товарищ!

Класс зашушукался.

Это было в предфевральские дни, и «Данило» приписал происшедшее «демонстративно революционному поведению», которое он, видимо, одобрял. А у меня это не было обдуманное поведение, просто вновь взбрыкнул норовистый жеребенок.

И уже через несколько недель этот жеребенок понесся без всякой узды в Организацию средних учебных заведений (ОСУЗ), стал членом президиума Центральной управы. А Центральная управа ОСУЗа играла в парламент, упоенно и страстно

готовясь к тому, что все мы когда-нибудь станем министрами и разделим портфели. Лев Успенский неплохо написал об ОСУЗе в своих «Записках старого петербуржца». Но конечно, все было гораздо сложнее, чем написано у него. Сложнее и труднее у интеллигентских подростков, сплошь интеллигентских, даже рафинированно интеллигентских, проходил этот переход от Старого мира в мир Неведомый.

О, конечно, мы с радостью растаптывали Старый мир, мы были уверены, что будем создавать социализм. Но создавать на парламентский манер, своими интеллигентскими руками.

В то время ходила в ОСУЗе, как во всяком молодежном вертоплясе, песенка:

Там эсеры топят печи,
говорят в управе речи,
Революцию проводят,
всей управой верховодят.

И я усердно топила эту печь в каком-то холодном классе, где была наша база, и «входила в контакт с организацией учителей». Они были растеряны, старые и глубоко деликатные в своих проявлениях интеллигенты.

— «Предатели, погибла Россия», — шептали

они слова Блока из поэмы «Двенадцать». А мы не были растеряны: мы наслаждались стремительностью шторма и организованностью своих выступлений. Мы не вполне знали, за что следует бороться, но были восхищены своей организацией, правом выпускать газету «Свободная школа», своей шестнадцатилетней взрослостью и тем, что почетным председателем и редактором нашей газеты был Владимир Пруссак — талантливый молодой поэт, впоследствии рано погибший от сыпного тифа. Он был витмаровец — ученик гимназии Витмара, где в 1914 году была раскрыта революционная группа. Эту группу тогда арестовали, и всех мальчишек выслали в Сибирь. Пруссак вернулся в Питер в первые дни февраля, стал одним из организаторов «Свободной школы» и ОСУЗа. Странно писать обо всем этом, странно, что все это было и быльем поросло, что об этом почти забыли мы сами, о том, что у нас, семнадцатилетних, была твердая уверенность в полной, абсолютной свободе мысли и свободе слова. О том, что Старый мир лопнул, развалился окончательно и совершенно. Мы, конечно же, были за советскую власть! Она — порождение и проявление Нового мира, где все будут свободны и все будет разумно. А то, что поколение наших

отцов сопротивляется и негодует на грубость и резкость приемов в переделке мира, мы расценивали как результат инерции, накопленной в Старом мире с его условностями. Мы — отвергали все условности! Верили, что мы, молодежь, и построим Новый мир, договоримся со всеми, кто молод душой и понимает: все старое будет кончено навсегда! А пока мы должны создать свободную школу и перейти в не менее свободный, по-новому дышащий университет.

Но тут своевременно сказать несколько слов о предреволюционной зиме 1916/17 года, когда я увлеклась Владимиром Соловьевым, его философией. Нет, это было не увлечение, а глубокое, всем сердцем, всем пылом шестнадцати лет вхождение в философию.

Отец мой, как полагалось просвещенному медику и кадету, был атеистом. А я, по исконной традиции русской культуры, довольно рано стала искать выхода в антитезу. Это — обычное явление русской культуры: «отцы и дети». Но, воспитанная в атеизме семьи, уже к двенадцати годам я к церкви относилась скептически, а к Закону Божьему, преподаваемому в гимназии, тем более. В нашем классе было просто плохим тоном — всерьез относиться к урокам Закона Божьего.

Не помню, в шестом или седьмом классе появился у нас новый законоучитель отец Иоанн Егоров. Он знал, конечно, об отношении к его предмету девочек дворянско-интеллигентской среды. У одних — прикрытое воспитанностью хорошего общества, у других — откровенно скептическое. Но, так или иначе, учить всерьез уроки Закона Божьего, конечно, никто не считал нужным. Трудно, вероятно, приходилось отцу Иоанну. На кого опереться? И верно, был он не только образованный, но и неглупый, не склонный к рутине человек. Не знаю уж как, но он все же сумел найти подход и однажды, не без труда преодолевая вежливый, но явный скептицизм, начал рассказывать нам о работе Владимира Соловьева «Три разговора». Отец Иоанн знал, что для большей части класса она была не по силенкам, но ему надо было овладеть наиболее способной, развитой и, конечно, поэтому наиболее скептически к нему относившейся группой из пяти девочек, куда входили и Нина Мелких, и моя ближайшая подруга Аня Ольдерогге — страстный, уже оформившийся микробиолог, — и я. Он так пересказал нам эти «Три разговора», что мы сидели, затаив дыхание, забыв все, видя только блистательные образы «доктора Паули»

и «белого, как свечка, отца Иоанна». Батюшка назвал нам и имя автора — Владимир Сергеевич Соловьев, профессор университета.

Мне так ясно представляется этот гимназический урок, когда о. Иоанн рассказывал нам о «Трех разговорах» В. Соловьева. Сам он крупный, с грубоватыми русскими чертами лица; полуседые пышные волосы чуть выше плеч и поднятая вверх рука в широком рукаве рясы. Говорил он вдохновенно. Я не знаю, что он за человек и какова его дальнейшая судьба, но сегодня благодарность к нему согрела меня. Он давно умер, — конечно, пусть будет легок путь его в другие миры Царства Божьего.

И с тех пор я почувствовала, что не могу жить и думать, пока не найду книг Владимира Соловьева. Добывать, покупать книги сама я еще не умела. Где достать Соловьева? К счастью, однажды с визитом к маме пришла одна благодарная папина пациентка — светская дама нового стиля и нового века, не знавшая, как отблагодарить отца за удачную операцию. В разговоре она узнала, что я интересуюсь Владимиром Соловьевым, и подарила мне к Рождеству «Полное собрание сочинений» этого философа.

Я набросилась на «Три разговора». И — вступи-

ла в неведомый мир. Бессознательно, бунтарски мне был неприемлем отцовский позитивизм, не устраивали предлагаемые мне услужливо Бокль или Спенсер и «История греческой философии» Льюиса. И разговоры достопочтенного Петра Бернгардовича Струве, бывавшего у нас дома, не устраивали меня.

И вдруг — мир стал восприниматься совершенно с другой стороны.

Милый друг, иль ты не знаешь,
Что все видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами…

В. Соловьев

А дальше пришел Блок. Летом 1916 года Виталий Бианки дал мне томик Блока, а его старший брат, Анатолий Бианки, — нелегальные брошюры. Блок был, безусловно, важнее и интереснее. И он сразу, еще бессознательно, был угадан в сиянии Соловьева. Я в то лето добросовестно, по Льюису, конспектировала историю греческой философии, сидя у окна моей угловой комнаты на Приморском хуторе. В окно наблюдала, как папа играл в теннис с племянником Сашей, и заставляла себя не мешать им, пока не закон-

чу заданный самой себе на сегодня параграф греческой философии. Довольно скучным, но необходимым казался мне Льюис. Вероятно, он был и в самом деле полезен. Но — огнем и мечом, и животворящим вином вошел Блок, как на скале возвышаясь на сверкающих образах Соловьева. А осенью Женя, самый близкий мне двоюродный брат, погодок, с которым я вместе росла, поступил в университет, купил и принес мне «Симфонии» Андрея Белого.

Весь мир зазвучал, как симфония, и я не заметила, что он сорвался со стержня и мячиком катится в революцию, подпрыгнув в нее в последние, снежные дни февраля.

Тут уж и Блока, и Белого закрыли, сверху легли брошюрки: «В борьбе обретешь ты право свое»… И рыжеватая бородка Толи Бианки подносила мне их, передавая «от Льва» — старейшего из братьев Бианки, человека вполне взрослого и позитивного. Он был в тот период энтомологом и писал «О лесных клопах».

Как обычны, как чрезвычайно обычны мои старческие воспоминания! Многие тысячелетия переживают их люди в старости. Надо ли их писать? Но время было необычным. Так много вмещалось в каждый год того времени, так много

менялось, что остались в памяти только ослепительно-резкие, как на бурном закатном небе, смены красок. Не буду вспоминать все подряд, а набросаю лишь основные этапы и разделю воспоминания на два потока. Самый глубокий и внутренний — воспоминания о Вольфиле[5], о встрече с Борисом Николаевичем[6], изучение Владимира Соловьева и Канта, прапамять чего-то извечного.

Это кристаллизовалось в стихах:

На меня, веселую птицу,
Бог наложит тяжелый крест.
По ночам мне часто снится
Золотой берестяный шест.
И летают кругом сороки
И стрекочут: «Пора, пора!»
Да, я знаю, приблизятся сроки,
Облетит золотая кора.
Кому путь крестом осияли,
Тем о счастии – нельзя просить.

---

[5] Примечания: 5
Вольно-философская ассоциация, возникшая в Петрограде в 1919 г.

[6] Примечания: 6
Борис Николаевич Бугаев — Андрей Белый.

Мне ведь только недолго дали

Здесь так просто и радостно жить!

«Здесь» — это в университетском общежитии, где жила наша коммуна. Где были и страстные споры, и трехсуточные вечеринки с выходом для танцев на Дворцовую площадь, были занятия в семинарах сразу — у Э. Л. Радлова по философии и у С. И. Солнцева по доклассовому обществу и лекции Л. Я. Штернберга по этнографии.

Это состояние души вылилось в такие строки:

Никого нет меня счастливей

На круглой земле!

Розоватые яблоки, вербы и сливы

Расцветают во мне.

Это вспомнившиеся стихи того времени. Все остальное осталось в недрах НКВД. Так вот двумя потоками и разбиваются воспоминания.

Возвращаюсь к зиме 1917/18 года.

ОСУЗ

Не так-то однороден был ОСУЗ, как описывает его Лев Васильевич Успенский, неоднороден по составу и по тому, как воспринимали революцию мы, подростки разных слоев интеллигенции. Однородность была в единстве дыхания — мы вышли из мира XIX века, где созревали наши родители, в век XX. И ясно было: этот век несет «невиданные перемены, неслыханные мятежи». Вступающим в ОСУЗ надо было оглядываться и осознавать себя. Притом не индивидуально, а группово, по гимназиям. Были стоюнинки и оболенки, тенишевцы и лентовцы, маевцы и — Выборжское коммерческое, гордившееся своей особенностью: там совместно учились девочки и мальчики. Иной была и программа коммерческого училища. «Коммерческого» не было в нем ничего. «Коммерческое» — флаг, за которым прятались новаторские тенденции: обеспеченный материально, трезвый демократизм, с первых классов внушаемый детям анализ происходящих в стране процессов и необходимость участвовать в них мальчикам и девочкам.

Дальше шли училища парные по воззрениям

и группировкам (для мальчиков и девочек, ибо в семье обычно бывали и мальчики, и девочки). Тенишевцы имели сестер обычно у Таганцевой и Стоюниной. Маевцы — в гимназии Могилянской (это был Василеостров). На Могилянскую ориентировались и лентовцы. Гимназия княгини Оболенской колебалась между Тенишевским училищем и гимназией Гуревича — в основном составе это были гимназии дворянские. Особая когорта, струганый винегрет — казенные гимназии, мужские и женские. Там придерживались строгой казенной формы не только в одежде, но и в методах преподавания. Там не было «идей» у родителей и не чувствовалось старания вырастить рафинированных интеллигентов у преподавателей. И ученики не обладали патриотизмом «своей» гимназии, который был особенно силен у лентовцев и выборжцев: они гордились тем, что у них были открытые для VII и VIII классов курилки, где на перемены сходились ученики и учителя «на товарищеских началах». Обсуждались там, в курилках, не только школьные, но и политические дела; пелись песни, и преподаватели были «старшими товарищами», с которыми вполне допускались шутки. Воспитание строилось на свободе и джентльменстве. Нарушение

субординации было культурным и не переходило в хамство. С лукавыми, чуть извиняющимися улыбками позволяли себе лентовцы петь при самом Владимире Кирилловиче Иванове — директоре: «И вот идет Кириллыч, Кириллыч, Кириллыч иль просто красный помидор-дор-дор». И краснощекий Владимир Кириллович посмеивался: вольность необходима молодежи, пусть будет явной.

В Лентовке и Выборжском всегда существовали самоуправляющиеся ученические организации. Эти школы, естественно, дружески отнеслись и к ОСУЗу. В Лентовке В. К. Иванов отвел помещение для Центральной управы ОСУЗа, там собирались делегаты на заседания. В ОСУЗ входили теоретически делегаты от всех петроградских школ, по два человека из шестых, седьмых и восьмых классов. Они составляли общее собрание ОСУЗа. Общее собрание выбирало Центральную управу (10 человек) и редакцию газеты «Свободная школа» (6 человек). Активно участвовали в жизни ОСУЗа главным образом ученики не казенных, а частных либеральных школ, более или менее «красных», более или менее демократических, «с идеями». Родители учеников были там всех толков — от кадетов до социалистов. И всех

толков интеллигентского профиля — по узаконенной традиции русской культуры — борьбой поколений в семьях. Мы, едва оперившиеся птенцы в свои шестнадцать лет, сидели еще на краях родительских гнезд и не решались вылетать. К восемнадцати годам — вылетели в разные стороны. Перед вылетом озирали друг друга, с почтением к тем, кто уже решился на вылет. Относились с подчеркнутым уважением друг к другу: на заседаниях называли друг друга лишь по имени-отчеству. Выступали по всем формам английского парламента, проводили постановления в первом и втором чтениях и только закрытым голосованием. Общие собрания ОСУЗа проходили в главном зале Тенишевского училища, а собрания управы — в Лентовке. Мы чувствовали себя народными представителями своего поколения и будущими министрами России парламентарных форм. Пока Россия не была парламентарной: она лузгала семечки по улицам, страстно митинговала, добывала еду, мешочничая, и готовилась к гражданской войне, все убыстряя темп к лету 1917 года. Мы лишь начинали нащупывать собственные убеждения, воспринимая себя еще школьниками. Но из ОСУЗа уже вышли прошлогодние восьмикласс-

ники, его создатели, и по традиции передали бразды правления нам, следующему классу.

Все школы города объединялись и радостно стали играть в организованность. Шестиклассники и пятиклассники взяли на себя службу связи: если нужно оповестить о собрании, через два-три часа извещены все школы. Мы любезно предлагаем свою помощь Союзу учителей, который часто не успевал ни принять решение, ни известить о нем своих членов. Союз учителей колебался: работать с большевиками или саботировать их? Требовать Учредительного собрания или смириться с тем, что «Вся власть Советам!»? По существу, и среди учащихся были такие же политические колебания, но мы как-то умели держать их вне ОСУЗа, старательно придавая ему «профессиональную линию»: создание свободной самоуправляющейся школы, организованное снабжение школ учебными пособиями… Добивались бумаги и типографии для нашей газеты «Свободная школа». Нас устраивали эти школьные дела и доставлял удовольствие хотя и диктаторский, но парламентски вежливый разговор с учителями. Не с «нашими» учителями, то есть педагогами, стремившимися создать такую свободную самоуправляющуюся школу еще до революции, а

с теми «казенными крысами», чиновниками в мундирах народного просвещения, которых было много в казенных гимназиях.

Помню, мне доставило удовольствие прийти в институт благородных девиц с мандатами ОСУЗа, безукоризненно вежливо сказать начальнице:

— Нам необходимо повидать делегатов, избранных в трех старших классах вашего учебного заведения.

— У нас нет никаких делегатов. Я не допускаю каких-либо выборов, — кипя от негодования, сверкая стекляшками пенсне, возмутилась начальница.

— Ну, в таком случае придется провести выборы нам самим и немедленно. У нас есть на это полномочия райсовета рабочих и солдатских депутатов. Не откажите в любезности позвать дежурных по классам.

У начальницы дрожат руки. Но она боится, боится нас. Звонит в звонок и приказывает вошедшей секретарше вызвать дежурных из первых и вторых классов (в институтах счет классов шел от седьмых к первым). В кабинете появляются три девочки в длинных зеленых платьях с белыми пелеринками, делают начальнице глубокий реверанс.

— К вам пришли эти… делегаты из райсовета.

— Нет, товарищи, мы не из райсовета, мы из Организации средних учебных заведений, пришли звать вас вступить в эту организацию.

Какое удовольствие смотреть на радостно-взволнованные лица девочек!

И юное, бодрое слово «Товарищ»

Раздастся свободно и звонко теперь, —

писал в «Свободной школе» наш почетный председатель Владимир Пруссак.

В зиму 17/18 года средняя школа в Питере держалась в основном усилиями самих школьников: учителя тонули в дебатах на политические темы, в острейших противоречиях политической борьбы средней интеллигенции с большевиками. Мы объясняли это просто — въевшейся в них рутиной. Мы жаждали не спорить, а делать скорее свое школьное дело и организованно вступить в дальнейшую жизнь.

Университет

К весне 1918 года 8-е классы в гимназиях были ликвидированы. Нам выдали удостоверения об окончании, но они, казалось, были не нужны даже: для поступления в вуз требовалась только справка из домового комитета, что тебе уже исполнилось 16 лет и ты живешь на такой-то улице. Мы ввалились в университет, воспринятые как новое студенчество, намеревающееся его переустраивать. Мы отменили отчества и парламентский стиль общения и постепенно стали дифференцироваться по политическим взглядам. Осузец Мишка Цвибак стал левым эсером, а потом большевиком и комиссаром университета. Осузец Женя Айзенштадт совмещал университет с интересами кино. Очень метко характеризовала его популярная у нас в те годы песенка:

Парламентский деятель он от природы,

Он ждет у советского моря погоды.

Не став депутатом – он стал помзавкино,

В нем странная помесь пижона с рав-

вином.

Женя Айзенштадт вызвал Мишку Цвибака на дуэль, но дуэль не состоялась. Все общежитие университета пело о них:

От Севильи до Гренады
В теплом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздается звон мечей.

Судьбы осузовцев сложились весьма различно. Об ОСУЗе по-разному писали и Дмитрий Мейснер (лентовец), и Лев Успенский (маевец). Я пишу об этом бегло, но надеюсь, что и эти наброски, может быть, пригодятся кому-нибудь, кто будет изучать историю средней школы в первые годы перелома ее из старой казенной в очень «новую либерально-общественную» школу второго десятилетия XX века.

Помимо официальных создавались, конечно, и другие, более близкие компании. За зиму 1917/18 года близкими стали: Аля Лунц (маевец), Аля (Грациэлла) Говард — я не помню, из какой гимназии была эта прелестная девочка с итальянскими мягкими глазами и длинной темной косой, полуитальянка, полуангличанка, Сева Черкесов и

Юра Шейнманн (лентовцы) и я. Летом мать Али Лунца пригласила нас всех погостить в Боровичи, где они жили на даче.

Осенью мы все поступили в университет, мы с Алей — на юридический, парни — на биологический. Поступили мы на юридический потому, что, в сущности, он уже не был юридическим — перестраивался в «факультет общественных наук». И мне казалось самым насущным начать с изучения развития общественных форм, социологии, с изучения марксизма. Все это не было еще обязательным, никто не заставлял нас изучать Карла Маркса, и Ленин еще не считался римским папой новой религии. Нам усиленно говорили, что личность не играет роли в истории, ее выдвигают социальные потребности и законы общественного развития. С. И. Солнцев читал нам курс происхождения классового общества, В. В. Светловский вел семинар по родовому обществу. Я посещала этот семинар. Он хранил еще старые традиции семинарских занятий. Мы сидели за длинным столом в уютной комнате. Вдоль стены тянулись длинные шкафы семинарской библиотеки, блестели упругие, тисненные золотом корешки переплетов, отсвечивали стекла. Топилась большая изразцовая печь, и служи-

тель, бритый старик в потертом вицмундире, вносил огромный медный самовар и расставлял стаканы. Профессор Светловский, кругленький, но подтянутый и изящный, пошучивал, сияя розовой лысиной. Ассистент кафедры приготовлял материалы, нужные для занятий. Медленно умирала старая, налаженная университетская жизнь. Она еще боролась, силясь сохранить старые традиции, весь первый семестр. И были еще рождественские каникулы.

Недавно я прочла воспоминания Маргариты Васильевны Сабашниковой о 1918 годе в Москве. Она описывает голод и произвол, разруху, тиф и отчаяние, царившее среди старшего поколения интеллигенции, не партийной, конечно, а философской (антропософской). Мне кажется, что и в Москве, как в Питере, этому не было места среди вступающей в жизнь зеленой молодежи. Все совершающееся в эти первые годы казалось нам естественной разрухой перестройки.

Зимой 1918/19 года Петроград был тих и пуст. Не было дыма и гари. Небо стало прозрачным. Молчали заводские трубы. Рабочие — слава и гордость питерского пролетариата — ушли на фронты Гражданской войны и в продотряды, пытаясь наладить снабжение продуктами и

отопление города. Топлива не было. На окраинах разбирали на топливо для печей деревянные заборы. В больших каменных домах с паровым отоплением лопнули трубы. В комнатах ставили железные печки-буржуйки, выпуская в форточки их рукава-трубы. Топили мебелью и книгами. На прямых великолепных петербургских улицах роскошные магазины были закрыты, а окна забиты досками. В магазинах поплоше по карточкам выдавали черный хлеб, ржавые селедки и пшено. Перед магазинами вертелись мальчишки в лохмотьях, чем-то торговали. И пели: «Эх, яблочко! Купил его с мамашею. Накормили всю Расею пшенной кашею». Продавали они все больше спички. Кричали: «А вот! А вот! Спички шведские, головки советские, пять минут вонь, иногда огонь!» Коробок стоил миллион рублей. В очередях передавали страшные слухи: по городу стал бродить голодный тиф. Хлеба не было.

Но были концерты в филармонии и публичные лекции в разных залах. Залы не отапливались. О лекциях объявляли наклеенные на стенах афиши.

В университете лопнуло паровое отопление, и главный коридор был покрыт льдом. Веселые первокурсники скользили по этому льду, как

на лыжах.

Лыжи были самым удобным сообщением в городе: трамваи не могли пробиться через снежные сугробы, а о других способах сообщения просто забыли. Извозчики вывелись, а машины не завелись еще. Изредка с грохотом пролетали грузовики. По строго правительственным нуждам.

Главное здание университета неуклонно обледеневало. Занятия в нем прекратились. Но в книжном киоске топили буржуйку и книги еще продавались: прелестные книжки стихов, выпускаемые издательствами «Алконост» и «Картонный домик», тиражом от 500 до 1000 экземпляров.

Занятия шли в Физическом институте и в больших угловых комнатах старого студенческого общежития, во дворе университета. Большие угловые комнаты обращены в аудитории, в остальных жили студенты. Топливо мы добывали, организуя ночные набеги на баржи, которые еще встречались по берегам Невы, или на уцелевшие заборы Васильевского острова. Когда набег был удачен, топили не только котельную, но и титан-кипятильник внизу, у входа, и огромную, саженной длины, плиту в кухне. Днем на ней варили в котелках что-либо, а вечером вдоль плиты

выстраивались ряды чернильниц и маленьких бутылочек. В бутылочки наливали керосин, вставляли фитиль, а сверху прикрепляли лабораторную колбочку. Это называлось «лампион». Усевшись вдоль плиты на скамьях, можно было прекрасно заниматься. Зачеты было удобно сдавать в очередях в столовую: профессора и студенты там вместе получали конину, которую сумел добыть студенческий комитет. Профессора тогда еще называли студентов «коллегами».

Весной сугробы растаяли. Солнышко светило все ярче, и между булыжниками мостовой полезла зеленая травка. Холод ушел, но продовольствия не прибавилось. На севере страны продолжалась интервенция англичан, на юге — Гражданская война. Петроград был тих, пуст и светел.

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло.
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый над городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми

Глубь прозрачных июльских небес, —

лебединым голосом читала свои стихи в Вольфиле Анна Андреевна Ахматова. Блок написал «Скифы» и «Двенадцать». Их тоже читали в Вольфиле. Блок был председателем Вольфилы.

Чем глубже голод охватывал жизнь, тем сильнее у подлинной интеллигенции проявлялась потребность в духовном общении, так сказать, в философском обосновании жизни физической.

⟨***1975***⟩

Вольфила

В Петрограде тех лет потребность духовного общения родила Вольно-философскую ассоциацию. (Вначале она называлась академией.)

Первые упоминания о создании Вольно-философской академии встречаются в блоковских записных книжках с 1918 года.

В дневниках Блока записан проект устава Вольфилы.

Первое публичное заседание Вольфилы состоялось 16 ноября 1919 года.

Программа:

1) Сообщение о задачах ассоциации.

2) Доклад Блока «Крушение гуманизма».

3) Прения.

Доклад был напечатан и позднее вошел в собрание сочинений А. А. Блока. Он достаточно хорошо известен.

На втором открытом заседании — 23 ноября 1919 года — Иванов-Разумник прочел доклад «Эллин и скиф».

Р. В. Иванов-Разумник был организатором издательства «Скифы» и редактором двух сборников «Скифы», вышедших в 1917 году. Обложки и за-

ставки этих сборников сделаны по рисункам К. С. Петрова-Водкина. На обложке обнаженный по пояс человек держит в руке натянутый лук и стрелу. К плечу его сзади прислонилась женщина, видна ее голова и обнаженные плечи. А вдали и внизу в языках пламени — горящие здания. На заставке: обнаженный человек со щитом в одной руке, в другой поднятый меч, он поражает ползущего змея-дракона.

Летящая стрела была символом скифского бунта.

Первый сборник «Скифы» был направлен против войны.

Второй сборник (осенью 1917 года) призывал к борьбе с идеологией и тактикой февральского Временного правительства. Третий сборник должен был начаться поэмами Блока «Скифы» и «Двенадцать». Он не вышел: не до печати было в 1918 году. И стала острой потребность живого, звучащего слова, обмена мыслями из уст в уста.

Группа людей, которая сплотилась вокруг «Скифов», создала Вольно-философскую ассоциацию. Она вела огромную культурно-просветительскую работу — воскресные заседания для широкой публики. Открытые заседания привлекали сотни людей: профессиональные ученые — и люди

труда, не прошедшие никакой школы; писатели, художники — цвет питерской интеллигенции — и молодежь, от 17 до 25 лет.

Научную и учебную работу вели кружки, а позднее отделы Вольфилы. Были кружки: философия символизма (руководитель Андрей Белый), философия творчества (Константин Эрберг), философия культуры (Иванов-Разумник), творчество слова (О. Форш), философия математики (проф. Васильева)…

Пришедшие на воскресные заседания включались в кружковую работу Вольфилы.

Вольфила состояла из действительных членов — людей, имеющих уже какое-то лицо в искусстве или науке, членов-сотрудников и членов-соревнователей. Членом-соревнователем мог стать каждый желающий принять участие в работе кружков. Вокруг ассоциации собралось около 70 соревнователей. Во главе совета членов-соревнователей Вольфилы стоял Андрей Белый.

По субботам работал клуб Вольфилы, здесь выступали писатели: Е. А. Данько, Ф. Ф. Зелинский, Е. И. Замятин, Н. Н. Никитин, Вл. Пяст, Ал. Ремизов, О. Д. Форш и многие другие.

Я не сразу открыла для себя Вольфилу. Как все студенты нашего университета, я приголадывала

на скудном пайке; но мы почти не замечали этого в стремительной жадности — узнать как можно больше интересного. Мы были уверены, что мир стремительно перестраивается и мы должны перестроить его возможно скорее. Мы глотали книги, бегали на все доклады в городе и на все концерты в филармонии.

Стены домов были заклеены газетами и афишами, объявлениями и приказами Петрокоммуны. Пешеходы останавливались и читали их весьма внимательно. Особенно в очередях, выстраивавшихся у немногих не забитых досками магазинов — за продовольственными пайками.

На забитые досками окна наклеивали нарядные плакаты или афиши. По такой афише весной двадцатого года узнала я о существовании Вольфилы: прочла, что в Демидовом переулке, в здании Географического общества, Андрей Белый прочтет лекцию о кризисе культуры.

Меня привлекло имя Андрея Белого. Я уже читала «Симфонии», была потрясена «Петербургом». Побежала на заседание Вольно-философской ассоциации, и все это вошло в мою жизнь на долгие годы.

Как передать впечатление от Андрея Белого? Первое впечатление: движения очень стройного

тела в темной одежде. Движения говорят так же выразительно, как и слова. Они полны ритма. Аудитория самозабвенно слушает ворожбу. Мир — огранен как кристалл. Белый вертит его в руках, и кристалл переливается разноцветным пламенем. А вертящий — то покажется толстоносым, с раскосыми глазами, худощавым профессором, то вдруг — разрастутся глаза его так, что ничего, кроме этих глаз, не останется. Все плавится в их синем свете.

Руки — легкие, властные, жестом вздымают все кверху. Он почти танцует, передавая движения мыслей.

Мы видели: из земли перед нами вдруг вырывался гейзер! Взлетал горячим туманом и пеной! Следите: как высок будет взлет! Какой ветер в лицо… Брызги то выше, то ниже… Запутается в них солнечный луч и станет радугой. Они то прозрачны, то белы от силы кипения. Может быть, гейзер разнесет все кругом? Что потом? Неизвестно. Но радостно! Блеск и сила вздымают. Веришь: сама уж лечу! Догоню сейчас, ухвачу сейчас гейзер. Знаю, знаю… В брызгах искрится что-то, что знала всегда, не умея сказать. Вот оно как! А мы и не ведали, что могут раскрыться смыслы и обещаются все новые открывания: исконно знакомого

где-то, когда-то, сквозь глуби неизвестного…

Нельзя оторваться от гейзера!

Символизм стал не литературным течением, не системой художественных образов, а особым восприятием мира. Если рассматривать плоскость — нет символов. Но мир не плоскость, он — многогранен. Грани многоцветны, то есть многосмысловы. Кристалл факта заискрился символом.

Андрей Белый не умел видеть мир иначе, как в многогранности смыслов. Передавал это видение не только словом, но и жестом, очень пластическим, взлетающим, звуком голоса, вовлечением аудитории во внутреннее движение. Белый рассказывал много раз — для него стих рождался всегда в движении. Не в сидении за столом, а вне комнаты, в перемещении далей стих закипал. Еще неизвестно бывало, во что перельется — в чистый звук музыки или в слово. Закипало создание в движении. Отсюда необходим был анализ структуры слова и соотношения смысла к основе — звуку. Буквы, как букашки, разбегались по сторонам: слово вставало не в буквенном воплощении, а в звуке и цвете. Мы видели слово цветным… Как в радугу цвета вошла я в Вольфилу.

Борис Николаевич вел семинар по символизму и второй — по культуре духа. Я стала бывать на обоих. Как шли занятия? Для каждого они оборачивались по-своему. Сам Борис Николаевич — тоже постигался различным. Ольга Дмитриевна Форш изобразила его в романе «Сумасшедший корабль» — «сапфировым юношей» — и написала потом многоликий портрет, где он сразу в пяти ипостасях, поставленных рядом. Все они разные, но в каждом проглядывает кусочек безумия. Это — форшевский Белый. Она, слушая его, сомневалась: а не безумие ли эти пророчества? Удивлялась: как он может смотреть острым взглядом, все подмечая, все превращая в каламбур, и вдруг — возносить это вверх, в многосмысловость; приглашать и других вознестись. Увлекательно… Но не бредово ли?

Каждый открывал в нем то, что было ему свойственно. Необозримо многогранен был Андрей Белый!

Он знал и подтвердил это свойство в стихе:

Передо мною мир стоит
Мифологической проблемой:
Мне Менделеев говорит
Периодической системой!

Соединяет разум мой
Законы Бойля, Ван-дер-Вальса —
Со снами веющего вальса,
С богами зреющею тьмой…

Это написано в «Первом свидании» о времени юности. Тогда он, студентом-естественником, писал дипломную работу у Д. Н. Анучина «О происхождении оврагов в Средней России». Собирался до этого написать «О происхождении орнамента» — Анучин был и этнографом. Но одолели овраги, грозя полевым просторам Средней России… Он, силясь бороться с ними, расколдовывал их власть, запечатлев их в стихах и в «Серебряном голубе».

Власть колдовать и расколдовывать не ушла вместе с юностью: мы видели ее на семинарских занятиях Вольфилы. И быть может, потому, что там было много молодежи, вернулся он к своей юности поэмой «Первое свидание»; написал ее за два дня, летом 1921 года. Жил он в то время в гостинице «Англетер» (теперь «Россия»). Туда приходили мы к нему заниматься теорией символизма.

Косо смотрел в окна комнаты солнечный луч, прорезал пыльный плюш кресел ярко-малино-

вым бликом. Лизал желтизну пола. За окнами стоял Исаакий, ширилась площадь. По ней, заключенной в булыжник, ходили редкие голуби.

Вскочив с кресел, Борис Николаевич расхаживал, почти бегал по комнате, излагая точные формулы миров. Он простирал руки. Не показалось бы чудом, если б взлетел, по солнечному лучу выбрался из комнаты, поплыл над Исаакиевской площадью, иллюстрируя мировое движение. Девицы сидели завороженные. А я? Сердилась на них: ну уместно ли здесь обожание?! Не о восхищении, не об эмоциях дело идет: о постижении неизвестного, но смутно, издавна угаданного, об открывании глубин…

Он часто не замечал ни обожания, ни глубины производимого его словами впечатления. Писательница Елена Михайловна Тагер с мягким юмором рассказывала мне в 60-е годы о своей встрече с ним: «Мы проговорили весь вечер с необычайной душевной открытостью. Я ходила потом, раздумывая о внезапности и глубине этой дружбы, пораженная этим. Встретились через неделю на каком-то собрании, и он не узнал меня. Я поняла: тогда он говорил не со мной — с человечеством! Меня не успел заметить. Меня потрясли открытые им горизонты, а он умчался

в иные дали, забыв, кому именно открывал».

Участница вольфильского семинара Елена Юльевна Фехнер рассказала мне, как она приходила к нему в лето 1921 года, в Троицын день, с березовой веткой. Борис Николаевич встретил ее встревоженный и напряженный. Почувствовала: ему не до посетителей. «Я помешала, Борис Николаевич, мне лучше уйти?» — «Пожалуй, да… — И тут же переконфузился. — Спасибо вам за березку… Вы извините меня… Приходите, обязательно приходите… На днях… Я очень рад вам…» — боялся ее обидеть. И не сказал, чем занят.

А через несколько дней прочитал в Вольфиле свою поэму «Первое свидание». В эпилоге были строки:

Я слышу зов многолюбимый
Сегодня, Троицыным днем, —
И под березкой кружевною,
Простертой доброю рукой,
Я смыт вздымающей волною
В неутихающий покой.

Он писал в этот день. Переконфузился, как бы не обидеть, но не мог оторваться от подхватившего потока, движения мыслей и образов. Из

«неутихающего покоя» кивал нам, сигнализируя о пережитом.

Теперь я и сама, пожалуй, не совсем понимаю необычайную остроту переживаний, космическую туманность образов, в которой стремились выразить эти переживания эпохи начала XX века. Мы пережили их. Прекрасно назвала Андрея Белого Марина Цветаева — «пленный дух». Она встретилась с ним в Берлине в 1922 году, когда все рушилось для него и он танцевал в берлинских кафе страшный танец, сам себя ужасая. Прекрасно изобразила Марина Цветаева эти метания, величие и беспомощность «пленного духа». Мне хочется добавить к образу берлинского Белого штрих, рассказанный Клавдией Николаевной Бугаевой. Раз мчался, охваченный вихрем мыслей, Борис Николаевич вниз по лестнице. С тростью под мышкой. Гнутым концом трости он зацепил какую-то даму, не замечая, поволок ее за собой. Дама кричала: «Нахал!» Наконец крики дошли до его сознания. Остановился переконфузившись. Дама посмотрела и рассмеялась. «Schadet nicht, Herr Professor!»[7] — сказала она, поняв, что тащил ее по рассеянности. В растерянности метался

[7] Примечания: 7
«Ничего страшного, господин профессор!» *(нем.)*

тогда он. И друзья им распоряжались. Он хотел, чтобы распоряжались, наладили быт, который мучил его тысячью непредвиденных мелочей. Не умел с этим бытом бороться. Цветаева пишет, что он писал ей в Прагу, просил найти комнату рядом с ней, жаждал ее заботы, в ней видел помощь, приют от кружившего душевного вихря. Она приготовила комнату. Добилась госстипендии Чехии, где ценили великого писателя русского.

В тот самый день, когда он писал ей, что мечтает о Праге, приехала в Берлин Клавдия Николаевна Васильева, присланная московскими друзьями. Разрешение на выезд за границу за Белым она получила от Менжинского, ценившего Андрея Белого, считавшего необходимым вернуть его в Советский Союз. Клавдия Николаевна мягкой и властной рукой увезла его в Москву. Он поселился под Москвой, в поселке Кучино, а потом в Москве, в подвале Долгого переулка. Но это было уже не в вольфильские времена, много позднее, когда Клавдия Николаевна Васильева стала его женой.

В Вольфиле видели мы Бориса Николаевича до берлинского потрясения, до внутреннего кризиса. Тогда он не казался «пленным духом», он взметал быт, не замечая. Взлетал на вершину культуры и оттуда показывал нам необозримые

дали истории человеческого сознания. Он, казалось, на мгновение причалил к этой планете из космоса, где иные соотношения мысли и тела, воли и дела, неведомые нам формы жизни. Их можно увидеть. Смотрите же!

У Г. Уэллса есть небольшой рассказ «Хрустальное яйцо»: в лавке антиквара нашли хрустальное яйцо; если в него посмотреть — увидишь мир необычайностей. Там высятся странные белые здания, летят, казалось, подлетая к самым глазам смотрящего, странные существа с человечьими глазами. Яйцо это было аппаратом в неведомый мир. Наш, ведомый, мир в руках Бориса Николаевича становился таким яйцом. Он играл его гранями, нам показывая.

«Котик Летаев» — рассказ о трудностях вхождения младенца в нашу систему сознания. Системы сознания бывают различны, как геометрии Евклида и Лобачевского. Я у него обучалась пониманию возможности разных систем сознания, то есть символизму.

Как передать атмосферу, что создалась на праздниках годового цикла воскресных заседаний Вольфилы? За год прошло 50 воскресных докладов. В каждом звучало, как музыкальная тема, переживание какого-то события культуры.

В теме Платона нота достигла зенита, завершила аккорд. Пятьдесят воскресений, с большей или меньшей удачей, росло умение «соборности» восприятия. «Соборность», то есть общность переживания культуры, была поставлена как задача Вольфилы. Максимализм — программирован в первых докладах как мироощущение, где философия не мозговая абстракция, а осмысление звучания мира.

Первые десять заседаний прошли в тесной, временной квартире на проспекте Володарского, 21.

Народу приходило все больше, становилось слишком тесно. Начиная с XIII воскресного заседания они были перенесены в здание Дома искусств (Мойка, 59, угол Невского)…

14 марта 1920 года здесь на XVIII открытом заседании выступал Андрей Белый с докладом «Лев Толстой и культура».

Зал Дома искусств на Мойке тоже оказался мал. В мае 1920 года для Вольфилы отведено помещение на площади Чернышева, 2, подъезд 1.

Здесь 4 июля 1920 года на XXXIII заседании Андрей Белый прочел доклад «Кризис культуры».

С осени 1920 года открытые общие собрания Вольфилы проходили каждое воскресенье, в два часа дня, в большом зале Географического обще-

ства в Демидовом переулке.

В Управлении Петрокоммуны работал Борис Гитманович Каплун. Большевик-подпольщик, племянник и друг Урицкого, завзятый любитель художественной литературы, почитатель Андрея Белого и Блока, он стал меценатом Вольфилы.

Петрокоммуна выделила Вольфиле дотацию и помещение в служебных зданиях Аничкова дворца, на левом берегу Фонтанки, дом № 50.

В памяти моей встают заседания клуба.

Взойдите на третий этаж высокого старого дома. Открыта дверь на лестницу. Из просторной темноты прихожей уже слышатся голоса. Открываете дверь из прихожей.

Горят закатом высокие окна, выходящие на Фонтанку. Они отражаются в помутневшем зеркале над камином, у противоположной стены. Зал заседаний. Во всю комнату по полу расстелен ковер. Рядами расставлены стулья. Кому не хватило мест — сидят на ковре.

Боком к окнам — стол и кресла президиума. За ними — дверь в библиотеку. В креслах — покуривая трубочку — Иванов-Разумник, рядом, склоняя хохлатую, темную голову, Дмитрий Михайлович Пинес и очередной докладчик.

Разные были докладчики, как разнообразны

и слушатели. Собственно, вряд ли правильно говорить «слушатели», они «совыступатели» по намеченной теме. Предполагалась всегда беседа.

Разумник Васильевич Иванов-Разумник бесстрастно предоставлял всем слово: говори что угодно. С диаметрально противоположными точками зрения выступали ораторы вольной ассоциации философствующих. Кто там бывал?

Со страстью пришепетывал и жестикулировал математик Чебышев-Дмитриев, рассуждая о математической логике и о значении принципа относительности Эйнштейна. Кантианец Штейнберг отвечал ему, что Кант столетие назад выдвинул принципы относительности времени и пространства как гносеологических координат. Штейнберг был корректен, суховат и учен. Он вел в Вольфиле семинар по Канту.

Вспоминаю доклад Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина о восприятии пространства художником.

В рубашке с распахнутым воротом, вертя круглой, коротко стриженной головой, он взрывал представление о статичном пространстве. Говорил о художественном восприятии пространства и времени, намечая то, что было позднее изложено им в книжке «Время, пространство,

движение».

Ольга Дмитриевна Форш басовито гудела: «Позвольте, Кузьма Сергеевич! Я не могу согласиться с вашим определением зрения художника! Хотя все, как всегда у вас, необычайно интересно!»

Ольга Дмитриевна была членом вольфильского клуба и многих кружков. Делала в кружке по литературе доклад: «Данте, Достоевский, Блок». Читала свои рассказы, которые печатала под псевдонимом «А. Терек».

Она была одним из активнейших членов Вольфилы. Ей шел пятый десяток, в черных волосах поблескивало серебро, она была стареюще полнотела, но живые черные глаза смотрели остро и насмешливо. Она усмехалась, шевеля усиками над губой, и явно была уверена — все еще впереди. Так и было: ведь в 20-е годы еще не был ею написан ни один исторический роман. Не было романа «Одетые камнем» — его она закончила к 25-му году, работая вместе с историком П. Е. Щеголевым. Не было «Сумасшедшего корабля», не говоря уж о позднейшем творчестве.

В те времена Ольгу Дмитриевну считали скорее художницей, чем писателем. Она приводила в Вольфилу Елену Данько, выпустившую маленькую книжку стихов, а в основном занимавшуюся

рисованием и росписью по фарфору, спорила с Петровым-Водкиным, требовала от Андрея Белого уплотнения его формулировок. Ольга Дмитриевна конкретно и уплотненно видела жизнь. Была великолепной рассказчицей: невозмутимо приподняв бровь, умела отметить смешное. И с интересом, немного скептическим, следила за взлетом символизма. Задавала Андрею Белому вопрос, от которого он взвивался, рассыпаясь каскадом неожиданных и блистающих образов. Он взлетал над землей в необъятность миров. А Ольга Дмитриевна плотнее усаживалась на стуле и слушала удовлетворенно — эксперимент удался: реакция Белого была такой, какой она ожидала. Ольга Дмитриевна признавалась сама в «Сумасшедшем корабле», что любила психологические эксперименты.

Споры кончались поздно, когда уже догорал вечер, из окон вступала в комнаты белая ночь.

Тяжкий удар по Вольфиле — смерть Александра Блока. Я не была в то лето в Петрограде. 28 августа было заседание Вольфилы, посвященное памяти А. А. Блока… Андрей Белый открыл заседание словами: «Россия потеряла своего любимого поэта, который был сплетен с нею. Современность — потеряла своего наиболее чуткого сына. Воль-

но-философская ассоциация — своего основателя, члена Совета, жизненно духом присутствовавшего среди нас. Многие потеряли друга. Почтим память покойного вставанием».

Я хочу записать последнее цельное впечатление от Блока в Вольфиле. Было назначено на очередном заседании чтение поэмы «Двенадцать», кажется, еще до напечатания. Знали об этом без афиш и пришли очень многие. Полон был молодежью вольфильский зал заседаний. Сидели на стульях, на подоконниках, на ковре. Александр Александрович вошел вместе с Любовью Дмитриевной. Очень прямой, строгий, он сделал общий поклон и прошел к столу президиума. Пожал руки Иванову-Разумнику, Пинесу, Гизетти. Сказал четким и глуховатым голосом, повернув к сидевшим затененное, почти в силуэт, лицо: «Я не умею читать „Двенадцать“. По-моему, единственный человек, хорошо читающий эту вещь, — Любовь Дмитриевна. Вот она нам и прочтет сегодня». Он сел к столу, положив на руку кудрявую голову.

Я первый раз видела тогда Любовь Дмитриевну и жадно всматривалась в ту, за которой стояла тень Прекрасной Дамы. Она была высока, статна, мясиста. Гладкое темное платье облегало тяже-

лое, плотного мяса, тело. Не толщина, а плотность мяса ощущалась в обнаженных руках, в движении бедер, в ярких и крупных губах. Росчерк бровей, тяжелые рыжеватые волосы усугубляли обилие плоти. Она обвела всех спокойно-светлыми глазами и, как-то вскинув руки, стала говорить стихи. Что видел Блок в ее чтении? Не знаю. Я увидела — лихость. Вот Катька, которая

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла.

Да, это она передала: силу и грубость любви к «толстоморденькой» Катьке почувствовать можно. Но ни вьюги, ни черной ночи, ни пафоса борьбы с гибнувшим миром — не вышло. Не шагали люди во имя Встающего, не завыл все сметающий ветер, хотя она и гремела голосом, передавая его.

Она кончила. Помолчала. Потом аплодировали. По-моему, из любви к Блоку, не из-за чтения поэмы — она не открылась при чтении. Кто-то спросил неуверенно: «Александр Александрович, а что значит этот образ:

И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз
Впереди – Исус Христос?»

«Не знаю, — сказал Блок, высоко поднимая голову. — Так мне привиделось. Я разъяснить не умею… Вижу так…»

Чтение Любови Дмитриевны акцентировало внимание на образе Катьки. И значит, это казалось Блоку очень важным? Почему? Что он видел в Катьке? Не подтверждается ли этим мысль Андрея Белого о том, что здесь в современную повседневность трансформируется тот же образ, как в «Незнакомке» «звезда Мария» трансформируется в «Мэри»? Не казалось ли Блоку наиболее реальным это воплощение, если читала его та, что когда-то была для него прообразом Вечной Женственности?

«Двенадцать» и «Скифы» — разные грани воплощения максимализма. «Скифы» Блока воплотили «скифство», о котором до него писал Иванов-Разумник: то максималистское восприятие мира, которое исповедовала группа

творческой интеллигенции, объединившаяся в сборниках «Скифы», в журнале «Наш путь», в изобразительном творчестве К. С. Петрова-Водкина… Эта идея максимализма как свойства, необходимого русской культуре, породила существование Вольфилы.

А ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия, —
Мессия грядущего дня… —

писал Андрей Белый.

Это оставалось внутренним кредо Вольфилы. Вениамин Александрович Каверин в своих воспоминаниях о 20-х годах пишет об отношении группы «Серапионовы братья» к Вольфиле: «Нам были чужды мудрствовавшие философы из Вольфилы, в которой решались весьма сложные, на первый взгляд, вопросы человеческого существования, но сводившиеся, в сущности, лишь к наивному противопоставлению: Революция и Я». («Здравствуй, брат, писать очень трудно». М., 1965. С. 205.) Правильнее было бы сказать — не противопоставление «Я» — Революции, а сопоставление: место Человека и Революция. Этот вопрос действительно обсуждался в Вольфиле и

был основным. Обсуждался со всей страстью в то время, когда «Серапионовы братья», хихикая, определяли свое место в литературе и забавлялись преодолением стилистических трудностей писательского ремесла.

Вольфильцы хотели понять, что именно совершается; как участвует в совершающемся строении Нового мира воля всего общества и воля отдельного человека? Это можно назвать потребностью человеческого сознания, занятого не тем, как ему научиться писать, а тем, как научиться видеть жизнь и творить ее. За этим шли в Вольфилу самые разные люди. В том числе и учителя «Серапионов»: Ю. Н. Тынянов и В. Б. Шкловский, которые там бывали и делали доклады. В марте 1922 года в Вольфиле даже было особое заседание — «Беседа о формальном методе», на котором выступали Борис Викторович Томашевский, Юрий Николаевич Тынянов, Борис Михайлович Эйхенбаум.

Каверин пишет о шутливости и пародировании — они были свойственны стилю 20-х годов:

Вольфила – дама очень милая,
Охотно принимает всех.
Под речью Эрберга унылою

Вздремнуть часок-другой не грех…

Так начинались шуточные стихи о Вольфиле.

«Принимает всех» — не от беспринципности, а от твердого убеждения в необходимости выслушивать и знать различные точки зрения, от стремления понимать противника. Критерием границ терпимости служила уверенность в том, что взгляды человека, высказываемые искренно, — серьезны и лишены шкурной заинтересованности. Сходились люди разных взглядов. Подразумевалось, что все они имеют какие-то этические нормы, говорят и действуют во имя того, что считают правильным. Не ради того, чтобы найти себе удобное место под луной, а ради того, чтобы найти истину. В ее исканиях и формулировках нужны самые различные взгляды. Вход никому не закрыт. Всякий желающий входил в зал заседаний.

Мне запомнилось заседание, посвященное чтению романа Замятина «Мы». Роман тогда не был напечатан. Изображу заседание, как помню. Пришло много народу. Рядом с председателем Ивановым-Разумником сел Евгений Иванович Замятин. Нас, молодежь 20-х годов, ходившую в рваных сандалиях, неведомо в чем одетую, удивили его гладко выбритое лицо, пробор в светлых

волосах, безукоризненный костюм и манеры джентльмена. А в небольших и светлых глазах — неожиданное озорство. Быстро оглядев всех, он начал читать. Тема романа — государство будущего. Мир благоустроен: заключен под стеклянный колпак. Здания из стекла. Прозрачные стены, как соты в улье. Каждому дается своя прозрачная ячейка, чтобы все могли видеть, как идет его жизнь, ибо она принадлежит Государству и им регламентируется. Требуется виза специальной медицинской комиссии на право рождения ребенка. У граждан нет имен, они называются буквой и номером. Роман написан как дневник одного из видных инженеров этого государства, непоколебимо верящего в правильность его основ. Но вдруг в жизнь героя входит женщина. Она втягивает его в какие-то сомнения, намекает на устраненное из жизни и недозволенное. А в воздухе нарастает опасность восстания, бунт против существующего порядка. Герой примыкает к восставшим. Рушатся здания. Звенит разбиваемое стекло колпака…

На этом Евгений Иванович кончил читать. Осмотрел всех серыми пристальными глазами. Вздох и шепот прошли по рядам. Сидевшие на ковре передвинулись, меняя позу.

— Кто желает высказаться? — поблескивая в свете заката стеклами пенсне, спросил Разумник Васильевич.

Тогда вышел милиционер Миша — чернявый юноша с красной повязкой народной милиции на рукаве.

— Позвольте, Евгений Иванович! — сказал он. — Ведь это насмешка над будущим государством! Вы отрицаете государство? А Карл Маркс учил: без государства нельзя построить социализм. Мы строим правильно организованное социалистическое общество. Зачем же вы смеетесь над этим? — Он негодующе огляделся, но не встретил активной поддержки.

Ольга Дмитриевна Форш смотрела живыми глазами и улыбалась. Низким глуховатым голосом она сказала:

— Нельзя же, товарищ Миша, быть так непосредственно прямолинейным! Ведь сатира направлена не на современность, а на идею гипертрофированной государственности, уничтожающей личное творчество. Это не критика, это предупреждение об опасности государственного абсолютизма.

Но Миша продолжал утверждать:

— С точки зрения марксизма, государство,

безусловно, должно в будущем отмереть, оно уничтожится при коммунизме. Но вначале необходим период строжайшей диктатуры пролетариата.

Он говорил восторженно и убежденно. Я не уверена, знал ли кто-нибудь фамилию этого юноши — его называли просто Миша. Он приходил на заседания со своего милицейского поста, иногда еще не сдав винтовки — ставил ее в угол у камина и начинал говорить. Доказывал и требовал, чтобы все занялись углубленным изучением основ политической экономии, чтобы обязательно прочли все три тома «Капитала». Его юношеский задор встречали с той же уважительностью, как и плоды долголетних исследований профессора Чебышева-Дмитриева или раздумий утонченного поэта Константина Эрберга.

Разумник Васильевич бесстрастно попыхивал трубочкой, никому не мешая высказываться. Лишь мягко направлял порядок выступлений. Требование изучать марксизм рассматривалось беспристрастно, как и требование абсолютной свободы, которое выдвигал Константин Эрберг, называвший себя анархистом. У него была седеюще-львиная голова, подстриженные седеющие усы, миндалевидные зеленые глаза, хорошо

завязанный галстук и палка с серебряным набалдашником. Он только что выпустил книжку стихов под названием «Плен». На ее обложке обнаженные руки натягивали лук, пуская в звездное небо стрелу. Он умел говорить элегантно и вежливо. Этого не умел споривший с ним поэт Владимир Пяст. Большой и тяжелый, слегка заикаясь, он требовал непреложных истин, без компромиссов. Говорил про себя, для себя, не замечая окружающих.

Разумник Васильевич с бесстрастной справедливостью регулировал прения. И Дмитрий Михайлович Пинес, приветливо поблескивая пенсне, взглядом подтверждал — каждый может говорить все, что думает, во что верует… Каждый… Когда Дмитрий Михайлович улыбался, все понимали: любой спор надо вести, уважая противника. Дмитрий Михайлович Пинес был сердцем Вольфилы. Мягкое сердце, но непреклонная справедливость. Его длинная фигура поднималась из-за стола для возражения. Все знали: возражая, он не ущемляет противника, вдумывается в его точку зрения.

Как камень в глубокую воду, канул Пинес в лагеря и без вести пропал там. Мало кто знает теперь об этом человеке, и я должна рассказать

все, что помню, потому что это был настоящий человек. Ему было в то время лет тридцать. Высокий, угловатый, очень худой. Поблескивало пенсне на подвижном лице. Вдруг освещала лицо улыбка и опять пропадала. Он становился сосредоточен. Жена его, Роза Яковлевна Мительман, приветливая светловолосая женщина, ласково подтрунивала над его рассеянностью, над вечным желанием кому-то помочь, доставить радость. Они жили на 6-й Советской, в первом этаже. Вход со двора был низок, а выходившие на улицу окна поднимались почти до второго этажа. Стоя на мостовой, можно было увидеть густоволосую голову, склоненную над столом.

Белыми ночами, набродившись по городу, в юношеской тревоге от обступающих, охватывающих, как половодье, мыслей, подходила я к этому окну. Горела настольная лампа под зеленым абажуром, склонялась над столом темноволосая хохлатая голова.

— Дмитрий Михайлович! Дмитрий Михайлович! — звала я. — Я должна вам нечто сказать.

Он открывал окно, приветливо улыбаясь.

— Нина Ивановна, я с удовольствием бы послушал вас, но сейчас половина первого. Ворота у нас закрывают в двенадцать, и я не знаю, как

вас впустить.

— Я влезу по трубе, вот она!

Молодой обезьяной я лезла по трубе, и не успевал он сдвинуть стол, заваленный книгами, как я садилась на подоконник и начинала:

— Мне кажется, Дмитрий Михайлович, что Владимир Соловьев в «Критике отвлеченных начал» великолепно разделал западную философию! Несостоятельность абстрактного мышления. Никакой Арон Захарович не найдет возражений на его аргументы о негодности попыток Канта доказать бытие Бога как вещи в себе гносеологическими постулатами! Несчастный старик Кант жестоко и трагически ошибался, опираясь на гносеологию! Я хотела бы написать его биографию и понять — что с ним случилось?

Вы подумайте: был веселый доцент, занимался естественными науками, жадно изучал географию этой планеты. Открыл закон Канта — Лапласа. Мечтал о путешествиях. И вдруг — отрезал себя от мира явлений, ушел в мир абстракций, надеясь найти там Бога. И ходил по Кенигсбергу с точностью часов. Что с ним произошло? Я когда-нибудь, наверное, напишу об этом.

— Конечно! Это очень интересная биография, — отвечал Дмитрий Михайлович. — Пишите! Еще

не останавливались на этом душевном кризисе! Я думаю, это будет очень интересная работа.

Со всей серьезностью и уважением он выслушивал завиральные идеи двадцатилетней девчонки или ее самоуверенные стихи. В другой раз, влезая по трубе, я вдруг сообщала:

Земля – только круглая груда,
Как ком испеченного хлеба…
А небо, веселое небо,
Над нами, под нами и – всюду!

— Понимаю, — говорил он, — продолжайте!

— Это все! Жить — очень интересно. Покойной ночи, Дмитрий Михайлович!

И, соскользнув вниз по трубе, уходила бродить по светлому пустому городу, над которым мерцало светлое небо, а шаги гулко отдавала тишина подворотен.

Деятельность Вольфилы с октября 1918 года, когда она открылась, по 1923 год была очень интенсивной и разнообразной. Как видно из последней сохранившейся афиши об открытом заседании 10 декабря 1922 года, это было CXLIX (149) заседание. (Афиш в фонде № 70 Пушкинского Дома сохранилось всего 49.)

Секретарем Вольфилы был назначен Владимир Васильевич Бакрылов. До Вольфилы он был правительственным комиссаром театров. До революции, с 15 лет — политическим ссыльным в Сибири. Сохранились его подписи на документах 1920–21 гг. и данное ему за подписью Иванова-Разумника удостоверение от 21/I 1921 года.

Создавались целые циклы, объединенные одной темой. Так, в 1921 году все воскресные заседания октября были посвящены Ф. М. Достоевскому, ноября — Данте (афиша № 49). В 1922 году февраль был посвящен докладам о Пушкине (афиша № 43), август — воспоминаниям об А. А. Блоке, сентябрь — о Хлебникове. Но обычно циклы и целые курсы лекций шли в кружках.

Красной нитью через все заседания проходила тема связи философии с жизнью, свобода мысли.

Первая годовщина открытия воскресников проходила в большом зале Географического общества. Сохранился протокол этого заседания (Пушкинский Дом, ф. № 79, опись 5, № 11). Тема заседания — Платон. Вместо доклада — собеседование, каждый высказывает свою точку зрения. Чем важен и близок Платон Вольфиле? А. З. Штейнберг указывает: «Платон — философ, для которого не было противопоставления филосо-

фии и жизни. Такое восприятие Платона в эпоху Возрождения создало вольную Флорентийскую академию, объединившую свободно мысливших ученых, поэтов, художников. Их объединяла задача соединить философию и жизнь. Для Вольфилы также философия — дело жизни, а дело жизни освещается философией…»

Профессор Чебышев-Дмитриев сказал: «Недавно я пришел в Вольфилу и уже не могу оторваться от этого приюта свободной мысли, от этого оазиса… Всем присутствующим я должен сказать: в Вольфиле нам дана возможность героизма, творческого духа».

Приветствуя Вольфилу от Наркомпроса, зам. наркома просвещения М. П. Кристи сказал: «Советская власть часто слышит от Вольфилы прямые или косвенные упреки, но советская власть не боится свободной мысли. Нельзя смешивать суровые меры, применяемые властью в Гражданской войне, с посягательством на свободу мысли. Самый факт существования ВФА показывает, насколько терпима существующая власть и как широки ее задания».

В заключительном слове председатель К. А. Эрберг сказал: «Сегодня объединились две темы: о Платоне и о Вольфиле. Вольфила ценит в Пла-

тоне творческое начало. Это начало мы будем ценить во всех других философах — и в мудрости мужика, и в мудрости поэта. Вольфила будет находить революционное творческое начало всегда и везде, иначе она не будет Вольной ассоциацией…»

Перелистываю папочку с надписью: «Анкеты-заявления членов-соревнователей». Вопросы: имя, фамилия, возраст, чем интересуетесь? Среди анкет много молодежи от 17 до 25 лет. Нахожу: Зощенко Михаил Михайлович, 23 года, студент-филолог. Невольно приходит мысль, а милиционер Миша — уж не Зощенко ли? Ведь как раз в эти годы Зощенко служил в милиции. Из его биографии известно, что в эти годы он начал заниматься изучением Маркса. Не он ли ярый спорщик, выступавший на чтении «Мы» с требованием изучать Маркса? Не он ли чернявый юноша, что ставил винтовку у камина и потом уходил с ней на милицейские посты? Конечно, это требует дополнительных изысканий. Но интерес М. М. Зощенко к работам Вольфилы виден из того, что очень рано, в начале ее создания, он вступил в члены-соревнователи. Есть и еще одна анкета серапионовца: «Лев Натанович Лунц, 19 лет, студент-филолог».

Значит, не только учителя «Серапионов», но и сами литературные братья принимали участие в Вольфиле. В. А. Каверин не прав, утверждая, что она была совсем чужда «Серапионам».

Анкеты сохранились не полностью: их всего 144. Многие буквы совсем отсутствуют, в других остались случайно уцелевшие имена. Но даже эти неполные сведения создают впечатление о составе членов-соревнователей.

Больше половины анкет — это студенческая молодежь от 17 до 25 лет (62 анкеты). Есть двое 16-летних школьников, 3 матроса. 42 анкеты людей среднего возраста: учителя, врачи, инженеры, художники. 35 анкет пожилых людей (от 40 до 65 лет) тоже разных специальностей. Среди них: Эрнест Львович Радлов, профессор философии, 8/XI 19 г. Анкета указывает, что он, как и ряд других профессоров, был связан с Вольфилой с самого начала. Вступил как член-соревнователь. В действительные члены он был избран 22/I 20 г.

Связи Вольфилы были очень широки; в архиве сохранился протокол собрания Организационного бюро по созыву первого всероссийского философского съезда (17 февраля 1921 г.). Была составлена программа съезда, намечены секции гуманитарных, биологических и физико-ма-

тематических наук. Я не помню, состоялся ли съезд, по-видимому, нет, но международные связи создавались. В Москве организовался филиал Вольфилы. Близкое Вольфиле издательство «Алконост» выпускало в эти годы книги, на титульном листе которых стояло: «Петроград — Берлин». Вероятно, с этим связан документ, сохранившийся в архивах Вольфилы:

Командировочное удостоверение № 112

30/IX 1921 г.

Настоящее удостоверение выдано Советом Вольно-философской ассоциации члену-сотруднику поэту Сергею Александровичу Есенину в том, что он, согласно пункту г, параграф 4 Устава Ассоциации, утвержденного Наркомпросом 10 октября 1919 г., командируется на трехмесячный срок за границу с целью организации при учрежденном в Берлине Отделе Ассоциации Русско-Германского Союза поэтов, родственного по направлению деятельности Вольфилы.

В Пушкинском Доме находится архив Р. В. Иванова-Разумника, где сохранились материалы

Вольфилы. Архив был подобран во время войны, при отступлении немцев из города Пушкина: на бульваре близ Египетских ворот, где жил Иванов-Разумник, профессор Д. Е. Максимов нашел на снегу бумаги. Они были порваны и смяты. Текст стерт и расплылся. Но Максимов увидел там ценные литературные документы и сообщил в Пушкинский Дом. Откопали из снега и спасли уцелевшие еще материалы Иванова-Разумника. Как видно по бумагам, архив был брошен потому, что хозяин его был уведен как пленник. (Сохранились частично афиши и протоколы Вольфилы.)

Эрнест Львович Радлов

Многим профессорам философии в 1922 году предложили покинуть Советский Союз и выехать за границу. Но Эрнест Львович Радлов остался. Он был директором Публичной библиотеки. Туда приходили к нему на семинар по Вл. Соловьеву студенты. Занимались в фаустовском кабинете.

Я помню высокие строгие окна с цветными стеклами. Разноцветные блики их на резных стеллажах с книгами.

Расписной потолок опирал свои своды на лепные колонны. На тяжело темнеющих «аналоях» лежали прикованные цепями фолианты.

Кожаные фолианты лежали на круглом столе, уходили в глубокую темноту коридоров из резных стеллажей. У окна — грузный письменный стол, огромный, покрытый рукописями. В окне раскрывалась рама с цветными стеклами. За ней, в глубоком проеме, шевелились ветки сквера и белели колонны Александринского театра.

В старинном кресле с высокой спинкой, опираясь на подлокотники, сидел Эрнест Львович Радлов. Он чуть приподнимался нам навстречу, наклоняя голову в черной шапочке. Жестом сухой узловатой руки приглашал нас садиться. Какое строгое, прорезанное морщинами мысли лицо! Может, это действительно Фауст в своем кабинете? Взлетали узловатые брови. Старик поглаживал удлиненную бороду, осматривал нас пристальными глазами. Все десять на местах?

— На чем мы остановились в прошлый раз, молодые друзья? Если не ошибаюсь, сегодня продолжаются прения по докладу Якова Семеновича Друскина о книге Владимира Сергеевича «Оправдание добра»?

— Совершенно правильно, Эрнест Львович, прения не были прошлый раз закончены, — чуть бычась, говорит Яша Друскин, деловито оглядывая всех зелено-серыми выпуклыми глазами.

— Прекрасно! Кто желает выступить?

Минута молчания. И, разбивая улыбкой ее напряженность, Эрнест Львович, откинувшись в кресле, говорит:

— Я помню разговор об «Оправдании добра» с Владимиром Сергеевичем. Мы ехали с ним на извозчике. Владимир Сергеевич сказал мне тогда свои стихи:

Милый друг, иль ты не знаешь,
Что все видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Это незримое несет «Оправдание добра».

Заблестели воспоминания, как разноцветные стекла окна, то строгостью философских формулировок, то искрами соловьевского юмора… Почему-то самые живые воспоминания у Радлова начинались всегда с совместных поездок: «Когда мы ехали с Владимиром Сергеевичем на извозчике…» Это была как бы присказка к сказке о Прекрасной Даме Философии. Как «в некотором царстве, в некотором государстве».

И каждый торопился вступить в это царство. Я, захлебываясь азартом, тоже ныряла туда.

— Конечно, Эрнест Львович, «Оправдание

добра» зиждется на «Критике отвлеченных начал»! В этой своей книге Владимир Сергеевич блестяще разбил абстрактную германскую философию! Он уводит там от постулатов формальной гносеологии. И перечеркивает Канта…

— Знаю, знаю вашу жажду низвергать кантианство, — усмехался моей горячности Эрнест Львович.

Действительно, я в то время болела Кантом, вгрызалась в его «Критику чистого разума». Снова и снова обдумывала концепцию Владимира Соловьева. Писала доклад о его «Критике отвлеченных начал». Прочитала доклад после Друскина, по окончании прений.

Прения обычно затягивались на два-три часа. Наконец, слегка утомленный, старик говорил:

— Ну, молодые друзья мои, на сегодня довольно. Мне пора уходить домой. Кто проводит меня?

Он останавливал глаза на каком-нибудь студенте и клал руку ему на плечо. Провожать его на Садовую, до его квартиры, — была большая честь. Он шел, опираясь на палку, положив другую руку на плечо провожатого, и беседовал. Эта честь часто доставалась мне — единственной девушке. Молодые люди расшаркивались и оставляли нас. Мы медленно двигались по библиотеке, как

корабли в море книг. Встречавшиеся сотрудники кланялись нам. И старик приподнимал свою черную шапочку.

Это была уж не Вольно-философская ассоциация, а почти средневековое ученичество, но оно сплеталось для меня с Вольфилой напряженностью мысли и жадностью поиска.

Еще об университете

Я не помню: как и когда увезли родители в Англию Алю Говард? Когда вызвал Максим Лунц, уже давно находившийся за границей, свою жену и детей? Надо будет спросить у Али: как и когда он с матерью и сестрой очутился в Берлине? Но это было позже.

Мой отец был очень болен: шесть недель он истекал кровью вследствие острой язвы желудка. Пил только молоко, которое я привозила из Ижор, с Хутора. Потом я совсем переселилась в Ижоры. Это было в ту весну 1919 года, когда я учительствовала в ижорской школе… Занималась древнегреческой философией, читала Платона (в русском переводе, конечно) и своими руками обрабатывала огород. В университете совсем прекратились занятия, и я писала Але стихами:

Мой маленький маэстро,
Не знаю, как начать?
Уже конец семестра —
Мне Жилина не сдать.
Боюсь я речи гневной,

Плохи мои дела:
Чухонскою царевной
На Хуторе жила.

Много тогда я писала стихов, но все они пропали, и я их почти не помню.

Когда же на Хутор приехали тетя Тиля с Женей, умирающим от туберкулеза горла? Было это в ту же весну 1919 года… или в 1920 году? Так много вмещалось в каждый год того времени. В 1920 году я возвратилась в университет, там стали восстанавливаться, уравновешиваться какие-то нормы занятий и существования.

Как я стала этнографом

В двадцатые годы посещение лекций в Ленинградском университете было свободным: если лектор пользовался успехом, его лекции посещали и студенты чужих факультетов. Ходили слушать блестящие выступления профессора Тарле, эстетическую философию профессора Карсавина, иногда историки дерзали ходить на биологический факультет, слушать профессора Ухтомского… Я училась на экономическом отделении ФОНа (факультет общественных наук). Проштудировав в семинаре «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, ознакомившись с Морганом, решила слушать курс введения в этнографию. Читал его профессор Л. Я. Штернберг. Нашла аудиторию, вошла. Аудитория была полна. Заняв все скамьи, студенты сидели, шумно переговариваясь, но сразу же смолкли, когда на кафедру взошел профессор.

Худой, как бы обугленный внутренним горением, старик разложил кипы исписанных карточек и поднял глаза. Минуту пристально смотрел на нас сквозь очки, потом начал говорить:

— Многие совершенно не представляют себе, что без этнографии, без ее данных, классификации и сообщений, нет и не может быть науки о человечестве, его культуре, пространстве и времени. Проще говоря, невозможна ни наука, которая именуется историей, ни такая дисциплина, как социология… Величайшая заслуга этнографии в том именно, что она впервые установила конкретное представление о человечестве в целом. Это она, если можно так выразиться, впервые сделала перекличку всех народов планеты… — Он наклонился к своей картотеке, чтобы привести цитаты, доказывающие его мысль. Близко поднося их к очкам, читал, покашливал, перебирая листочки. Он не был оратором, слегка заикался. Слушать его было нелегко, записывать — также.

Я удивилась: что привело сюда всех этих студентов? Почему они слушали, не отрываясь, напряженную и деловитую речь Штернберга? И вскоре поняла, что перед нами — не академическая лекция, а дело жизни этого человека. В этнографию он вкладывал всю свою волю и страсть. Это ощущалось всеми и не могло не зажигать…

Темные глаза Штернберга горели.

— За историю обычно принимали отрезок в четыре-пять тысяч лет, относящийся к народам Европы и Средиземноморья. Другие народы считались неполноценными, дикарями. К ним относились свысока. Дикарей нет! У всех есть своя культура, достойная внимания и уважения. Каждый народ что-нибудь дает для всего человечества… Например, древнемексиканская и перуанская культуры были выше и совершеннее, чем у испанских варваров, которые их разрушили. Преимущество испанцев было только в том, что они лучше умели убивать… Этнография учит всматриваться… Этнограф видит все народы принципиально равными и знает, что процесс истории человечества един. Различие лишь в количестве накопленного опыта в зависимости от географических и историко-социальных условий.

Перед нами был не профессор вуза, не оратор, а проповедник истины, несущий понимание законов культуры.

Так я стала этнографом. Лекции Штернберга, Богораза, потом Зеленина…

В. Г. Богораз (Тан) — тоже ссыльный народоволец, как и Штернберг, писатель, журналист, этнограф. Его научные труды — монография по

чукчам (три тома на английском языке) была напечатана в Америке… Из ссылки он привез в Петербург, кроме научного, еще литературный груз: стихи, рассказы, очерки, целые романы и еще не угасшую жажду — дайте додраться!

Он входил в аудиторию, круглый, как шар, волоча за собой полосатый большой мешок вместо портфеля. Ставил мешок на пол. Плотно усевшись на стуле, начинал беседу с аудиторией. «Имейте в виду, — предупреждал он на одной из первых лекций, — этнографом может стать только тот, кто не боится скормить фунт крови вшам. Почему скормить, спрашивается? Потому, что узнать и изучить народ можно, только если живешь с ним одной жизнью. А у них вошь — довольно распространенное животное».

Голубые глаза его задорно сверкали. Он вел лекцию-беседу, перемежая научные выводы рассказами, от которых зал грохотал смехом… Он любил афоризмы: на семинаре, предлагая сделать доклад, говорил:

«Не забывайте, что нельзя рассчитывать на память, она подменяет факты. Каждый факт имеет законные 25 % лжи. Но старайтесь, чтобы не больше… В основе лежит истина просто потому, что у человека не хватает фантазии все выдумать…

Дело этнографа — расслоить правду и ложь». Отправляя нас на первую практику, сказал: «Я хочу прочесть вам десять заповедей этнографа, которые мы с Львом Яковлевичем исповедуем».

Среди них были такие:

1) Этнография — венец всех гуманитарных наук, ибо она изучает все народы в настоящем и прошедшем.

2) Не делай себе кумира из своего народа, своей религии, своей культуры. Знай, что все люди потенциально равны: нет ни эллина, ни иудея, ни белого, ни цветного. Кто признает один народ — не знает ни одного, кто признает одну религию, одну культуру — не знает ни одной.

3) Не профанируй науки, не оскверняй ее карьеризмом.

4) Не убивай науки фальсификацией фактов, поверхностными неточными наблюдениями, скороспелыми выводами.

5) Не чини плагиаты.

6) Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, на другие народы, на их характер, обряды, обычаи, нравы и т. д.

7) Не навязывай насильно исследуемому народу своей культуры. Подходи к нему бережно и осторожно, с любовью и вниманием, на ка-

кой бы ступени культуры он ни стоял, и он сам будет стремиться подняться до уровня высших культур.

Был Богораз подвижен и экспансивен, как в молодости. Вспоминается случай: мы, несколько человек студентов, сели в трамвай у университета. Видим: из МАЭ (Музей антропологии и этнографии), тряся полосатым мешком, бежит Богораз. На повороте, у Дворцового моста, нагнал трамвай, на ходу вскочил на площадку. Увидел нас и, весело подмигнув, крикнул: «В каюры еще гожусь». Было ему в то время порядочно за шестьдесят.

Он сохранил живую связь с северянами, входил в комитет Севера, был организатором Северного рабфака, преобразованного из Географического института. Этнографическое отделение было на географическом факультете. Циклом народов Севера занимался Богораз, Л. Я. Штернберг вел общие курсы… А возглавлять восточнославянский цикл был приглашен профессор Д. К. Зеленин. Нас изумил его академический тон: он был корректен, подтянут и требователен. Место юмора и романтики на лекциях заступил четко организованный труд. Он приучил студентов к самостоятельной работе над источниками по

архивам… Студентам предоставлялась полная свобода научного анализа, и в то же время чувствовался внимательный, оценивающий взгляд руководителя. Основная черта Д. К. Зеленина как ученого и как преподавателя — уважение к чужой точке зрения. «Различные взгляды необходимы для развития науки», — постоянно подчеркивал он.

«Снарк»

А центром университетской жизни было общежитие. Мы жили коммуной. Ядро ее — бывшие осузовцы: Вера Либерман, два Шейнманна (Сережка сбоку припека, он первокурсник), комиссар университета Мишка Цвибак, Ида Варшавская, Дина Романенко, дядя Костя Доброхотов (он много старше нас, вернулся в университет с войны). Участвовали в нашей жизни и приходящие члены «Снарка».

«Снарк» (по Джеку Лондону) — корабль, на котором мы отправляемся в путешествие: «по земле, под землей, по воде, под водой, в воздухе и в безвоздушном пространстве». Члены «Снарка» — вся наша коммуна, кроме того, приходящие: Сеня Малятский, Толя и Зайка Розенблюм, чуть дальше — Веня Каверин и Лида Тынянова (у них своя группа — «Серапионовы братья», но псковичи держатся вместе, а основной наш сочлен — Толя Розенблюм — товарищ Вени по псковской школе). Обязательные члены «Снарка» — Лиля и Кука Дорфман. Есть еще Зина Ливицкая — «нос корабля». Ритуал путешествия таков: в комнату, где живет Ида Варшавская, сносятся стулья со всего

этажа и ставятся так, чтобы спинки их составляли как бы борт корабля. В середине ставится стол, на него — табурет. Это — мачта. На мачте — юнга Левка Варшавский, именуемый еще «сосунком», потому что он не студент, а школьник, путающийся у сестры в общежитии. Нос корабля — Зина Ливицкая — садится лицом к окну, она должна изобразить вылет корабля. Под стол садится Кука Дорфман — он «газолиновый мотор». На шкаф взбирается «дежурный рулевой», ведущий корабль. Мы поем гимн:

Лот, лот, лот!
Пусть наш боцман, как лот,
Будет брошен вперед,
До луны, глубины
Ей измеривай!

Мы – у лунной расщелины.
Мы – команда всесветного плаванья,
Звезды дальние будут нам гаванью.
Уж матросы поставили быстрые
Паруса облаков серебристые.
И корабль наш несется как бешеный,
К мачте – солнце подвешено.

Сквозь астральный туман
В Мировой океан направляется!
Режет звездную пыль.
Капитан на бутыль опирается.

На корабле был судовой журнал, в который записывались все этапы путешествий. И — любые проекты будущих путешествий или открытий. Намечал следующие путешествия дежурный рулевой. Он назначал их в конце предыдущего странствия и обязан был подготовить (держа это в тайне) все необходимое для будущего пути. Когда все было готово — дежурный рулевой объявлял день и час отправки корабля.

Путешествие делилось на две части:

1) Серьезный доклад на важные животрепещущие научные темы — например, Кука Дорфман, физик, рассказывал о принципе относительности Эйнштейна. Тогда только начинали писать об этом. Кука, поблескивая очками, говорил, что представить себе относительность времени и пространства — невозможно, но математически точно Эйнштейн доказал их.

— Послушайте, Кука, — говорила я, — но ведь это подтверждает положение Канта, что время и пространство суть координаты нашего воспри-

ятия мира! — Я тогда только взялась за Канта и одолевала его с трудом, но с жадностью. — Наш мир, недоступный иначе, чем через наши координаты, для существ с другими координатами будет совсем другим.

— Это противоречит материализму! — с торжеством вскричал Мишка Цвибак. Спор о философских принципах и разговоры о том, можно ли представить себе строение атома, шел несколько часов.

Другое путешествие началось докладом об омолаживании, третье — о генетике и изучении наследственности, которое проводил Филипченко.

2) После доклада — его шутливая интерпретация, иногда инсценировка. В лицах показывали, как омоложенный Керзон приобрел ловкость и подвижность обезьяны.

Не помню, конечно, всех тем, проходивших в путешествиях «Снарка». Мне видятся только молодые, оживленные лица, помнится чувство овевающего воздуха из окна. Казалось, «Снарк» уже взлетел, вылетел из окна, воплотившись в яркий сияющий контур там, над Исаакием. Мы летим. В комнате остались: стол посредине, валяющиеся венские стулья. Спрыгнул со шкафа

дежурный рулевой Юра Шейнманн и повел корабль в неизвестное.

Итак — «Снарк» и веселые вечеринки в общежитии. Собственно говоря, совершенно неправильно говорить «вечеринки» — это не ограничивалось вечерами, а наступало «запоем на двое суток». Начиналось с заседания «Снарка», с очередного доклада о генетике, об истории Египта или этнографии Японии (Визель). Потом — инсценировка. Потом расстилали на полу матрацы и начинались стихи. А иногда, белыми ночами, выходили на улицу с песнями, шли по Дворцовой площади и там танцевали. Меньше — нам было недостаточно места. На другой день так и не могли разойтись, потому что затевался спор о том, как будет жить наша коммуна, какой мы сумеем достать дом для нее и как распределим. Дом мечтался такой: первый этаж — библиотека, столовая, кухня, комната отдыха, «детский квартал» — у нас будут дети, и они, конечно, будут воспитываться все вместе. Второй этаж — индивидуальные комнаты. Каждому человеку по комнате. Нас будет человек десять-двенадцать. Не представлялись и замкнутые семьи фаланстера… Любовь приходит и уходит, но не она строит жизнь, жизнь строится в дружеской коммуне. Не

знаю, было ли это вполне серьезно у других (теперь сомневаюсь в этом), но у меня было вполне серьезное сложившееся убеждение… Мы даже пытались создать такую коммуну, когда ушли из общежития. Ушли тоже по социальным причинам: в те годы, когда мы жили в общежитии, в Питере почти не было иногородних студентов. У нас оставались необжитые комнаты в квартирах родителей, а мы переехали в общежитие и обживали его, стряхнув прах прошлого. Но наступил НЭП. Жизнь из фантастического мира переходила в бытовую реальность, и наше общежитие, так же как и писательское общество в Доме искусств, — распалось. Мы сочли нужным уступить его тем, кто приехал учиться из провинции, а сами вернулись к пенатам с тем, чтобы подыскать и переехать уже не в студенческое общежитие, а в коммуну… Но коммуна, еще не реализовавшись, распалась: Сеня Малятский уехал на биологическую практику, Толя Розенблюм (левый эсер) должен был уехать из Петрограда, так как начались аресты левых эсеров, у Иды Варшавской — роман с человеком, совершенно не подходящим к нашей коммуне; дядя Костя Доброхотов был в экспедиции на Мурмане, там тяжело заболел. Ребята собрали деньги и отправили меня

в Мурманск ухаживать за ним в больнице. Я приехала туда, но — поздно: он умер на другой день. Умер не одиноко — были чуткие и хорошие люди в экспедиции. Никому не показалось странным, когда я сказала, что меня прислали ухаживать ребята «из нашей коммуны». Приняли как само собой разумеющееся.

Похоронили его. Прожила я несколько дней в вагоне-теплушке, где жили все. В нем же мы все вернулись в Питер. Это была осень 1922 года. Словом, к зиме остались мы от коммуны с Юрой вдвоем. Любовь из стадии стихов и решаемых сообща мировых вопросов переходила в реальность. И мы решили, что если нет коммуны — мы поселимся вдвоем.

Часть II. Пути судьбы

Пути Судьбы неотвратимы:
Кто видел старой Норны нить?
Неслышно Смерть проходит мимо,
Нежданно радость может быть.
Но дело чести, дело смелых,
Не изменяя шаг, идти,
Лишь песней отмечать пределы
Уже пройденного пути…

Н. Гаген-Торн

Шпалерная

Тюремная камера была переполнена. тюрьма строилась «в проклятое царское время» по последнему слову тюремной техники: вместо параши — ведро с испражнениями, которое в старину выносили заключенные, — в камере был унитаз, отгороженный железной ширмой в рост человека. Рядом — кран умывальника. В камере не нары, как было в XIX веке, а индивидуальные деревянные, обтянутые парусиной койки, которые поднимаются и откидываются на стену. Светлые коридоры. Вместо знаменитой тюремной двери с глазком общие камеры отделены от коридора толстой добротной железной решетчатой дверью. Все продумано и носит явно печать столыпинского цивилизованного периода.

Но эта цивилизация была разрушена сталинской эпохой. В камеру, рассчитанную на 16 человек, помещали около 40, койки-рамы опущены, на них настлали доски, образуя сплошные нары. Поставлены еще и железные кровати, на которых спали по двое. Постилалось что-нибудь на ночь и на столе. Сорок женщин, сидя на этих досках, говорили шепотом — громко запрещалось

говорить. Если гул разговора чуть повышался, за железной решеткой двери показывалась надзирательница: «Прекратить разговоры!»

«Дайте, пожалуйста, валерьянки, мне плохо», — тоненьким голоском просила какая-нибудь недавно приведенная и заплаканная женщина.

«Сейчас», — надзирательница отходила и через несколько минут протягивала кружку с валерьянкой. В валерьянке отказа не было. Она была проявлением гуманизма. Плакали не все время. Обычно новенькая, войдя в камеру и оглядевшись кругом, начинала рыдать:

— За что меня? За что меня взяли?! Вы давно сидите, женщины?

— Кто как, — охотно вступали в разговор аборигены.

— А когда же выяснится, за что арестовали?

— Вы хотите знать, когда на допрос поведут? Ночью, наверное. На допрос все больше ночью.

— Но меня сразу выпустят, меня ведь по ошибке взяли, как я ночью домой пойду? — наивно говорила новенькая.

Аборигены хихикали.

— Ишь ты, сразу домой! Почему-то пока никого не выпускали… Я две недели сижу, три раза на допрос вызывали, но так и не знаю, за что

взяли, — сообщала словоохотливая гражданка средних лет.

— Но у меня ребенок, ребенок дома один остался! — опять начинала рыдать новенькая молодая женщина в ярком и пестром халате. — Посмотрите, я в халате выскочила во двор снять белье, а они подошли и говорят: «Пойдемте, гражданка, вас вызывают в милицию». Я говорю, мне надо белье домой снести и одеться. А они: «Да нет, пусть повисит, это ненадолго, машина ждет!» Повели и посадили в машину. Я спрашиваю: «Что случилось? С мужем несчастье? Скажите скорее!» — «Там узнаете!..» И повезли вовсе не в милицию, а прямо сюда, на Шпалерную. Заперли. Я стучу — у меня же ребенок, ребенок маленький заперт, пустите скорее! Уж не знаю, сколько я там часов просидела. То плачу, то стучу. Наконец открыли. Я думала — выпускают или к начальнику, объяснит хоть, в чем дело… А привели сюда. Что же это значит? Объясните, женщины.

— Тебя как зовут? — спросила разговорчивая гражданка. — Аней… Так вот, не надейся, Анечка, что скоро домой попадешь. Скоро отсюда не выходят. А куда выходят — не знаем мы. Всунется надзирательница, выкрикнет фамилию. Отзовешься. Спросит имя-отчество. Скажет: «Со-

беритесь с вещами». И все!

Камера наполнялась разными женщинами, молодыми и старыми, интеллигентными и совсем простыми. Тесно сжавшись, сидели чуриковки. Шептались, рассказывали про «братца Иванушку». Организовались они довольно быстро. Первыми научились стучать по трубам парового отопления, узнавали тюремные вести, а потом придумали и «голосовую связь» через унитаз, по трубам. Растерянно сидела темноглазая девочка-студентка Верочка и все спрашивала, по-детски покусывая губы: «Ну за что же меня взяли? Все не могу придумать — за что? Ведь я больше недели сижу, а на допрос еще не вызывали!»

В камере шли бесконечные шепоты: гадали, кого за что взяли, рассказывали свою жизнь, говорили все больше о детях.

Я сидела уже больше недели. Была на допросе один раз. Обошлось удивительно странно: следователь расспрашивал меня о контрреволюционной деятельности Моторина.

— Но ведь я ничего не знаю об этом. Моторин — член партии и директор института, я — рядовой научный сотрудник, беспартийная. С какой стати он будет говорить со мной о чем бы то ни было, кроме научных тем?

— На какие темы вы говорили?

— Об этнографии и учении Н. Я. Марра. — Тут я стала объяснять свою точку зрения на теорию Н. Я. Марра. Было ясно, что следователь ничего в этом не понимает. Тюремные впечатления казались уже освоенными, в них пока не было ничего страшного, просто как в тесном вагоне ехать: душно, неудобно и главное — скучно. Бессмысленная и томительная неизвестность: почему эти, а не другие женщины сидят здесь и тоскуют по дому? Неужели эти мирные обывательницы могут быть рассматриваемы как политические противники советской власти? Нелепость!

Утром — подъем! Все выстраиваются, входят люди в форме, пересчитывают, записывают, выходят. Приносят чайник кипятку, пайку и два пиленых куска сахара — дневной рацион. В полдень приносят баланду, камера пропитывается отвратительным запахом соленой рыбы. Гремят железные миски. Есть баланду почти никто не может (ведь 36-й год, люди еще не оголодали). Уносят бачок с супом и вносят сухую перловую или ячневую кашу, ее с трудом, но съедают. Вечером — опять баланда и кипяток. Тишина. Только потрескивают трубы парового отопления. Шепчутся женщины.

Отбой! Опять проверяют. И расстилаются постели. Иногда по ночам доносятся какие-то крики. Все вздрагивают. Поднимают головы. Тревожно прислушиваются. И — опять тишина. Щелкает ключ. Звучит фамилия. Названный вскакивает встревоженно. «Одевайтесь! На допрос!» Камера напряженно затихает. Почему всегда ночью, удивлялась я, что им, нет времени днем? Мне как-то не приходило в голову, что это делалось специально, ибо ночные допросы оказывают терроризирующее действие. Странно вспомнить, но мне почему-то совсем не было страшно: в это первое время еще не было нарушено окончательное доверие к советской власти. Казалось: очередная глупость, очередное недоразумение! Разберутся, конечно! Страха не было: своя советская власть.

Надо сказать, что шел октябрь 1936 года, я только что вернулась из экспедиции и еще не представляла себе массовости, грандиозности этого явления. Больше удивляла бессмысленность пребывания в камере среди бредового существования этих женщин. Может быть, было чувство некоторого удовлетворения даже: с меня снимается ответственность за происходящее. Я уже не могу публично протестовать против глупости, против злобы. Ведь я была в Поволжье

и видела хлеб, который нельзя есть человеку. А его ели целые деревни. Потому что мне, как каждому этнографу, близко соприкасающемуся с жизнью деревни, была ясна безмерность человеческих страданий, при помощи которых вводилась коллективизация, но совсем не было ясно — неужели необходимо так вводить коллективизацию: путем насилия, калеча жизни сотен тысяч раскулаченных, путем произвола, лжи и ненависти? Я не могла с этим согласиться. Но не находила и что противопоставить…

Вера Федоровна Газе

Посмотрим, что будет дальше. Звякнул ключ. Раскрылась дверь-решетка, в камеру вошла, сгибаясь под узлом вещей, высокая блондинка с тонким интеллигентным лицом. Беспомощно положила узел на стол, оглядываясь.

— Здравствуйте!

На меня глянули большие голубые глаза, полные сдержанного отчаяния.

— Здравствуйте! — заторопилась я. — Давайте ваши вещи сюда. Устраивайтесь рядом со мной — у меня целая кровать в распоряжении.

Она положила узел и села на кровать.

— Вы давно здесь? — спросила меня.

— Около трех недель. Конца не предвидится.

Она пристально посмотрела на меня.

— Мы, кажется, с вами где-то встречались?

— В Публичке, наверное, а может, в академии. Вы в каком институте работаете?

— Астроном я, — машинально ответила она, потом удивилась: — Почему вы решили, что я в академии?

— По облику. Шила в мешке не утаишь! Я из МАЭ, этнограф. Нина Ивановна Гаген-Торн.

— Вера Федоровна Газе, — также машинально сказала пришедшая.

— Так и есть! Третья в нашей камере из Академии наук, и все — с вещами! Видно, там обучают, как надо садиться в тюрьму, — с горьким юмором сказала молодая женщина. Кругом засмеялись шутке…

Мы быстро разговорились и установили, что встречи уходят глубже: Верочка вспомнила, что видела меня еще в Вольфиле.

— Я тогда тихо сидела на полу и слушала, — улыбнулась она. — А вы — очень рьяно выступали.

— Наверное, удивлялись, какая нахальная девчонка? — спросила я.

— Нет, нахальной вас нельзя было назвать, но

вы были очень вольнолюбивой!

Так началось наше плавание в никуда на узкой железной кровати. Жизнь однообразна до предела. «Подъем!» — голос дежурной надзирательницы в коридоре. Зашевелилось месиво женских тел. Убрали свои подстилки те, кто спал на столе и скамейках, сложили на доски нар, настеленных всплошную у стен, где когда-то были койки. Встала очередь к умывальнику и к «туалету». «Староста — за пайками!..»

В обычной жизни события связаны между собой крепко, как плот на реке, и мы не замечаем, как течет время. Заключение в тюрьму обрывает привычный ход наших дел. Нас несет Время. Событие встает как подводный камень: вызов к следователю. Обессиленное сознание цепляется, пытаясь поправить порванные связи. Человек вырван, отторгнут от жизни, он не знает своего будущего. И часто — начинает фантазировать прошлое.

В камерах идут разговоры о прошлом. Иногда биографии придумываются. Люди не лгут при этом. Они начинают видеть прошлое в новом ракурсе. Приведу лишь два очень ярких примера. В женских камерах постоянны разговоры о детях. Их видят во сне, описывают в рассказах. Когда

меня ввели в камеру, почти у всех сидящих в ней женщин дома остались дети. О них говорили, чаще всего не о том, какие они сейчас и что с ними, — это слишком больно, чтобы говорить, об этом только плачут. Рассказывали о том, какими они были маленькими, утешались этими рассказами. Одна тридцатилетняя женщина, плотная и подвижная, сказала, что у нее нет и не было детей. И ей нечего рассказать. Но через несколько дней оказалось, что у нее тоже был ребенок, совсем маленький.

А в камеру приводили все новых женщин. И опять шли разговоры о детях. И у этой тридцатилетней женщины в рассказах ребенок вырос, она стала вспоминать, как он выучился ходить, какие слова стал говорить первыми. Она не лгала, она сама поверила, что он был. Однажды она легла и стала горько плакать, говоря, как тоскует о нем.

Другой случай, гораздо более сложный, мне встретился много позднее, в Мордовии, в потьминском лагпункте… (Об этом см. во «Втором туре». — *Г. Ю. Г.-Т.*).

Пишу я об этом потому, что все было нереальным, все шло в смещенном тюремном сознании, и мы вдвоем с Верочкой, сидя с ногами на нашей кровати, как на плоту, плыли в прошлое, четко

примечая, чтобы нигде и ни в чем не сместилось у нас сознание. Перебирали нити в ткани культуры, которую знали. И, перебирая события со времен Вольфилы, рассказывали друг другу о своей жизни. Как много стихов мы читали! Часы заплетали в ритмы стихов, а соседи по камере все чаще слушали их. Вера Федоровна помнила наизусть почти всего «Онегина», всего «Демона». Сияли голубые глаза Веры Федоровны светом правды и подлинности. И отходили от камеры бреды, кругом было неправдоподобно, полно бредовой фантазии, и чувство реальности терялось в бреду.

Звучали великолепные, чеканные строки стиха, приводя в сознание, и лица становились другими. Мы устраивали соревнования в подборе стихов для всей камеры. Вера вела Пушкина и Лермонтова, я дополняла ее Некрасовым. «Русские женщины» помнила я наизусть, и показалось мне мало только читать их — я инсценировала разговор генерала с Волконской. Камера смеялась и плакала… Но… Если оживление слишком охватывало камеру и становилось громким, из коридора гремел голос надзирательницы: «Соблюдать тишину!» Все замолкали. Мы с Верой, притулившись друг к другу на нашей

кровати, тихо говорили о Блоке, Белом, Ходасевиче. Вставала юность 20-х годов. Я рассказывала ей о бродяжничестве и об этнографии. Она рассказывала мне о звездах, о том, чем были для нее астрономия и чувство космоса.

Чуриковки

— Кроме академических — все сюда без вещей пришли.

— Не все, не все, Анна Ивановна с большим узлом пришла, — сказала черненькая кудрявая девушка, указывая на полную женщину в платочке.

— Обязательно с вещами надо, — подтвердила Анна Ивановна, — нам братец Иванушка велел: необходимое с собой в тюрьму берите.

— Чуриковки знают, за что сидят.

— За Бога, за Бога сидим, — скороговоркой сказала Анна Ивановна, — за него и сидеть не страшно.

— А когда не знаешь за что, — страшно, — ответил ей чей-то грустный голос.

— Почти каждая говорит — не знаю за что. Неужели все зря сидят? Врут, наверное. Знают свое дело, да не признаются.

Черненькая девочка молча укоризненно посмотрела на говорившую.

— Вот что я знаю: мы с подругой по институту вместе к экзамену готовились, я к ней на квартиру ходила. У нее арестовали отца, я даже не знала,

что он арестован. А потом забрали и подругу, и меня. Следователь мучил всю ночь: расскажите, в какую контрреволюционную организацию вы были вовлечены и какие вам дали задания. Я уверяю, что ничего не знаю, а он… Он так страшно ругается… И все грозит, что изобьет, — прошептала она.

— Разберутся, — уверенно сказала стриженая, очень подтянуто одетая пожилая женщина, — я старый член партии и заверяю вас, Наташа, с вашим делом, как и с моим, непременно разберутся! У следователей очень много работы, поэтому произошла задержка. После праздников, если дело обстоит так, как вы говорите, вы пойдете домой! Вы комсомолка?

— Комсомолка.

— Ну и не поддавайтесь мещанским, обывательским басням: партия не может не разобраться правильно!

Мы с Верой Федоровной молча переглянулись. Шел ноябрь 1936 года. Эра массовых репрессий только еще разгоралась, охватывая все новые слои населения. В 1929–1930 годах шли коллективизация и раскулачивание. Часто кулаками оказывались те, кто за десять лет до этого, в 1918 году, был бедняком, сумел воспользовать-

ся выданными государством землей и скотом, отобранным у помещиков, во время НЭПа завел крепкое, прогрессивно организованное хозяйство. Такие хозяйства в то время одобрялись и поощрялись! Но вскоре период НЭПа кончился. Началась эра коллективизации. Люди, имевшие крепкое хозяйство, пошли в ссылку как кулаки. Этот процесс охватил деревню. Горожане почти не знали о нем или не замечали его. Потом, в 1932–34 годах, начались аресты в городе, но арестовывали в основном «бывших людей», организовывались процессы «вредителей». Их разоблачали, они давали против себя показания, уходили в лагеря, если не были расстреляны. Городская масса не представляла себе, что аресты могут коснуться и их. 1936 год охватил арестами уже все слои поголовно, прежде всего — партийцев. Это продолжало казаться многим каким-то недоразумением. Даже те, кто попал в тюрьму, долго считали это индивидуальным недоразумением, ошибкой. К осени 1936 года опасность осознала, пожалуй, только беспартийная верхушка интеллигенции. Она вступала в тюремные двери с грустным сознанием: выход отсюда вряд ли возможен. Человек брал с собой чемоданчик, прощался с семьей, хорошо зная, что это — на

годы. На долгие годы.

Так встретились мы в камере с Верой Газе. Понимание было одинаковым. Переживания различались по темпераменту. Она — с мудрой покорностью карме, я — с пылким желанием бороться. Волк, даже затравленный, не сдается без боя: мне доставляла удовлетворение перепалка со следователем. Я была уверена (уверена и сейчас), что бьют тех, кто боится побоев. Если это чревато неприятностями — бить опасаются. Конечно, если нет специального задания сверху — применять пытку.

Утром к следователю вызвали Анну Ивановну. Она неторопливо поправила платок, поклонилась в пояс камере и степенно пошла к решетке. Держали ее почти до вечера. Но вернулась она спокойная, без рыданий. Попросила только: нет ли у кого карандашика? Дали. Оторвала от газетки, в которую заворачивали махорку, чистую полосочку и написала что-то. Попросила у курильщиц спички и подожгла бумажку. Записочка скорчилась и сгорела. Анна Ивановна села на свою постель.

Уже когда в камеру принесли ужин, забрали миски с перловой кашей, поели, кто где устроился — за столом мест не хватало, — Анна Ивановна

подошла к нам.

— Помог мне братец Иванушка, — удовлетворенно сказала она. — Помог. Укрепил.

— Кто такой братец Иванушка? — спросила Верочка.

— Коммуны нашей председатель. Слышали про него?

— Я немножко слышала про эту коммуну, она на первой сельскохозяйственной выставке премию получила?

— Да. А начинали с восьми коров, с куска болота под Вырицей. В двадцатом году братец Иванушка выхлопотал. Старую, от прежних господ оставшуюся дачу еще дали в Вырице. А какую жизнь-то сделали!

Анна Ивановна засветилась:

— Три лета я в ту коммуну порадеть братцу ездила. И каждый ездил — отпуск свой проводил и работал. Человек по тридцать в коммуне живало летом. Сядут за стол — братец Иванушка во главе стола. На лавочках по обе стороны садятся: по правую мужчины, по левую женщины. И трапезуют и беседуют. Перед каждым чашка поставлена, и стряпуха, чья череда в тот день, обносит пищей. Как на тайной вечере Христос с учениками. Беседу ведут. И братец Иванушка

изъясняет: «Не верю, что человек один раз живет. Много раз он живет, умрет и опять воскреснет. Не в раю, в рай-то не скоро попадешь; на земле опять родится младенцем. Войдет душа во чрево и воплотится».

Мы с Верой переглянулись.

— А вот-таки и понятно, почему у человека судьба несчастная бывает: за прошлые грехи! Это и есть чистилище: в прошлой жизни грешил, умер, врагам своим не простив, не покаявшись, и снова душа на землю попала — пусть покается! Мы не помним, что раньше жили, а дела наши помнят, откликаются.

— Карма? — прошептала Верочка. — Откуда это здесь?

— А почему же это известно? — спросила я.

— Которые чистые, Богу угодные души — те помнят. Братец Иванушка себя семь тысяч лет помнит. И как Христос на земле жил, и как распяли его — видел братец Иванушка, помнит. Нам рассказывал, все плакали. — Она замолчала, умиленная воспоминаниями. Отошла от нас на свое место. Села со светлым лицом. Только раз, возбужденная убеждением, что братец услышал ее сигнал, рассказала она так подробно. Потом — избегала длинных расспросов, а я, я боялась

спрашивать — в тюрьме никогда не показывают: знакомых по воле, а тем более однодельцев, не держат в одной камере. О знакомстве — не подают вида.

Доверяя нам с Верочкой, Анна Ивановна через несколько дней шепнула о новенькой: «Наша, с Вырицы». От нее мы узнали подробнее о вырицкой коммуне.

В течение НЭПа коммуна разрасталась и богатела. Работали, «как хотели да как могли». Платы не получали, но были сыты и восторженно-радостны: миру душевному, дружеству, отдыху от города и борьбы за существование.

В 28-м году коммуну разогнали, братца Иванушку арестовали. След его потерялся. Перед арестом он учил не бояться страданий, помогать друг другу и — как акт наиболее действенный — просить о помощи в самую трудную минуту: сожженной запиской позвать его.

Организованность осталась, как — неизвестно, но чуриковки умели передавать друг другу вести и в самой тюрьме. Знали, что их довольно много сидит, и мужчин, и женщин. Получили передачу с теплыми вещами, валенками, полушубками и спокойно готовились к этапу, надеясь почему-то, что их всех вышлют в одно место.

Как они умудрялись общаться — не знаю. Тюремная этика запрещает наблюдать, как передаются вести. Во всяком случае, они знали, сколько и в каких камерах сидят «наши», знали, что готовится этап из следственной тюрьмы.

После того как их увели из камеры, мелькнула на несколько дней еще одна чуриковка интеллигентного вида. Разговаривая с ней, я систематизировала отрывочные сведения о вырицкой коммуне и услышала более связный рассказ о братце Иванушке, поданный в теософской терминологии: она говорила о карме, знанию которой он обучал, об излечениях путем гипноза, о том, что он «человек необычайно высокого духа», помнящий свои прошлые воплощения. Нам с Верой стало ясно, что высокий дух был в твердом и трезвом мужицком теле, умевшем вести людей за собой и широко помогать им.

Мы с Верой много думали и говорили об этом человеке. Он явно не был шарлатаном. Он верил, что помогает и указывает путь духовного совершенствования тем, кого он излечил от пьянства и от физических болезней. Видел он свои прошлые существования и говорил о них как о виденном. Знал ли он что-нибудь о теософии и мистических учениях Востока? Это трудно было установить

потому, что те, к кому он обращался, воспринимали это как его личные откровения, его общение с Богом: среди чуриковцев почти не было интеллигентных людей, это были в основном даже не рабочие заводов, а ремесленные низы города.

Мы с Верочкой подивились, что к 36-му году это движение, оказывается, не умерло. Чуриковцы были в тюрьме единственной группой, поддерживающей друг друга. Им разрешали по окончании следствия передачу. В передаче были продукты и теплые вещи «от братьев и сестер». Они пошли в этап хорошо экипированные.

Великий Сибирский путь
(Из записок 1977 года)

Этап был тяжелый. Новосибирская тюрьма была так переполнена, что отказалась принять нас, и эшелон оставался стоять на задних путях Новосибирска. Был июль. Жара. Крыша столыпинского вагона накалилась, и мы лежали на нарах, как пирожки в печке. Перекрикиваться с соседними клетками запрещалось. Но на третьи сутки я не выдержала и решила объявить голодовку — иначе все сдохнем здесь от дизентерии.

— За голодовку дают срок, — поражались соседки.

— Дадут или нет — неизвестно, а что сдохнем от дизентерии — понятно.

С одной стороны нашей клетки слышались мужские голоса, с другой стороны — лихие выкрики блатных девчонок, которые тоже потеряли терпение и требовали воды!

— Девки, давайте не воды требовать, а откажемся от паек, — тихо сказала я, проходя мимо них в уборную.

— Не будем брать пайки! Пусть везут дальше! —

завыли девки.

Какой-то бойкий голос неожиданно крикнул по-французски avoir faim (голодать) в следующую клетку, где сидели мужчины. Мужчины в заключении всегда робеют больше женщин, первыми они никогда не начнут протесты. Но тут, когда задорный женский голос спросил, понимает ли кто-нибудь по-французски, мужской баритон ответил:

— Oui, sans doute!

— E bien! — крикнул опять женский голос и объяснил по-французски, что три женские камеры отказались брать хлеб. Мужчины решили присоединиться. Когда утром на четвертый день нам принесли пайку, весь вагон отказался брать ее.

Пришел начальник конвоя.

— Голодовка?! За голодовку получите новый срок.

— Нет, не голодовка, а мы не желаем заболеть дизентерией: четвертый день лежим в говне! — закричали лихие блатные девки.

— В говне лежим, рук не умываем да хлеб брать не станем! Все закосим!

— Ничего, стерпите!

— Тебе хорошо терпеть, начальничек, а нам невтерпеж! Помирать заставляете! Везите в тюрь-

му! — зашумела камера.

— Не принимает тюрьма! За голодовку акт составлю. Как буду сдавать этап — всех под следствие!

Девчонки загомонили громче, засвистели. Наша клетка держалась спокойнее, но сказали:

— Умыться дайте и вагон передвиньте, иначе хлеб не возьмем.

— Ну и не жрите! — Решетка захлопнулась у нас и открылась в мужской клетке. — Берите пайку!

Мужчины молчали, но хлеб никто не взял. Волна отказа прокатилась по всему вагону. Конвой ушел. Тревога нарастала. Чувствуя напряжение, камеры перекрикивались. И вдруг через какое-то время вагон дрогнул.

— Двинулись с места! Поехали, поехали! — закричали девчонки. — С Новосибирска тронулись!

Вагон катился медленно и минут через десять остановился.

— Не с Новосибирска, только с говна съехали, — вздохнул чей-то голос, — вонь поменьше. Сами уж провоняли! Пусть мыться дадут! Слышь, в окно кричите, девки: «Во-ды-ы! Воды-ы!» Тут люди ходят, он скандалу-то не захочет, не на пустых путях теперь.

Те, что сидели на верхней полке, закричали в окошко:

— Без воды помираем!

На путях останавливались люди, со страхом глядя на арестантский вагон.

— Несут!

Два конвоира внесли в вагон бак с чистой водой и пустые ведра.

— Выходи по две, поливайте друг другу умываться, — сказал начальник, открывая дверь первой клетки. — Соблюдайте очередь.

Захватив кружку, выскочили две девчонки, умылись, поливая друг другу, и вернулись в клетку, следующие уж стояли. Поднялся хохот в клетке:

— Как зебры полосатые, грязь-то не смыли!

— Да смыли! И так ладно!

— Сажа под носом осталась.

— Руки-то не воняют теперь!

— Много воды не тратить! На всех делите, — строго сказал начальник конвоя.

— Ладно уж! Принесу еще! — добродушно осклабился солдат.

Бачок передвигали по коридору, пока не умылись все клетки-камеры.

— Хлеб брать будете?

— Будем! Селедки не будем, а хлеб и сахар — будем.

— Селедку — в помойку! Хлеба прибавь!

— Откуда я его возьму?

— Постараешься — найдешь. Вчерашнюю пайку отдай. Кипятку давайте! — задорно кричали девчата. Чему-то смеялись и в мужской камере. Все жевали хлеб, прихлебывали кипяток.

На другой день вагон наконец прицепили к какому-то поезду, и мы выехали из Новосибирска. Если бы не объявили голодовку, вероятно, еще бы просидели. Это не было проявление злобы, а просто полное равнодушие конвоя — он не рассматривал нас как людей. Мы — живой груз. Если груз начинает мычать, будь то люди или коровы, — могут быть неприятности и необходимо принять меры. Молчат — ну и пусть сидят по клеткам.

Я не помню, сколько дней мы ехали до Иркутска. В полузабытьи ехали. Прошло чувство, что мы жаримся в печке. Чуть продувал ветерок, покачивался вагон. Дремали, старались уйти от действительности. Наконец — Иркутск. Щелкают двери клеток, выпускают по четыре человека, сдают другому конвою, выстраивают шеренгой, пересчитывают, грузят в закрытые машины,

набивают тесно живое месиво. Темнота, духота, толчки. Но у всех чувство облегчения: в тюрьме все-таки, вероятно, легче, чем в вагоне. Может, в баню поведут? Есть ли еще водопровод? Что за тюрьма? Как что? Александровский централ!

Приехали. Машины остановились.

— Вылазь! Стройся!

Толстые каменные стены. Гулкие каменные плиты. Сводчатые коридоры, особый тюремный запах: пахнет сыростью, табаком, сотнями грязных тел. Распахнулась дверь камеры. Пять больших окон на три четверти закрыты деревянными щитами, потому полутьма. Гул голосов. Нары рядами, кровати, опять нары вдоль стен. Сотня женщин всех возрастов и обличий. Как поток через шлюз, вливается в камеры наш этап. Кто-то встретил знакомых:

— Катька, сюда! К черту, в угол отгоните интеллигенцию!

— Не тронь, у нас бабы хорошие, в доску свои. Вместе голодовку держали.

— Ну, врешь! Какая тебе голодовка на этапе? Пристрелят, и все!

— За попытку к бегству?

— Всех не перестреляешь, если весь вагон отказался брать хлеб.

— Пять суток в Новосибирске на жарище поджаривали.

— Старушка, старушка, ты не бойсь — мы не тронем!

Наконец мы растасовались, как колода карт. Разместились по нарам. Схлынула очередь у параши. Принесли баланду, разлили по мискам. Я нашла себе свободное место у стены. Рядом на постели с подушкой и одеялом — виден опытный житель — сидела женщина с интеллигентным и скорбным еврейским лицом.

— Откуда этап? — спросила она меня, зорко всматриваясь.

— Сборный. В Свердловске сбили из разных тюрем. Я — из Ленинграда, — (в глазах у женщины вопросительно засветились огоньки), — зиму провела на Шпалерке, в апреле — приговор, пятьдесят восьмая, десять-два, перевели в Кресты. В мае взяли на этап. Говорят, на Колыму.

Интерес в ее глазах вспыхнул сильнее.

— Я только что с Колымы. В Москву, на переследствие.

— КРД?[8]

---

[8] Примечания: 8

КРД — контрреволюционная деятельность.

— КРТД[9]. С КРД не возят так далеко на переследствие, — усмехнулась она.

— Давно сидите?

— Взяли в тридцатом, сначала в ссылку, потом в политизолятор. — Она посмотрела на меня привычным и зорким взглядом. — Вы по какому делу?

— По делу Академии наук.

— Много взяли из академии?

— Начали весной. Но я была в экспедиции летом. Вернулась осенью. Взяли пятнадцатого октября.

— Вы член партии?

— Нет.

Она покивала головой:

— И тех и других берут, и тех и других. — Посмотрела оценивающим взглядом. — Вы Ленинградский университет кончали? Мои дочери учились там в двадцатые годы.

Помолчали. Взглядом осторожно ощупывали друг друга, как полагается по тюремной этике.

— С кем вы сидели в камере? — спросила она.

— Разный, очень разный состав. Из тех, кто вас может интересовать, встретила Катю Гусакову.

---

[9] Примечания: 9

КРТД — контрреволюционно-троцкистская деятельность.

Она вздрогнула. Я смотрела оценивающе.

— Давно она в тюрьме?

— Год сидела в одиночке. К нам к камеру привели как с креста снятую. Одни глаза и косы длинные. Тело — прозрачное. Сказала, что после длительной голодовки.

Женщина молчала выжидающе. Волнуясь, поправила седеющие волосы.

— От Кати я впервые услышала о троцкизме, — сказала я, прямо глядя на нее, — она мне рассказала о политизоляторе и ссылке, но больше спрашивала о том, что делается на воле, о раскулачивании тридцатого — тридцать четвертого годов. Мне многое стало яснее. Наши разговоры помогли обеим. Я давала ей факты, она рассказывала концепцию Аслана Давид-оглы.

Женщина вздрогнула и засветилась каким-то внутренним светом.

— Вы знаете это имя? Значит, Катя доверяла вам, — сказала она со вздохом. — Мне тоже придется довериться. Вы едете на Колыму, а я — оттуда. Там много наших. Они не скрывают, что они троцкисты, и потому я решаюсь просить вас передать им, что вы встретили меня, что меня везут в Москву на переследствие. Им это очень важно…

В коридоре ударили в рельсу. Поверка. Закричали в камере:

— Становись на поверку!

Побросав свои занятия, сотня женщин выстроилась в ряд.

Дверь распахнулась. Дежурные вошли. Пересчет прошел быстро, сверх обыкновения. Все разбрелись по камере, и под смутный гул сотни голосов мы продолжали разговор.

— Как хорошо, что на нарах рядом со мной оказалось место, могли и не встретиться, — со вздохом сказала она.

— Бывают подарки судьбы, — улыбнулась я. — Клопов много? Сейчас разложу постель.

— Не очень. И вшей совсем нет. Недавно была дезинфекция камеры, и вещи все отправили в прожарку.

— Совсем хорошо. Скоро отбой.

Я расстелила одеяло, под голову положила мешок и улеглась.

— Вы не знаете, когда взяли в Ленинграде, на Шпалерную, Гусакову — она ведь была в политизоляторе?

— Не знаю, она сказала, что год сидела в одиночке, обрадовалась возможности поговорить. Какой у нее живой и ясный ум! И такой острый

интерес к тому, что сейчас на воле!

— Ну еще бы! Год в одиночке не шутка.

— А мне тоже была важна эта встреча. Она рассказала мне о вещах, о которых я и не подозревала, рассказала про Аслана Давид-оглы. — Как будто тряпкой стерли старость и усталость с лица собеседницы — оно стало совсем молодым.

— Что рассказала?

— Как он из казахстанской ссылки уехал за границу. С ним отправили и Кибальчича. Между прочим, сестра этого Кибальчича и племянница, дочь другой сестры, той, что жила в Париже, со мной в этапе.

— Вы знаете, что он внук того Кибальчича, что был повешен по делу об убийстве первого марта?

— Знаю, конечно!

— Значит, Кибальчич уехал вместе с ним! Хорошо.

Ударил отбой. Камера стихла. Мы придвинулись совсем близко друг к другу и могли говорить без опаски.

— В двадцатые годы мои дочери Нина и Зина учились в Ленинградском университете, — сказала она задумчиво.

— Зина и Нина Бронштейн?!

— Вы знали их?!

— И знала, чьи они дочери…

— Да, я первая жена Льва Давидовича. Седов — сын от второй жены. А у меня две дочери и внук — от старшей. Я так беспокоюсь за мальчика! Ему сейчас четырнадцатый год. Говорят, его тоже взяли…

— Куда? В тюрьму? Какое страшное детство…

— В царское время детей не брали… Но этот — он хочет уничтожить всех. До седьмого колена. Лева похож на деда и, видимо, талантлив, как он. Что с ним будет? Где дочери? Уже много лет я ничего не знаю. Нас вывезли из ссылки прямо на Колыму. Мужчин отделили, конечно. А мы сидели в Магаданском лагпункте, — она приподнялась, посмотрела пристально, рассматривая меня, — вы беспартийная. Видимо, не боитесь нас, и я вам верю. Исполните мою просьбу, передайте обо мне друзьям.

— Передам.

— Меня из Магаданского лагеря взяли в «дом Васькова», и дальше обо мне они ничего не знают. И я не знаю, кого еще взяли. Кто остался? А это важно знать: видимо, хотят создать новое дело. Я знаю, что в Магаданском лагпункте осталась Лоло Бибинишвили. Это жена Ладо. Того самого

Ладо, который в царское время гремел по всей Грузии. Активнейший большевик. Они старые люди, Лоло и Ладо… Лоло не трогали в Магаданском лагпункте… Считаются с ее прошлым? Вы ее легко найдете. Скажите ей, что Нушик, кажется, взяли. Как и меня. У меня не было ни одного допроса в Магадане. Ни о ком не спрашивали. Везут прямо в Москву, на переследствие. Думаю, что это расстрел. Чего им со мной возиться? — Она помолчала, задумавшись. — Так вот, передайте Лоло, что ни о ком из товарищей ничего не слыхала. Чувствую себя неплохо, бодра. Я ведь старая, они тревожатся за меня. Товарищам шлю привет, верю в их бодрость и мужество. И скажите… Скажите им, что там, за границей, Аслан Давид-оглы сможет сделать многое. — Она посмотрела на меня засветившимися глазами, гордясь воспоминанием о нем, любовью к нему. И я, которая еще не умела понимать переживаний старости, молча удивлялась этой женщине, свету ее воспоминаний.

Мы уснули наконец. Утром, сразу после подъема, ее вызвали с «вещами».

— Ну, наконец на этап! Прощайте! Найдите моих товарищей на Колыме!

Я обещала.

Еще два или три дня мы пробыли в Иркутской тюрьме. Потом нас погрузили в теплушки и без пересадок повезли до Владивостокской пересылки. Сколько дней занял этот этап — я не помню. Время стирается в однообразной тряске теплушек. Пространство уходит, уходит, как лента кино в окошке на верхней наре.

Вдали — великие и прекрасные леса Восточной Сибири, вблизи, вдоль полотна железной дороги, колючая проволока и дощатые вышки БАМ — Байкало-Амурских лагерей. Колючая проволока тянется на сотни километров. И приводит нас к пересыльной тюрьме Владивостока.

Вторая Владивостокская пересылка — городок дощатых бараков за колючей проволокой. Высокая проволочная стена и широкая бровка отделяют этот городок от остального мира. Через каждые 100–200 шагов поставлены вышки, и на них яркий прожектор, ночью освещающий бровку. Бессонный часовой, бессонный прожектор и тень остроухой собаки — все это называлось БАМ. Он тянулся на тысячи километров, заканчиваясь у Великого океана городком из дощатых бараков.

Внутри городок тоже разделен колючей проволокой на отдельные дворики. Сколько двориков? Сотня или десятки сотен — не знаю. В середине

дворика дощатое здание — барак. Широкие двери, почти ворота на поперечной стене, а вдоль продольных стен в два, а иногда и в три этажа тянутся нары. Узкие, продолговатые окна дают полусвет. В каждом бараке вмещаются примерно около двухсот человек. Заключенные невозбранно выходят на дворик, обходят его кругом, вдоль колючей проволоки, невозбранно пробегают в длинный и низкий барачок с десятками дырочек над вырытыми ямами. Невозбранное пользование очень важно — на пересылке почти постоянно поносы. Иногда они переходят в повальную дизентерию, иногда затихают. Это зависит от состава заключенных: если в бараках привычные советские люди — они могут выдержать пищу из соленой рыбы, даже если она тухловата. Когда прибыл большой этап из арестованных иностранных членов III Интернационала — вспыхнула сильная дизентерия. И началась борьба с ней: внесли кипяченую воду в баки, которые стояли внутри бараков. Осыпали хлоркой дырки уборных. Поставили бачки с дезинфекционным раствором. Но немки все равно умирали.

В нашем этапе мне удалось спасти многих, потому что мама моя — умница — умудрилась в последней передаче запечь по углам пирогов

маленькие пакетики с кристаллами марганцовки. От отца я знала, что раствор марганцовки великолепно излечивает поносы. Постоянно возила марганцовку в этнографические поездки. И тут раздобыла эмалированный бидон, развела марганцовку и всех поила: ложку вишневого раствора два раза в день. Поносы почти прекратились в нашем бараке.

Я предполагаю, что так погиб Мандельштам на этой пересылке Владивостока. Важно воздерживаться от тухлой рыбы, смачивать пайку хлеба снаружи марганцовым раствором и побольше двигаться во дворике, вне барака. Наш этап проходил пересылку в июле. Поэтому было синее небо, иногда прорывалось с ветром морское дыхание. Это несло облегчение. Не казалась насквозь зараженной земля под ногами. Сквозь колючую проволоку далеко были видны ряды бараков. Но ведь все-таки, наверное, они покрывают не всю землю? Еще остались и леса. И — вода океана. Скоро нас погрузят в пароход и повезут на Колыму.

Не очень скоро: почти три недели просидели мы на Владивостокской пересылке. Наконец нас погрузили на пароход. Путь до Колымы был нелегким. Были последние дни июля. Жарко. Пока шли советскими территориальными вода-

ми, нам разрешали выходить на палубу. Радость видеть морской простор тешила. Свежий ветер бодрил. Но вот на горизонте — полоска земли: мы входим в японские воды. Всех загнали в трюм и люки задраили: японцы не разрешали провозить заключенных, и этот «товар» проходил контрабандой. Наши сказали, что в трюмах везут скот. Когда прошли японские воды, открыли трюмы, разрешили выходить. Прежде всего вынесли потерявших сознание от духоты. Их клали на палубе и обливали водой. Смертных случаев на этот раз не оказалось.

В открытом море можно было ходить по палубе и даже не возбранялись разговоры с мужчинами. Шурочка, московская студентка, получившая по 58-й статье, пункт 10, пять лет лагерей, встретила своего мужа — его, оказывается, тоже гнали на Колыму, и они попали в один этап. Целый день они сидели, тесно прижавшись, Шурочка плакала на его плече и все твердила: «За что? Ну за что же?» Он молча гладил ей руку. Встретятся ли они еще когда?

Кончалась серо-зеленая ширь без края, по горизонту потянулись гряды скал.

В Охотском море погода изменилась: два дня «Джурма» штормовала. Когда 7 августа вошла в

бухту Нагаева, казалось, уже наступила осень. Серые базальтовые скалы отвесно поднимались над зеленой водой, желтея лиственницами.

На горах сидели сивые тяжелые тучи и дышали таким холодом, точно вот-вот начнут трясти снег.

Пароход, пыхая дымом, прошел между скалами, в глубину полукруга, по краям которого лепились домики.

Заключенных выпустили на палубу. Велели приготовиться с вещами. Мужчин было четыре с половиной тысячи, женщин человек триста (их мало привозили в колымские лагеря). Мужчины и женщины встали на палубе, отделенные друг от друга стрелками. Они ехали в разных трюмах, но во время пути с привычной уже тюремной ловкостью многим женщинам удалось разыскать мужей, повстречаться. Теперь они волновались — увидят ли близких в последний раз?

У других мужья не попали в этот этап, но они все-таки взволнованно смотрели: вдруг мелькнет родное лицо? Третьи не знали, арестованы ли их мужья, или совсем не имели мужей, но и они жалостливо и взволнованно рассматривали толпу исхудавших, небритых, посеревших мужчин.

Мужчины тоже тревожно и взволнованно рас-

сматривали женщин, искали близких.

Над всеми стояло одиночество, тревога и боль.

Вместе с берегом подступало начало неизвестных лет, на которые они были осуждены. За плечами, как шторм в море, были встряска допросов, тюрьма, отчаяние.

Надо было начинать жить. Какой жизнью? Из прошлой выносило обломки — то, что уцелело в смятенном сознании, и то, что попало в уцелевшие пустяки вещей.

Пароход, бурля зеленой водой, подошел к мосткам. Бросили причал. Кто-то по спущенным доскам пробежал на пароход. Крикнул: «Строиться! Мужчины!» Вооруженные винтовками стрелки стали выводить их. Заключенные шли, как рыбы в колымские реки, сплошной лавой, когда воткнутая палка стоит от плотности тел.

Чернели головы, головы, головы: в шляпах, в шапках, в кепках, в каких-то совершенно непонятных головных уборах и вовсе без них.

Нельзя было разобрать отдельные фигуры, а все-таки женщины поднимались на цыпочки, старались выискать своих. Не находя — выдвигались, чтобы те, близкие, могли их заметить.

Пароход «Джурма» вмещал 5 тысяч заключенных. Из Владивостока в Магадан он делал два

рейса в месяц. Второй пароход «Кулу» вмещал 4 тысячи заключенных. Тоже делал два рейса в месяц. Итого в месяц прибывало на Колыму 18–19 тысяч заключенных. Из них женщин не больше 2 тысяч. Их оставляли в Магадане и распределяли на рыбные промыслы и в сельскохозяйственные лагпункты. Мужчины были нужны для золотых приисков.

* * *

Воспоминаний о колымском периоде жизни не сохранилось, только стихи и письма.

Из «Колымского дневника»[10]

ТЕПЕРЬ

Не хуже, не лучше других —
Равноценна моя строка.
Потому, что это не стих:
Иероглиф и знак векам.
Потому, что это не боль —
Сгусток истории в нас.
Как лучину эпоха колет
Душу, чтоб ярче зажглась.
Не чадила б – стихом горела,
Красным пламенем осветив
Человечье черное дело
И скорбных мечтаний взрыв.

*** * ***

Если бы ангелы в небе были,

---

[10] Примечания: 10

Зэки были лишены права писать и читать книги. Единственной формой передачи пережитого были стихи, которые передавались изустно. *(Примечание автора.)*

Неужели б они
В трубы свои не трубили,
Не зажигали огни,
Кликами не собирали ратей,
Чтобы броситься, крыльями трепеща,
В этот дом, где как в кратере
Плавит, зажав в клещах,
Души и жизни —
Страх?
Расплавленное течет, пузырясь,
По круглой земле.
Если бы ангелы были,
Зажмурились бы они —
Не глядеть,
Как по земле щербатой
Из человечьей лавы
Лопатой
Строится пористый ком,
Катить по земле щербатой.
А тот, на огромном плакате,
Смотрит кошачьим зрачком,
Как струится

Человеческой лавы поток.
Ангелы, может, могли бы молиться.
Мы – лишь сжимаем висок.

Шпалерная. 1937

* * *

Лежу я, глаза закрыв,
Стук колес бесконечен и мерен…
Может быть, ты и жив?
Может быть – не расстрелян?
В дожде паровозный гудок,
И уходят леса Сибири.
Мир в крови, как в реке, намок,
Поток – разливается шире…
Из пены торчат суки
Разрушенных существований.
Как тигр, обнаживший клыки,
Лижет реку Неведомое Сознанье.
И поезд уходит, дрожа,
Под тяжестью нашей обиды.
Может быть, не был курок нажат?
Может – ты дышишь и видишь?

* * *

Ветер – тонким песьим воем
Завывает за горой,
Взвод стрелков проходит строем.
Ночь. Бараки. Часовой.
Это – мне, а что с тобою?
Серый каменный мешок?
Или ты прикрыл рукою
Пулей раненный висок?

Магадан. Осень 1937

* * *

Был он высокий и стройный,
С гибкой походкой упругой.
Мог он спокойно,
Коню подтянув подпругу,
В седле наклоняться, с размаху
С земли поднимая папаху,
И под черными усами
Пробегало точно пламя —
Блеск насмешливой улыбки.

А теперь – бредет не шибко,
В черном порванном бушлате,
Добывать в земле богатой
Пламя золота чужого…
Он с утра стоит, готовый
В снег упасть от истощенья…
И дрожат руки движенья
За тяжелою кайловкой,
Под заряженной винтовкой.
Это все отец народов
Дал как счастье и свободу.

Магадан. 1937(?)

*** * ***

От кремня острым билом можно
Тонкие отбить осколки.
Смачивая их, осторожно
Стачивать камень колкий.
Нож получается гладок,
Отточен, хорош…
Скажи, а ты знаешь, что надо,
Чтобы из сердца – сделать нож?

* * *

Земля в безмолвии лежала.
Сиял мороз, и снег визжал.
И каждый, в горести, не знал,
Что дом его наутро ожидало.
Так падал год. Под синевой
Шел болью день на день похожий.
Но ангел с белою трубой
Вдруг вылетел и крикнул: «Боже! Боже!
Они не могут больше ждать,
Они измучены – безмерно!»
И горы грянули – «Кончать!»
И реки подхватили – «Верно!
Пора кончать: их кровь и пот
Зальет прозрачность наших вод,
Мы будем грязью протекать,
Начнет земная шерсть линять
И, скорчившись, земля стонать».
Тут ангел снова затрубил,
Взывая к синему престолу,
И камень сам заговорил:

«Пройдет страной Великий Голод,
Пройдет страной и мор, и град,
Пускай же камни говорят,
Когда уста закрыты людям».
Вновь ангел затрубил о чуде,
И Город встал, звеня стеклом,
Дробя своих остатки зданий,
Кремль тяжело пошел плечом,
В Москву-реку лег в содроганье.
Вскипели волны, чайками крича.
Взметнулась Волга, с Нижнего до Ярославля…
И, в красной пене кирпича,
Тот человек, с усмешкой палача,
Лежал, самим Кремлем раздавлен[11].

Колыма. 1937

---

[11] Примечания: 11

18/VI 1979 г.

…это такое же восприятие грядущего ЧЕРЕЗ ПОДСОЗНАНИЕ открылось мне на Колыме:

Земля в безмолвии лежала.

Сиял мороз, и снег визжал…

Ведь УМОМ нельзя было это предвидеть в 37-м году, но я УВИДЕЛА все это. Это озарение. Как же молиться, Господи, мне Имени Твоему, чтобы суметь увидеть и выковать то самое главное, что смутно мерещится.

* * *

Как могу я слагать стихи?
Как могу я на солнце смотреть?
От человеческой крови мхи
По земле начинают рдеть.
По земле выступает роса
Человеческих, конских, собачьих слез.
И отжимает она волоса,
Травянистые длинные нити волос.
От росы солонеет трава,
Но не радует соль скот,
Потому что запах ее – кровав
И горек людской пот.

Магадан. 1937(?)

* * *

Это – земля иль другая планета?
Синие горы – причудливо строги.
Ветви – рисованы в небе кристаллами света,
Выдуман лес многоногий!

Кто-то,
Алмазами землю покрывший,
Без счета
Льет холода жидкое пламя,
И смотрят два солнца застывших
С неба – пустыми глазами.

Колыма. Эльген. 1938

*** * ***

Ты снова здесь? Над снежной пеленой
Пришел из прошлого забвенья.
И ты встаешь, как голос мой,
Как первый час любви земной,
Как первый плод осенний.
Кругом – безмолвно и бело,
Мы – за чертой земного бденья.
Нас здесь снегами замело,
Над нами горе провело
Вдоль губ и глаз – глухие тени.
Зачем же ты меня зовешь,
В предельной горечи сомненья,
Что даже солнце – только ложь,

Что ты как камень упадешь
На дно бесцельного мученья.

1938

* * *

Что же – значит, истощенье?
Что же – значит, изнемог?
Страшно каждое движенье
Изболевших рук и ног…
Страшен холод…
Бред о хлебе.
Хлеба… хлеба… Сердца стук.
Далеко в прозрачном небе
Равнодушный солнца круг.
Тонким свистом пар дыханья,
Это – минус пятьдесят.
Что же? Значит – умиранье?
Горы смотрят. И молчат.

Колыма. Эльген. Зима 1940

БАРАК НОЧЬЮ

Свет погас. И, умирая,
Стынет тонкой коркой сальца.
Темноту сознанья раздвигая
Осторожно – ищут пальцы.
Я живу в концах ладоней,
Улетая прямо к звездам.
Лес тяжелый ветки клонит
За окном, в тиши морозной.
Кто-то мечется по бревнам,
Тенью-мышью пробегая,
Кто-то рядом дышит ровно,
Ты ли дышишь, дорогая?

Колыма. Мылга. 1939

* * *

Тихо пальцы опускаю
В снов синеющую воду.
Снег весенний в полдень тает,
Оседая – пахнет медом.
По лесам проходят тени,

Улыбаясь дальним склонам,
В неба колокол весенний
Солнце бьет широким звоном.
Я сижу, смежив ресницы,
В пальцах сны перебирая.
И душа – тяжелой птицей —
К небу крылья поднимает.

Колыма. Май 1939

* * *

Ходит большое солнце,
Смотрит на круглую землю.
В каждом цветке есть донце,
Чаша, что вверх подъемлет.
В ней дрожат росяные капли,
Когда солнце уронит взгляд.
Корневища белые лапки
Солнцу соком кадят.
Каждый цветок – распускается,
И пахнут его лепестки.
Сердце – цветок, что качается

На тонком стебле тоски.

Колыма. Эльген. 1940(?)
Время пастушества

* * *

Синие горы драконьим хребтом
Врезались в небе белесом.
В поступи конской тревога о том,
Встанет ли солнце над лесом?
Или – останется здесь навсегда
Муть комариного жала?
Будет чернеть по болотам вода,
Будут над нею гудеть овода,
Белая ночь превратится в года,
В ужасе будем искать мы тогда
Солнце, что в небе пропало.
Кто же, кто вскочит и взбросит для нас
На небо солнце тревожно?
Тысячи рук и потупленных глаз
Молят о том осторожно.

Колыма. Дорога на Мылгу. Ночные бо-

лота. 1938

ЖЕНСКИЙ БАРАК НОЧЬЮ

Хвост саламандры синеет на углях,
Каплями с бревен стекает смола.
Лампочки глаз, напряженный и круглый,
Щупает тени в далеких углах.
Чья-то ладонь в полутьме выступает,
Дышит тяжелыми ребрами дом.
Бьется, как птица под крышей сарая,
Маленький Эрос с подбитым крылом.

1939(?)

* * *

Ночи вскипают звездами,
Инеем по земле блестят.
С конем возвращаемся поздно мы
И рано идем назад.
В лес, где рябины багряными пятнами
Стынут, звеня, вдалеке.
Тополь высокий руками поднятыми

Ловит солнце в речном молоке
В полдень – листья сияют красками,
А солнце – горит и жжет.
Конь, наклоняясь к воде, с опаскою
Воду холодную пьет
Там, где скалы у водопада
Гальку сухую мнут.
Может, лишь это мне все и надо —
Синие горы и конный труд?
Но дни протекают бесцельно,
Ночи вскипают, как пенный прибой.
А под утро приходит расстрелянный
Тронуть мне сердце холодной рукой.

Колыма. 1939(?)

* * *

По ночам не могу уснуть —
Безразличен и пуст покой.
Только знаю, что пуля грудь
Прошила ему иглой.
Красной брусникой застыл
На теле пули укол.

Он уж глаза закрыл,
А улыбки еще не свел.
И лежит, протянувшись весь,
Холодный, как голос мой...
Я знаю, что небо есть,
Но не вижу его над землей.

* * *

Если видит волчица —
Гладят ее волчонка, —
Шерсть у нее дыбится,
Зубы щелкают звонко;
Если видит орлица:
Кормят в клетке орлят,
Будет кружиться,
Звать их назад.
Даже утица, куропатица —
На врага бежит и не прячется,
За детей забывая страх.
Как простит, как забудет увечье
Сердце жадное, человечье,
Если дети в чужих руках?

* * *

Ляг, упившись соком ягод,
Крепких, красных ягод леса.
Горы встали в желтых флагах
И колеблют туч завесу.
Ходят радуги, ногами
Увязая в дальних склонах.
Неба свод стоит над нами,
Упершись в земное лоно.
В полдень – ярка неба просинь,
Жар взбивает облаками.
Это – тихо ходит осень
И – беседует с богами.

* * *

Андрею Белому

Положи мне на лоб ладонь,
Помоги, как всегда.
Дрожит, упираясь, конь,
Чернеет в провалах вода.
А мне надо: идя во льдах,

Слушать твои стихи.
Только кони впадают в страх
Перед разгулом стихий.

Колыма. Сеймчан. 1940
(работа возчиком)

* * *

Гуси, гуси, братья-гуси!
Тучи сумрачны и сини.
Горы сжались, ветра струсив,
Желтой шерстью ощетинясь.
Громче, громче клики в небе!
Как мне к вам подняться, братья?
Обращусь я в птицу-лебедь,
Ветру кинуся в объятья.
Братья мне не отозвались —
Прокричав, исчезли птицы.
Я – одна. И мне остались
Снега белые страницы.

Колыма

КОЛЫМА

Мы выходим на рассвете,
Целый день стоим с пилой,
Где-то есть жена и дети,
Дом, свобода и покой.
Мы о них давно забыли —
Только болью ноет грудь.
Целый день мы пилим, пилим
И не можем отдохнуть.
Но и ночью отдых краток:
Только, кажется, прилег
В мерзлом холоде палаток —
Уж опять гудит гудок.
И опять мы начинаем.
Режет ветер, жжет мороз.
В Колыме, – я твердо знаю, —
Сколько снега, столько слез.

Колыма. 1940 (Эльген?)

* * *

Или ты меня зовешь?
Или ты в смертельной боли?
По ночам приходит дрожь,
В сердце что-то остро колет.
Вижу я твои глаза,
Подведенные тоскою.
Ты, как много лет назад,
Гладишь волосы рукою.
В них не видно седины, —
Молодой, такой, как прежде.
Только губы сведены
И глаза – печалью брезжат.
Не пойму: стоишь ты где?
Говоришь, а я не слышу…
В сне, как в тинистой воде,
Отраженный образ дышит.

Колыма. Эльген. 1940

Л.[12]

Будет время – замкнется круг:
Жизни широк размах.
Уж ветров студеных звук
Солью осел в волосах.
Гнев и горечь в углах рта,
Глаз зеленеющих твердь.
Нас отделяет черта
От тех, кто не знал смерть.
Но, горней идя тропой,
В мир возвращаясь опять,
Помните: воина в бой
Рог не устанет звать.
Сумрачный звездный свет
Предвестник, что Солнце идет.
И память прожитых лет
Не мести, а мудрости ждет.

Дорога «на материк». 1942

---

[12] Примечания: 12

Л. — Лима — Соломон Давидович Цирель-Спринцсон, с которым вместе возвращались «на материк».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Как странно тем, кто видел Смерть,
Вернуться в жизнь опять.
Вложить персты в земную твердь
И вкус и запах ощущать:
Тяжелых бревен слышать вес,
На стеклах – легкий пар,
В снегу от окон светлый крест,
И тюль, и самовар,
И кем-то мытый лак полов,
И чей-то отчий дом.
А ты пришел из страшных снов,
С котомкой за плечом.
Был сдвинут смысл привычных дел,
Шел бой. И в пустоте
Ты даже думать не умел
О том, как жили те,
Кто оставался за чертой,
В спокойной Лете лет.
Как странно тем прийти домой,
Кто видел смерти свет!

Возвращение

Осмысливая и вспоминая лагерный период жизни, Нина Ивановна в 1965 году писала:

«…На Колыме мы увидели всех представителей III Интернационала, всех коммунистов, убежавших в СССР от гитлеровского режима, — я их встречала в колымских лагерях, потрясенных и не понимающих: что же произошло?!

А фюрер Гитлер уступил вождю Сталину Прибалтийские республики. Забирая себе Польшу, великодушно предоставил ему Карпатскую Русь. И гигантский колосс Советского Союза навалился на маленькую Финляндию, преподнося это как борьбу с белофиннами, а по существу, просто отбирая в свое владение весь Финский залив, который был нужен тянущему руки в Прибалтику Левиафану.

К этому времени уже давно исчезли в „доме Васькова“ мои друзья-оппоненты, свято верившие, что „попираемая и дискредитированная Сталиным идея коммунизма должна быть возрождена нашей кровью“. И охотно отдававшие эту кровь. Я безмерно уважала в них эту жертвенную традицию русской интеллигенции. Но я

понимала, что этой малой каплей крови не уничтожить кровавые моря, пролитые Сталиным. Что, с точки зрения исторического процесса, в Человечестве нет разницы между фигурами Муссолини, Гитлера и Сталина. Это — единый, характерный для XX века кризис капиталистической системы и развитие централизованного Государства, взявшего на себя руководство плановым производством и опирающегося на рычаги в виде правящей партии. Носят ли они черные рубашки, коричневые рубашки или красные билеты в кармане — нет разницы. Они — орудия государственной централизации, сосредоточенной в руках Вождя. А во имя этой централизации и полноты власти вождь должен уничтожать все инакомыслящее. Он неизбежно должен стремиться к уничтожению всякого, кто может стать соперником, всякого, кто подвергнет критике Его, ибо он — воплощение централизации.

Так они и делали, стремясь создать вокруг себя пустое место. А я задумывалась: что же будет дальше?

У абсолютной монархии, декретировавшей свою божественность, был закономерный выход — такой же божественный наследник, принимающий власть. На этом держались династии

фараонов, династии христианских, китайских и ассирийских монархов.

Если идеи божественности недостаточно внедрялись, как это было в кочевых империях Аттилы, Чингиза, Тимура, — после смерти владыки неизбежно возникали разрушающие централизацию центробежные силы, хотя и были законные наследники.

Эти — даже не заботятся о своих преемниках, словно рассчитывают быть бессмертными…

Ох, несдобровать им! Кончится тем, что каждый захочет всемирной власти и Левиафаны схватятся в смертельной борьбе…

Идя за конем, груженным бревнами, или пася стадо коров в лесу — можно думать. Ничто не мешает. Я была не властна над своей физической судьбой и тем свободнее чувствовала свою мысль — я ни от кого и ни от чего не зависела.

Горели закаты на небесах, ярким пламенем сверкали звезды, и маленькая круглая луна катилась по небу.

А в сердце – песчинке красной —
Тот же ответный звон
И звездным стадам безучастным,
И слезным мольбам племен…

А земля содрогалась от надвигающейся катастрофы:

В безумии дел
Твари страшное хлебово варят
Из собственных мертвых тел.

Гитлер бросил войска на Советский Союз.

Мы узнали об этом не сразу. Ведь нас держали, старались, во всяком случае, держать, в полной изоляции от всего мира.

Но через несколько дней пришел приказ: вывешивать газеты. Поняли, что слухи все равно просачиваются и лучше пресечь их газетами.

Вызвало это сообщение взрыв патриотизма? Не знаю. У меня было слишком сильно чувство, что родина моя — в лагерях.

Лагеря и тюрьмы вырастают
В необъятной родине моей, —

пели тихие голоса лагерную песню. Родина давно в плену: миллионы крестьян, рабочих, интеллигентов. И наиболее острым был вопрос: что теперь сделают с нами? Еще углубят репрессии или, наоборот, последует послабление? Это встало особенно остро потому, что в мужской зоне Эльгенского лагеря начались аресты. Десятка два

человек увезли в „дом Васькова“, и все затихли в напряженном ожидании: прочтут или не прочтут на поверке о расстрелах?

Не прочли. Режим как будто ослабили, но окончивших сроки перестали освобождать. „Впредь до особого распоряжения“. Многие досидели до конца войны. Часть была почему-то освобождена в 1942 году. Я попала в их число. И встало, когда приехала „на материк“, воочию: страна в войне!

Я спешно пробиралась к матери в Курганскую область, боясь, что она умрет с голоду в своей ссылке. Доехала.

Отошли раздумья о мировых процессах в Человечестве XX века — надо было включаться в жизнь. Делать непосредственное, конкретное дело — преподавать в селе Чаша, находить место в жизни себе и семье, собирать ее. Не до раздумий в масштабе столетий, когда на тебе лежит ответственность за сегодняшний день!

А сегодняшний день приносил вести о стремительном шествии немцев по Белоруссии и вскоре о тех жестокостях, которые они там творят. Думаю, что это была величайшая ошибка Гитлера — допущение первых зверств. Расстрелы целых деревень из страха перед партизанами; глумление, уничтожение, жестокость врагов. Война из

Государственной тем самым была превращена в Народную.

В ослепленном самомнении он не понимал, что можно убить льва, но нельзя предварительно его раздразнить. Он не понимал, что европейские масштабы неприменимы к 1/6 части земного шара. И если страна поднимется целиком, она зальет своей массой, как заливает лава при извержении вулкана. Ни техникой, ни слепой дисциплиной военного кулака — стихии не одолеть!

С его, европейской, точки зрения, он хорошо подготовил победу: по его инспирации была снята и расстреляна вся верхушка командования войсками. По его требованию гнили в лагерях все его враги — бежавшие в Советский Союз коммунисты, члены III Интернационала. С его, немецкой, точки зрения, армия, лишенная образованного и талантливого командования, — уже не армия. Но он не понимал, что когда поднимается гигантский народ — у армии вырастают новые головы, да и не головой движется стихия.

Он плохо читал „Войну и мир“, этот немецкий фюрер. И не понимал, что Толстой рассказал о разгроме Наполеона. Все шло как иллюстрация к описанию Толстого.

Я сидела в Чаше, урывая минутки между уро-

ками, перечитывала „Войну и мир“, которая, как фонарь, нет, как прожектор, освещала современные события. К 1943 году уже не было человека, который бы не чувствовал себя участником войны. А что можно сделать, если 200 миллионов человек сочтут необходимым выгнать врага из страны? Толстой очень хорошо показал, что из этого получается. И оно — получилось.

Но даже ошибка Гитлера не научила Сталина, что жестокость не может обеспечить победу, — после войны снова настала эпоха репрессий. Те, кто остался жив, отбыв срок в лагерях, были схвачены снова.

В темниковских лагерях я додумывала».

Часть III. Второй тур

Арест

В библиотеке отделения общественных наук АН СССР 30 декабря 1947 года мне была вынесена приказом благодарность и выдана премия «за организацию выставки по фольклористике во время этнографического совещания». Был утвержден план и принята к печати составленная мною этнографическая библиография на 12 печатных листов. Целый день сотрудники пожимали мне руку, радуясь, что можно, казалось, считать забытыми мои прошлые беды и их последствия: арест 1937 года, пребывание в колымских лагерях, тревоги восстановления. Я весело отшучивалась от поздравлений.

К концу дня, собрав карточки, я диктовала проспект утвержденной работы машинистке. Толстая большая женщина — заведующая специальным отделом — быстро вошла в машбюро и, проходя, сказала:

— Нина Ивановна, вас просит зайти заместитель директора по хозяйственной части, он у себя в кабинете, — и ушла.

— Подумаешь! Мог бы и сам к вам прийти! — рассердилась машинистка. — Еще вас приглаша-

ет! Давайте кончать — подождет.

Но у меня безотчетно екнуло и покатилось сердце.

— Нет, Мария Ивановна, уж я схожу!

Спустилась на первый этаж, постучала, вошла в кабинет. Зама не было. За его столом сидели двое.

— Нина Ивановна Гаген-Торн? — приподняв бумажку, спросил один.

— Да, я.

— Прочтите.

Опять екнуло в груди. Взяла бумажку: «Ордер на обыск и арест».

— Пройдем к вашему столу.

— Пойдем.

Когда человек поцарапает руку или ударится об угол — сразу становится больно. Если он сломает руку или пробьет череп — боль приходит не сразу. Это я уже знала. И знала, что при психических травмах — то же самое: неприятность сразу свербит, потрясение доходит до сознания не сразу. Сначала остается спокойствие и как бы нечувствительность. Только мелкая дрожь под коленками да автоматичность движений.

С такой автоматичностью подошла я к своему рабочему столу, открыла ящики. Оглянула ком-

нату. Неподвижно застывшие лица. В глазах у женщин прячутся слезы.

— Вот библиографическая картотека. Ее, верно, оставят для пользования. Всего доброго, — поклонилась я им.

— Всего доброго, — глухо ответило несколько голосов.

Мы вышли с этими двумя в штатском в подъезд. Черная легковая машина ждала нас. Они посадили меня в середину, и каждый со своей стороны задернул шторку окна. Настала темнота. Бегал лишь свет мелькающих фонарей. Но я и в темноте догадывалась, что машина остановится на Лубянке.

По колымским рассказам я знала, как выглядят лубянские камеры — ведь это был второй тур: Ленинградская, Свердловская, Иркутская тюрьмы, Владивостокская пересылка были позади.

Меня ввели в бокс — изолированную коробку без окна, где помещался короткий топчан и столик, оставлявший два шага до двери. Я села, стала обдумывать свое поведение. Решила: надо сделать вид, что от шока я стала заикаться, — тогда будет время обдумывать каждое слово ответа, а лишнее слово — лишняя цепь допросов.

Представился дом: там почти все готово к встре-

че Нового года — уже сделана бражка, кончены основные приготовления печений, салатов. Сегодня собирались переставлять мебель, чтобы в нашей маленькой комнатке разместить гостей — у нас собирались встречать Новый год друзья дочерей, молодежь. А придут совсем другие гости, все передвинут, обыскивая.

Сколько прошло времени после того, как меня привезли?

Щелкнул замок.

— Пройдемте!

Стрелок провел меня на второй этаж, к следователю.

В кабинете толстый, кудрявый и потный майор посмотрел и сказал:

— Садитесь на стул. Там, в углу. Рассказывайте ваши антисоветские действия.

— У меня их не-не бы-было.

— Что же вас, зря в лагерях держали?

— Э-э-это бы-была ошибка, — отвечала я, придерживаясь метода тянуть и обдумывать.

— Вы что, заикаетесь?

— Э-это не… нервное.

— Так! Значит, по ошибке держали? И вы не питаете вражды к советской власти?

— О-оо-ошибки случаются, это не-е власть, а

слу-у-чай.

Он стукнул кулаком по столу, выпучил глаза и закричал:

— Я тебе покажу случай! Б… Политическая проститутка! Туда твою…

Простая трехчленка без вариаций. Предназначенная бить громом и ударами кулака. Прослушала молча, пока он не задохнулся. Сказала спокойно, бросив прием заикания:

— Это бездарно. Я могу много лучше.

И загнула мат со всей виртуозностью, слышанной в лагерях: в бога, в рот, в нос, во все дырочки, со всеми покойниками, перевернутыми кишками и соответствующими рифмами. На пять минут, не переводя дыхания, крепкой, соленой блатной руганью. Он слушал с открытым ртом. Когда я остановилась, завопил:

— Это меня! Меня она материт?! Сейчас покажу начальнику отдела! — Привел второго, еще толще и рослее. — Вот, товарищ начальник, заключенная матерится.

— Просто учу, — сказала я, — если уж применять мат — надо уметь это делать! Шесть лет на Колыме я слушала виртуозный блатной мат, а майор хотел терроризировать меня простой трехчленкой. Это неквалифицированно.

Начальник отдела захохотал:

— Уведите ее в камеру.

Потом я узнала, что этот майор служил специально для того, чтобы ошеломлять перепуганных интеллигентов своим криком. Меня взяли в библиотеке Академии наук. Значит: пожилой, тихий научный работник. Надо оглушить. Но вышла производственная ошибка — не учли, что лагерница.

Мне дали другого следователя.

Стрелок из кабинета следователя повел коридорами. Спустились в первый этаж. Там встретила старуха в форме надзирательницы. Щелкнул замок. Ввели в безлюдную камеру. Под потолком горела бессонная лампочка. Осмотрелась. Тюремного благоустройства ленинградской Шпалерки не было. Там вместо двери — решетка, каменный пол; за железной ширмой — уборная; койки-полки, поднимающиеся при мытье, — все приспособлено. Тут, на Лубянке, явная кустарщина: паркетный пол узорами, к итальянскому окну обыкновенного дома приделана решетка, нет ни уборной, ни ведра-параши. Потом рассказывали москвичи, что это — часть здания бывшей лубянской гостиницы. В номере поставили железные кровати с соломенными тюфяками, в окна вде-

лали решетки да поставили железные двери с окошком и глазком.

— Отбой был — ложитесь! — сказал в окно старушечий голос.

Ну что же? Надо отвернуть конец грязно-кирпичного одеяла, постелить носовой платок на ватный комок подушки — ложиться. Сняла ботинки, растянулась на тюфяке. Окошечко открылось.

— Снимите верхнюю одежду, руки держите поверх одеяла, прятать не полагается, — сказал тот же голос.

Значит, боятся, чтобы не перерезали вены, догадалась я.

Это не назовешь сном, но у здорового, крепкого человека после потрясения, естественно, приходит необходимость забыться. И я забылась.

Лязгнул замок двери. Предстала смуглая хрупкая женщина, облизывая пересохший рот с крепкими белыми зубами. Черные волосы были заплетены в две тонкие косы (в тюрьме не разрешают шпилек), чулки висели (резинки снимают, а закручивать чулки она еще не умела).

— Здравствуйте! — сказала я, садясь на койке. — Вы не волнуйтесь, как-нибудь приспособимся.

Она подошла к моей койке, села на соседнюю.

— Вы давно здесь? — прошептала, оглядывая меня.

— Нет, только сегодня, но я не в первый раз. — В ее глазах появился страх. Я засмеялась. — По пятьдесят восьмой, как и вы. Только что взяли из библиотеки Академии наук. Разрешите представиться: кандидат исторических наук Нина Ивановна Гаген-Торн. С тридцать седьмого года шесть лет провела на Колыме, потом в Зауралье, вернулась в Москву, проработала год и опять попала… — Это привычный прием этнографа — не расспрашивай, а начинай рассказывать о себе, тогда создается доверие и желание у человека тоже говорить о себе.

— В чем вас обвиняют? — еще с трудом переводя дыхание, спросила она.

— Пока общие вопросы.

— А меня бог знает о чем спрашивали: про комсомольских товарищей по Одессе! Я в Одессе университет кончала. Я думаю, меня скоро выпустят, — сказала она неуверенно, — ничего же ведь нет, и никакого обвинения не предъявили.

— Я шесть лет просидела на Колыме и обвинения не получила.

Ее черные глаза округлились.

— Но меня в тридцать седьмом году допраши-

вали при партийной чистке, а не взяли, теперь опять о том же!

Она стала рассказывать о себе. Звали ее Аня Саландт, работала она экономистом на заводе. Муж — коммунист, погиб на фронте. С ней двое сыновей, а старая мать в Одессе. Трудно было в войну в эвакуации одной заботиться о детях, да и сейчас трудновато, времени для общественных дел не остается — все дети берут. Что теперь будет с ними? Куда денут мальчиков? Хоть бы к родным в Одессу!

Голос из-за двери сказал:

— Надо спать!

Мы затихли на койках.

Утром привели еще двоих. Светловолосая девушка села и, закрыв лицо руками, стала плакать.

— Я ничего не понимаю! Не понимаю!

Мы молчали — надо дать ей очнуться.

Полная женщина лет сорока с заложенной вокруг головы темной косой и печальными еврейскими глазами сказала:

— Здравствуйте! — и села у окна на скамью. Потом обернулась, спросила: — На койках разрешают сидеть?

— Разрешают, — отвечала я. — Вы где отбывали

срок?

— В Ухте, — машинально ответила она и спохватилась: — Почему вы решили, что я была в лагерях?

— По вашему поведению. Вы человек, явно знакомый с тюремными порядками. И я старая лагерница, вы знаете сами — мы привыкли определять с налету.

Она покивала головой.

— Бывший член партии?

— Да, — сдержанно ответила она.

Я могла бы еще сказать ей, что она старый член партии, с двадцатых годов — выучка была безукоризненной: в момент потрясения человек обычно склонен искать сочувствия, рассказывать о себе, подавляя тревогу и растерянность общением с себе подобными. Она умела молчать. Разговаривая — оставаться замкнутой. Она была «выдержанный, надежный товарищ», которому, несомненно, давались ответственные партийные поручения. Я могла бы все это сказать ей, но я знала, что это ее насторожит, как и рассказ обо мне. Поэтому только сказала:

— Меня зовут Нина Ивановна. А вас?

— Мария Самойловна.

Подошла Саландт, они тихо заговорили, не

тревожа девушку на койке. Лязгнул замок, двери раскрыли.

— Обед.

Нам протянули ложки, алюминиевые миски с варевом и пайки хлеба с приколотыми деревянной шпилькой довесками. Саландт и светловолосая девушка осматривали их со страхом.

— Это называется «баланда», — сказала я, черпая ложкой гороховый суп, — а хлеб — «пайка». Он взвешен, довески прикалывают шпильками. Еще дадут кашу. Вечером кипяток и тоже кашу или суп.

— Во время войны на воле много хуже ели, — храбро сказала Аня Саландт, но в горло ей еда не шла.

Светловолосая девушка перестала плакать и взяла ложку. Ее звали Валя. Она очнулась и стала рассказывать о себе: училась на курсах иностранных языков. Еще во время войны им советовали для практики в языке разговаривать с иностранцами. Было много американских летчиков в Москве, целый дом-общежитие. Девушки ходили к ним на вечеринки. Танцевали, летчики угощали шоколадом, дарили чулки. А теперь ее обвиняют в шпионаже. Где она могла шпионить? Что им рассказать? Она ничего и не знает.

Просто было весело. Она оживилась, вспоминая летчиков. Но теперь все уехали. Она встречалась только с абиссинским князем и бывала в абиссинском посольстве. Он хотел на ней жениться и увезти в Абиссинию. Он очень интересный, совсем не черный, просто смуглый. Знал по-русски, говорил, что его дед был русский.

— Как же попал дед в Абиссинию?

— А он говорил, что тогда много русских было, помогали абиссинцам с кем-то воевать.

Мы с Марией Самойловной переглянулись.

— Возможно, — сказала Мария Самойловна. — Был ведь русский отряд во время абиссинско-итальянской войны. В девяностые годы.

Валю мало интересовало, зачем приезжали русские, ее интересовал сам принц и «роскошная жизнь», которую он обещал ей. А ее обвиняют в измене Родине! Она опять заплакала, вспомнив, как страшно кричал и матерился майор.

День протекал в разговорах. К вечеру заверещал и щелкнул замок. Дверь широко раскрылась: «На прогулку!»

Валя и Аня Саландт отказались. Мы с Марией Самойловной вышли. Нас посадили в лифт. Подняли очень высоко. «Пройдите!» Мне открыли одну дверь, ей другую. Пахнуло морозом. Вышла.

Ночное небо озарено снизу огнями города. Яркий луч фонаря, освещающий клетку без крыши. В рост человека бетонные стенки, еще два метра выше — проволочная сеть. За ней еще такие же сети клеток. Можно сделать шагов двадцать по кругу. Над клетками мерцает, клубится небо, отражая огни. В луче фонаря танцуют звездочки снежинок. Из глубины, снизу, доносятся гудки машин, звон трамваев, гул большой площади. Клетки на крыше. Стою. Смотрю. Кружатся снежные звезды. Под их ритм возникают стихи:

Встав на молитву, стою и молчу.
Сердце свое я держу как свечу.
Если зажжется сияющий свет,
Будет мне, будет нежданный ответ.
Бьется в висках обессиленный мозг,
Белыми каплями падает воск,
Это – в истаявшем сердце моем
Вспыхнула вера нетленным огнем.

Во что вера? В то, что есть все-таки небо. И это помощь судьбы, что не спустили нас в колодец двора, а подняли на крышу. Здесь выход из клетки, к танцу снежинок, к черному небу. Ничего они не могут сделать со мной…

Вспомнилась одиночка в Крестах, в 1937 году. Тогда сложились стихи:

Я лежу, одета плотно
В холод каменных простынь.
Туч скорей раздвинь полотна
И меня из камня вынь!
Выползаю… Вот уж струи…
Воздух щупает рука.
Это ты во мне диктуешь
Строчки точные стиха.

Тогда я еще не знала, что стих в тюрьме — необходимость: он гармонизирует сознание во времени. Ольга Дмитриевна Форш не была в тюрьме, но хорошо поняла, что человек выныривает из тюрьмы, овладевая временем, как пространством. Но он (как его звали, одетого камнем?), вынырнув из тюрьмы, не нашел выхода в ритме стиха и поэтому сошел с ума. Те, кто разроет свое сознание до ритма, не сойдут с ума…

Снежинки в луче тоже танцуют ритмически… Белые на черном небе… Овладение ритмом — освобождение. Они ничего не смогут сделать… Щелкнула дверь клетки: «В камеру!» Я шагнула в лифт одновременно с Марией Самойловной, вы-

шедшей из другой клетки. Спустили нас на лифте вниз, в камеру. Стоит тишина. Снова загремел засов. Щелкнула, открываясь, дверь.

Вошли те, двое, что меня арестовали.

— Гаген-Торн?

— Я.

— Имя, отчество?

— Нина Ивановна.

— Подпишите акт и распишитесь в получении передачи.

Один держал сетку с узлом, другой положил на стол бумаги и перо. Я прочитала: акт обыска. Как я и думала, вчера, поздним вечером. Изъято: 10 общих тетрадей, 2 фотоальбома, 6 тетрадей с надписью «Полевые дневники»... Что такое?! «Пол вскрыт и перекопан, консервных банок не обнаружено». Так вот оно как![13]

Второй торопил:

— Получите ваши вещи. Ваша мать так просила, что я согласился взять: одеяло, простыни, полотенце, халат, зубную щетку, расческу. — (Мо-

---

[13] Примечания: 13

В кухне, почти нашей, у нас было небольшое подполье, обыскивающие в нем долго рылись. Им давно не пользовались, пришлось сдвигать столы, что вызывало особое подозрение. Бумаги перерыли все, перечитывали все мои девичьи письма и дневники. С тех пор я не могу их писать. А колымских стихов все-таки не достали — я просидела на них весь обыск. *(Примечание Г. Ю. Г.-Т.)*

лодец, мамуся, — прошлый опыт помог.) — Вот продукты. — Он развернул бумагу. Прислали заготовленное к Новому году, — видимо, не думали встречать его теперь.

Те, двое, взяли расписки, пошли. Снова лязгнул замок.

— Ну что же, товарищи, вот мы и встретим Новый год! — сказала я, кладя на стол продукты.

— Как вы нам отдадите, ведь у нас-то ничего нет, — возразила Валя.

— Таков обычай тюрьмы, — отвечала я, — здесь не едят в одиночку.

— Раньше был общий котел, — подтвердила Мария Самойловна, — но с тридцать седьмого стали отделять половину, а остальное себе. — В тридцать седьмом передач почти не было, а народу в каждой камере — десятки. Все равно достались бы нечувствительные крохи, и потому дележ превратили в символ, половину оставляя в реальное пользование себе и близким.

— Вы где сидели?

— В московских тюрьмах, — неопределенно сказала она, явно не желая углублять разговор.

Мы сели ужинать.

Мысли мои все возвращались к фразе протокола: «Пол вскрыт, консервных банок не

обнаружено». Кто же, кто сказал о банках?

Осенью, вернувшись из Крыма, я читала свои колымские стихи у близких друзей, сестер Гвоздевых. Лена сказала печально:

— Они никогда не будут напечатаны, Ниночка, и это жаль. Они стоят того, чтобы их узнали. Они потрясают.

— Конечно, при моей жизни не напечатают, — отвечала я, — ну что же, заложу в консервные банки — и в землю!

Вернувшись домой, сидя на кухне, я, еще возбужденная, передавала разговор семье. Вошла соседка, Ирина Павловна. Она слышала разговор. Кто еще мог слышать? Мы живем на первом этаже, может, кто стоял под окном? Кто сообщил в НКВД о консервных банках? Это явно донос, но чей? Гвоздевы вне подозрений… Повторяла ли я еще где-нибудь эту фразу? Не помню… Неужели она?

Прозвонил отбой. Лежа на койке, я все думала. Так прошла новогодняя ночь.

На другой день привели еще троих.

— В тюрьме такой метод: камеру заполняют в течение двух-трех дней и потом стараются не приводить новых, чтобы случайно не встретились знакомые или однодельцы, — сказала

Мария Самойловна.

— И чтобы те, кто уже осмотрелся и набрал опыт, не помогали новым, — прибавила я.

Действительно, камеру заполнили за два дня. Я не могу припомнить и оживить пером бледные тени испуганных женщин. Они появляются и исчезают в моей памяти. Из этих провалов памяти блестят тревожные темные глаза Надежды Григорьевны Антокольской, видятся ее крепко сжимающие друг друга ладони. Фамилия ли остановила внимание (внучатая племянница скульптора и сестра поэта Павла Антокольского), или уж очень интеллигентски знакомы были интонации ее голоса? Она пришла в камеру, потрясенная до глубины сознания, но в самом потрясении сохранила доверчивость и доброту. Она искала помощи, надеялась на ласку. И белозубая Аня Саландт тотчас откликнулась, приголубила. А Надежда Григорьевна всем своим видом спрашивала: «Что это значит? Ведь не может быть реальностью?! Ведь неправдоподобно: тюрьма, допросы, камера…»

Меньше всего она подходила для тюрьмы. Увидеть бы ее в издательстве, приветливо разговаривающей с авторами, несущей корректуру; на концерте бы увидеть с гладко зачесанной,

серебрящейся в темных волосах сединой или за чайным столом под низкой лампой — было бы так естественно и знакомо. Зачем она здесь, под бессонным глазом тюремной лампочки на железной и жесткой кровати?

Вина ее была в том, что она работала в свое время в издательстве секретарем у Каменева, а когда его арестовали и все отвернулись — приютила его семилетнего ребенка, пока не нашлись родные.

После многих лет наступила за это расплата. Ее допрашивали, выпытывали о связях с Каменевым, обвиняли в пособничестве врагу народа.

Она возвращалась с допросов ошеломленная, не с испугом даже — с недоумением:

— Что это значит? Что будет дальше со всеми нами?

Мария Самойловна молча прискорбно покачивала головой, а я не выдерживала:

— Что будет? Закончат канитель допросов, дадут подписать приговор и отправят в лагеря.

— В какие лагеря? — пугалась Надежда Григорьевна.

— В исправительно-трудовые, отбывать срок наказания, — жестко отвечала я.

Она отшатывалась:

— Вы шутите! Не пугайте меня… За что нака-

зание? Какие мы преступники? Обыкновенные советские люди.

— А вы не знаете, что миллионы обыкновенных советских людей были в тридцать седьмом загнаны в лагеря и погибли? Вы что, не знали, что это не вина, а случай? Лотерея… Выполняют план: столько-то заговоров открыто, столько-то антисоветских организаций ликвидировано.

Она с ужасом смотрела, а я принималась ходить по камере: взад и вперед, вперед и взад… Пока не находила тонуса воли, чтобы «уйти» из камеры, овладеть мыслями и отдаться им.

Я не скажу, что мне не было жалко этих женщин, — было. Но я считала, что полезнее не утешать, а подготовить к неизбежному. Потому что в этой общей мясорубке только тот, кто осознает, сможет выскользнуть сквозь ее зубья и ножи.

Мясорубка работала автоматически. Не было садистской романтики 37-го года, когда мы слышали сквозь стены приглушенные крики и стоны людей… Когда шептались о побоях и истязаниях, а следователи проводили бессонные ночи, вытягивая из измученных людей фантастические заговоры. Да и сами следователи изменились: в 47-м году это были уже не маньяки, не садисты и

виртуозы, а чиновники, выполняющие допросы по разработанным инструкциям.

При первом допросе майор орал и матерился потому, что ему было указано применять этот прием. И поэтому он при неожиданном варианте — ответном мате пожилой интеллигентной гражданки — растерялся.

Другой мой следователь поставил меня у стены. Потребовал, чтобы я подписала протокол с чудовищными самообвинениями. Я отказалась. Устав, не зная, что делать, он подскочил, разъяренный, ко мне с кулаками:

— Изобью! Мерзавка! Подписывай! Сейчас изобью!

Я посмотрела ему в глаза и сказала раздельно:

— Откушу нос!

Он всмотрелся, понял, что так и будет, отскочил и застучал по столу кулаками.

Это было один раз. Чаще всего допрос был просто сидением. Вводили в кабинет.

— Садитесь, — говорил следователь, не подпуская близко к своему столу, — расскажите о вашей антисоветской деятельности.

— Мне нечего рассказывать.

Следователь утыкался в бумаги, делал вид, что изучает их, а сам просто читал газеты —

примитивная игра на выдержку, на то, что заключенный волнуется. Без всякой психологии: по инструкции должен волноваться. А следователю — засчитываются часы допроса.

Раз как-то я спросила:

— Вам сколько платят за время допроса? В двойном размере или больше?

— Это вас не касается! — заорал он. — Вы должны мне отвечать, а не задавать вопросы!

Другой раз, когда он читал, а я сидела, вошел второй следователь. Спросил его:

— Ты как? Идешь сдавать?

— Да вот еще спартанское государство пройти надо, тогда пойду.

Я поняла, что он готовится к экзамену по истории Древнего мира.

— Спартанское государство? — спросила я мягко. — Хотите, расскажу?

Следователь покосился, нахмурившись, а вошедший заинтересовался:

— Вы кто такая?

— Кандидат исторических наук.

— А ну, валяйте, рассказывайте! Мы проверим, насколько вы идеологически правильно мыслите.

Он сел. Оба явно обрадовались.

Я дала им урок по истории Греции, и мы расстались вполне дружески.

— Идите в камеру отдыхать, скоро ужин, — сказал мой следователь.

Спуск в лифте, переход коридорами под щелканье стрелка, и я в камере. Миски с перловой кашей уже стояли на столе, а на скамьях сидели женщины.

«Время и пространство, пространство и время, — думала я, шагая по камере. — В начале XIX века Кант сформулировал их как координаты при постижении мира явлений. В начале XX века Эйнштейн доказал в теоретической физике относительность этих координат, а Герберт Уэллс, забегая вперед художественным прозрением, подумал о машине времени. Весь XX век человечество разрешает задачу овладения пространством и временем, невероятно ускоряя возможности передвижения в пространстве. И — лишает миллионы людей всякого пространства, заключая их в тюрьмы и лагеря. Это сдвигает у них координаты времени: время в тюрьме, как вода, утекает сквозь пальцы. Правильно ведь подметил Юрий Тынянов: Кюхля вышел из тюрьмы таким же молодым, как вошел. Он не заметил времени, потому что не имел пространства и

пространственных впечатлений. Можно: или выйти таким же, как вошел, или, не выдержав, свихнуться… если не научишься мысленно передвигаться в пространстве, доводя мысль-образ почти до реальности. Заниматься этим без ритма — тоже свихнешься. Помощником и водителем служит ритм». Вспомнилось, как, на койке лежа в Крестах, я увидела Африку:

В ласковом свете
Платановой тени
Черные дети
Склонили колени
На пестрой циновке плетеной.
Дом, точно улей, без окон,
Рыжие пальмы волокна,
В синее небо вонзенной.
Солнце огромно,
И небо бездонно.
Что я об Африке помню?
Только случайные тени:
Бивней слоновых осколки,
Тонких и странных плетений
Вещи в музее на полках;

Щит носороговой кожи,
Копья с древком из бамбука,
Странно на что-то похожий
Каменный бог из Тимбукту,
Слово как свист: ассегаи.
Что я об Африке знаю?
Так отчего же так странно знакомы
Эти вот черные дети,
Листья в платановом свете,
Красной земли пересохшие комья?

Это оттого, что я сумела нырнуть в себя, собрав и сосредоточив в образе все, что когда-то знала об Африке. И для себя довела этот образ до чувства реальности — выхода из камеры…

Я засмеялась своей власти над пространством… Подошла к женщинам, которые сидели в углу, как куры на насесте.

— Хотите, я вам прочту стихи?

— Очень!

И я стала читать, вперемежку свои и чужие.

В 37-м году с драгоценным другом моим, Верой Федоровной Газе, мы восстановили в памяти и прочли в камере «Русских женщин» Некрасова. Камера плакала вся.

В этот тур память моя ослабела — выпадали куски, и не было помощника, с кем восстанавливать их. Но даже эти куски впитывала камера так жадно, как воду засохшая земля. Впитывали и твердили стихи те, что на воле никогда и не думали ни о стихе, ни о ритме. Теперь каждый день стали просить: «Прочитайте что-нибудь!» И я читала им Блока и Пушкина, Некрасова, Мандельштама, Гумилева и Тютчева. Лица светлели. Будто мокрой губкой сняли пыль с окна — прояснялись глаза. Каждая думала уже не только о своем — о человеческом, общем. А я вставала и начинала бродить по камере, отдаваясь ритму. Бормотала:

Если музу видит узник —
Не замкнуть его замками,
Сквозь замки проходят музы,
Смотрят светлыми очами.
Тесны каменные стены,
Узок луч в щели окна,
Но морским дыханьем пенным
Келья тесная полна.
Ты – вздыхающее море,
И в твоей поют волне

Девы – музы, звукам вторя,
Затаенным в глубине.
Волны бьют в крутые скалы
Многопенной синевой,
И тогда – какая малость
Плен с решеткой и тюрьмой!

Недаром знали шаманы, что ритм дает власть над духами: овладевший ритмом в магическом танце становился шаманом, то есть посредником между духами и людьми, а не овладевший кувырком летел в безумие, становился «менериком», как говорили якуты: впадал в душевное заболевание. Стих, как и шаманский бубен, уводит человека в просторы «седьмого неба». Такие мысли, совершенно отрешенные от происходящего, давали чувство свободы, чувство насмешливой независимости от следователя.

Был уже третий следователь у меня, и я с ним поссорилась. Отказалась подписать протокол, им написанный и полный чудовищных обвинений, которые я должна признать. Следователь перевел меня в карцер. Карцер, или бокс, как его называли тюремщики, — низкая каменная коробка без окна. У стены вделана деревянная полка, поко-

роче среднего человеческого роста, на которой с трудом можно улечься. У противоположной стены — маленькая железная полочка, служащая столом. Расстояние между ними такое, чтобы мог встать или сесть человек. Это — ширина бокса. Протянув руку — достанешь до железной двери с глазком и окошечком. Вентиляции нет. Смысл бокса в том, что очень скоро человек, использовав весь кислород, начнет задыхаться. В железной двери, у пола, есть маленькие дырочки, но сесть на пол, чтобы глотать идущий воздух, не позволяют. Открывается глазок двери, и голос говорит: «Встаньте!»

Пленник мечется, задыхаясь. Дежурный заглядывает в глазок примерно каждые полчаса. Когда видит, что у заключенного совсем мутится сознание, он открывает дверь и говорит: «В туалет!»

С радостью бросается туда заключенный. Пока идет до уборной и находится там — он дышит. Светлеет в глазах, яснеет сознание. Дверь бокса остается открытой, воздух входит туда. Его хватает примерно на два часа. После этого все опять начинается сначала. В уборную водят три раза в день. После отбоя полагается лечь на полку-топчан. Если человек лежит — дежурный не видит, спит он или совсем задохнулся. Поэтому после

отбоя пускают вентиляцию. Как работает она, я не знаю — звука нет, но дышать становится легче. Всю ночь можно дышать, это подтверждали все побывавшие в боксе, с кем я говорила. С подъемом опять начинается кислородное голодание. Цель его — замутить сознание. Но удушить совсем во время следствия нельзя, поэтому голодание кислородом регулирует часовой.

Выход из помутнения сознания можно найти, нырнув в образы, уводящие к ярким и ясным ощущениям простора, претворяя в ритм эти образы. Я постаралась уйти в свою юность на Севере. Вспомнила — доводя до предельной ясности воспоминания — и поплыла по великой и светлой реке Двине. И постаралась ритмизировать увиденное:

Широка прозрачность неба,
Отраженная в светлой реке.
Что тебе надо от жизни – потребуй
И в детском сожми кулаке!
Как сжимаешь ты гальку плоскую
Перед тем, как ее швырнуть
И следить, считая полоски,
Которыми чертит она волну.

Широки прозрачные плесы
На прекрасной реке Двине,
Мочат ивы зеленые косы
В прозрачной ее волне.
И, как лебеди, отплывают
От песчаных ее берегов
Черных карбасов стаи
На морской, на звериный лов.

Можно в самой глубокой каменной коробке научить себя слышать плеск воды, видеть ее серебристое сияние и не замечать, что ты заперта, что неба и воздуха нет. Есть особая радость в чувстве освобождения воли, в твоей власти над сознанием. Кажется: вольный ветер проходит сквозь голову, перекликаясь через тысячелетие со всеми запертыми братьями. И все мы, запертые, поддерживаем друг друга в чувстве свободы. Так наткнулась я на духовного свободолюбца XVIII века, на уроженца Двины — Ломоносова. Стала думать о нем, и эти мысли пошли дальше, через все годы лагерей, давая чувство беседы с буйным и непокорным Михайлой. Я нашла себе оборону не только от душного карцера, но и от наступления на меня всего, что не вмещало

сознание: изолировала себя, уходя в ломоносовщину. Это превращалось в поэму в течение пяти лет. Не знаю, стало ли это поэмой в литературно значительном смысле, но это памятник моей внутренней свободы, это — прием к неуязвимости души.

Но возвратимся в карцер. Я сидела там двое суток, и было неясно, сколько еще сидеть: следователь сказал, что пока не соглашусь подписать протокол.

Я не допускала мысли о подписи под нелепыми обвинениями, однако сорвалась, как говорят в лагерях, «запсиховала» — решила объявить голодовку. В 1937 году, по окончании следствия, я голодала 7 дней, требуя снятия одиночной камеры и свидания с матерью.

Грозили новым сроком, орали, но на восьмой день — уступили, выполнив то и другое. Я помнила, что голодовка — тоже взлет в иное сознание, чувство власти над своим телом. Но приступать к голодовке надо с собранной волей и твердым знанием того, чего хочешь добиться.

Теперь у меня этого не было. Была муть в голове, кислорода так не хватало, что даже образы простора перестали помогать.

В тот же день, когда я отказалась принимать

пищу, меня повели в санитарный пункт. Посадили на стул, скрутили назад и связали руки.

— Будем кормить искусственно: вставьте расширитель, — сказал врач.

Я не сопротивлялась, да это было бессмысленно. Железный расширитель лязгнул по зубам, рот раскрыли и ввели кишку.

— Питательный раствор? — спросила сестра. (При длительных голодовках, когда начинали кормить искусственно, вливали питательный раствор — масло и яйца, взбитые с молоком.)

— Чего там, просто литр супу, — ответил врач.

Сестра молча стала лить через воронку красноватую жидкость. Голова была запрокинута, рот разжат расширителем, жидкость, переливаясь через край воронки, попала в дыхательное горло. Я потеряла сознание.

Очнулась в боксе, на топчане. Дверь была широко открыта, человек в белом халате делал мне какую-то инъекцию. Я заснула.

Когда очнулась, тело болело, сознание было не вполне ясным, но дышать было можно — значит, ночь?

Стукнуло окошко в двери, образуя подоконник. Положили пайку хлеба.

— Принимаете пищу? — спросил голос.

Я молча протянула руку и взяла пайку. На поднос поставили кружку с кипятком. Значит, утро. Скоро я ощутила его и по тому, что воздух перестал поступать. Бороться дальше? Можно бороться, можно пойти и на искусственное питание при нормальном дыхании. Без кислорода воля слабеет. «Просто задушат, как крысу», — подумала я. Есть не могла, болело оцарапанное горло, но в обед выплеснула суп под топчан, а не возвратила обратно. Они сломили меня.

Дальше провал в памяти, полузабытье. Вызвали через какое-то время к следователю, идти отказалась, пока не переведут в камеру. Еще какое-то время ушло. Потом перевели в камеру и сразу вызвали оттуда к новому следователю. О подписании прошлого протокола вопрос отпал. В камере мне сказали, что прошло четверо суток. Они волновались за меня.

Серым клубком покатились будни: январь, февраль, март.

Все койки давно заняты. Женщины свыклись друг с другом, с бегущими днями.

Утром: хлеб, кипяток, уборка камеры. Ожидание: не вызовут ли кого на допрос?

Обед: выстраиваемся с мисками. Вносят баланду, перловую кашу. Поели. Опять ожидание

— когда поведут на прогулку?

Тишина. Глухая тишина во всем мире. Разговаривать позволяют лишь шепотом. Зажигается свет. Подходит ужин. Будет или не будет прогулка? Вызовут или не вызовут никого на допрос? Иногда никого не вызывают. День кончается. Отбой. Постель. Забытье.

Но и ночью знаешь: может щелкнуть замок, голос назовет фамилию. Чью? Тебя или соседку вызовут ночью на допрос?

«Я!» — вскакивает названная. «К следователю!» Судорожно собирается. Со всех коек смотрят взволнованные глаза, двигаться не полагается. Под сочувственный вздох камеры вызванная погружается в лабиринт коридоров. Камера замирает.

Я помнила: в 37-м году с допроса возвращались потрясенные, доведенные до катаклизма страдания люди. В 37-м прорезал иногда тишину страшный крик. Теперь этого не было. И на допросах не держали по суткам, как тогда: к утру всегда возвращалась допрашиваемая. Дневные допросы тоже не длились больше пяти-шести часов. Камера ждала; складывали фигурки из спичек, делали бусинки из хлеба, распускали чулки, чтобы потом вышивать или штопать. Прислушивались; шел

день. Щелкал замок: возвращается!

Чуть побледневшей приходила Мария Самойловна, бросала несколько скупых слов, садилась на кровать — партийная выдержка!

Валя возбужденным шепотом рассказывала о брани и грубых насмешках следователя.

Аня восклицала, вернувшись: «Опять про двадцать восьмой год! Про университетскую оппозицию в Одессе. Ведь уже двадцать лет прошло! На трех партийных чистках и у меня, и у мужа спрашивали. Когда же дойдут до дела?»

Собирались на соседних кроватях, оглядываясь на волчок, шептались: как вел себя следователь? На каком этаже была? Что удалось подметить, проходя по тюрьме? Пытались уловить ход мясорубки, перемалывающей судьбы. Молола — усовершенствованно: пятен крови не видно.

Щелкнул замок.

— Смирнова Валентина Андреевна.

— Я!

— С вещами!

Все вздрогнули. Валя стала торопливо собирать вещи, спрашивая шепотом:

— Что это? Что это? Куда?

— Наверное, на волю, Валюша, — утешала Надежда Григорьевна, помогая увязывать узелок.

— Вернее — в другую камеру, — скупо сказала Мария Самойловна.

— Но почему?

— Разве вещи знают, почему их переставляют? Мы — вещи, — ответила я.

— Что мы знаем о следующем часе? — подтвердила Мария Самойловна.

Торопливо: объятия, объятия. Валя вышла.

Мы сидели, глядя на опустевшую койку, в урочный час выпили кипяток. Ждали: кого еще?

Человек не может быть в постоянном напряжении. Казалось бы: надо ждать неизвестного каждую минуту. Но мы ждали несколько часов, а потом начали развлекать себя — вышиванием из старых ниток, гаданием на спичках, заплетением кос, разговорами. Будто и не придет сейчас неожиданное.

Но лязгнул замок. Все вздрогнули.

На этот раз впустили высокую светлоглазую женщину с пледом в руке. По тому, как оглядывалась, остановилась, — все поняли: с воли. Подошли. Она отвечала по-русски с трудом. Оказалась эстонка из Таллина. Я заговорила с ней по-немецки, она как-то успокоенно ответила. На меня зашикали:

— Вы что? Вам не хватает шестого пункта? —

(Шпионаж.) — Нельзя по-немецки!

Но заключенные умеют понимать друг друга почти без слов: мы скоро узнали ее историю.

— Как можно отказать отцу, когда он хочет взять к себе детей? — спрашивала она. — Как я могла не помогать брату взять детей в Америку? Их мать умерла, не дождалась мужа, дети остались со мной. Конечно, я была в американском консульстве! Сколько лет брат искал своих детей! Он уехал на заработки еще из буржуазной Эстонии. Потом она стала советской, потом пришли немцы. Он не знал, что сталось с женой и детьми, искал их. Когда пришли Советы — нашел, узнал, что жена умерла, дети у тетки. Умолял ее помочь отправить их в Америку. Разве это есть шпион? — спрашивала она, смотря прозрачными удивленными глазами.

Мы молчали. Она верила, что это недоразумение. Больше всего ее ужасало вначале, кого она встретит в тюрьме: воровок, бандиток, преступниц? Увидела — обыкновенные женщины; жили, постепенно приспособляясь: стирали трусы и платки под краном в уборной, штопали иголкой из рыбьей кости (металлических острых предметов в камеру не давали), учили друг друга мережить. Она оттаивала, улыбка добрела, но в

глазах росло недоумение: что все это значит? За что сидят эти женщины?

Март подходил к концу. В тюрьме ход зимы, ход Земли к весне чувствуется по мелким приметам: пробился в камеру, стал задерживаться на серой стене узкий солнечный луч, как прожектор, осветил трещины в масляной краске, потеки на потолке. Заплясали пылинки. Форточку откроют, и слышно восторженное чириканье воробьев. Их не видно, железный щиток закрывает окно, но за щитом — воробьи прославляют весну. На прогулке черный проугленный снег в колодце двора таял под ногами. На водосточных трубах — ледяные сосульки. Поднимешь глаза — в синеве взбитой пеной плывут облака. Перемены в свете и воздухе, незаметные людям, занятым делами на воле, становились событиями в тюрьме — внимание обострено. Мы научились определять время по передвижению тени оконной решетки, людей — по вздергу губ или пойманному взгляду.

После обеда вызвали на допрос Аню. Вернулась вечером. Руки у нее тряслись, быстрые темные глаза округлились.

— Подписала окончание следствия! — воскликнула она, садясь на кровать. — Была у прокурора и подписала! Никаких новых материалов, только

про двадцать восьмой год!

— Ну, значит, освободят, — радостно сказала Надежда Григорьевна.

— Значит…

Опять лязгнул замок.

— Гаген-Торн.

— Я!

— Как зовут?

— Нина Ивановна.

— К следователю!

Подняли в лифте, повели коридорами, опустили в лифте на один этаж. Опять коридорами… В них уже не было ничего тюремного: сияющий паркет, покрытый ковровой дорожкой, сияющие медные ручки белых дверей. Кабинет. Такой же солидно сияющий. Огромные окна, кожаная мебель. Два следователя: мой, молодой, и другой, пожилой.

— Садитесь, — сказал мой, как всегда не подпуская близко к столу. — Вы продолжаете утверждать, что не вели антисоветской деятельности?

— Не вела.

— И первый срок отсидели зря?! А показания, которые на вас имеются?

— Какие показания?! Я не видела никаких показаний!

— Как это не видели! Вот они, показания! — Он постучал по папке рукой. — А вы утверждаете, что не видели! А?!

— Ничего мне тогда не показывали! — вскричала я. — Если бы видела, хоть знала бы, за что сидела на Колыме.

— Чушь городите, — рявкнул следователь, — не верю!

— Говорю вам, что не видела, — заорала я, — если они есть — покажите!

Другой, пожилой, сказал:

— Знаешь, в тридцать седьмом их не показывали. Может, и не видала.

— Ну-у? — удивился молодой. — Как это? Ну — смотрите!

Он вынул из папки и протянул мне лист. Прочла: «Протокол допроса Ш… Ноэми Григорьевны, 1901 г. рождения». Я вздрогнула: Нама. Она так сердечно, так дружески отнеслась ко мне, когда я в 1945 году приезжала в Ленинград искать, не сохранилась ли моя диссертация. Мы знали друг друга со студенческих лет, учились у Богораза и Штернберга; вместе начали работать в музее… Что ее спрашивали? В 45-м году она так участливо расспрашивала о Колыме, я знала, что ее брат тоже там в лагерях, рассказала все, что

слышала о нем. Мы вспоминали молодость, она пригласила меня в Филармонию, дала карточку в академическую столовую на те дни, что я была в Ленинграде. Что может быть плохого для меня в ее показаниях?

Стала читать. Да, несомненно, писал не следователь, точнее, следователь со слов этнографа, так сформулирована тематика и подготовка к первому этнографическому совещанию, которой я занималась в 28-м году. Но что это? «Мне известно, что у Гаген-Торн на дому были нелегальные сборища, на которых я присутствовала один раз. Там обсуждалось, как объединить этнографическую научную молодежь против коммунистов. Гаген-Торн призывала к этому, подготовляя нелегальную программу совещания. Она отличалась антисоветскими настроениями, брала темы по древним пережиткам, не желая заниматься современностью…»

— Позвольте! — возопила я. — Археологи все занимаются древностью, и никто не видит в этом антисоветских настроений! Никаких нелегальных сборищ не было! Если бы тогда, в тридцать седьмом году, мне показали это! Так просто было доказать!

Теперь, после войны и блокады, почти никого

не осталось в живых, но в 37-м году были люди, которые могли подтвердить, что было на совещании у меня в квартире! Я вся дрожала от возбуждения.

— Был жив Николай Яковлевич Марр, был жив Михаил Петрович Кристи, который поручил мне подготовить программу всесоюзного совещания…

— Кто такой Кристи? — насторожился следователь, схватив перо.

— Вам бы надо знать! — сердито сказала я. — Это был зам. наркома по делам науки и высшей школы.

— Был такой, — подтвердил пожилой следователь.

— Он поручил нам подготовить программу.

— Почему же вы собирались на частной квартире?

— Да потому, что я была в декретном отпуску, дохаживала последние дни до родов, вот и пришли ко мне. Если бы мне дали эти показания в тридцать седьмом году! Так просто было бы доказать!

— Теперь все это не имеет значения, за прошлое вы отбыли срок наказания. Нет смысла его поднимать.

— Как нет смысла! Как нет смысла? Обвинения отпадут, и станет ясно, что это ошибка!

— Вас тем необходимее изолировать. Раз вы считаете это ошибкой — разве вы простите, что вам испортили жизнь? Ясное дело: вы стали врагом советской власти.

— Позвольте! — закричала я. Но мой, молодой, поднялся:

— Не стоит об этом говорить! Допрос окончен. Пойдем к прокурору.

Он позвонил часовому. В сопровождении солдата мы пошли длинным коридором.

Еще импозантнее приемная: сияющие дверные ручки, сияющий паркет, пестрый ковер на полу, мягкие пружины кожаных кресел.

Такой же пружинящий, приглаженный человек в сером костюме. От возбуждения я заметила не лицо, только блеск пенсне и блеск пробора.

— Гражданин прокурор! Мне только что показали обвинения тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Я хочу просить о пересмотре дела. Я все могу опровергнуть. Я прошу…

— Да, да, мы рассмотрим, если понадобится… Вы считаете следствие законченным? — спросил прокурор следователя.

— Законченным, товарищ прокурор!

— Ну что же — прочтите последний протокол, — сказал прокурор, — подпишите, что вы уведомлены об окончании следствия. — Он протянул мне бумажку.

— Но я не согласна! Оно не кончено — надо рассмотреть эти показания!

— Мы посмотрим, посмотрим… Это не имеет значения. — Он прошел в другую дверь, за приемную.

Часовой сказал:

— Пройдите!

И меня увели. Коридорами, лифтами, опять коридорами. Он отвел меня в камеру.

Я записываю факты. Мне самой теперь они кажутся неправдоподобными: как могло быть, что десятки тысяч людей отправляли в лагеря без суда, без проверки случайных показаний обвинения? Как могла существовать машина особого совещания? Кто додумался до создания этой машины? Это менее понятно, чем процессы ведьм в Средние века: те вытекали из общего мировоззрения, а это — стояло в противоречии проповедуемому мировоззрению. Но — было! Память объективно и точно передает совершавшееся. Прошу верить: я веду записки как исторический документ для будущих поколений,

в них нет ни прикрас, ни искажений. Это не агитка, не беллетристика, это запись о прожитом, это попытка наблюдателя точно фиксировать виденное. Так, как привыкли мы, этнографы, во время полевых работ.

Этап. Пересылка

Подписавших окончание следствия переводили в пересыльную камеру, а потом, через несколько дней, для ожидания этапа перевозили в пересыльную тюрьму. В Ленинграде — в Кресты, в Москве — в Бутырку.

В пересылках — другой режим, чем в следственной: можно хоть целый день лежать на кровати, разрешена переписка с волей, приносят книги, можно, если, разумеется, есть деньги на лицевом счету, заказать из ларька продукты.

Приговор — лотерейный билет: никто даже не пытался найти объяснения, почему одни получали десять лет, другие — восемь, третьи — пять. Срок наказания — карты в азартной игре, где ставка — судьба человека.

Мы, повторники, знали, что не вернемся на волю, и все-таки это казалось бредом.

Можно ли передать сон, бред? Лев Толстой великолепно передал бредовый сон князя Андрея.

Но я чувствую бессилие передать существовавшую в действительности бредовую камеру, я лишь попытаюсь вылупить из сознания, как яйцо из скорлупы, происходившее.

Большая, окрашенная мутно-коричневым цветом, длинная комната. В конце ее такой же мутный свет окна мельтешит, ломаясь с неугасимой лампой под потолком. Комната заставлена голыми деревянными нарами. На них рассованы чемоданчики, вещи, пальто. Сорок или пятьдесят женщин сидят и бродят по камере, знакомятся, непрестанно рассказывают ход своего дела, спрашивают: «Что будет? А? Что будет?»

Калейдоскоп женских лиц. На лицах — то пустота и безглазие, то вдруг выступают такие тревожные, освещенные скорбью глаза, что ничего, кроме них, уже и не видишь.

Смутное движение толпы. Кто эти женщины? Старые и молодые, работницы, интеллигентки, домохозяйки, студентки, они — глина, смятая и приготовленная к лепке. Ползет день. Отбой укладывает всех на нары и создает тишину. Подъем — начинается движение.

Как ковш, вытягивающий рыбину из живорыбного садка, голос из двери вытягивает, называя фамилию: «С вещами!»

Это ведут подписывать приговор. Потом уж не вернут в камеру.

Человеческой душе трудно выносить бессмыслицу, память старается стереть ее. И мне трудно

восстановить бессмысленный ритуал объявления приговора. Но — надо.

Ковш выхватил меня из живорыбного садка «с вещами». Проводят через обыск. Раздевают догола, осматривают каждую складку тела, каждый шов одежды. Потом — в бокс. Не тот, без воздуха, где я сидела, а просто в узкую, окрашенную темно-коричневой краской комнату, какие бывали на старых вокзалах. По коридору гулко слышны шаги и голоса — все время кого-то куда-то ведут, щелкают замки дверей.

Под потолком тускло горит лампочка. Как передать ожидание? Это не то ожидание, что перед опасной атакой или бомбежкой, где напряженно активен; не ожидание, когда близкий человек под ножом хирурга — там ты веришь в разумность совершающегося; не ожидание наступающего стихийного бедствия, там ты готовишься, изыскиваешь шансы к спасению. Это, пожалуй, состояние мыши, попавшей в капкан. Ты — мелкое пойманное животное в руках слепой и всемогущей силы. У тебя бьется сердце, оно знает: пощадить может только случай.

Ах, я полюбила животных с тех пор братской любовью: я поняла их состояние безответной беспомощности!

Всеми нервами чувствуешь: за длинным рядом дверей другие, такие же, как ты, тоже ждут, и мы — в руках слепой силы.

Начала осторожно постукивать в стенку. Отвечает! Азбука тюрем.

— Кто вы?

— Женщина из десятой камеры. Ожидаю приговора.

— Аня?

— Кто стучит?

Называю фамилию. У сидевших в одной камере образуются свои сигналы, они легко отличают своих от «наседки» — специально подсаженного человека.

— Слышу — правда, Аня, но…

Щелкнул замок камеры. Тишина. Шаги в коридоре…

Наконец повернулся ключ в моей двери.

— Проходите! Вещи оставьте.

Повели коридорами.

— Войдите!

Почти пустая комната. За черным школьным столом два человека с кипой папок, стопкой узких печатных повесток.

— Садитесь, — сказал голос. Лица не видела: сидело безликое, серое, в гимнастерке. — Прочтите

и распишитесь.

Протянул узкую полоску бумажки, вроде пипифакса, на которой отпечатано: «Постановление Особого Совещания от… марта 1948 г. Гр… присуждается к отбытию срока наказания в исправительно-трудовых лагерях на… лет».

В многоточиях от руки: день заседания, фамилия заключенного, срок наказания.

«Если пять — еще выдержу», — мелькнуло у меня.

Поставлено «пять» — повезло!

Особое совещание давало срок на основании протоколов, без суда, без опроса обвиняемого. Расписалась, и ритуал окончен. Отвели обратно, к вещам. Откуда-то из конца коридора неслись рыдания — женщина вопила и билась в железную дверь. За другими дверями — молчание. Щелкали замки. Выводили и приводили. Производство было серийным. Из соседней камеры постучала Аня. От нее я узнала, что Мария Самойловна получила десять, а она, Аня, — восемь лет.

Утихли замки и крики. Потекли часы — сколько? Время определялось тем, что внесли кашу: значит, ужин. Опять открылась дверь.

— С вещами!

Надела пальто, вышла. У всех дверей женские

фигуры. Их смели в строй, как рассыпанную крупу. Окружили солдатами, повели. Распахнули двери. Дохнуло морозом.

— По одной — в машину!

«Черный ворон»? В 37-м году он был действительно черный: железный короб с решетчатым окошком сзади. Он разъезжал ночами по городу, забирая в тюрьму.

Нет, этот не был черным: моторный фургон светло-зеленых тонов с надписью во все бортовое поле: «Игрушки». Сзади — герметическая дверь и приставная лестница.

— Первая, вторая, третья! — Гуськом нас впускали в черноту машины. — Примите документы. Все! — сказал сдавший этап. Считавший взял папку. Дверь захлопнулась.

Совершенная темнота. Испуганное дыхание. Мы чувствуем плотно прижатые тела.

— Куда? — чей-то шепот. — Куда нас везут?

— На пересылку.

— А это не газокамера? Трудно дышать…

— Вздор. Это от тесноты.

Время потерялось, осталось движение. Застопорилось урчанием. Щелкнула дверь.

— Вылезайте по одной. Первая, вторая…

Каждая становилась со своим узелком.

— Все?

— Все! Веди в баню.

Какая радость телу — вода! Стремительный поток теплой воды из двух десятков душевых кранов… Она брызжет и искрится, журчит и бежит по цементному полу. Изможденные тюрьмой, зеленоватые, как плесневелые, женские тела радуются теплой текучей живой воде. Отходит тревога, ужас, отчаяние — улыбаются лица, потому что смывает все мысли теплая, живительная вода. Мысль у всех одна: как суметь отрезком мыла, величиной с два кусочка пиленого сахара, который был выдан каждой, — как суметь вымыть голову, вымыться, да еще и выстирать трусы или рубашку?

— На них я использую пену, которая стекает с головы, — звонко кричит чей-то молодой голос. И кругом смеются.

— Правильно! Рационально! И просто как в первоклассную душевую попали! — кричит кто-то, звонко хлопая себя по бедрам. И опять все смеются.

Они забыли, что пережито и что ждет впереди. Тело, замученное тело радуется воде и гонит мысли.

А мысли вернулись, когда развели по камерам.

В глазах — опять боль и страх, у рта — горькие продольные складки, одинаковые у старых и молодых.

Камеры в Бутырке небольшие. Когда-то это, верно, был корпус одиночных камер, теперь, из-за недостатка жилплощади, поставили по четыре кровати. Я — вот как хорошо! — оказалась в одной камере с Аней и Надеждой Григорьевной Антокольской.

Кто была четвертая? Я не помню четвертую. Столько лиц прошло, столько камер, что мешаются лица и камеры. Мы втроем обрадовались друг другу потому, что сидели вместе уже больше трех месяцев, вместе пережили потрясение.

Теперь удар нанесен, как-то остались живы, все закончено. Идут разговоры о лагерях.

— В тридцать седьмом, — говорю я, — мы еще месяцы ожидали на пересылке этапа. Попадем ли к лету теперь в лагеря?

— Поскорей бы! — вздыхают.

Открываем форточку. Небо слепит глубокой бархатной синевой, солнечный луч, как добрая рука, шарит по камере.

— Смотрите-ка, — говорит Аня, — решеток нет потому, что в стекло вплавлена проволока. Стекла-то не матовые — это вплавленная в стекло

тонкая металлическая сетка. Вот здорово!

— А щиток совсем низкий, небо хорошо видно, — замечает Надежда Григорьевна, застилая свою постель. У нас уже была передача, у всех есть свои одеяла и простыни. Мы чувствуем себя вроде как в пароходной каюте. Приспосабливаем на столике зубные щетки и мыльницы, кладем ложки, кружки. Расставили. Сколько нам ждать здесь?

На прогулку выпускают по несколько камер вместе. Узнаем о сроках, разыскиваем знакомых. В тюрьме новости облетают сразу, вести распространяются неуловимо, стихийно, как круги по воде. Через несколько дней мы уже разузнали почти про всех, кто попал в этот корпус. В тюрьме свои интересы и свои законы. Скорей бы только уйти из нее, хоть в лагеря, хоть в этап! Хотя мы уже рассказали тем, кто не испытывал еще, всю тяжесть этапа.

Весна была в 1948 году теплая. К первому мая уже распустились листки на деревьях. Первого мая — в дни праздников всегда удваивали бдительность — никого из камер не выпускали, но второго мая нас выпустили из камер на прогулку.

За высокой кирпичной стеной бутырского

двора шумела праздничная улица. Был яркий, солнечный день, с синими свежими тенями, с теплым воздухом.

На серый асфальт двора, на красные кирпичи стен тоже падали солнечные лучи. Беззвучно ходили заключенные — разговаривать не разрешалось, и новости передавались с помощью различных ухищрений. Зорко смотрели часовые. Я чуть отошла в сторону и глянула вверх: на кирпичной стене, на самом верху ее, в синеве неба, трепетали свежие молодые листочки. Тоненькая березка выросла в расщелине кирпича, протянула к небу гибкие ветки и трепетала, и радовалась. Белая березка пела зеленой листвой даже в этом кирпичном мешке, вопреки всему побеждая смерть.

Тюремщики не предвидели, как жизнь подает нам сигналы, не сумели предугадать. Мы посмеялись вместе, я и березка: что могут сделать убивающие? Если даже теперь дадут приказ — срубить на стене березку, она уже осталась жить во мне. Ее маленькие зеленые листики утешили человеческое сердце (и не одно мое, верю, что не одно), и что могут сделать они, убивающие, с тем, кто понимает синеву неба и смех березки?

В середине мая неожиданно вызвали с вещами

на этап. Согнали в нижний этаж, в этапные камеры. Говорить в тюрьме запрещено, но вне слуха и зрения, каким-то неуловимым осязанием, мы почувствовали, попав в коридор, что согнано много людей и что этап будет большой. В той камере, куда меня ввели, сидели около сорока женщин. Привычным взглядом оценивая «товар», поняла — не в дальние лагеря; настоящей рабочей силы не видно. Сидели хлипкие городские девчонки да пожилые женщины, скрючившиеся, серые от тюрьмы. Бросовый товар, который не стоит везти далеко. А кто они, если смотреть на них не с рабовладельческой, а с человеческой, с нашей точки зрения?

Остановила внимание стройная седая женщина в белых носочках и тапочках. Сквозь возраст, сквозь тюрьму было видно, что она прежде умела умно подать свою красоту.

Хотела бы я попасть с ней вместе, подумала я, все-таки совсем новое, выдержка совсем другая, чем у Марии Самойловны. Не партийная, индивидуальная выправка. Держится как… Кто она?

Аня Саландт ходила по камере, волновалась: хоть бы со знакомыми вместе! А мне бы незнакомых хотелось, чтобы посмотреть, что за люди. Ведь там на людях только держишься, хоть бы

поинтереснее люди!

Только к вечеру нас погрузили в машины, повезли до вагона на далеких запасных путях, чтобы нельзя было узнать вокзал. Перегнали в столыпинские вагоны. Память Столыпина увековечена в усовершенствованном арестантском вагоне. Это с внешней стороны добротный, пассажирского типа вагон. Но большие нормальные окна, даже без решеток, только со стороны коридора. Решетки вместо дверей отделяют от коридора купе. В купе — мелкие зарешеченные окошки вверху и тройные нары. Уборные — с двух концов вагона.

Часовой впускает в них, не теряя из виду идущего. Все продумано, согласно требованиям цивилизации начала XX века. И воспринято советской действительностью среди достойных подражания образцов прошлого.

Был роздан сухой паек — дневная норма хлеба, кусок сахара и селедка. Соображаем: если бы длинный этап — выдали бы сразу на двое-трое суток. Значит, недалеко.

Я забралась на верхние нары, постелила одеяло, накрылась пальто: надо спать. Постукивал вагон. Ходил часовой по коридору, и длинная тень ходила за ним в тусклом свете. Внизу в темноте

кто-то шептался и плакал. Мне твердился стих из первого, сибирского этапа:

Лежу я, глаза закрыв…
Стук колес бесконечен и мерен,
Может быть, ты и жив?
Может быть, не застрелен?
В дожде паровозный гудок,
И уходят леса Сибири…
Мир в крови, как в реке, намок —
Поток разливается шире.
И поезд уходит, дрожа
Под тяжестью нашей обиды…

Тысячи тысяч расстрелянных, замученных, погибших в колымских, карагандинских и прочих лагерях тогда, в 37–38 годах. И опять волна… Снова идут этапы, увозя тысячи людей. Каких? Какие слои? Опять интеллигенцию и крестьян? Или других теперь? Увижу в пересылке. «Сколько дней пути?» — могут спрашивать только новички. Мне известна бесполезность таких вопросов. Мы — скот, который перегоняют к месту назначения, как бы он ни мычал. Прошлые лагеря уже дали сознание равенства и глубокую жалость к животным, понимание, что чувствует живое

существо, отданное во власть машины.

Мы ехали почти без остановок, это спецпоезд, его пропускают. Остановились под вечер следующего дня. Выглянули сквозь решетку окошечка: маленькое деревянное здание станции. Неизменные пыльные тополя. Несколько женщин в белых с красным рубашках. Да это мордовки! Вот куда мы приехали. Поезд осторожно маневрировал. Щелкали стрелки запасных путей, состав загоняли в тупик. Скосив голову, мне удалось прочитать название станции: «ЯВАС».

— Что? Что? Куда мы приехали? — волновались женщины.

Конвоиры из нашего вагона спрыгнули и пошли к зданиям. Дежурный стоял, ухватившись за поручни, высовывался в открытую дверь. Оттуда в вагонный смрад пахнуло теплом полей, полыни, меда…

— Пожалуй, будут выгружать?

Начали в нашем отделении свертывать узелки, вытягивать чемоданы (у кого они были).

Как томительно ожидание. Время пухнет и разрастается.

На главном пути — паровозный гудок: подошел пассажирский поезд. Что-то грохотало по путям. Два звонка. Зашипел паровоз, забормотали ва-

гоны.

— А наш состав отцепили, — сказала девчонка, занявшая позицию у окна.

— Как ты можешь знать?

— Вижу. Отошел паровоз на другую путю. Начальник конвоя идет! Ушел…

Тянется неизвестное время.

— Испить бы! Кипятка-то не дали.

— Дежур-р-ный — воды!

— Потерпите!

Солнце начинает склоняться, тени становятся длиннее.

В 37-м мы просидели в недвижном вагоне шесть суток — не принимала Новосибирская тюрьма, не было места.

Вспомнилось: июль раскалил вагон. Как пироги в печи, лежат люди на полках, вплотную. Два раза в день дают кружку кипятку, утром — пайку хлеба. Да есть-то не хочется — лежишь, задыхаясь смрадом уборной. Так бы еще лежали, если бы не подняли бунт на шестые сутки — стали громко кричать в окна. Тогда лишь начальник конвоя засуетился — сдвинули вагон от вонючей клоаки под вагоном. Дали воды, чтобы умыться. А к вечеру тронулись из Новосибирска. Молчу, не рассказываю об этом… Зачем пугать?

— Идут! — кричит девушка с верхней полки, у окошка. — Новый конвой. И наш с ними — будут сдавать.

По коридору шаги, голоса. Считают. Подошли к нашей решетке.

— Двенадцать, — сказал начальник конвоя и приказал: — Повернитесь все головами ко мне.

Новый начальник пересчитал головы:

— Правильно! Пошли дальше.

Что с нами сделают? Поедем дальше или уже приехали? Все думают, но не спрашивают — спрашивать нельзя, нельзя и разговаривать, только шептаться.

— Собирайтесь с вещами!

Движение во всех отсеках. Увязывают вещи. Лязгнул замок на решетке первого отсека.

— Выходи!

Топот ног, шарканье. За стенкой, с другой стороны, — мужские голоса. Оказывается, с нами были и мужчины. Конвоир открывает нашу решетку.

— Выходи! Отведем женщин, придем за мужчинами, — говорит он нашему.

Осматриваюсь. Вон та стройная седая женщина. Вон, радостно киваю, — Аня Саландт.

— Сорок шесть, — считает конвой. — Пошли!

Четыре конвоира с винтовками окружают нас.

Сзади — еще двое с овчарками. Впереди — начальник нового конвоя с папками дел.

Идем по шпалам, переходя с одного пути на другой. Упоительно дышать пахнущим зеленью воздухом, теплым летним ветром. Как жарки для тюремной кожи лучи вечернего солнца. Какие облачка прозрачные. Есть земля, есть люди — вон они ходят, могут не сознавать своей зависимости, разговаривать, повернуть куда вздумают. Мы почти забыли, что есть другой, не тюремный, солнечный мир.

Подходим к трехметровой стене из колючей проволоки. За ней — дощатый забор. Ворота раскрыты. Вошли. Клетки из проволоки окружают деревянные бараки, оставляя вокруг каждого дворик метра в три шириной. Парень в военной гимнастерке, распахнувший ворота, выбегает вперед, как пастух, и кричит:

— Поверни налево! Стой!

Опять пересчитывает и выпускает в калитку стадо женщин.

— Размещайтесь в бараке. По своей зоне можно свободно передвигаться. К бровке не подходить. После второго предупреждения часовой стреляет! — Он запирает калитку.

— Что такое бровка? — шепчут женщины.

Опытная поясняет: вскопанная полоса у ограды.

Но смотреть некогда — стадо кидается в барак занимать места. Грубо сделанные полки в два этажа, как в вагоне, но к полу не прикреплены — можно передвигать. Стол посередине. Доски пахнут сосновой смолой. В окна бьет солнце широкой дорогой. Оживление, возбужденные голоса, чей-то смех… Женщины выбегают из барака, через дворик бегут в уборную, возвращаются. Это кажется почти свободой.

Как в вагоне поезда, когда после трудной посадки наконец все получили места, радуются: можно отдохнуть, познакомиться с соседями. Тем, кто не был в заключении, оно представляется сплошь трагичным. Но каждый человек вмещает свою меру трагического: когда она переполняется, наступает разрядка — отдых. При любом страдании неизбежно надо есть, пить, спать. Так же необходимо, хоть изредка, смеяться, надеяться, забывать о страдании от случайного облегчения. Веселье может вызвать незапертая дверь барака, возможность по собственному желанию пробежать через двор в уборную, встать посредине дворика, увидеть на плотно убитой земле одолевший беды и расцветший одуванчик.

В бараке, как и в поезде, верхние места лучшие

— отъединеннее. Я взобралась к окну, на верхнюю нару, расстелила пальто, сунула чемодан под голову, прикрыла все одеялом. Вот и дом на какое-то время. Рядом голые доски, пустые нары, а дальше — как удачно! — расположилась та, седая, в белых носочках. Мы дружески посмотрели друг на друга — как, мол, зовут?

— Меня зовут Валерия Рудольфовна.

— Нина Ивановна.

— После года одиночки приятно пахнет сосной… Нет железа и камня, — сказала Валерия Рудольфовна, довольно оглядываясь. — Да и этап не тяжелый — короткий.

— Я повторница. Прошлый раз на Колыму ехали два месяца, от пересылки к пересылке. А здесь — свернули с пути в тупик, значит недалеко, осталось немного.

— Девушки, девушки, давайте кипяток просить, ведь с утра не пили! — говорит кто-то. — А в баке вода совсем ржавая!

— Стучите в калитку дежурному!

В лагерях два обращения: «девушки» или «бабки». Вероятно, потому, что взрослость человека предполагает возможность распоряжаться собой, ответственность. У живого имущества государства нет прав. Остается — или депрессия старости,

или озорство подростка, умеющего мелкой уловкой ослабить давление.

Девушки достучались в калитку: их выпустили за кипятком. Вернулись с огромным медным чайником, с рассказами:

— Десятки таких бараков с двориками!.. Калитки на замках… Видели — мужчины с работы шли. Конвоир открыл дворик, впустил и опять запер!.. Рядом — тоже мужской барак, за забором…

Все взволновались: кто рядом? Лагерь это уже или еще пересылка? Говорили, перебивая друг друга.

— Заговорили соседи! — сообщил кто-то со двора. — У забора за бараком, в углу!

— С вышки не видно?

— Нет! Только осторожно! Не все подходите! Чтобы часовой не заметил!

— Пройдешь мимо забора — и дальше по дворику.

В щели мелькнуло мужское лицо.

— Откуда вы, женщины? — мягко пророкотал голос.

— Не все, не все, — зашептались опять.

Оглянувшись на вышку, где торчал часовой, к забору за бараком прижались трое.

— Мы из Москвы. Сегодня прибыли. А вы?

— С разных мест, два этапа соединили. Мы уже третий день…

Женщины оживленно сновали по дворику. Две решили завести стирку: под баком с водой стоял таз. Его вымыли, влили воду из бака и из чайника и принялись. А за бараком — шептали в забор. Дошла и моя череда. Девушки у щели смеялись. Другая щель освободилась. Оттуда глянул на меня серый глаз. Пожилой человек, приподнимая мягкую шляпу, спросил:

— Вы из Москвы?

— Да.

— Не встречали ли Екатерину Ивановну Лодыгину?

— Не случалось.

— Это моя жена. Никак не могу отыскать. Ее раньше арестовали, я в командировке был.

— Вы где сидели?

— На Лубянке.

— Сколько дали?

— Десять, конечно. Добро бы по десятому пункту, это каждому можно пришить, но откуда одиннадцатый — никак не пойму! — усмехнулся он.

— А показания против себя подписали?

— Нет! Что вы!

— Ну за твердость характера и дали.

— А вам сколько?

— Пять, но это довесок — я колымчанка.

— Позвольте, позвольте, у нас есть колымчане. Сейчас позову! Иван Александрович! Идите сюда!

Подошел, протирая очки, седой и высокий. Я и без предупреждения узнала бы, что это старый лагерник, — есть такая, неуловимая посторонним, но заметная посвященным складочка: от крыльев носа к губам, и цепкость взгляда. По ним узнаем друг друга.

Здороваясь, он глянул понимающим взглядом:

— Где отбывали?

— На Сеймчане, на Эльгене, на Мылге.

— Погоняли! Значит, норовиста. Я с Вартукана. Чуть не угодил на Серпантинку, к счастью, начальничка оперировать понадобилось, а я хирург, так и не отправили.

— Повезло. Профессора Петухова встречали?

— Знал хорошо! По воле еще. Вы где его встречали?

— На Эльгене. Он на общих работах был. Тоже понадобилось оперировать — фельдшером взяли в больницу. Отправили потом в Магадан, говорили.

— Я там его и видел.

— Слушайте, а Вишневского вы не встречали? Он наш, ленинградец.

— Антрополога? Тоже фельдшером был, на Балаганном, кажется, слышал о нем…

— Часовой смотрит! — сказали с мужской стороны.

Все отошли от забора.

Через какое-то время — опять подошли. Но у моей щели стоял не Иван Александрович, а тот, другой, в мягкой шляпе, что разыскивал жену.

— Вы, значит, ленинградка? — спросил он. — У нас в камере был ленинградец из Академии наук — Буковский.

— Как? Взяли? Которого? Матвея или Григория?

— Обоих, обоих взяли, один в нашем этапе.

У соседней щели говорила худенькая женщина в темном платке:

— Прошу дуже, чи вы не бачили Грицка Пилипенка? Прошу дуже… Пилипенко, Грицко?

— Пилипенко, говорите? — весело спросил голос из-за забора. — Есть у нас Пилипенко. Только не знаю, как зовут. Сейчас найдем…

Женщина, дрожа, прижалась к забору… и вдруг! Вдруг юношеский голос с той стороны:

— Мамо, мамо, серденько мое, чи ж вы?

— Грицю, Грицю, сынку мий! — забилась в плаче женщина, и все заметались.

— Тише! Тише! Заметят! Отвлекайте внимание! Вещи несите — хлопайте одеяла!

Побежали в барак, схватив за концы, стали хлопать одеяла посреди двора.

Женщина рыдала, припав к шершавым доскам.

Из щели взволнованный голос шептал:

— Мамо, не плачьте! Дякуйте Богу, мамо! Чуял я, тато жив, не забили.

— Дякую, дякую Богу! Грицю мий, сынку мий! — забилась в плаче женщина, крестясь и припадая к доскам.

Кругом плакали.

Какая-то худенькая женщина на крыльце тряслась от беззвучных слез. Девушки, сменяя друг друга, сильнее, сильнее хлопали одеялами. Слезы текли по щекам, мешались от пыли в грязные полосы. Их не вытирали, продолжали трясти. Четыре, пять женщин усердно трясли, отвлекая внимание часового на вышке.

— Надзиратель, Грицко! — тревожно сказал низкий бас за забором. — В карцер запрячут обоих. Отойдите, мамаша! После поверки…

Как слепая, женщина протянула руки. Под руки повели в барак, опустили на нары.

— Пани Пилипенко, пани Пилипенко, выпейте воды! — твердила ей та, что плакала на крыльце.

Другие шушукались, охали: счастье, счастье какое — увидела сына!.. Сына родного встретила!.. После поверки поговорит…

— Ох, Господи, горе наше!..

— Будем ходить по дворику, их заслоним… — Показывали руками, как заслонить от часового. Рассказывали друг другу, в который раз уже, о своем деле, о своих близких — где-то они? В какой тюрьме?

— Надзиратель!

Все вздрогнули: неужели заметили? Переведут теперь Пилипенко в другой барак, чтобы не встретилась с сыном.

Нет… Надзиратель спокойно оглядел и сказал:

— Кто за ужином? Идите — несите!

Те, что принесли кипяток, опять вылезли:

— Мы!

— Еще двое — за посудой! — крикнул надзиратель, отпирая калитку.

Подошли еще двое. Все вышли. Щелкнул ключ, напоминая: одуванчик-то цветет, птицы летают, но все та же тюрьма остается для нас.

Рано на другой день я вышла из барака. Роса лежала на серых досках. Прибила пыль вытоптанной земли. Омытые, стояли у стены барака два одуванчика. Капли росы блестели на желтых венчиках. В небе плыли пышные светлые облака. За проволочными стенами лагеря шевелилась лесная зелень.

Я дышала, слушала, думала:

Прекрасен солнечный восход
И тени на траве.
Прекрасен ласточки полет
В прозрачной синеве.
Ты слышишь запахи полей
И тонкий пар с реки?
Зачем же Родины моей
Так раны глубоки?

Трудно совместить эти раны с прекрасным июньским утром. Трудно понять, кому и зачем надо посадить за колючую проволоку мирных людей…

Две женщины, шлепая туфлями, пробежали из барака в уборную.

Ласточки с визгом прорезали белизну облака.

За колючей проволокой прошел стрелок. Он

ударил молотком по подвешенной к столбу рельсе:

— Подъем.

Забегали женщины. Сорок шесть женщин, как птицы в вольере, засновали по дворику и бараку.

День начался… Что он принесет? Ожидание? Отправку по лагерным пунктам? Кого и куда? Через несколько дней или часов?

Мы — перед неизвестностью.

Но деревянный барак, деревянные нары, земля под ногами, солнце в небе — облегчение после тюремного металла и камня в подтеках сырости.

Женщины отдыхают. Неведомо откуда взялись иголки, нитки. Штопают, чинят…

Солнце поднимается выше, становится все жарче. Как ящерицы, женщины ложатся на землю прогреть серовато-белые, бескровные руки и ноги. Переговариваются.

Думаю, закрыв глаза: что теперь дома, в Москве? Это ведь не Колыма — «особая планета». Это почти Подмосковье. Там тот же солнечный летний день…

Мама моя, мама, дочи мои, дочи — что с вами?

— Говорят, теперь семью не трогают, не как в тридцать седьмом, — роняет, будто мне отвечает,

какая-то женщина.

— Верно, и мои уцелели, — говорит Аня Саландт, — но с кем мои мальчики будут? Ума не приложу! Одному одиннадцать, другому — девять.

Аня сидит, вытянув на солнце худые ноги, расчесывая темные косы.

Щелкает замок калитки. Женщины вскакивают, торопливо одергиваясь. Входят двое дежурных и надзирательница со списком в руках.

— Абрамова!

— Тут!

— Имя, отчество?

— Анна Петровна.

— С вещами! Буракова!

— Здесь!

— Имя, отчество?

— Нина Евгеньевна.

— С вещами! Пилипенко!

— Тут!

— Имя, отчество?

Она молчит, растерянно озираясь.

— Зовут, зовут как?

— Хорпина.

— Отчество, по батькови как?

— Опонасивна.

— С вещами!

— Не увидит, не увидит больше сына, — шепчут женщины.

Вызвали десять человек. Они суетливо складывают узелки, сдергивают сырое белье с бечевки барака.

Дежурные ушли. Надзирательница торопила:

— Не задерживайте!

Сгрудились у калитки. Щелкнул замок. Увели. Когда и куда повезут остальных?

День поплыл дальше. И опять: ужин, поверка, отбой, забытье.

Сейчас, зимой 1963 года, время идет у меня в высоких и светлых залах Публичной библиотеки. В хранилище книг чувствую всеми порами, как в обе стороны раскинулись залы, где в удобных креслах склонились над столами сотни людей. Дышит ровное тепло. Каждый склоненный занят своим делом, думает, записывает свои мысли — разнородные, в разные стороны человеческого сознания направленные. Тихим движением может взять с полки книгу или выписать ее из хранилища. Она придет из неисчислимого моря книг, и ты будешь беседовать с автором. Движение пера — и ты включаешь в свой мозг многолетнюю работу других. Как огромный

беззвучный орган, как силовая станция токов высокого напряжения, дышит работа склоненных голов, опирающаяся на огромное здание мыслей прошлого, на человечество.

И я думаю: сколько из них, сидящих здесь, привычно живущих в накоплениях человеческих знаний, было, как я, обречено на отсутствие книг и бумаги, на необходимость опираться лишь на собственную память, думать — только про себя. В полной отрешенности от привычных контактов мысли. Мы, в лагерях, были как доски после кораблекрушения. Единственным сигналом, который мы могли оставлять, были стихи.

Я встаю из-за стола. Выхожу из беззвучного зала.

В зале каталога встречаю собеседников. Мы говорим о Солженицыне. Все думают и говорят о нем, это обязательный привкус дня.

— Анна Андреевна Ахматова, говорят, сказала — необходимо, чтобы его прочитали все двести миллионов, — сообщает мой собеседник.

— Самая большая удача Солженицына, что он сумел показать день лагеря глазами простого русского солдата. Точно передать язык и мысли этого человека, воспринимающего случившееся как неизбежность, — говорит другой.

— Это удача, — подтверждает первый, — но еще важнее, что он, хотя и в нескольких словах, показал кавторанга. Что за люди были брошены в эти условия и какое страшное кровопускание понесла Родина, когда соль мысли выбросили в лагеря... людей, руководивших армиями, предприятиями, организациями, тех, которые умели и должны были стоять во главе больших дел, нужных стране, — превратили в рабочую скотину. Вот это необходимо подчеркнуть! Показать, кем они были и что сделали с ними в лагерях! Их трагедия глубже и значительнее...

Собеседники знают, что я пишу о лагерях. Они сами испытали лагеря.

— Надо показать, каких людей лишилась страна! — повторяют они.

Я не стану спорить. Но мне надо показать не это. Мне хочется показать, что делается с сознанием разных людей, когда они лишены права распоряжаться своим телом. Тело — имущество государства, вещь, которой распоряжается безликая сила. Это не рабство — принадлежность хозяину. С хозяином неизбежно создавались взаимоотношения — его ненавидели, любили, с ним боролись, ему льстили, у него просили пощады. Это был живой человек и тем самым уже

не всесильная стихия. Слепой машиной были порабощены рабы в Египте. Но они по большей части были иноплеменниками, могли мечтать о родине. Большая часть наших заключенных — не из чужой страны. Иностранцам — их также собрали в лагеря со всех концов мира, начиная от Германии и кончая Японией и Кореей, — легче: они военнопленные. Но у людей, которых захватила петля в родной стране, создавалось ощущение гонимого на убой стада.

Пастух гонит стадо. Он не интересуется, какая овца пойдет на убой, какую оставят на племя. Вовсе не надо быть злым человеком, чтобы гнать скот на бойню. Просто надо верить, что они ничего не переживают, подобного тебе, они — другие. Такую же веру развивали у конвоя по отношению к заключенным. Устав диктовал: не разговаривай с заключенными. На них вешали номера, чтобы не было имени и общения. Конвоиров полагалось долго не держать на одном лагпункте, чтобы — в нарушение устава — не возникли ростки человеческих отношений.

Пребывание подъяремным животным дало мне великую жалость ко всем подъяремным, закованным, на цепь посаженным существам. Я убедилась: выражение глаз, поведение отданного

в безраздельную власть существа — почти не отличается у человека и у четвероногого.

Много лет я была пастухом и возчиком. Знаю, как сопротивляются и как покоряются животные. В поведении табуна лошадей, стада коров и человеческого стада нет большой разницы.

Это требует не презрения к людям, а уважения к животным. Мы не видим их страданий только потому, что не хотим замечать. Существует теснейшая связь между беспощадной жестокостью к животным и существованием лагерей, где сидят миллионы людей. Эта связь — атрофия сочувствия существам, которые рассматривают как отличные от себя.

Когда-то любили: СВОЕГО ребенка, СВОЕГО друга, СВОЕГО родича, СВОЕГО коня, собаку, корову. Любили индивидуальное существо. «Родина», «Племя» — были такими же видимыми глазу существами. Государство стало первой абстракцией, которую надлежало любить, и абстракция эта принесла несчастье человечеству: она превратила любовь в подчинение и преклонение.

Раскололась родовая связь. Человек отдал себя в подчинение абстракции. Абстракцией стал для него и мир живых существ, которых он перестал признавать себе подобными.

Великий борец с насилием Л. Н. Толстой понял ложь государственной машины. Конь — Холстомер — живое существо, протестующее, не желающее быть вещью… Нас — сделали вещью. Лагеря — возмездие за теорию И. П. Павлова, за рефлексы, за опыты, рассматривающие животных как бездушные аппараты: это перенесли на людей.

На пересылке, ночью, я очнулась, слезла вниз с нар, вышла из барака. Светлая, светлая июньская тишина… В предрассветном небе первое утреннее движение…

Дочка моя, Галя моя, на тебе теперь основная тяжесть. Ладка — маленькая, бабушка — старая, как ребенок. На тебе они, на тебе… Кто из друзей уцелел? Кого заметет этой новой волной? Кто поможет вам?

Кричали паровозные гудки на соседней железной дороге. И сердце кричало, как паровозный гудок: где ты, дочка? Ритм подошел, как необходимость, как единственный возможный разговор с Галей:

Зеленое небо молчит.
Земли рассвета ждут…
Я тебя призываю в ночи,

Я тебя ожидаю тут…
Долетает дыханье земли,
Из лесов комариный звон…
Между нами – пространства легли,
Время – покачивало вагон.
Деревянной обшивки стук.
На лице – запах пыли и соли,
За леса отлетает звук
Паровозной пронзительной боли.
Сколько длинных путей прошло…
Сколько раз я с тобой прощалась?
В небе облачко проплыло,
У рассветной звезды затерялось…

Утром вошел дежурный:
— Гаген-Торн!
— Здесь!
— Зовут?
— Нина Ивановна.
— Получите посылку. — Он вскрыл пакет.
— Местная! — удивилась я.
— Ваша дочь приезжала. Просила свидания, начальник не разрешил: свидания у нас не полагаются. Передала передачу. Утром уехала.

Так вот почему я так слушала ночью гудки паровозов… почему думала о ней неотступно: Галя моя, Галя…

Она была здесь, рядом. Видела проволоку, за которой держат меня. А попасть — не могла. Нас отделяло не пространство — колючая проволока.

— Внимание! — сказал дежурный, входя в барак.

При этом полагалось вскочить с места. Он развернул список, начал выкликать фамилии. Выкликнул всех:

— С вещами!

Наверное, этап…

Складывали постели, свертывали узлы, искали кружки, чайники. Сердце щемило.

Мы стояли готовые, но прошло несколько часов, пока, печатая шаг, подошел взвод стрелков. Щелкнула калитка.

— Выходи!

Построили, окружили, повели к железной дороге.

Впереди стрелки с винтовками, сзади с овчарками на сворках. В середине — кучка запыхавшихся женщин со своими узлами. Эти враги народа, неумело силясь сохранить строй, тащат зимние пальто, подушки, узлы к составу теплушек.

Нас подводят к открытой двери теплушки:

— Залазь по одной! Первая!

Первая вскидывает в теплушку узел, силится взобраться. Она старая, руки трясутся, не так просто прямо с земли, без платформы, взобраться в вагон.

— Не задерживай, туда твою мать! — кричит стрелок. — Вторая подсаживай!

Вторая подсаживает, первая влезла, протягивает ей руку. Взобрались обе.

С остальными идет быстрее — протянутые сверху руки помогают. Всех женщин пересчитали, погрузили, задвинули и замкнули дверь.

Все тридцать шесть в полутьме сидим на полу, слышим, как к соседним теплушкам подводят и грузят мужчин.

Наконец тонко засвистел паровоз, теплушки чокнули буферами, пошли, покачиваясь, по узкоколейке.

— Далеко ли повезут?

— А пить-то дадут? Если до вечера везти… А пить как хочется!

— Потому что пыль.

А главным образом потому, что волнение требует разрядки — женщины не могут молча ждать долгие часы.

Остановка. Грохочет дверь соседней теплушки. Выгружают.

— А нас?.. — Какая-то девушка пытается посмотреть в щель.

— Отойди! Нельзя! Ткнут штыком, будешь знать!..

Паровоз тоненько свистит. Трогаемся. Еще, пожалуй, час качаемся в полутьме. Опять остановка. Щелкает замок. Двери откатывают.

— Вылазь!.. По счету!..

Начинаем прыгать на песок: первая, вторая, третья…

— Приехали на дачу! — спрыгивая, говорит последняя.

Все тридцать шесть внизу. После пыли и духоты вагона тянет запахом леса, жмурит глаза солнечный свет. Впереди одноколейка теряется в лесу. Ее закрывают тяжелые лапы деревьев, они почти смыкаются над дорогой. Кажется: паровоз их должен расталкивать, чтобы пройти.

Перед нами саженный частокол, распахнутые настежь ворота. Выбегает толстый старик, кричит:

— Давай, давай, принимаю!

Четыре стрелка окружили нас:

— Строиться! По пять! Проходи к воротам!

Тащим узлы, становимся. Старший конвоя передает старику документы. Он выкликает по фамилиям.

— Все! Порядок… Проходи.

Входим в ворота. Первое — удивительное! — березы! Они толпятся, плотная зелень их теней ложится почти до низких приземистых зданий в глубине ограды.

— Правда, вроде на даче, — удивляется Надя Лобова.

Мы прибыли в лагерь.

В лагерях

Мы вошли в зону лагеря, ворота закрыл стрелок. Толстый старик, подпрыгивая, как мячик, убежал, крикнув:

— Староста! Проведи в барак!

Мы стояли на дороге, оглядываясь. Навстречу двигался на костылях человек в серых брюках с обрюзгшим лицом. Он кивал головой, улыбался.

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул тонким голосом, приподнимая кепочку. — С благополучным приездом!

— Заключенный мужчина в женской зоне! — удивилась Надя Лобова.

— Отойди, Женя, успеешь! — отогнала его рослая девушка в ярком платье, подходя к нам. — Это кобло, — сказала она. — Пойдем, в барак вас отведу.

Мы тронулись.

— Что это — кобло? — прошептала Надя.

— Так в лагерях называют женщин, которые изображают мужчин.

— Как изображают? В брюках ходят?

— Поживете, увидите.

Мы вошли в барак. В основном они повсюду

одинаковы, от Норильска до Караганды, от Медвежьей Горы до Колымы.

Широка страна моя родная,
С южных гор до северных морей
Лагеря и тюрьмы воздвигают
В необъятной родине моей… —

пели у нас на Колыме.

От Байкала до Амура тянулась колючая проволока вдоль железной дороги. Она разделялась вышками. Четыре вышки по углам. Стеной колючей проволоки огороженный прямоугольник. Вдоль проволоки бровка — вскопанная, взрыхленная полоса земли, метра два шириной. Бригада заключенных каждые два-три дня граблями разравнивает землю на ней, чтобы не только мыши — жука след был бы виден. Часовые на вышках следят: к бровке нельзя подходить заключенным.

В зоне — ряды бараков. В бараках — ряды двухэтажных нар. Иногда они сплошные, в более привилегированных бараках (у придурков, то есть у лагерной администрации из заключенных, или в ударных бригадах) между двухэтажными вагонками на четыре места ставят тумбочку. У входа, посредине барака — дощатый стол и две

лавки. Рядом на табуретке бак. Туда утром и вечером дневальный приносит кипяток. Дневной свет только у стола, дальше полумрак, нары наполовину прикрывают окна.

Различия: за дверью бараков лежат сухие пески Караганды, или тундры Приполярья, или шумит Тайшетская тайга.

Еще различия: мужские бараки обнажены.

В женских — периодически нарастают «уюты» — так в лагерях называют матерчатые занавески, которыми женщины силятся отделить и украсить свою постель, устраивая подобие кабинки. «Уюты» то разрешают, то вдруг срывают и запрещают: в зависимости от настроения начальства.

В темниковских лагерях после Колымы удивили меня березы, клумбы цветов. В десятом полуинвалидном лагпункте было даже место, называемое «парк»: между двумя десятками берез сделаны окаймленные клумбами-рабатками дорожки; в середине — большая клумба, по кругу — скамейки. На них, в летние дни, сидели «малолетки» — жившие в особом бараке 250 старушек от 60 до 80 лет. Их не заставляли работать, потому что они с трудом двигались. Те, кто был несколько подвижнее, составляли полуинвалидную

бригаду, которой был поручен уход за цветами.

Но это на 10-м лагпункте, к которому я поздней перейду. На 13-м, куда нас привезли из пересылки, инвалидов не было, цветами было заниматься некому. Но березы росли, шелестели их мягкие ветки, склоняясь над бараками.

На другое утро в шесть часов брякнул по подвешенному рельсу толстый старик — вольный нарядчик, — лагерь выстроился на развод у ворот. Старик выкликнул новеньких по бригадам.

Я попала на агробазу. Нас построили по пять человек, вывели за ворота, сдали вольному бригадиру. С двумя стрелками позади, без собак, он повел женщин на агробазу.

После тюрьмы и этапа тешила нас и липовая роща, и дорожка в корнях деревьев, и голоса птиц. Остановиться бы — подышать хоть минутку!

— Ровняй строй! — кричали стрелки. И моя соседка по ряду торопилась, прихрамывая, — у нее одна нога была короче другой, — идти в строю.

К счастью, агробаза метрах в двухстах от лагеря.

Вошли в ворота.

— Вольно! Берите лейки, начинайте поливку. А вы, пять человек, садитесь вон на те грядки полоть морковь, — приказал бригадир.

Я на грядке рядом с хромоножкой.

— Как вас зовут?

— Ханни Гармс, — подняла она светлые глаза. На маленьком от худобы лице крупными были только глаза и зубы. Обычный лагерный разговор: срок, статья, из какой тюрьмы? Потом, постепенно, сидя с ней рядом за прополкой моркови или пасынкуя помидоры, я узнала ее биографию.

Ханни — дочь деревенского пастора из-под Ганновера. С детства была хроменькой, и поэтому отец был с ней особенно нежен: они постоянно вдвоем музицировали — она играла на пианино, он на флейте. Изредка младший брат присоединялся со своей скрипкой. Когда братья вылетели из родительского гнезда, уехали в город, к ним приехал старый друг отца, миссионер, который в Иране заведовал школой для слепых детей. Он рассказывал так много и интересно про эту школу, что Ханни решила ехать и учить бедных слепых детей музыке. Мама много плакала, но отец сказал: «Нельзя мешать такому святому порыву!» И она уехала в Иран, в миссию. Прошли годы. Началась война. Англичане из консульства предлагали ей уехать, но на кого же оставить слепых детей? О них все забыли. Она осталась.

Вошли советские войска. Заняли помещение

германской миссии. Ее арестовали, обвинили в шпионаже, отправили в Баку, в тюрьму. Как прошел год в бакинской тюрьме, она не рассказывала. Сказала только — schreklich![14] — и глаза наполнились слезами.

— Не надо, Ханни, не вспоминайте!.. — Мы больше не возвращались к этому.

Мы говорили о музыке, о литературе. Собственно, как говорили? О русской литературе она только слышала: Толстой, Чехов — это wunderbar![15]

Читала, в переводе на немецкий, Пушкина, Гоголя.

Сидя на корточках, пропалывая огурцы или морковь, я по-немецки пересказывала ей «Воскресение».

— У вас такие глаза, Ханни, что я вспоминаю княжну Марью, — читали вы «Войну и мир»?

— Нет.

Впрочем, немецкую литературу она тоже знала лишь до половины XIX века. Зато декламировала монолог Маргариты из «Фауста», «Лесного царя», стихи Гейне — это любил ее отец.

Казалось, ее вынули из коробочки с надписью:

---

[14] Примечания: 14
Страшно *(нем.)*.

[15] Примечания: 15
Удивительно *(нем.)*.

«XIX век. Материалы к страданиям молодого Вертера. Быт и нравы».

А обвинили — в шпионаже в пользу Гитлера. Она плохо представляла себе: фашизм — что такое? Она не видела его, так как жила в Персии. Боялась верить страшным вещам, которые рассказывают, боялась думать об этом…

Она любила слушать веселые и забавные истории про детей и животных. Тогда она смеялась, откидывая светловолосую голову. Пропадали горькие складки у рта, морщинки у глаз; молодела.

— Здесь не место смеху, Ханни, — сердито говорила нам фрау Эмма, неся ведра с водой. Она поливала огурцы.

У фрау Эммы черные, строгие глаза, сжатые губы, нос прямой, а конец — будто прихватили щипцами — вытянут вперед и кверху. Фрау Эмма худа и работяща, как старая лошадь.

Фамилия ее Вишняк. Она вышла замуж за пленного украинца в Первую мировую войну, поехала на его родину, жила в украинском селе, вела хозяйство, рожала украинских детей. Муж умер. Дочери вышли замуж, уехали из села. Сына взяли в армию, а ее, как немку, арестовали «по подозрению в шпионаже». Она не пишет ни дочерям, ни

родне мужа: не хочет пятнать своей судьбой. Она сердито и добросовестно работает на агробазе, стараясь поменьше думать, глушит себя работой.

Агробаза — большой участок. В середине — шалаш, где инструменты, ведра, лейки. По южному склону, к речке — ряды помидоров. По другую сторону шалаша — огурцы, свекла, лук. Сбоку, в ивовых зарослях, блестела маленькая лесная речка с темной водой. Светит солнце, пахнет укропом, влажной от поливки землей. Почти можно поверить: обыкновенный совхозный огород, где мирно работают сельские женщины.

Но… я подошла к речке с ведром не у мостка, где вырублены ивы, а ближе к месту поливки. Из кустов выскочил стрелок с винтовкой:

— Куда? Стрелять буду!

Бригадир торопливо подбежал, заругался:

— Посажу в карцер, будешь помнить, где к воде ходить! Воду брать — только с мостика!

Пожалуй, фрау Эмма права — тут не место для смеха. Но и она улыбалась Альме. У Альмы — голубые глаза, круглое лицо, пепельные волосы. Ей 18 лет. Раз мы поливали, когда Альма вскрикнула, уронила ведро, упала и забилась в судорогах, с пеной в уголках рта.

— Падучая, — перекрестившись, сказала ка-

кая-то женщина, накрыла ее лицо платком. Я подошла. Фрау Эмма уже стояла на коленях, прижимая девушку. Двигая носом, плакала. Альма извивалась, билась, билась головой о землю. Чьи-то руки взяли голову, чье-то тело прикрыло ноги. Бригадир молча стоял и курил, крепко затягиваясь. Когда припадок затих, сказал:

— Несите к шалашу, пусть спит. А вы давайте работать! Гони проценты.

— Эпилепсия, — сказала я Ханни, — а на вид такая здоровая, рослая девушка.

— Во время войны ей было четырнадцать лет, тогда солдаты ее изнасиловали, — прошептала Ханни. — С тех пор у нее припадки… Это рассказала Гертруда, они из одного местечка… — Руки и губы у Ханни дрожали.

Я молча взяла ведро. Что я могла сказать?

Не знаю, за что попала Альма в лагерь, не спрашивала. Гертруда попала за то, что украла с консервного завода, где работала, рыбу. Дома сидели голодные дети. Ее поймали и дали срок за воровство. Что с детьми — она не знала. Только сказала: «Если их кормят, вероятно, они живы».

В послевоенных лагерях, мужских и женских, встречали мы разных чужеземцев, закинутых войной: немцев, чехов, поляков, корейцев. Чуже-

земцами чувствовали себя и западные украинцы, литовцы, эстонцы, латыши. В их сознании не стерлась прошлая отделенность от Советского Союза, память о своей родине. В несчастье это чувство крепнет, и каждый старается найти своих, помочь своему народу. Только русские — растворялись, не замыкались в своей национальности, не искали своих.

Что рассказать о первых неделях в Темниках?

Шло среднерусское лето. С голубым, чуть лиловатым небом, дыханием зеленой земли, росистыми зорями. И не под звон воинствующих, как на севере, комариных армий, а под жужжание смирных, домашних комаров. Лето — всегда облегчает: не мерзнет, не мучается тело, меньше надо ему жиров, легче сносить работу.

Я была крепка, привычна к деревенской работе. Агробаза не изнуряла. Не трудности испепеляли сердце — жгло чувство стыда за совершаемое… Как бы своей вины — национальной, советской — перед такими, как Альма, Гертруда, пани Пилипенко и ее Грицко, перед десятками карпатских крестьянок. Они встретили русских как братьев — освободителей от помещиков и немцев, а попали — в лагеря. Потом я расскажу о десятках украинских женщин, о своих названых дочках с

Западной Украины. С великими трудами удалось убедить их, что не все русские убивали у них на Карпатах. Спросишь такую сначала:

— Оленка, где твой отец?

— Русские убили…

— А братья?

— Русские замучили… — И сверкает ненавистью взгляд семнадцатилетней дивчины.

Мне стало отрадней, когда, через несколько месяцев совместной работы, начнет рассказывать такая дивчина:

— Русские у нас в селе много хлопцев постреляли, — и спохватится: — Пшепрошу, пани Нина, не русские — коммунисты.

Я не знала, что возразить. Кто были те, что во Львовской тюрьме, при отступлении от немцев, убили всех заключенных? Население еще до прихода немцев бегало опознавать трупы. Бегали и мои названые дочки. Я не могла им не верить — ужас этого детского впечатления был у них в глазах. Я не могла им не верить, когда они рассказывали, как их в 15–16 лет пытали на следствии, спрашивая, где бандеровцы. Чувство острейшего стыда и боли не покидало меня. Что я еще могу рассказать про это лето? Лучше скажу стихами:

Синицы поют в лесу.

Жаворонок звенит в полях.
Пчелы ношу свою несут
И липам цвести велят.
Над кувшинкою в темном ручье
Вижу блеск голубой стрекозы.
Всюду солнечный луч есть,
Даже в чаще сквозь лозы сквозит.
Облака – груда светлых долин.
В них солнца пасется конь.
Кто же сможет во мне утолить
Иссушающий сердце огонь?

И еще:

День мой в труде тяжелом
С лопатой в руках идет.
А мысли – летят как пчелы,
Цветов собирая мед.
Веселые перья солнца
На комья земли падают,
Цветы раскрывают донца,
И все это – радует.
Но кругом человечьи лица
Молчаливы, как морды животных.

Потому по ночам мне не спится,
Я лоб отираю потный.

Жаркими ночами я вертелась на нарах. Осторожно, чтобы не разбудить соседок. Душно. Кто-то стонет во сне, кто-то вскрикнет. Остальные спят тяжелым сном. Пахнет потными женскими телами, прелой обувью. Жужжат комары, напоминая о колымских комариных армиях. И от этого тянутся образы: тысячи таких лагерей, раскиданных по стране. А дети? Растет «счастливое сталинское детство», сироты при живых матерях. Что из них вырастет? Мои кое-как выросли… Встают еще на Колыме сложившиеся стихи:

На свете есть много мук,
Но горше нет пустоты,
Когда вырвут детей из рук
И растить их будешь не ты.
Ты живешь. Но случайный смех,
Детский голос, зовущий мать,
И память встает о тех,
И ранит тебя опять.
Ран любовных горят края,
Горек запах родных похорон,

Взявшись за руки, скорби стоят,
Все их смоет река времен.
Но не смыть, не забыть, не залить,
Если отнял детей чужой.
Эта рана – всегда горит,
Эта горечь – всегда с тобой.

Вот она у всех спящих в бараке. Как испарение тел поднимается ночью горечь. Над городами, если смотреть с самолета, — черная шапка воздуха, пропитавшегося дымом. Над женскими лагерями в ночное время такая же шапка горечи, поднимающейся во сне: где дети?

Мы приспособились к агробазе: завелись бытовые привычки. Пололи морковь, ели тонкие хвостики, сидя на грядках. Сняли первый урожай огурцов, в корзинах отправили их на станцию. Хрупали огурцы, зажав в рукаве. Бригадир знал, но делал вид, что не видит: он не имел права разрешать нам есть. Было молчаливое соглашение: не попадайся! Начали краснеть помидоры. Через неделю, надеялись мы, вонзим в них зубы, наполним рот сладкокисловатым соком. Гладкие красные помидоры живительны в душный день.

Мы стали уже строить планы жития. Но… Утром не выпустили развод. Толстый нарядчик

вышел со списком. Стали выкликать фамилии:

— Соберитесь с вещами!

Этап?! Куда?..

Забегали по лагерю: сдергивали с веревок белье, искали свои кастрюльки, вытряхивали мешки и постели.

Седая Валерия Рудольфовна, в своих белых носочках и аккуратной кофточке, торопливо увязывала посылку, Надя Лобова ей помогала. Вызвали весь наш этап и еще много прежних, что были давно на 13-м.

У каптерки — очередь, сдавали постели. В бараках все разворочено.

Ударили в рельс ворот: сбор! За воротами стрелки с овчарками на привязи. Начали выкликать фамилии:

— Имя, отчество? Год рождения? Срок? Статья?

За ворота выпускали поодиночке. Там толпились заключенные, окруженные стрелками с собаками.

— Разберись по пять!

Строй вытянулся.

— Становись ровней! Шагом марш! — кричал старшой, на бегу пересчитывая пятерки.

Странный это был марш. Поправляя сбившиеся платки, отирая пот, горбясь под узлами, тащили

женщины свои вещи. Некоторые, чтобы меньше нести, надели на себя зимние вещи — не бросишь ведь, зима грозит.

Спотыкаясь, тащились пятерки по песчаной дороге. Сзади и с боков следовали стрелки. Взволнованно лаяли овчарки.

— Не разбивать строя! Ровней дистанцию!

Палящее солнце над головой. Все тяжелее кажутся вещи, ноги вязнут в песке. Не манит, не радует лесная свежесть, милые зеленые лапы кленов, кудри лип по бокам дороги — они недоступны.

— Ровней шаг!

— Мы не можем больше, хоть привал сделайте!

— Недалеко, всего пять километров, — успокаивает старшой.

Пять километров, конечно, немного. Для молодых, сытых парней — пустяк. Но для ослабевших женщин тащить пять километров вещи… Кто-то всхлипывает, какая-то, не выдержав, бросает узел с вещами.

— Что ты? С чем зимой останешься?

Девушка берет брошенный узел, взваливает на плечо, в руку мешок.

Время за полдень. Жара и пыль. Собаки, высу-

нув языки, идут на сворках.

— А ну, подтягивай, подтягивай! Скоро придем! — подбадривает ведущий этап.

Наконец впереди высокий дощатый забор, бревна с колючей проволокой, вышки по углам — лагерь.

Команда: «Садись!»

Со вздохом, скидывая вещи, женщины садятся на землю. Из проходной выскакивает стрелок. Медленно выходит начальство. Ведущий начинает сдавать этап. Это непросто: сверяют лицо с фотокарточкой на документах, опрашивают, пропускают в зону. Так сто женщин.

Уже косыми стали лучи и золотыми верхушки деревьев, когда всех пропустили. Команда: «В баню! Вещи на прожарку!»

По широкой, обсаженной деревцами дороге нас отвели в баню. Она не топлена, горячей воды нет, но ведь не зима! Мы рады воде — смыть пыль, рады сесть на сырое дерево скамеек, окунуть в воду натертые ноги. Кто-то смеется уже, радостно брызгая воду. Моемся.

— А ну, выходи! Саносмотр! Становись строем в предбаннике!

— А вещи где, а одежда?

— Осмотрят, потом оденетесь. Принесут из про-

жарки… Стройсь!

Выстраивается сотня голых женских тел. Кто не догадался захватить с собой полотенца, стоят мокрые.

Идет комиссия. Седой, с впалыми щеками майор в небрежно накинутом белом халате. Толстая женщина, тоже в белом халате. Без халатов: начальник режима, нарядчик с папкой бумаг.

У женщин смятение:

— Дайте одеться! Как же мы — голые!

— Сказано вам, саносмотр… Врачи.

— Но ведь тут и не врачи!.. Нарядчик, стрелок у дверей!

— Никто вас не сглазит… Нужна регистрация… Становись!

Тела: молодые — девичьи, бабьи — с длинными, обвисшими от худобы мешочками грудей, старушечьи, желтеющие морщинами. Длинноволосые стараются волосами прикрыть грудь, у девушек пылают щеки. Старухи — безразлично покорны.

Майор идет вдоль строя, быстро осматривая тела. Отбирает товар — на производство, в швейную! В сельхоз! В зоне! В больницу! Нарядчик записывает фамилии.

Мы не знали тогда, почему в швейную надо молодых и здоровых. Потом поняли: условия

такие, что через год-два и здоровые заболевали туберкулезом.

Слабосильному легче сохранить жизнь в лагерях: плохой товар меньше употребляют — турнут в сторожа или дневальные. Смотришь, человек приспособился — выживет. Крепкая здоровая рабочая сила поступала в мясорубку производства, ее смалывали.

Позднее расскажу, как размалывали людей на швейной фабрике.

Я, после первого тура, была посредственным товаром, почти не стоившим внимания.

— Фамилия? — проходя, спросил нарядчик.

— Гаген-Торн.

Черные глаза майора пристальнее остановились.

— К профессору Гаген-Торну какое отношение? — спросил он.

— Дочь.

— Положите в больницу, у нее чесотка: красная сыпь по животу.

Нарядчик жестом показал мне, куда отделяли больных.

Прошла комиссия, нам разрешили одеться. К отделенным в больницу подошла ротная.

— Следуйте за мной! Вещи сдадут в каптерку,

получите, когда выпишут.

Больница находилась у входа в зону. Напоминала обыкновенную деревенскую. Те же запахи: лекарства, чисто скобленных полов, крахмальной марли занавесок, немного хлоркой, немного уборной. В палатах — ряды кроватей. Не нары — кровати и тумбочки с белыми скатерками. На кроватях доски, а не сетки, соломенные тюфяки, но как радуется чистое, усталое тело! Ведь чистые простыни, чистые одеяла… Нянечки приносят в палату ужин. Умиротворенно разговаривают, укладываются женщины. Знакомятся с прежними обитательницами палаты. Лагерь отошел: положили, — значит, будут как-то лечить, никуда не погонят. Женщины с удовольствием берут миску каши, кладут в нее пайку сахара, жуют пайку хлеба.

В больнице чисто промытые окна, еще светит заря, но в палате уже зажгли электричество.

— Когда уляжетесь спать, можете погасить: здесь не тюрьма, — с удовольствием говорит санитарка. Она тоже заключенная и понимает, что значит иметь возможность ночью погасить свет.

И все радуются: прямо как на воле!

Я проснулась от птичьего щебета, окно было открыто. Солнце заливало палату. Только две

кровати были пусты, с них ушли умываться, на других еще спали.

Санитарка, босиком, подоткнув платье, беззвучно мыла пол.

Мирно все, по-домашнему: летнее утро, шелест деревьев, щебет птиц.

Голос из-за окна позвал:

— Нина Ивановна! Нина Ивановна Гаген-Торн!

— Меня?

Выглянула. Под окном стояли Аня Саландт, моя однокамерница по Лубянке, и Дора Аркадьевна, с которой встречались на пересылке. Они кивали и улыбались.

— Мы еще вчера узнали, что вас пригнали с тринадцатого! Вот встреча!

— Ну как вы здесь? Давно?

— Прямо из Москвы на шестой, — сказала Аня, — и Мария Самойловна здесь, и Надежда Григорьевна… Работаем в зоне.

— Выглядите хорошо, загорели, поправились!

— Оказалось легче, чем я ожидала, — оживленно говорила Дора Аркадьевна, — из дома получили письма, посылки, — она тронула рукой свое светлое летнее платьице, — сами можем писать раз в месяц.

Милая чернокосая головка, хрупкая фигурка,

освещающая улыбка.

— Вы, Дора Аркадьевна, просто словно выехали из Москвы на отпуск в деревню, такой вид.

Она улыбнулась:

— Женщины умеют всегда приспосабливаться, а вот мужчины… — Лицо затуманилось. — Мы видим их иногда… Жуткие!

— Вас с чем в больницу положили? — торопливо перебивая Дору, спросила Аня.

— Не знаю. Сказали, чесотка. Этот майор…

— Слоев, вольный главный врач.

— Он сказал, чесотка на животе, но у меня не чешется. И сыпь пропала.

— Ну, захотел дать отдохнуть. С ним бывает… Как найдет на него. Не рыпайтесь, и продержат несколько дней!

— Больная! — сказала санитарка. (Больная — не зэк!) — Отойдите от окна, скоро докторский осмотр, идите умываться!

— До свиданья! — крикнули снизу.

Меня не лечили от чесотки, понимали, что не от чего. Но дней пять продержали в больнице. Разрешали выходить из корпуса, гулять. Слоев два раза проходил мимо. Посмотрел, ничего не сказал. Я поняла: знает, что не чесотка. Может, имя отца помогло — он мог знать его лично, мог

учиться у него. Выписали на пятый день. Назначили старостой третьего барака. Староста — это почти лагерный «придурок». Не на физической работе, руководит.

В третьем бараке три секции. В каждой живут сто женщин: литовки, эстонки, латышки, но больше девчата и «жиночки» с Западной Украины.

Большинство зазонниц: ходят на разгрузку к железной дороге и на сельхозработы. Некоторые бригады в обед не приходят, возвращаются только вечером.

Днем остаются только дневальные. В каждой секции по дневальной да одна ночная, на все три секции. Дневальными ставят пожилых или слабосильных — считается легкой работой.

Но тоже хватает ее. После ста человек, тесно спрессованных на двойных нарах-вагонках, немало грязи. Надо убрать. Пол дочерна затаптывают рабочие. Приходится мыть и скоблить доски каждые два дня. Надо проследить, чтобы не раскидали вещи, заправили постели. Принести кипятку по два ведра утром, в обед и вечером. Зимами дневальная приносит к подъему из просушки брюки и обувь.

У меня в бараке дневалят три покорные и смирные крестьянки: с Волыни, с Черновиц и с Карпат.

Прибирают, моют. А потом сидят, положив на колени руки, тихо беседуют. Подошла к ним.

— Пани староста, — сказала мне гуцулка, — яки бидни наши дивчата: таки молодесеньки… Захопили… Де тато, де мамо?.. Сумно…

— Да, бедные девчата, да ведь и нам нелегко. За что вы попали, пани Бут?

Рассказывает: хата их в горах высоко. Пришла ватага хлопцев, а она одна с тремя детьми. Старшой их говорит по-украински:

«Давай молока! Давай хлеба, сала, картошки!»

— Как я можу не дать? Убьют… Или корову зарежут. Дала все, что было. Они едят, спрашивают: ты знаешь, кто мы?

«Нет». — «Мы — бандеровцы, партизаны». — «А мне байдуже, просите, так и даю. Нехай бандеровцам». — «А… а… — загрохотали, — так ты бандеровцам помогаешь!.. Кормишь их?.. Собирайся!» — «Куда?» — «В НКВД допросят, враз скажешь, где бандеровцы!» — по-русски кричат. Дети плачут: «Мамо! Мамо!» — «На кого ж детей оставлю?» — «Наше какое дело!» Защелкали винтовками. «Иди!» И увели…

Она вытерла платком глаза, взялась за веник. Руки у нее дрожали.

— Вы знаете, где теперь дети, пани Бут? — робко

спросила я.

— Нет!

На верхних нарах поселилась Анна Ивановна. Она молча сидела, слушала пани Бут. Так же молча перекрестилась, что-то про себя зашептала… Анна Ивановна не ходит на работу — она «монашка». Это не значит монахиня — у нее есть муж, дома остались дети. «Монашками» зовут в лагерях тех, кто не просто «сидит за религию» — таких очень много, — а тех, кто по религиозным убеждениям отказывается работать, считая лагеря «порождением Антихриста». Чтобы «не принимать Антихристову печать», они не ходят в столовую, на работу, наиболее неистовые отказываются даже от бани. Принимают только воду и хлеб: это Божье, их не в силах осквернить никакая печать. Чем же они питаются, как выживают?

Живут трудно, «несут подвиг». Едят хлеб да «тайную милостыню» — то, что молчаливо кладут им сочувствующие.

За отказ от работы их периодически сажают в холодный карцер, на триста граммов хлеба. Они в карцере поют церковные службы. Ежедневно и еженощно.

Раз посадили на месяц — больше уже не полагалось держать в карцере.

— И этого не вытянут, — говорили в лагере, — перемрут.

— Так и пусть подохнут! Нечего своевольничать, работать надо! Нашли тоже: работать грех! Ну, сами себя гробят.

— А все-таки жалко… Не вытянут.

Но они вытянули: вышли через месяц, держась за руки, с пением молитв.

Периодически их то объединяли в одном бараке, чтобы изолировать от остальных, то рассовывали в разные бараки поодиночке, чтобы не поддерживали друг друга.

Зимой группу «монашек» выгнали за зону — разгружать вагоны дров. Они встали и стали петь.

— Пустите собак! — крикнул начальник лагеря.

Овчарок спустили, они кинулись. Женщины стояли неподвижно, медленно крестя воздух перед собой. Собаки остановились: они приучены бросаться на сопротивляющегося или бегущего. Неподвижность и бесстрашие смутили собак. Они взлаивали, поворачивали головы к вожатым: «Что делать?»

Начальник приказал отозвать собак.

Анну Ивановну поселили ко мне в барак, чтобы

изолировать от своих. Она тихо сидела или лежала на верхних нарах, пока люди были в бараке. Когда уходили на работу, спускалась и начинала молиться, глядя на восток.

Большинство относились к ней отрицательно:

— Мы работаем, а она дармоедничает. За наш счет хлеб ест…

— Разве за ваш? Ведь вы за нее норму не делаете? Каждая за себя.

— А если все так не будут работать, тогда как?

— Ну, это ведь дело государства…

— А почему мы мантулим, а они будут припухать? Пусть тоже работают. Не лучше нас… Нашли грех — работать нельзя! Одна упрямая глупость! В праздники и мы работать не выйдем, — говорили субботники и баптистки, — а в будни — Бог труды любит.

Когда все ушли из барака, а Анна Ивановна, окончив молиться, стояла у печки, я подошла к ней.

— Анна Ивановна! Люди-то приходят какие усталые! Надо им услужить?

— Надо бы, конечно.

— А у дневальных сколько дел! Тоже старухам нелегко…

Она молча смотрела на меня.

— Анна Ивановна, помоги людям! — сказала я, кланяясь. — Ведь ты не на лагерную власть, на людей поработай!

— А ты не скажешь дежурным?

— Не скажу…

— Тогда буду в бараке подсоблять. Людям помогать буду с радостью, но тайно: чтобы власти не знали.

— Ладно.

И она стала убирать в бараке.

Девчата

Старосту не гоняют на работу — она сама должна ее организовывать. Оставалось время присматриваться к лагпункту.

В зоне двенадцать бараков. Столовая, баня, больница, каптерка, контора начальства.

В конце зоны отдельная часть: швейная фабрика. В ней особая проходная с вахтером. Туда пускают и оттуда выходят только строем производственницы. Они сидят по десять часов, по конвейеру сшивая детали. Строем выходят на обед, на ужин, после ужина — к себе в бараки. Их бараки расположены у самой фабрики. Они считаются лучшими, там «созданы бытовые условия»: не так тесно стоят вагонки нар, на каждые два человека поставлена тумбочка. Стол в середине барака накрыт белой скатертью, на окнах — марлевые занавески. Только некому, кроме дневальной, сидеть за этим столом: возвратившись с работы, умывшись в умывальной, девушки валятся на нары от утомления.

Мы, лагерная обслуга, убирали территорию на производстве. Это был субботник — очистить землю от мусора, вскопать грядки, посадить

цветы вдоль трех корпусов швейной фабрики. Зашла в корпуса: такой же, не отличающийся от жилого, деревянный барак. Длинные столы в два ряда. На столах — швейные машины. Машины поставлены в ряд с плотностью, позволяющей вертеть ручку и откинуть соседке отстроченную деталь: рукав, карман, воротник. Под низким потолком слепят глаза яркие лампы. Грохочут машины. Воздух полон пыли, мелких волокон от простегиваемых бушлатов. Дышать трудно. Некогда дышать, конвейер идет, требует норму, норму, норму. Если ее не выполнят за десять часов, оставляют еще на час, на два. При систематическом невыполнении — штрафной паек: уменьшают пайку хлеба, снимают второе блюдо. За перевыполнение обещают дать выходной день в конце месяца, устроить… «танцы с мальчиками» — привести под конвоем тоже перевыполнивших норму на мебельной фабрике с мужского лагпункта.

И как соблазнительна многим эта возможность. Встретиться с заключенными другой зоны! Узнать вести, может, увидеть брата, жениха, след которых потерян. Может, просто забыться, отплясывая под баян. Не может ни один человек выжить совсем без минуты радости, как не

может выжить без еды и питья. Минуты смеха — физиологически необходимы. Это понимает начальство лагеря: чтобы девушки хорошо работали, оно разрешает вечера самодеятельности — этим можно выжать перевыполнение плана.

Две сотни девушек перемалывает мясорубка 10–12-часовой напряженной работы. Они спрессованы в массу, управляемую чужой волей. Лишены родных, движения, свободы, брошены в страшное одиночество и тоску. Если совсем лишить их развлечений, они станут вялыми в работе, сорвется план фабрики. Начальство объявляет: в конце месяца при перевыполнении плана будет выходной.

Девушки работают до обморока, подгоняя друг друга, — перевыполняют. Иногда их обманывают, не дают выходного, иногда — дают.

Топая тяжелыми ботинками, строем, под конвоем, приходят мужчины. В лагерной столовой — сцена. Занавес из актированных одеял украшен аппликациями художниц, которые участвовали в самодеятельности.

Отодвигают столы, рядами ставят скамейки. По одну сторону прохода конвой велит сесть мужчинам, по другую сторону — женщинам: как в церкви когда-то. Выступают и те и другие, по

очереди. Поет мужской хор. Гулко и странно звучат низкие мужские голоса, ударяются в темный потолок столовой. Мы отвыкли слышать мужскую речь, видеть лица мужчин. Они смотрят на нас. В глазах у них нежность. «Бедные девушки, тяжело им», — шепчет кто-то. А у девушек колет сердце: латаные телогрейки, бритые головы, застиранные штаны: «Хлопцы вы, хлопцы!»

Звенит слезами женский хор, поет украинские песни. Хмурятся жалостью мужские лица. Идет безмолвный разговор.

Иногда следует милость начальства — танцы. Тут уж не безмолвное общение: можно и поговорить, передать записки, действует лагерная почта, за сотни километров переносящая новости.

— Становись в строй!

Обрывается баян. Серо-черные фигуры мужчин становятся строем, топают по дороге через вахту, в свою зону.

— Прощайте!

Встречи такие бывали в первое полугодие нашего пребывания в 6-м лаготделении. Тогда только начинали строиться рядом мужской лагпункт и мебельная фабрика. Еще не успели выстроить столовую, и мужчин строем водили в

нашу, после того как отобедают женщины.

Их временная зона примыкала к нашей. Около уборной даже бровки не было, одна выгребная яма, уборные разделены только досками.

Когда и как умудрились оторвать доску, чтобы не слышали часовые на вышке? Не знаю. Вечером из уборной пробежали в наш, ближний барак четыре тени. Головы повязаны платками, одеты — в брюки и телогрейки, как все зазонницы на работе. Только рост что-то больно высок.

Я обходила барак, смотрела, хватило ли кипятку.

— Пани староста, — шепотом остановила меня дневальная, — не ходите, прошу дуже, у крайну секцию.

— А что такое, пани Бут?

Она усмехнулась виновато и умоляюще:

— Хлопцы там, наши хлопцы со Станиславщины… Прийшли до девчат своего села. Не тремайте их, пани староста!

— Хорошо, пани Бут, — шепотом ответила я. И громко крикнула: — Пани Бут, я пойду в КВЧ до отбоя. Если кто спросит — я там.

— Добре!

Когда я вернулась, никого уже не было.

На другой день топали строем мужчины в

столовую. Четыре рослых парня приподняли смушковые шапки и усмехнулись мне.

— Зятья идут! — сказала дневальная соседнего барака. Я ничего не ответила.

Зашла раз в соседний барак. Увидела на верхних нарах голубоглазую девочку-подростка с толстой светлой косой. Она повернулась, и я вздрогнула: пустой рукав — руки нет от самого плеча.

— Откуда она? — тихо спросила соседку внизу. — Разве был новый этап?

— С ЦЛБ. Девчата рассказывали: ее из тюрьмы прямо на ЦЛБ отправили, в одиннадцатый корпус… На следствии электричеством пытали. Год в одиннадцатом корпусе пробыла. Теперь — ничего. Только нельзя поминать.

11-й корпус на ЦЛБ (Центральной лагерной больнице) — психиатрический.

— А где взяли?

— Во Львове. Из школы. За стихи, говорят.

— А рука?

— Не знаю. В лагеря уж безрукой попала. Девчата ей косу расчесывают и заплетают. Галей зовут. Украинка[16].

---

[16] Примечания: 16

В рукописи «Галя С.». По вполне понятным причинам автор не называет полную ее фамилию — Сокол. *(Примечание Г. Ю. Г.-Т.)*

Недели три не находили работы для однорукой. Галя сидела на верхних нарах, присматривалась. Постепенно нашла подружек. Немало девчат с Западной Украины. Она заметила Рузю и Оленку, которые дежурили у брамы — ворот в столовую. Столовая отделена от зоны забором. Туда велено ходить только строем и без строя никого не пускать. У ворот сторожат две девчонки. А каждому хочется первым прорваться, место занять. Смуглая, черная, как уголек, сверкает глазами:

— Кажут вам, дивчата, — не ходить, нельзя! Кажут же!

Другая, беленькая как булочка, пунцовеет, надрывно кричит:

— Что мы поделаем? Не разрешают без строя пускать!

Прибежавшие из цеха девчата то переругиваются, то смеются:

— Дывись, Оленка гавкает, як пес!

— А что я можу? — обиженно кричит Оленка. — Таке мое дило: ставлят, шоб не пускать.

Видя, что надзирателей нет, машет рукой и отходит от ворот. Беленькая, по-детски надув губы, тоже отходит, отворачивается. Толпа врывается в ворота. Толкучка у раздаточных окон. Получавшие хватают миски, торопливо усаживаются на

лавки, к столам.

А у ворот черноглазая Оленка и беленькая Рузя опять силятся не пустить новую партию, пока не освободятся места.

В КВЧ поступили книги — неожиданно разрешили выдавать заключенным. И вот тогда-то я разговорилась с беленькой Рузей: она лежала на нарах в бараке и читала «Киевскую Русь» Б. А. Грекова.

— Интересно? — спросила я.

— Даже Киев от нас украли, — ответила она, сверкнув глазами на детски пухлом лице.

— Почему украли? Ты с Грушевским сравниваешь? — догадалась я.

— Конечно! Грушевский написал правдивую историю Украины, а этот — москаль… — не могла сдержаться она и резко отодвинула книгу.

— В науке, Рузя, всегда были и будут разные точки зрения. Только так и может двигаться наука, выясняется новое. Греков не «украл», как ты говоришь, Киев от Украины для Руси. У него просто другая точка зрения, чем у Грушевского. И мне кажется — более правильная.

Она смотрела недоверчиво.

— Ну, скажи: жил, допустим, какой-то Петр. У него сыновья: Иван да Степан. Иван ушел жить

на север, Степан — на юг. У них появились дети, внуки. Если Степановы внуки будут кричать: Петро наш дед, а не ваш! А Ивановы отвечать: наш! В морду дадим! Умно будет?

Она усмехнулась.

— Ну чей дед Петро?

— И тех и других.

— Так и говорит Греков. А Грушевский кричит: наш! Киевское государство объединяло многие восточнославянские племена. Оно распалось. На севере образовалось Московское государство, на юге Украина в муках отстаивала свою культуру от Польши, от татар, от турок. Создалось два народа, но корень их общий — Киевское государство, объединявшее восточных славян.

— Москали не славяне — помесь финнов, чуди, мордвы.

— Чистых рас вообще нет. А почему у этой помеси сохранилась память о Киеве, о князе Владимире как о своих предках, а у вас потерялась? Былины-то живы на севере! Есть у вас песни о киевских богатырях?

Она недоуменно посмотрела на меня, проронила:

— У нас думы.

— Да, о гайдамаках, о турецкой неволе — это

история, когда создавался украинский народ. А Северное Поморье сохранило более древний пласт. Это достовернее любых концепций ученого. Почему именно сохранились на севере — это другой вопрос, но ведь не историки это придумали.

Она беспомощно посмотрела. Потом сказала:

— Вы образованнее, я просто не нахожу возражений.

— Дело не в образованности, Рузя, я ведь тебе ничего не навязываю. Даю факты. Разбирайся сама.

Так начался ряд длинных разговоров. Мы стояли на поверках в рядах. Стоять приходилось подолгу — всегда что-нибудь не сходилось: то больше, то меньше людей. Надзиратели проходят, по нескольку раз пересчитывают из конца в конец две тысячи женщин.

В ожидании говорю:

— Хотите, девушки, послушать стихи?

Надо чем-то время заполнить. Стоят, переминаясь с ноги на ногу, по пять человек в ряду. Рузя и Галя соглашаются почти равнодушно, и я начинаю:

Ты знаешь край, где все обильем дышит,

Где реки льются чище серебра,

Где ветерок степной ковыль колышет…

На лицах проступает внимание.

— Это чьи стихи? — спрашивает Галя.

— Алексея Толстого. Не современного писателя, а поэта девятнадцатого века. Он вырос в имении на Украине и много писал о ней.

Колокольчики мои,

Цветики степные,

Что глядите на меня,

Темно-голубые…

Слушают. Все отрешенней от лагеря, все нежнее улыбаются глаза.

На следующей поверке становятся рядом со мной. Просят:

— Читайте стихи. Алексея Толстого!

Одну за другой я читаю баллады про Киев, про Гаральда Гардрада, про богатырей и змея Тугарина.

— Вот как украинец писал о Киевской Руси, девчата!

— Какой он украинец, он по-русски писал.

— Гоголь тоже по-русски. Вы и от него отре-

каетесь?

— Нет, но непростительно, что писал по-русски.

— А кто бы стал его читать по-украински в то время? Шевченко писал по-украински потому, что это думы и страдания простого народа — «крепаков». Он находил нужные народу слова о его жизни. А Гоголь воспитывался на русской культуре и по-русски, ему важно было всем рассказать об Украине. Вы поймите, девчата, что украинской национальной культуры тогда не существовало. Она не могла создаться без интеллигенции, без школы, а школы не было — верхушка украинского народа или ополячивалась, или обрусевала. Чтобы создать свою культуру, надо было сначала на русской дудочке сыграть украинский мотив. (Я под дудочкой подразумеваю культуру, понимаете?) Вот Гоголь и дал Украину всему белому свету. А написал бы по-украински — никому бы не дал, потому что читать было некому — неграмотные. В русскую культуру всегда шла сильная волна с Украины. В восемнадцатом веке из Киева на Москву пришли и Магницкий, и Авраамий Палицын. В восемнадцатом — Кантемир, в девятнадцатом — Гоголь и Алексей Толстой.

И Рузя, и Галя усмехаются. Довольны.

— А русские, — прибавляю я, — умели учиться. Это основное достоинство русской культуры — уметь осваивать чужое.

Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…

Так Блок сказал. Ты слышала про Блока, Галя?

— Нет.

— Величайший русский поэт начала двадцатого века с нерусской фамилией. Как-нибудь почитаю вам Блока.

Блока надо было осваивать постепенно и медленно — выбирать и читать то, что может зацепить. И перемешать с гражданской простотой Некрасова. Я уже знала по Колыме и по второй тюрьме безошибочное действие «Русских женщин» — это доходило до каждого заключенного. Над Волконской и Трубецкой все одинаково плакали.

Лагерный день, как веревками, стянут работой. Но время поверки было наше. Можно было, не выходя из строя, разговаривать. Умственный голод не менее насущен, чем физический. Голод

на стихи — особенно. И вот установилось — меня заводили, как патефон: на все время поверки. Кругом стояли и слушали.

О себе

У всех народов при похоронных и свадебных обрядах были плакальщицы. Они необходимы. Душа человеческая, наводненная силой переживаемого, теряется перед болью. В растерянности и бессилии перед совершающимся ищет форму, структуру переживаемого. Для этого необходимо его ритмизировать. Человеку часто не хватает сил создать ритм самому. Он нанимал плакальщиц, чтобы они организовали его растерянность перед горем. Дали художественное воплощение.

Так было в примитивных формах культуры. При усложнении человек мог всегда для выражения своих переживаний получить готовую форму: к его услугам книги, концерты, картины. Все сложное тысячелетнее накопление культуры.

В лагерях мы, интеллигенты, были лишены привычного культурного наследия. Мы испытывали голод ума, лишенного привычной пищи — работы.

Пласт за пластом были сняты верхние корки сознания. Оставался трепещущий пульс глубинного слоя. Его можно было питать только

стихами. Ведь только стих утверждается в памяти без бумаги и книг. Я в лагерях практически поняла, почему дописьменная культура всегда слагалась в виде песен — иначе не запомнишь, не затвердишь. Книги были у нас случайностью. Их то давали, то лишали. Писать запрещали всегда, как и вести учебные кружки: боялись, разведут контрреволюцию. И вот каждый приготовлял себе сам, как умел, умственную пищу.

Чтобы сохранить себя, внутренне нужно было найти отключатель от лагеря. Ясное понимание этой необходимости у меня уже было из опыта Колымы.

Расскажу о том, какой я себе придумала отключатель. (Другие придумывали другое, но мой тоже интересен, как всякий правдивый рассказ о человеческом сознании, поставленном в неправдоподобные условия.)

Это началось еще в карцере: чтобы не задыхаться, я переключалась на просторы Северной Двины, ныряла в блеск текущей воды своей юности. И стала нечувствительной к отсутствию воздуха. Чтобы объективизировать свое переживание, я приписала его — Ломоносову. Было удобнее: не я — величина неизвестная, а мощный и сильный человек, имеющий основание на бунт,

на спор с историей, ходит и думает:

Если музу видит узник —
Не замкнуть его замками…

Михаил Васильевич освобождал меня, возвращая самой себе: я или он ходили по камере после карцера? Все равно! Ходил человек.

Если ты попал в беду,
К тебе, наверно, подойдут
Глубокой горечи часы…
Но воля силы воскресит!
Ты человек! И морды тех
Зверей, что бродят в темноте,
Тебя не в силах устрашить.
Ты – человек! Ты будешь жить
В веках, в мирах и в звоне вод,
В прозрачной памяти листах,
Во всем, что движется вперед.

Так утешала я себя в карцере. А в лагерях уже догадалась: собрать все в Ломоносова.

Жаркий день. Летом редок выходной день, но вдруг дали. Женщины толпятся под навесом, у плиты. Это — «индивидуальная кухня». Здесь

разрешают готовить продукты, полученные в посылках. Стоят в очередь кастрюльки. Варят каши, пекут блины. Муравьишками суетятся, радуясь минуте, когда принадлежат себе. Собираются по две, по три — угостить друг друга: мы вместе. Так дорога радость добровольного общения.

Брожу по лагерю. Мучима голодом. Другим голодом: почему я должна, как сказочный пеликан, питаться собственной кровью души? Как смеют лишать меня умственной пищи?! Как смели, как смели лишить меня моего дела?! Разве я староста барака, обязанности которой следить за порядком, морить клопов? Нет, я — этнограф.

Меня из Академии убрать?
Из Академии – меня?!
Вы разве можете понять,
Что это значит? От огня,
Во мне горящего и ночь и день,
Ведь, как береста, ваша лень
Скорежится. Вы прахом и золой
Рассыплетесь передо мной!
Что надо вам? Покой, чины.
Вы мыслей пухлые блины
Печете в кухонном чаду

И думаете, я – уйду?!
Да как вы смеете? Не вам
Науку русскую отдам!
. . . . . .
Я силы жег, как маяки
На камнях северной реки
Жгут, чтоб далекие суда
Через пороги шли туда,
Где гавань верная видна.
Мне воля русская дана
И разум, чтоб родной стране
Вернуть все ведомое мне…

Кто говорит? Кто это говорит здесь, в зоне, бродя по дороге, обсаженной чахлыми березками? Я? Кто — я? Нет, это говорит Михаил Васильевич Ломоносов, когда одолевают его враги: тупые и недвижные умы, засевшие в конференц-зале. Он и сказал:

Я знаю: собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Россия может порождать!
И вам ли этому мешать!

И рвет все. И я рву — ухожу из лагеря!

Осенний рассвет в заморозках. Хрустит земля. Ледок на лужах. Как льдинки просветы неба в летящей куще туч. За зоной еще не улеглось рассветное движение птиц и деревьев.

В зоне — торопливое передвижение людей: скоро развод. Бегут в столовую. Там полутьма. Толпятся темные фигуры. Над досками столов пар — дымятся миски. Склоненные головы хлебают, мелькают ложки. Мне не надо на развод. Я спокойно стою на помосте у окна раздачи, пережидаю. В холодном воздухе запах хлеба и прелых щей. И с той же яркостью, как видимое, встает противоположное:

Немало милостивых слов
Царица графу посылала,
Немало праздничных пиров
В честь государыни даров
Давал обласканный Шувалов.
Но этот пир среди пиров
Всех веселее и нарядней:
Хрусталь украшенных столов
И горы фруктов и цветов,
Литавры музыки парадной —

Все тешит взор и слух гостей.
Улыбкой легкою своей
Хозяин каждого встречает.
За каждым стулом встал лакей,
И море сладостных свечей
Зеркал дорога отражает.

Я вижу прежде всего эту сияющую дорогу свечей. Она преображает холодную сырую полутьму столовой. Она встает повторяющимися ритмами, смысла которых я еще не понимаю. А потом догадываюсь: так это ведь Ломоносов пришел на пир к Шувалову!.. Где встречает Сумарокова… Ну конечно, это о нем.

Я уже ушла из столовой и бреду по опустевшей зоне. Все ушли на развод. Здравствуйте, граф Шувалов! Вы встречаете Ломоносова? Образ наматывается, как провод на большую катушку.

Он вывел меня из лагеря.

Они меня превратили в старосту барака? Я себя превратила в Ломоносова и ушла из лагеря. Я — неуязвима.

Инвалидный барак

В один из первых дней после того, как нас перебросили на 6-й лагпункт, ко мне, улыбаясь, подошла женщина с круглым, добрым лицом.

— Гаген-Торн? Нина?

— Да, я.

— Ты не узнаешь меня?

— Не-ет.

— А Берту Гринберг на Эльгене помнишь?

— Конечно! Год рядом на нарах лежали.

— Я подруга ее, тоже электрик, Ольга Патрушева… Но я недолго на Эльгене была — перекинули на Балаганный.

— А-а, вспоминаю! На электростанции, вместе с Бертой…

— Да, тогда еще разрешали КРТД. Как раз перед войной успела освободиться. А тебя, я слышала, в сорок втором освободили?

— Было такое чудо: пересидела против срока только год. А Берта где?

— Задержали до конца войны. Я уж вольняшкой работала, инженером на электростанции, а ей, как зэку, разрешили только монтером. После войны освободили, осталась на Колыме. Может, к

лучшему. Кто уехал — почти всех взяли повторно. Кого из наших ты встречала?

— На воле — я в Москве жила после войны — кое-кого встречала.

Как лагерники всегда, мы перебрали, что о ком слышно.

— Наших в Темниках много по второму разу, но на шестом нет. Говорят — на десятом. А я здесь со старушкой-грузинкой вместе. Человек замечательный! Катаракты на обоих глазах, шестьдесят восемь лет, а держится как! Да пойдем к нам в барак, познакомлю. Мы в четвертом инвалидном: у меня гипертония, давление — двести сорок.

— Я еще не бывала в четвертом. Пошли!

В огромном брюхе барака деревянные ребра креплений и нар стояли в три ряда. Каждая нара — норка. В ней сидит, копошится жилица.

Много знакомых. Вон, в углу, белая голова Валерии Рудольфовны. Перед ней, в проходе, тумбочка, покрытая салфеткой. Нары покрыты пледом. Она, подтянутая, в кофточке с белым воротничком, сидит мережит платочек. Будто на корабле: попала случайно в третий класс, приходится терпеть неудобства пути, по возможности сглаживая их.

Через проход от нее, поджав ноги, на нарах

сидит пожилая карпатская «жинка». Низко склоняет повязанное платком строгое лицо — чинит ветхую вышитую рубаху.

Дальше мне кивнула седеющими кудрями рослая еврейка — я познакомилась с ней еще в больнице. Член партии с 1905 года — рекомендовалась она. Привыкшая к царским тюрьмам, она сохранила деловитость: делает гимнастику, сидит, словно сразу готова подняться и приступить к исполнению обязанностей.

Мы шли по проходу.

— Нина Дмитриевна, — позвала Ольга, — привела к вам свою колымскую землячку.

Худенькая старушка подняла голову. Бедные старые глаза ее почти не видели. Протянула тоненькие косточки — руку.

— Здравствуйте! Па-ажалуйста, садитесь к нам, — сказала она с легким грузинским придыханием. Слабо улыбнулась. А стало — будто в светлом доме приветливая хозяйка принимает гостей. Так умеет принять — каждому место и ласка. И гость понимает: честь побывать у таких людей.

— Я сейчас принесу кипятку, — сказала Ольга, — а вы, Нина Дмитриевна, опять не пили лекарства?

Нина Дмитриевна добродушно махнула рукой:

— Ну-ну-ну! Я приму… Оля со мной, как с ребенком, — улыбаясь, пожаловалась.

Ольга достала порошок у нее из-под подушки, деловито оправила постель и пошла.

— Она за руку меня в столовую водит, не позволяет одной… И бранит… — ласково покачала головой Нина Дмитриевна.

Я потом видела: они шли в столовую вместе. Ольга вела ее за руку, Нина Дмитриевна покорно передвигала старческие худые ноги, сконфуженно усмехаясь своей слабости.

Но была в этой слабости сила, которую чувствовали люди: умение оставаться самой собой. В любых условиях.

На нарах, как в радушном доме, она сохраняла приветливость и деликатность: ни звуком не выдать боль и горе, чтобы не отяготить других. С интересом выслушать мысли, улыбнуться чужой залетевшей радости, посмеяться остроте. Мы ценили ее, берегли как могли.

Были у нее в Грузии дочь, зять, внучки. Сначала изредка приходили посылки, открытки, потом — перестали. Почти год — ничего. Нина Дмитриевна молча сидела на нарах, обняв худые колени. К ней приходили, разговаривали, она улыбалась

приветливо.

— Ну как, — спрашивала меня, — получили письмо?

Я подтверждала сконфуженно: боялась, что это ранит ее.

— Как дочки? — оживлялась она. — Как ваша мама? Здорова?

— Спасибо. Пишут — здорова. Она ведь писать не может: плохо видит, как и вы.

— Она бы часто вам писала, если бы могла. Мать всегда будет писать, а дочки — им, знаете, не до того… Может, и боятся…

Две горькие складочки дрогнули у губ, но ни слова, как у нее изболелось сердце: почти нет вестей… Оттуда, из Грузии.

Вдруг — горькая радость: прибыл новый этап. Я зашла в 4-й барак посмотреть. Ольга позвала:

— Иди к нам! Познакомьтесь…

На нарах, светя зеленоватыми большими глазами, сидела невысокая грузинка.

— С этапа. Кетеван Антоновна Ц-дзе, — сказала Оля, — новости нам привезла.

Нина Дмитриевна с посветлевшим лицом:

— Слава богу! Мои все здоровы, — и, наклоняясь ко мне, тихо сказала: — Кэто — мой старый друг и родня. Она имела письма из дому, знает

про всех.

Кэто, улыбаясь, кивнула темной — чернь с серебром — головой.

— Друзья наших друзей — наши друзья, как говорится. Спасибо за Нину Дмитриевну Оле и вам. Слава богу — мы теперь вместе!

— Как я довольна за вас. Только б не разъединили.

* * *

В бараках скомкано много разных жизней. Над Ниной Дмитриевной на верхних нарах — три эстонки. Это удачное соседство: не сыпался сверху мусор, не ругались, не трясли нары. Тихо сидели, переговаривались по-эстонски. Распускали старые кофты, самодельными деревянными спицами вязали из них чулки. Помогали друг другу слезать с нар — трудно самим слезать, — шли постираться. Опять, деловито переговариваясь, подсаживали друг друга на нары.

Между Ниной Дмитриевной и Валерией Рудольфовной жила кругленькая Валерия Ивановна. Кивала, ласково и конфузливо улыбаясь тем, кто с ней здоровался. На воле она ведала библиотекой южного города. Когда в КВЧ появлялись книги и их разрешали выдавать зэкам, Валерия Ивановна

шла туда, помогала навести порядок, ласково трогала книги, как старых и добрых друзей. Уносила одну — на своих нарах почитать.

Одинокую стариковскую нежность отдала соседке, Марине Арсеньевне. Озабоченно носила ей кипяток, бегала в санчасть за лекарством — Марина Арсеньевна часто лежала с мигренью. Восторженно слушала рассказы Марины Арсеньевны. Обеим было за шестьдесят. Но Марина Арсеньевна не привыкла считать себя старой: так недавно еще, на воле, она чувствовала себя обаятельной женщиной. Седые академики целовали ей ручку, разговаривали как с молодой дамой. Она умела блеснуть. С ней считались: воспитанная, порода видна. И в то же время жена продвигающегося красного профессора.

Она не любила вспоминать это. Любила вспоминать молодость: как они с первым мужем жили в Испании. Перед Первой мировой войной: он готовил книгу по истории испанской живописи. Они бродили по картинным галереям, сидели в темных тавернах, пили густое и терпкое вино. Говорили о живописи с испанскими художниками. Испанцы с восторгом рассматривали ее голубые глаза и светлые волосы, скандируя, читали стихи.

После революции муж получил кафедру. Приходили русские искусствоведы, так же, как испанцы, читали ей стихи, любовались капризной экстравагантностью.

Потом она увлеклась идеями коммунизма, которые излагал ей молодой красный профессор еврейского происхождения. Она оставила искусствоведа и вышла замуж за своего еврея: это казалось новым и интересным — новые люди, новая среда.

Непонятно почему, оказалось — он «враг народа». Его арестовали. Ее, как жену, тоже. Она не рассказывала, что было в тюрьме, но зрачки ее расширялись и губы вздрагивали, когда вспоминала тюрьму. Раз обронила: «Не помню, что было явь, а что бред… Смешение яви и бреда, помните, в рассказах Валерия Брюсова» — и перевела разговор на Брюсова.

Валерия Ивановна посмотрела на меня страдающе. Зато она так и светилась радостью, слушая рассказы Марины Арсеньевны о Париже, Мадриде, Неаполе… Там балованная светловолосая женщина «совершала экстравагантности». Марина Арсеньевна умела это подать. Другой мир захватывал, как кино, стирал барак, нары, неправдоподобное лагерное существование.

Ударит звонок на поверку — вздрогнут, пойдут из барака вставать на линейку.

Трудно старым ногам стоять в рядах. Старым костям трудно ложиться на набитом стружками тоненьком тюфяке. Тяготит неизвестное: что будет? Куда, в какой этап еще повезут?

Время отстукивает годы, растит старческие немощи. Что ожидает? Умереть в лагерях?

Марина Арсеньевна выжила, вернулась в Москву после реабилитации, получила пенсию за расстрелянного мужа.

Валерия Ивановна угасла беззвучно, как свечечка на ветру.

* * *

Бессмысленность виденного встала передо мной, не дает мне писать планомерно. Вынуждает немедленно рассказать относящееся к позднейшему, к 10-му лаготделению.

4-й барак на 6-м лаготделении не был вполне инвалидным: в нем жили разные женщины, которых нельзя было использовать на постоянной работе. Их гоняли эпизодически — убирать территорию лагеря и производства, сгребать снег, перебирать картошку, чинить белье.

Говорили им: «А ну, давай, давай работай!»

Норму не назначали — не имело смысла. Кормили общим пайком, без дополнительного блюда, которое давали выполнившим норму.

Потом сгребли всех и отправили в 10-й полуинвалидный лагпункт. Там не было производства: лагерь только обслуживал себя. Работа — по кухне, каптерке, бане, пошивочной мастерской. Рассортировали: тех, что могли работать, поместили в рабочих бараках. Хронически недвижимых — в полустационар. Там они рядами лежали на нарах. Им приносили еду, кипяток; обслуживали. Мыли барак более молодые и здоровые заключенные — санитарки.

Женщинами, которых никак нельзя было использовать на работе, но которые могли передвигаться сами, заполнили огромный барак, как мы его называли — барак «малолеток» (от 60 до 80 лет). Там они копошились. Сидя на нарах рядом, иногда не замечали друг друга — в толпе человек неприметен. Иногда затевали ссоры: поднимались крик и брань из-за закинутого башмака, потерянной тряпки, сломанной ложки. Падали крики, снова мирно беседовали. Какая-нибудь тихо плакала. Утешали, вздыхали, головами качали. Другая заболевала. Соседки ковыляли за доктором. Шептали: сердце совсем

останавливается.

Где-то ворчала сердитая:

— Останавливается? Придуривается! У меня вот тоже все болит, молчу.

— Что вы, что вы!.. Грешно говорить так! Если мы друг друга не пожалеем, кто нас пожалеет?

Приходила заключенная докторша, делала укол. Суетились кругом больной. Тайком приносили ей обед — в барак не полагалось носить еду из столовой.

Ударит звонок на обед их бараку (после рабочих). Потянутся от барака к столовой: старухи, старухи, старухи. Три сотни: трясут головами, слезятся глаза, шевелятся морщины; крючась, движутся с костылями и палками. Под руки ведут почти слепых.

Страшное шествие из фантазий Гойи?

Нет, живая действительность: строй «врагов народа», отбывающих срок наказания.

Вот враги: на табурете сидит 80-летняя игуменья монастыря. Она почти никого не узнает, не помнит. Молча дремлет. Изредка, просыпаясь, бормочет:

— Ой-ой-ой! Паду, паду, паду!

Ее подхватывают:

— Матушка, матушка, что с вами?

— Боюсь со стула упасть. — И снова дремлет.

Вот бывшая балерина.

— Училась я вместе с Кшесинской, отметки получше ее получала в училище, — рассказывает она, отирая черненькие слезящиеся глазки; руки и ноги у нее дрожат, но, вспоминая, она кокетливо усмехается.

А крепкая 70-летняя старуха в добротном суконном платке рассказывает:

— Привели меня в суд: «Виновата в антисоветской деятельности». Дали двадцать пять лет. Поклонилась я судьям и говорю: «Спасибо! Сколько проживу — отсижу, остальное вам, сыночки, оставлю». Так не захотели: сменили приговор на десятку.

Старухи, раскрывая беззубые рты, хохочут:

— Не захотели!

Кому и зачем нужны были бессмысленные страдания старух?

* * *

Оля Патрушева зашла ко мне в барак.

— Знаешь, зубной врач приехал на лагпункт. Пойду вырву зуб. Он на три дня всего приехал, лечить не успеет, а зуб уже болел.

— С наркозом?

— Не знаю. Все равно вырву и без наркоза! Больше будешь мучиться, когда заболит.

— Ну, счастливо!

Ушла, часа через два приходит Кэто.

— У Оли-то из зуба кровотечение не унимается. Пошла опять в больницу. Пусть остановят.

— Надо пойти за ней, может, ей трудно дойти…

Мы пошли, спросили санитарку:

— Патрушева где?

Махнула рукой:

— В палате, положили ее!

Мелькнул белый халат медсестры.

— Пани Марта! Пани Марта! Что с Патрушевой?

Она посмотрела печальными темными глазами, прошептала:

— Инсульт. Очень плоха!

— Пустите к ней?

— Она без сознания. Вечером, когда врачи уйдут, конечно, пущу!

Вечером, после поверки, как покормили больных ужином и кончилась опасность, что Софья Сергеевна, врач-зэк, вылезет из своего угла, я проскользнула в больницу.

Оля лежала в изоляторе. Сине-лиловое лицо. Закрытые глаза и закинутая назад голова. Тяже-

лый страшный хрип. Халат пани Марты забелел в конце коридора.

— Пани Марта, голубушка, как это случилось?

— Ей впрыснули кальций хлорати, чтобы остановить кровотечение: он сжимает сосуды. А ведь у нее давление двести сорок и сосуды хрупкие. Не сжался, а лопнул сосуд в мозгу. Сразу потеряла сознание.

Мы с Кэто сменяли друг друга у ее постели. Ночь шла. Клокотало и хрипело в Олиной груди. Набухало, темнело кровью лицо.

Она умерла, не приходя в сознание.

Мы знали: где-то в Москве у нее осталась дочь Ирочка, но мы не имели права написать ей о смерти матери: писать разрешалось только раз в месяц, близким родным.

Через месяца два удалось передать нелегально, «налево», как говорят в лагерях, записку Олиным родным, но мы не сообщили своих имен, так как, если бы получили ответ, цензор обнаружил бы, что есть нелегальная переписка, а это грозило бедой многим. Узнала ли о матери Ирочка?

* * *

Осенним днем я навестила Нину Дмитриевну. В тамбуре услыхала голос из умывалки:

— Какое все-таки наслаждение — выкурить наконец папироску!

Голос низкий, почти мужской, модуляции очень гибки, глубоки, разнообразны. В лагерях научаются определять человека по голосу. Внешность? У всех одинаковые серо-черные платья и телогрейки или ватные штаны и телогрейки. У всех посеревшие складки у губ. Лексика? Многие нарочно начинают говорить лагерным полублатным диалектом. Модуляции голоса хранят прошлое.

Голос из умывалки был явно сугубо интеллигентским, московским.

Я заглянула. В умывалке стояли две женщины. Одна, долгоносая и долгокосая, курила. Худая, высокая, с изможденным лицом, она затягивалась папиросой, прикрыв глаза. Театральным движением откинула обе тяжелые темные косы, падавшие ниже пояса. Кто она?

Я не стала знакомиться, прошла к нарам Нины Дмитриевны и Кэто:

— У вас в бараке новые? С этапа?

— Да, — ответила Кэто, — перекинули с третьего несколько человек, там оставили только рабочих.

— А кто эта, с косами? Москвичка…

— Доброва Александра Филипповна. По делу Даниила Андреева, знаете это дело?

— Ну кто в Темниках про него не слышал!

— Расскажите. Я толком не знаю еще, — сказала Кетеван Антоновна.

— Даниил Андреев, сын писателя Леонида Андреева, младший. Его мать, «дама Шура», как назвал ее Горький, умерла родами, и он остался у ее родных, у доктора Доброва. Не из тех ли она Добровых?

— Вероятно.

— Написал этот Даниил роман. За роман сели не только те, кто его читал или слушал, но даже сапожник, который чинил Даниилу ботинки, зубной врач, у которого он лечился, — словом, около двухсот человек. Получили от десяти до двадцати пяти лет. Я про это слышала еще в тюрьме, а месяца два назад сюда прибыла с тринадцатого Алла, его жена, работает художницей в КВЧ.

— По одному делу с Добровой? Как же их соединили?

— Прозевали, наверное. Аллу перевели с тринадцатого, а Доброву с третьего, говорите?

— Да.

— Как же они встретились?

— Александра Филипповна очень воспитан-

ный человек. Афишировать взаимоотношения не будет.

КВЧ

Культурно-воспитательная часть — самое противоречивое явление советских лагерей. Детище времен Дзержинского, когда искренне верили, что лагеря перевоспитывают людей, приобщая к культуре, КВЧ сохранилась в разгар сталинских неистовств.

В 1936 году на Колыме еще были отголоски прежних идей в легендах об Эдуарде Берзине.

При Берзине, говорили старые уркаганы, заключенные получали зарплату. По окончании срока человек выходил с деньгами, чтобы начать новую жизнь. При Берзине, если человек хорошо работал, ему разрешали жениться и отводили отдельную комнату. Были школы и библиотека для заключенных.

Встречались тогда воспитатели-коммунисты, готовые душу отдать, чтобы сделать тебя человеком.

Но Эдуарда Берзина в 1936 году вызвали в Москву и расстреляли. Колымские лагеря наполнили 58-й статьей, которую не предполагали воспитывать: над Колымой принял власть полковник Гаранин.

Он расстрелял 10 тысяч человек, приписав им саботаж или попытку к бегству. Потом сам Гаранин был расстрелян. Люди в лагерях продолжали гибнуть от истощения, непосильной работы и произвола.

А КВЧ осталась. Она занималась устройством спектаклей. На Эльгене ставили «Коварство и любовь» Шиллера. Не только «шалашня» — блатные девчонки, мужчины-уркаганы утирали слезы — урки сентиментальны и любят сильные страсти.

Театр процветал: в лагерях были народные артисты, певцы, художники. Из якутских лагерей приехал молодой уркач и рассказывал: какой-то с Москвы Мейерхольд обучал играть на сцене.

Художник В. И. Шухаев писал декорации в магаданском Доме культуры. Я видела, как он, высокий и худой, шел по Магадану, сутулясь в своей телогрейке. Стрелок с автоматом вел его из Дома культуры в барак.

Русланова пела где-то на лагерной сцене.

После войны в ярославских лагерях были Радловы. Мне рассказывала о них на 10-м лагпункте берлинская немка фрау Майер. Она дружила в ярославских лагерях с «фрау Анна Радлофф». Фрау Анна с мужем ставили постановки для вольных, им разрешили выписывать книги.

— Материально неплохо жили, — рассказывала фрау Майер, — но фрау Анна все тосковала, а потом — умерла.

«Самодеятельные спектакли» превращались в крепостной театр, где подневольные артисты развлекали начальство. В «Мертвой дороге» Побожий описал такой крепостной спектакль (журнал «Новый мир», 1964). Но подневольное искусство — все же искусство, и артисты играли, не только уберегаясь от тяжелой работы, а находя разрядку душевных сил, выход из бессмысленного существования. Крепостное представление бывало не только потехой начальства, но и отрадой зэков.

Функции КВЧ разнообразны. В Темниках КВЧ занималась:

1) книгами: их то разрешали выдавать заключенным, то отбирали — приказы менялись;

2) воспитанием заключенных при помощи лозунгов и плакатов: «Честный труд искупает вину», «Кто не работает — тот не ест»; призывали выполнять норму, рисовали диаграммы выполнения плана;

3) самодеятельностью: редкие дни отдыха рекомендовалось заполнить зрелищем. Начальство понимало, что зрелище сохраняет контроль за рабочей силой.

Начальником КВЧ был молодой лейтенант. Он не работал — это не полагалось вольным, но руководил заключенными. Его секретарем была Надя Лобова. Может, потому, что на воле она тоже была лейтенантом. Кроме секретаря, полагались художники, но их не было, когда мы прибыли.

Пришел новый этап.

— Нет ли художниц? — спросила Надя Лобова.

— Я художница, — откликнулась молодая женщина в «вольном» свитере. У нее удлиненные прозрачные глаза, нервный рот и пепельные кудри под беретом.

— Художница? — обрадовалась Надя. — Откуда? Как фамилия?

— Из Москвы… Андреева.

— Пойду скажу в УРСе.

УРС (учет рабочей силы) направил Аллу Андрееву в художественную мастерскую. Ей повезло: в мастерской и работать, и жить вместе с Надей Лобовой.

Там большие окна; в солнечных лучах банки с красками, рулоны бумаги на длинном столе. Дальний угол загорожен фанерным щитом для плакатов. За ним два топчана и тумбочка. Минутами можно просто забыть, что лагерь. Я любила туда ходить. Вызовет начальник Лобову в свой

кабинет, останусь с Андреевой. Она читает наизусть стихи своего мужа, Даниила Андреева, рассказывает об искусстве. Я читаю ей своего «Ломоносова» — не так часты квалифицированные слушатели.

Алла между разговорами об искусстве, о росте культуры в нашу эпоху рассказала об аресте и следствии. Неужели искренне восхищалась следователем? Утверждала, что понимает необходимость социальной борьбы, сообщала:

— Мы с ним сумели договориться, он убедил меня во многом: мы были не правы в своем скептицизме к советской власти.

— Ну в чем же он вас убедил?

— Что растет иная культура. Такая, которая создала новую интеллигенцию, других убеждений, но понимающую то, что дорого нам. Он говорил: «Мы с вами — политические противники, но это не значит — враги. Вы жили в московской интеллигентной ячейке, не зная жизни и стройки страны. Вспомните, что мы, коммунисты, выиграли войну с великими жертвами, и поймите необходимость бдительности. Имейте мужество говорить прямо, если у вас есть разногласия с нами!» И я поняла, что он прав! — воскликнула Алла, гордо подняв голову. — Следователь мой,

во всяком случае, культурный человек. Вставал, когда меня приводили на допрос, предлагал: «Садитесь, пожалуйста, Алла Александровна». Я сказала, что верю в Бога, в роль христианства. Он цитировал Блока:

Инок шел и нес святые знаки

На пути в желтеющих полях.

Или что-то другое, он много цитировал Блока… Мы говорили о многом…

Мне был не нов такой прием следствия: в 37-м году камера ахала над глупостью маленькой женщины, жены видного командира, — следователь уверял, что влюблен в нее.

Идя на допрос, она мазала брови пережженной спичкой, пудрилась зубным порошком. В кабинете следователя ее ждали пирожные и вино. Угощая, следователь рассказывал ей о шпионских злодеяниях ее мужа и восхищался ее женственной прелестью. Твердил: «Из-за него вы страдаете, я верю вашей невиновности. Он совершал преступления, не думая о вас, — зачем же вы стараетесь его прикрыть? Подтвердите, что он глава диверсионной группы, и я, как честно указавшую врага, смогу вас освободить». Она не знает про это? Пусть поверит ему, она же видит,

как он к ней относится.

Женщина возвращалась в камеру, как в чаду. Почти ежедневные вызовы по вечерам, ужин, тонкое вино, удобное кресло… Она привыкла. Вдруг месячный перерыв — не вызывает! Непонимание, ожидание, тревога…

Наконец снова вызов. Следователь ахнул: как похудела, как побледнела! «Как вы замучились! Я месяц был в отъезде по вашему же делу… Пытался спасти вас — пусть виновный несет наказание, но не вы… Подпишите показания, которые я для вас составил, и завтра же вы на свободе. Я увезу вас в Крым, мы будем счастливы…»

Она подписала, что видела у мужа диверсионную группу.

Следствие было окончено. Следователь больше не появлялся.

А ее перевели в Кресты и дали 10 лет.

Все было примитивно, как в старом кино: дурочка клюнула на любовь, как рыбка на червяка.

Но Алла, интеллигентный человек, как могла она не понять, к чему ведут разговоры со следователем?

Она вспоминала, как следователь спрашивал:

— Скажите, Блок сродни Владимиру Соловьеву? А переводчик Коваленский, кажется, тоже

сродни?

— Да.

— Это очень интересно! Вы ведь с ним в одной квартире жили?

— Да, он муж Добровой, двоюродной сестры моего мужа.

— И Коваленский ценил талант Даниила Леонидовича?

— Он ему завидовал.

— Ах так! Но он слушал его произведения?

— Конечно!

(Хлоп! — подумала я. — Западня поймала Коваленского и Доброву.)

А Алла продолжала упоенно рассказывать, с каким интересом спрашивал следователь о творчестве Даниила Андреева: он ценил его творчество, литературную силу романа. И Алла рассказала ему, как созревал замысел романа, кто слушал его чтения и какие высказывал мысли. По делу о написанном Даниилом Андреевым романе сели около 200 человек, получив сроки от 10 до 25 лет. Сама Алла получила 10 лет лагерей и так и не поняла, что она предала всех, что на ее совести все эти жизни.

Она рассказывала мне все следствие, спокойно рисуя плакаты о производстве и беседуя об

условности моральных понятий добра и зла, о Достоевском и судьбах русской литературы. И страннее всего то, что у меня не было к ней негодования: все казалось настолько потусторонним, лежащим в ином пласте сознания, что не воспринималось. Вспоминая теперь, ощущаешь ту логику как логику сна.

Вторым художником в КВЧ была «пани Фуля». Она появилась позднее, глубокой осенью, с тем этапом, что держали в осеннюю ночь за воротами, а дневальная, пани Бут, ждала у барака, надеясь узнать что-нибудь о дочерях. Когда впустили и они ринулись в наш барак, продрогшие, мне бросилась в глаза среди мятущейся толпы хрупкая фигурка с огромными черными глазами на молодом лице, с совершенно седой головой. Заговорила с ней. Не наша манера держать себя; твердый польский акцент.

— Вы давно в Советском Союзе?

— З войны, пани.

— Откуда?

— З Варшавы.

— Большой получили срок?

— Десять лет, прошу пани.

В лагерях не принято расспрашивать. Вежливость позволяет спросить: срок, статью, имя.

Дальше человек сам, если хочет, расскажет. Что расскажет — его дело.

На воле человек — как изюмина в тесте — сидит в своей среде. В лагерях он без среды и без прошлого. Все по ту сторону — неизвестно, условно, призрачно. Прошлое он воссоздает по своему желанию. Настоящее — сегодняшний лагерный день, где он отражен в проявлениях, как под лучом прожектора. Чем труднее и беспощаднее настоящее, тем милее и прекраснее прошлое. В нем часто о желаемом рассказывают как о бывшем. Так в 37-м году женщина в камере на моих глазах выдумала себе ребенка. Войдя в камеру, сказала, что у нее нет детей. Почти у всех в камере — были. О детях говорили, волновались, плакали. Ей показалось, что у нее тоже был ребенок. Через месяц он оброс плотью; она рассказывала, какие у него глаза, волосы, как он смеется, «весь в отца». Она тосковала о нем и плакала, как другие. Это не было ложью. Это состояние сознания, где стерлись грани между желанным и бывшим. Чем это вызвано? Вероятно, тем, что настолько неправдоподобна была ложь, возведенная на нас, настолько невозможно было вообразить себя или окружающих женщин диверсантками, шпионками, террористками, что являлась потребность

в правдоподобной и утешительной выдумке. Социальная ложь заражает. Прошлое принималось условно. Оно стало плоскостным отражением желаемого.

Условно «пани Фуля» была принята нами как «писателька». Она сама, пожалуй, верила, что «вся Польша тревожится о ее судьбе», что офицеры, защищавшие Варшаву от немцев, шли с ее именем. Черные глаза ее горели, и седая прядь вдохновенно откидывалась со лба, когда она об этом рассказывала.

Надя Лобова слушала, изумленно открыв глаза, вопросительно поглядывая на Аллу. Алла смаковала романтику. Она нежно заботилась о Фуле, учила писать художественным шрифтом плакаты, растирать краски.

Я приводила своих друзей отдохнуть в мастерской, выпить чаю с печеньем из Аллиной посылки, она много получала. Но Александра Филипповна Доброва не ходила.

Как они встретились? Алла принесла ей печенье и масло. Александра Филипповна медленно взглянула на нее. Ничего не сказала. И — взяла.

— Не ведает, что сотворила, — вздохнув, сказала она потом Нине Дмитриевне. — Но не надо злобы, я устала от злобы; чтобы остаться живой,

надо, необходимо верить в Бога — это дает силы. И — прощать; это тоже дает силы. В мире чересчур полно злобы и мести.

— Да, злоба тяготит, принижает, — согласилась Нина Дмитриевна.

Алла и Фуля принимали участие в оформлении сцены. Мне до сих пор запомнился в одном концерте танец. Декорацию Алла написала: какие-то дали, березки. Танец на фоне их. Выбегают Пьеро и две Коломбины. Коломбины кокетничают, отбегают. Кудрявый Пьеро гонится за ними. Танцуют втроем, взявшись за руки. В танце Пьеро обнимает и целует Коломбину. Смеясь, раскланивается с публикой. Красив был Пьеро, в ярком костюме; изящны Коломбины. Зал загремел аплодисментами.

— Пьеро! Пьеро! — кричали девушки из швейной мастерской.

— Стефа — Пьеро! Бис!

И Пьеро, взяв за руки Коломбин, раскланивался.

— Стефа! Стефа!

— Кто этот Пьеро? — спросила я своих девчат.

— А то Стефа, помните, пани староста, что привела в наш барак с этапа седьмой вагон.

Я вспомнила девушку-мальчика в кубанке:

кудрявая голова и жесткие горькие складки у молодого рта.

— А-а, який гарный хлопчик! — с разгоревшимися глазами говорили девчата.

— Такой поцелует — еще запросишь, — смеялись русские девушки.

А Стефа уже стояла в зале, не снимая костюма Пьеро, обняв какую-то девушку.

Я встречала ее потом в лыжном костюме — она бежала по зоне, и вслед ей смотрели: всем чудилось — веселый кудрявый паренек в этом монастыре. Единственный: в мужской зоне уже построили столовую и к нам мужчин давно не пускали. Чего они хотели, эти 17–20-летние девчонки, до лагерей, быть может, еще только мечтавшие о любви? Они сами, верно, не знали. Но голос пола звал. Как птицы на манок охотника, они откликались на иллюзию, и Стефа весело переносила роль со сцены в барак. Появились какие-то записочки, сияющие глаза, слезы ревности. Дружит, не дружит… Наваждение. Стефа сама все больше поддавалась дурману, манящему чем-то неизведанным.

Я узнала ее биографию. Шестнадцатилетней, восторженной и взбалмошной, писавшей стихи и игравшей в спектаклях, она была арестована.

Обвинили в принадлежности к организации, мечтавшей об отделении Литвы от Советского Союза. Дали срок 10 лет и отправили в северные лагеря. Рузя рассказывала, как мать приезжала к Стефе туда из Литвы. Стефа молча курила на свидании.

— Дочка, ты куришь?

— Курю, мама. Если спирту достанут, и пью.

Там, на севере, в лагерях было много блатных. Там, на севере, бывало такое, о чем не хотелось вспоминать. Стефа старалась взять от жизни все, на чем можно забыться. Она была сильная, гибкая, она хотела выплыть из водоворота. С севера пригнали в Темники. Она — староста этапа. Она защищает вагон от конвоя, смехом и дерзкой шуткой добиваясь для всех воды, дровишек для отопления телятника. Ею восхищаются. Что же, это тоже отрада. Стефе нравится восхищение. Нравится роль кудрявого паренька. Как далеко уведет ее она? Вряд ли она слышала о лесбийской любви, но голос пола учит. И все больше кругом слез, записочек, улыбок, ссор за дружбу со Стефой.

— Стефа, Стефа, який гарный хлопчик.

Даже двенадцать часов напряженной работы и недоедание не в силах заглушить голос пола,

а горечь оторванности и одиночества просит какого-то утешения и ласки.

В больнице

Мы пятый месяц на 6-м лаготделении. Все стало привычно. Идет зима. В совершенной темноте бьют подъем. Еще до подъема ночная дневальная будит меня и дневальных. Они отправляются за кипятком, в прожарку за валенками и ватными брюками, сданными в сушку. Я навожу порядок в раздевалке. Сваливают груду вещей из прожарки. Девчатки, как ударит подъем, бегут разбирать. Волнение: просохли или нет?

— Где мои, где?

Староста здесь должна наводить порядок.

— Спокойно, спокойно, девчата! Все успеете!

К нам перевели из соседнего барака новую ночную дневальную. Она стоит, поджимая губы:

— Очень вы их набаловали, это не у мамы на печке! Требования какие — обязательно просуши, подай!

— Пойдить, пани, за зону в мокром, спробуйте! — сердито говорит какая-то, выбегая из барака.

— Я ту работу выполняю, которая мне поручена, — отвечает новая дневальная и ворчит: — Терпеть не могу этих западничек! Настоящий

антисоветский элемент: националистки буржуазного толка.

Эге, думаю я, пожалуй, ее к нам поставили недаром… Посмотрим!

Смотреть пришлось недолго. Дня через три меня после утреннего развода вызвали:

— К начальнику режима!

— Староста! — гаркнул он. — Где у вас люди?

— Ушли на работу.

— Так ли?

— В бараке, гражданин начальник, двое освобожденных по болезни и дневальные.

— А в карцере? Где у вас Ягодкина?

— Нет ее в бараке.

— А ночь где была?

— Когда мы с ночной дневальной обходили вечером барак, были все на своих местах.

— Во льдах была Ягодкина, а не на месте! В мужской зоне поймали! За четыре месяца от вас ни одного рапорта не поступило. Спрашивал, отвечаете: в бараке все благополучно. Мне известно, что творится в бараке: летом женихи с мужской зоны приходили, теперь невеста туда пошла. К черту такую старосту! С работы снимаю, три дня карцера.

Я могла возразить, что за ночь староста не от-

вечает, но он и сам это знал. Дело было не в этом, а в том, что не было ни одного донесения ему из барака. Что же, видимо, именно этого ждут от старосты. Молчу.

— Можете идти в барак.

Ночная дневальная ждала меня, не пряча возбужденной улыбки: что скажу? Но я молча прошла к своим нарам. Позвала:

— Пани Бут! — Сказала тихо: — Сейчас за мной придут, возьмут в карцер. Скажите девчатам, чтобы были осторожнее, не болтали лишнего при новой дневальной — стучит! И видимо, встанет на мое место.

Пани Бут испуганно перекрестилась.

— Тише, вон надзиратель за мной.

Надзиратель вошел и крикнул:

— Гаген-Торн! А ну давай, пойдем! Бушлат не надевай!

Карцер — подслеповатый бревенчатый сруб в конце зоны. Вроде деревенской бани. Только чрево бани занято печью, а в карцере печи нет. Отепляется дыханием сидящих. Когда меня ввели, сидели шестеро. На нарах смутно различались фигуры с поджатыми ногами.

— А-а! — лихо закричали девушки. — Еще одна, теплее спать будет.

— Привет! Из каких бараков, девчата?

— Со швейного, за невыполнение нормы. Да мы уж завтра выходим.

— Здравствуйте, пани староста! Где я, там и вы, — нахально сказал голос Ягодкиной.

Но на нее цыкнули:

— Тебе за дело, а ей за что? На сколько вас?

— На три дня.

— Сегодня тепло спать будем, нам и бушлаты оставили, а завтра, если новых не приведут, померзнете…

Сидим день во тьме. Загремел засов, с фонарем вошла поверка, пересчитали и снова закрыли.

После поверки мы расстелили на нарах два бушлата и улеглись впритык. Лежать можно только на боку, переворачиваться по команде.

Радовались:

— Ишь, как греем друг дружку! Тепло! На покрышку еще два бушлата и телогрейки.

Смеялись: когда только пять было, мерзли, а сейчас хорошо.

— Рассказывайте кто-нибудь роман, пока не заснем.

На другой день швейниц выпустили, мы остались вдвоем с Ягодкиной. Одну телогрейку подстелили, другой укрылись, плотно прижав-

шись друг к другу. Телогреек хватило до пояса, ниже согревали голые нары живым теплом. Так лежали две ночи и день между ними. Старались впасть в полусон.

На третьи сутки, когда внесли хлеб и кипяток, у меня сон уже переходил в бред.

— Паразиты! — крикнул голос Ягодкиной. — Умрет тут! Несите в больницу.

В дверях потоптались, ушли… Опять щелкнула дверь. Охватил свежий воздух.

— Выходи!

— Говорю, давайте носилки, — крикнул кто-то.

Меня потащили к носилкам.

— Прикрыть бы чем, ведь в одном платье.

Еще один бушлат лег на меня. Глаза не открывались. Носилки мерно покачивались. Гукали шаги по застывшей земле.

— Снег пошел, теплее стало. Не замерзнем, легче нести, раздевшись. — Они шли почти бегом. Падали на лицо снежинки.

Внесли прямо в палату.

— Подождите, надо обмыть, — сказала пани Марта, полячка из Варшавы, работавшая медсестрой, — в карцере грязь.

— Где же мыть, не в баню же нести? Руки вымойте да смените белье.

Носилки поставили.

— Трошки подняться можете, пани староста?

Я узнала, с трудом открыв глаза, — это девчата из моего барака несли.

— Обопритесь на плечи нам.

Стиснув зубы, чтобы не стонать, ухватилась руками, переползла на койку. В пояснице — как нож. Осторожно снимали одежду. Пани Марта стояла с больничной рубахой. Надевали ее. Со стоном валюсь на подушку.

Пани Марта наклоняется. На худом лице большие темные глаза, в них тоска и страдание. За меня? За себя? За всех. Она оправляет одеяло.

— У нее в бараке своя подушка, пуховая, мы принесем.

— Не разрешают свою, — робко говорит пани Марта.

— Под головой оставим больничную, свою под спину, там Слоев не увидит.

От холодных простынь начинает знобить, но телу приятно освободиться от одежды, от аммиачных запахов, лежать на шуршащем стружками, покрытом чистой простыней тюфяке.

Руки мне моют теплой водой, влажным и теплым полотенцем обтирают лицо. Приподнимая, кладут под хребет подушку. Свои — стараются…

Забываюсь…

Утром осматривает врач. Молчит: заключенным не полагается знать, чем больна, да и не все ли равно мне?

Мне покойно, я сплю… Дней не считаю. Очнешься: ночь.

В застывшем окне луна.
На полу ее след голубой.
Знаешь, я сильно больна,
Подойди, наклонись надо мной…
И покажется мне тогда,
Припадая к твоим рукам,
Что блестит голубая вода,
Я плыву по большим волнам…
Хороши как у берега скалы,
Бьется, бьется в них синий прибой.
Золотою ладьею малой
Солнце плавает над головой.
Солнце ли это в зное?
Почему же их два?
Это глаза твои надо мною…
Слышу твои слова…
Ты пришел? Ты?..

В болезни всегда приходит потерянный и любимый… В болезни спадает броня, которая защищает душу в лагерях. Она тянется к дому, к родному… Ласковые руки прошлого гладят горячий лоб. Все спит. Квадраты луны на полу. Теплое дыхание печи. Прошлое — я вижу тебя. Мама, мама, где дети?

Дети мои выросли уже давно. Но детей в лагерях все видят маленькими. Я спрашивала многих женщин: как они видят детей во сне? И всегда отвечали — маленькими.

Сны в лагерях кажутся реальнее, чем дневная жизнь: они разумнее дневного бытия, им можно найти объяснение. В больнице особенно много говорят о снах…

Проходит какое-то время. Температура упала. Я живу не только своими снами, слушаю и чужие. Вижу жизнь палаты.

Утро. Горит одинокая лампочка. Совсем темно, но уже разнесли пайки серого хлеба и спичечные коробки с сахарным песком. Дежурная сестра ставит градусники. Слышно — в лагере бьют развод на работу. Скоро придет толстая врачиха, Софья Сергеевна. Она тоже заключенная, но она — гад. Конечно, от нее можно не очень прятать недозволенные вещи, вроде своей подушки, но

доверять ей нельзя.

Ее следует угостить. Она облизнет толстые губы, с удовольствием жуя кусок колбасы.

— Давно получила посылку?

— Еще прошлый месяц, Софья Сергеевна.

Вздохнет:

— Я совсем не получаю, не от кого, — и унесет с собой, к чаю, печенье, обернется: — В тумбочке-то не держите, знаете — Слоев может зайти… непорядок…

Слоев — вольный врач, начальник больницы. Два раза в неделю, перед его обходом, все убирают, моют, тщательно прячут недозволенное.

Он, в крахмальном халате нараспашку поверх офицерской формы, в блестящих сапогах, в запахе одеколона, обходит палаты. От черных хмурых глаз поеживаются больные, санитарки, сестры, Софья Сергеевна: он всем дает чувствовать неограниченность своей власти.

Но я видела, как поежился Слоев. Назначили к нему на прием, перед выпиской. Он вел амбулаторный прием, гинекологический и терапевтический. В коридоре очередь. В кабинет, за перегородку, впускают по трое. Вошли. Передо мной молодая белокурая украинка, Марийка. Жалуется:

— Не можу поднять тяжелого. Сразу краски идут, постоянно.

Он хмурится строго, осматривает.

— Давно кровотечения?

— Месяц идут.

— А когда болеть начала?

Марийка подняла голову. Глядя ему в глаза, раздельно и четко говорит:

— Со следствия… Следователь выбил ногами ребенка из живота… С тех пор болею.

Замерли за перегородкой. И в кабинете. Тишина. Ничего не ответил майор Слоев. Медленно краснеет и ежится. Берет бумажку, пишет. Дает Марийке.

— Через месяц зайди. Будут места, отправлю в ЦЛД. На работу за зону можешь не выходить.

Торопливо осмотрев меня, говорит:

— Еще неделю в больнице. Следующая!

Возвращаюсь в палату. Рядом лежат Дора Аркадьевна и Мария Самойловна.

— Ну как?

— На неделю оставил.

Все довольно улыбаются. Я рада Доре Аркадьевне и Марии Самойловне — свои, вместе тюрьму и приговор переживали. Мы мало встречались последнее время. Они в дальнем швейном

бараке, зайти некогда. Встретимся в столовой, перемолвимся:

— Что пишут из дома?

— Спасибо, благополучно. У вас как?

— Тоже. Недавно писали дочери.

И разойдемся. В больнице встретились.

Я люблю смотреть вечерами, когда в палатах тихо и топится печь, как Дора Аркадьевна сидит на скамеечке, смотрит в огонь, расчесывает длинные косы. Застылые окна поблескивают голубым. Красные блики огня играют на черных волосах, на чистом круглом лбу… По утрам люблю встречать белозубую улыбку на милом женственном лице.

Мне бы поговорить с ней побольше: о мире, о важности найти настоящее слово для осознания патетического и страшного времени XX века. Многое хотелось бы рассказать хоть намеком… Но, заметив это, она смотрит испуганной ланью, оглядывается на Марию Самойловну. Мария Самойловна осуждающе покачивает головой, спрашивает:

— Вы не знаете, что сегодня дадут нам на ужин?

Мария Самойловна — глубоко выдержанный партийный товарищ. Она знает: излишние раз-

говоры вредны. Говорить можно о книгах (их в больнице дают), о детях (без излишней печали), о лагерных происшествиях. Мария Самойловна смотрит мудрыми темными глазами и качает головой.

— Пусть нам Клава споет что-нибудь, — предлагает она. Клава улыбается широким ртом, полным крепких белых зубов. Негромко поет партизанскую песню.

В сумерки охотно рассказывает палате, как партизанила.

— Не послали бы с десантом в немецкий тыл, не сидела бы здесь… Носила бы ордена.

— Судьба, Клавочка! — говорит ее подружка. — Конечно, судьба!

Никто не расспрашивает. Много их, сестер-комсомолок, с такой же судьбой: сидят по лагерям за то, что, попав в немецкий плен, остались живы.

Клава — рубаха-парень. Любит посмеяться, умеет ловко «спрятать в заначку», услужить товарищам. У нее в лагере полно приятельниц. Стучат в окошко, кричат:

— Клавка, возьми передачу!

Накинув серый халат, она выскакивает в коридор. Возвращается, широко улыбаясь:

— Девки конфет принесли! — И раздает всей

палате, обносит по койкам.

Опять стукнули три раза. В заднее окно. Клава выходит в уборную. Возвращается:

— Женщины, шмон по лагерю. К больнице идут.

Разведка точная, можно не сомневаться, хотя в больнице и редко шмонят. Палата торопливо припрятывает в стену или в вату подушек ножницы, бритвы, все, что есть недозволенного. В больнице, если и шмонят, — почти формально, просто ловят, чтобы не очень раззявились. Но входит «мордовка» — так зовут самую дотошную и придирчивую надзирательницу.

«Вассер, вассер — будьте осторожны!» — глазами говорит Клава.

«Мордовка» обходит кровати: щупает под рубашками, переворачивает подушки. Клава сидит на постели. Осторожно она в тумбочке передвигает мешочек с конфетами. «Мордовка» смотрит подозрительно. Клава еще передвигает мешочек. «Мордовка» бросается к тумбочке — ей кажется, что там что-то спрятано, — не зря же мешочек двигает Клава. Она хватает мешок — конфеты рассыпались по полу.

— Ай-ай-ай! — ахает Клава. — У меня радикулит, как я, гражданка начальница, собирать

буду? — Она, кряхтя, опускается на пол.

— Соберешь! Времени хватит! — говорит «мордовка», переходя к другой койке.

— Майор Слоев не любит беспорядка в палате, — качает головой Клава, продолжая ползать и собирать конфеты.

«Мордовка», уже без интереса, кончает шмон и уходит в другую палату. Все лежат, прислушиваясь…

Хлопает наружная дверь.

— Ушли?

— Ушли.

— Пошли в пятый барак, — сообщает та, что приподнялась к окну. Клава встает с полу, беззвучно открыв все белые зубы, вертит в руках ножницы.

— Была удачная психическая атака, — сообщает она.

В палате веселое оживление.

Скучно стало в палате, когда Клаву выписали.

А подружка ее рассказала:

— Ох и лихая девка была Клавка! Самая отчаянная в нашем отряде: два ордена не зря дали. И как не повезло. Пролежала с рацией двое суток в болоте, передавала о немецком передвижении. Ночью мороз. Ноги к сапогам примерзли. Хотела

встать — не идут ноги. Поползла на коленях. А куда ползти? Немцы рядом. Рацию утопила. Решила помирать. А немцы наскочили. Она без сознания. Подобрали. Когда в себя пришла, говорит: «Я из соседней деревни, за клюквой ходила, заблудилась». Проверить не могут, отступают немцы, деревню уже наши заняли. Положили в лазарет, два пальца на ноге отняли, отправили в Германию работать. Наши пришли: «Почему жива осталась? К немцам перешла?» Дали десятку.

Много их, девушек, получивших десятку в родной стране за то, что остались живы. Но не все, как Клава, сохраняют улыбку, белозубую и доверчивую, песню и смех. Вероятно, потому, что не пришлось на ее долю другого страшного задания — добывать сведения путем сожительства с немецкими офицерами.

Были и такие: в спецшколах разведчиков девушек обучали, что во имя Родины надо идти на все. В этом комсомольский долг. Его выполняли. Но у выполнивших оставалась опустошенность в глазах, цинические складочки у рта и легко вспыхивавшая раздраженность, в которой — при на рожон.

* * *

Пожалуй, следует сразу рассказать, после нашей больницы, о всей системе лечения в темниковских лагерях.

На лаготделениях, кроме самых маленьких, были свои медпункты, благо медицинского персонала — в избытке. Заведовал медпунктом вольный, работали зэки.

На Колыме заключенных врачей 58-й статьи определяли не выше фельдшера. Профессор Петухов, например, был фельдшером, пока не спас операцией какого-то крупного начальника. В Темниках ставили 58-ю и врачами. По лагпунктам был амбулаторный прием и стационар на 15–20 коек.

Для операций и длительного лечения отправляли в центральный лазарет — ЦЛД.

Там, отдельно, были мужские и женские корпуса: терапевтические, хирургические, туберкулезные и, пожалуй, самый многочисленный — 11-й корпус, сумасшедшие.

На Колыме мы почти не встречали случаи сумасшествия. В Темниках они очень многочисленны — и тихие, и буйные.

Сказывались, пожалуй, последствия войны.

Я попала на ЦЛД в третий год заключения. Там была лаборантка больницы — Котляревская. Рыбак рыбака видит издалека, интеллигент интеллигента — тоже.

— Скажите, известный историк, Нестор Котляревский, не родственник вам?

— Мой дядя.

Мы подружились. Вечерами она забегала в палату ко мне, посидеть у кровати. И рассказала свою историю. Биолог по специальности. Работала в научно-исследовательском институте в Воронеже. Была замужем за евреем, и к началу войны был у нее от него семилетний сын.

Немцы заняли Воронеж. Начались страхи за мальчика. Вдруг кто-нибудь донесет, что еврей? При ней одна женщина, которой бежавшие родители оставили все имущество и поручили ребенка четырех лет, сдала его в гестапо.

Отступая от Воронежа, немцы погнали с собой население.

— Мы шли пешком, — рассказывала она, — тысячи людей. И нас все время процеживали; на привалах искали и отделяли евреев. Нас гнали дальше, а их… мы слышали выстрелы… Я шла и держала за руку сына. Он был не похож на еврея, но вдруг кто-нибудь скажет?

Потом посадили их в поезд, довезли до Берлина. Она не сказала о специальности, стала работать уборщицей. И все ловчила: как прокормить мальчика? Чудом каким-то не отняли. Потом пришли наши. Не дыша от счастья, она бросилась регистрироваться: скорее, скорее вернуться на Родину! Поехали с первым эшелоном, нашла родных. Какое счастье! Но… ее арестовали и отправили в лагеря с нормальным сроком — 10 лет.

— А мальчик? Мальчик где теперь? — спросила я.

— Живет со свекровью. Взрослый почти, уже семнадцать лет. Он редко мне пишет, — прошептала, — видно, нельзя.

Посмотрела… Трудно выдержать этот взгляд, и не умею я передать безмерность скорби, что была в нем.

Мы простились, когда меня отправили с ЦЛД обратно в лагерь.

— Увидимся ли?

Через год я узнала от приехавших: Котляревская-тов 11-м корпусе, не узнает никого. Травма, как рак, разъела душу.

Другой безумец войны — семидесятилетний священник. Он был в немецких лагерях, потом

попал в наши. Вероятно, при нем делали эксперименты на людях. Он вообразил, что они его искусственно оплодотворили.

— Поймите, — говорил он, жалостно глядя на врачей, — я же мужчина, я не могу разродиться. Уже пятый год! Помогите!

В остальном был спокоен, разумно и усердно помогал ухаживать за больными.

Бывали и внезапные случаи заболевания. На 10-м лагпункте была незаметная тихая женщина. Вдруг она начала кричать: «А-а! Верните мне Стасика! Нельзя разделять мужа с женой, нельзя! Мне нужен муж мой, Стасик!»

Ее отвели в изолятор. День и ночь, не переставая, она билась и кричала: «Муж мой, муж мой, Стасик! Куда вы его дели?»

Врачи сказали: «Острое помешательство на сексуальной почве». Отправили в ЦЛД.

В 11-м корпусе вряд ли поправлялись. А вот в туберкулезном лежали месяцами и — чудом каким-то — выживали.

Может, чудом была воля к жизни, может — врачи. Врачи часто были очень высоких знаний.

Странное зрелище ЦЛД! Начищено, как на военном корабле. Врачи в примитивной обстановке умудряются делать великолепные операции.

После лагеря поднимающим стимулом служат и улучшенное питание, и чистая постель, и уход. Быт и порядок хорошей больницы. Но — входят надзиратели с ежедневной поверкой. Читают приказы о карцере за нарушение дисциплины. В карцер могут равно попасть врачи и больные. Как бред встает — лагерь ведь! Каждый в неустойчивом равновесии. Не знает, как овцы в овчарне, что его завтра ждет.

О рукописях

Из больницы я не вернулась в 3-й барак. Девчата-зазонницы жили уже с новой старостой. Меня направили в 4-й, полуинвалидный.

В начале зимы определенной работы нет: ни картошку перебирать, ни клопов морить, ни убирать зону и чистить бровку не надо. Многие сидели, «припухали» на нарах, ожидая, куда пошлют. Мне отвели удачные нары — в углу и близко от окна. Отгородилась занавеской.

— Прямо купе люкс, — сказала Кэто, осматривая, — и хорошо, что в одном бараке с нами.

В лагерях людей изнуряет работа. Но не менее изнуряет людей, привыкших к интеллектуальной работе как основе существования, отсутствие этой работы — сосущая незаполненность головы.

Белка, запертая в клетку, кружится в колесе, чтобы восполнить необходимость движения; человек, запертый от притока привычной работы для головы, начинает кружиться в своих мыслях. Невозможность вылить свои мысли болезненна. Перестать думать так же трудно, как перестать ходить на двух ногах.

И мысли, и образы необходимо записывать, потому что это реализует их. Велемир Хлебников, говорят, писал стихи, а потом равнодушно смотрел, как бумажки с ними раскуривают на цигарки: факт написания был для него уже реализацией мысли. Можно и по-другому: на Колыме я реализовала переживаемое в устный стих и пускала его в обращение. Он становился фольклорной песней. Но здесь не было для этого нужной аудитории. И потребность записывать становилась насущной еще оттого, что меньше надеялась на свою память. А может, потому, что хотелось дальше уйти в образы юности и закрепить их. На Колыме записи угрожали карцером: нам не выдавали даже из посылок бумагу и тетради. В Темниках выдавали. И перо, и чернила в КВЧ я достала. Оставалось: в «купе люкс», лежа на животе, лицом к окну, начать записывать. Я принялась за повесть о студенческих экспедициях 20-х годов, бродяжничество «с котомкой за плечами». Но куда прятать тетради? На Колыме я прятала свои записи в конюшне, в стойло моей лошади (я была возчиком), а здесь? Сидя в художественной мастерской, слушая, как Алла читает стихи Даниила Андреева, я вдруг сказала:

— Хотите, я расскажу о времени, которого вы

все, по младости, не знаете? О молодежи 20-х годов.

— Хотим.

Я вытащила из-под телогрейки тетрадь и стала читать.

— Это ведь настоящая книга?! — удивилась Надя. — Ее бы можно напечатать. Первый раз я встречаю живого человека, который пишет книгу.

Алла посмотрела на нее насмешливо, переглянулась с Фулей.

— Чтобы печатать, надо прежде всего вынести из лагеря, а это — довольно трудное дело. И даже куда прятать — неизвестно.

— Давайте спрячу в письменный стол лейтенанта, — предложила Надя, — он туда не заглядывает. От кабинета ключ у меня.

— Пасть льва — наиболее безопасное место, — подтвердила Фуля.

— Ну что же, бери! — Я отдала ей тетрадь. — Напишу дальше и еще отдам…

Всю зиму, как только оказывалась свободная минута в дневные часы, я писала у себя на нарах (вечером не было света) и отдавала написанное Наде.

Пришла весна. Снег еще не сошел, утрами мо-

розило, но воробьи вертелись и чирикали на крышах, а залетевшая в зону синичка на солнышке пела весеннее «пинь-пинь-пинь!». Нас выгнали обивать лед и чистить зону. Я стояла с лопатой у кучи снега, когда ко мне подошла Мария Самойловна. Шепнула:

— Есть оказия налево отправить письмо. Хотите?

— О, конечно!

— Завтра утром устройтесь чистить уборные. Письмо зашейте в узкий и тонкий мешочек, чтоб вышла повязка. Завтра в девять часов утра в уборную вольных придет женщина в черной меховой шубе. Она вам скажет: «Все расчистили? Сильно тает сегодня». Вы ответите: «Пора — время уже быть весне» — и протянете ей сверток. Человек верный… Работает в индпошиве, завтра едет в командировку в Москву. Напишите свой московский адрес под материей, в которую зашьете письмо. — Она кивнула мне и пошла догонять бригаду.

У меня дух захватило: письмо домой! И можно не только письмо — стихи и записи отправить… Не «Котомку», конечно, это слишком большой пакет, но записи о процессе творчества, которые могут очень понадобиться, если выйду на волю

когда-нибудь… Не мне, так кому-то другому, как весть обо мне. Надо вынуть из КВЧ, разобрать.

Пошла разыскивать Надю.

— Достань, пожалуйста, Надя, мои записи из стола начальника.

— Как же я достану? Он в кабинете.

— А как же быть? Мне очень надо посмотреть первые главы, чтобы дальше писать. Когда он уйдет?

— Не знаю. И не знаю, оставит мне ключ или нет.

— Ой! Ведь мы и не подумали, как это опасно. Вдруг этап, я так и не получу…

— Ну, пока никакого этапа не предвидится.

— Да я не про сегодня, а вообще… А сегодня мне просто надо посмотреть начало, чтобы писать дальше.

— Ну, уйдет, оставит ключ — достану. — Она убежала.

Я ходила неприкаянно у двери барака; карауслила лейтенанта… Лобовой сказать, для чего мне нужны тетради, конечно, нельзя: конспирация полная. Но как досадно не получить! А вдруг он тетради взял? И она просто боится сказать мне об этом?.. Вдруг уже все пропало?..

Наконец лейтенант вышел. Надя вертелась

около него. Он отдал ключ. Пошел…

— Ну, достань же скорее! На месте ли?

— Тут! Вынесла.

Спрятав под телогрейку мешок, я отправилась на свои нары. Закрыла плотней занавеску. Заслонилась от прохода спиной и подушкой. На соседних нарах зашевелились.

— Пани Фуля, это вы?

— Да.

— Последите, пожалуйста, я хочу писать, а сегодня «мордовка» дежурит…

— Добре, пани Нина.

Я развернула мешок. Все цело. Вот и мелкие записи на папиросной бумаге. А куда деть тетради? Не отдам в КВЧ.

(Потом в КВЧ же подпорола край матрацного мешка, засунула глубоко среди стружек. Зашила край. Все гладко. Ничего не чувствуется.)

В узкую тряпочку заделала письмо и записки. Сунула на пояс, поближе к телу — до завтра.

Утром я стояла с кайлом и метлой, очищая дощатую уборную «вольных». Дверь распахнулась. В черной шубе и пуховом платке, вошла женщина с тонким лицом. Посмотрела пристально на меня… Закрывая дверь, сказала:

— Все расчистили? Сильно тает сегодня.

— Пора — время уже быть весне… — И я протянула ей зашитые в полоску материи записки.

Она быстро приподняла рукав шубы, намотала полоску у локтя, будто завязала царапину. Только взглядом поблагодарив, я захватила кайло и метлу, вышла из уборной. Руки у меня дрожали.

В обед встретила Марию Самойловну.

— Ну как?

— Взяла! Есть же такие люди на свете! Ведь рискует для совершенно незнакомого человека…

— Она сама бывший зэк — понимает, что надо помочь… Верный человек, — удовлетворенно сказала Мария Самойловна.

Месяца через два условной фразой дочери дали мне знать, что пересылка дошла. Так попали на волю мои стихи и записки. Как фамилия этой женщины? Кто она? Не знаю. Но всю жизнь засветили мне теплом доброта и смелость, радость встретить хорошего человека.

Летом, конечно, не стало времени писать: целый день гоняли на работы. После дня без смысла и цели, когда уставало тело и голова звенела пустым глиняным горшком, было приятно лечь на нары, почувствовать: тут они, мысли! Записаны, значит — реальны. Путевка в другое существование, в мир по ту сторону колючей проволоки

и бровки. Ежедневно тщательно боронили мы граблями бровку — полосу черной земли у забора, отделяющую нас от вольной жизни. А «попки» на вышках следили за работой. Только за мыслями им не уследить. И легче, когда мысли реализованы записью.

Лето катилось, долетая за проволоку то одуванчиками, то запахом лип из мордовских лесов, то грибами, выраставшими за бровкой.

Каждый пролетающий над лагерем запах, облако, птица были пищей души. Хорошо, что солнце над лагерем светит, не закрытое решеткой.

В летний солнечный день лагерная староста распорядилась: санитарный день. Всему бараку вытащить нары — шпарить клопов. Из матрацных мешков вытряхнуть стружки, сжечь их под котлом, где парят клопов. Мешки сдать в каптерку. Получить чистые.

Загудел, засуетился барак: все стонали, что надо вытаскивать доски, вытряхивать стружки, перетаскивать барахло. У кого хорошие матрацы — жалели сдавать. У кого дранье — радовались: может, достанется лучше.

А как мне быть с тетрадями? Незаметно достать и сунуть за вагонку? Я вспорола у себя на нарах матрац, сунула руку в стружки и ничего не на-

щупала! Что такое?! Где они? Перешарила все нутро — нет!

Побежала к друзьям:

— Кэто, Кэто, у меня из матраца исчезли рукописи!

— Как исчезли? Не может быть! Ведь не было шмона?

— Не было, а их нет!

— Отойдем в сторону, вытрясем стружки, пересмотрим все.

— Вот и я хочу просить: давайте вместе с вашим матрацем понесем, тогда незаметно, что ищем.

Мы перетряхнули все — тетрадей не было…

— Кто мог их взять? Что у вас — был подпорот матрац? Перерыта постель?

— Нет, ни сегодня, ни раньше не замечала. Не знаю, когда пропали… Сейчас вспорола матрац, обнаружила: нет!

— Кто знал, что они у вас в матраце?

— Алла, Фуля и Надя. Я ведь не могла засунуть в бараке. Вынесла матрац весной, будто перетрясти, занесла в художественную мастерскую, там засунула и зашила. Они видели.

— Не может быть, что они!

— Не знаю, не знаю кто. Фуля — моя соседка.

— Но зачем ей? — Кэто развела руками. — Не

может быть!

Мы еще раз перетрясли стружки. Кто взял?

Солнце светило над лагерем. Но иногда его лучи начинают казаться тусклыми.

10-е лаготделение

Странная штука память: некоторые сцены она сохраняет ясно, видны словно под светом прожектора. Другие — погружаются в темноту. Иногда вдруг (во сне) выступят из темноты с полной реальностью, а в дневном сознании возникает сомнение: что это — вставшая память или выдумка сна? Можно ли это считать воспоминанием?

Вероятно, прав Виктор Борисович Шкловский в статье о мемуарах («Новый мир». 1964. № 12) — не надо делать в них насильственных обобщений, привносить знание сегодняшнего в прошлые времена.

Надо суметь отдаться памяти, а не вести ее в стремлении сделать рассказ отчетливее и обобщеннее. Нельзя освещать прошлое сегодняшним сознанием, надо постараться воскресить то сознание и, главное, то переживание.

Но при этом непременно будут провалы, темные места, перескоки.

Приходится так и оставить, чтобы быть максимально правдивой. Полевая работа этнографа учит: память почти всегда искажает факты. К тому, что не было записано немедленно вслед за

происходившим, надо относиться критически.

В мемуарах приходится с этим считаться. Но следует понять, что и самые воспоминания обладают определенной закономерностью: они отражают процессы сознания вспоминающего. А значит, тоже могут служить правдивым документом этого сознания. У Андрея Белого есть выражение: «Все субъективное — объективно. Все объективное — субъективно». Именно об этом: субъективное, человеческое подлежит закономерностям общего сознания и его отражает. То, что представляется человеку объективным, вне его сознания существующим, есть просто попытка скинуть со счетов лабораторию своего сознания. И тем самым затруднить изучение происходившего. Процесс социальный, как и процессы жизни Земли, идет вне нашего сознания. Но мы их воспринимаем отраженными в нем. Если мы не забываем, что это отражение, мы можем в нем изучать действительность, если забудем, что отражение, — ничего не поймем. Щенок, подойдя к зеркалу, начинает лаять на собаку, которую он там видит. Потом — пытается забежать за зеркало, которое он принимает за стекло, и поймать собаку. Путем повторных опытов и щенок понимает, что зеркало отража-

ет. Увидя отражение в зеркале, надо повернуть назад, а не прыгать вперед, чтобы там схватить. Так и с памятью.

* * *

Я не помню, как нас переправляли с 6-го отделения на 10-е. Столько разных этапов прожито, что они — слились.

Осталось общее всем — чувство волнения: кто попадет? Будет разлука с друзьями или отправят вместе? Долго ли ехать? Кого вызывают?

Всегда заключенные силятся найти принцип отбора. Это поможет понять хоть приблизительно: что ожидает?

На 6-м явно вызывали слабосилку. И шли домыслы: на непроизводственный, инвалидный лагпункт…

Куда? За тысячи километров или — рядом? Сухого пайка на руки не дали, значит, вероятно, не долго ехать, здесь же, в Темниках, не дальний этап.

Слава богу! Вызвали близких друзей! Везут вместе…

Погрузили в вагоны, сколько-то времени везли, выгрузили, прямо, не проверяя по личным делам, прогнали в зону. Значит — то же лагуправление.

Мы узнали адрес: 10-е лаготделение Темниковского лагеря.

Там прожила я до окончания срока, и оттуда отправили меня этапом в неизвестную ссылку.

Отдельными сценами, циклами переживаний, встает жизнь этих трех лет. Так и буду записывать.

Бригада водокатов

На 10-м лаготделении не было производства. Все работы — самообслуживание лагеря и тех старух, что дошли до состояния почти неподвижности. За зону выходила только одна бригада на подсобное хозяйство — обработать картошку. Все остальные работали в зоне.

Меня поселили во 2-м рабочем бараке.

С самого начала, по приезде, я попала в бригаду водокатов — обслуживать баню и прачечную.

У бани — колодец. Над ним «журавль» — преогромное бревно с грузом на одном конце и двухведерной бадьей, прицепляемой к длинному шесту, — на другом. Такие «журавли» многие столетия существовали во всех русских деревнях. Здесь — только выше столб, на котором прикреплено бревно, да над срубом колодца — деревянная вышка о четырех ногах, метра четыре вышиной. На вышке — площадка с отверстием в середине; окружена перилами. Взобравшись по лесенке на вышку, тянут за шест, спускают бадью через отверстие в колодец. Наполнив водой, поднимают до уровня перил площадки. Там желоб, наклонно идущий сквозь стену бани. По желобу вода стека-

ет в чаны. В бане три деревянных чана, каждый на 300 ведер, сообщаются трубами. Накаляясь в печи, железные трубы, проходя через чаны, греют воду.

Мы, бригада из шести человек, обязаны накачать каждый день 300 бадей для нужд прачечной. Когда топят баню — добавить еще 300.

Преимущества этой работы: нам не надо идти на развод. Можем сами договариваться с банщицами, когда им нужна вода в течение дня.

Была своя прелесть — ранним летним утром идти на колодец. Лезть на вышку. Оттуда далеко видно за зону. Светит шепчущий листьями лес, белеют березки, перелетают птицы. Утренние тени еще голубые, тонкий парок встает от согревающейся земли. Не лагерной, вольной земли.

Беремся за гладкий шест, нажимая, спускаем в темную глубь бадью.

— Раз, два — взяли! — Ритмичным рывком поднимаем, опрокидываем ее в желоб. Вода, шипя по сухому руслу, течет в отверстие стены. Снова спускаем бадью в темную глубь, и поднятая вода бежит, пузырясь, по желобу.

У Гали Сокол одна рука, у Рузи Зарубы — две, но одна искалечена, так что на троих — четыре руки. Но, собственно, не поэтому даже мы качаем

втроем — так удобнее заниматься: под ритм работы идет урок русской истории. Их обеих взяли из четвертого класса гимназии, я хочу, чтобы они учились, прошли больше и глубже то, что можно пройти без учебников. Надо, чтоб не отвыкли думать, не заросли мхом молодые мозги.

Начинаю:

Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед:
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.
А эту правду, детки,
За тысячу уж лет
Узнали наши предки…

Русская история от Гостомысла… Они любят Алексея Толстого, ведь он украинец, а историческая последовательность событий в четверостишиях лучше запоминается: не спутаешь, что после чего. К четверостишиям можно развернуть картины, дающие вкус и запах эпохи.

Мы вместе с Алексеем Толстым увлекаемся Киевской Русью. Какая мощная, прекрасная культура цвела во времена Ярослава Мудрого… Связи со Скандинавией и Востоком, общение

со всей Европой… Анна Ярославна — королева французского двора. Какой высоты достигла литература к XII веку! Я рассказываю им «Слово о полку Игореве».

Не люблю самодержавной Москвы! Мы на стороне Господина Великого Новгорода в его борьбе с Москвой, мы преклоняемся перед Марфой Посадницей…

Город воли дикой,
Город буйных сил…
Новгород Великой
Тихо опочил…

— Такой романс есть на эти слова, девчата! Только я петь не умею… вот кто-нибудь спел бы…

Но некому петь здесь.

Каждое утро, приправленная стихами, развертывается история. Память — ограниченная, я лучше могу передать то, что опирается на поэзию. Учебников — нет, записывать — опасно, могут найти во время шмона и дать карцер. Стихи помогают. Полтавский бой — по Пушкину. Основание Петербурга — по Майкову.

Это — переход к литературе. Рассказываю биографии писателей, освещая эпоху, содержание

произведений…

Откачали двести бадей. Перекур. Мы спускаемся с вышки, ложимся на травке. День стал жарким, лучи солнца сверкают на камешках, влажных от пролитой нами воды. Птицы в лесу, скворцы в зоне давно кончили утреннюю кормежку. Ласточки щебечут под стрехой.

— Начинаем опрос пройденного, девчата, потом еще немного покачаем.

— Добре!

Звонят на обед. Идем в столовую, вернемся качать, когда немного спадет зной.

На второе лето — находка: мы подружились с Ниной Аникиевной Мигуевой, что работала в КВЧ. Она приходила, когда мы отдыхали, садилась с нами на травке.

— Нина Аникиевна, спойте, пожалуйста: «То было раннею весной…»

— Хорошо!

Вполголоса она поет романсы Чайковского, отрывки из опер. Смотрят синие-синие глаза, звучит голос, шепчут березовые листочки над синеглазой человеческой тенью — за годы лагеря не осталось у Нины Аникиевны телесности: силуэт, карандашный набросок с синими глазами сидит на травке. Рассказывает, как ставили в

Париже русские оперы: «Князя Игоря» и «Хованщину», ездили со спектаклями по всей Европе. Русская культура овладевала людьми, захватывала души.

Девушки слушают.

— Я никогда еще не была в опере, — с тоской говорит Галя. — Неужели так и не буду? Неужели нам не увидеть настоящей жизни?! Ни музеев, ни настоящих театров…

— Никто не знает, что его ждет, — мягко отвечает Нина Аникиевна. — Вот я тосковала — неужели не увижу России?.. Но не думала, что так придется увидать, — усмехается она.

У нее красивый, четко очерченный рот певца, но губы — почти бесцветны. Петь верно мешает провал — цинга съела верхние зубы. Но она приспособилась: стягивает провал губы, песня идет, не меняя звука.

— Я не верю, что в лагерях кончится ваша жизнь в России, — говорит Рузя, упрямо хмуря лоб.

— И наша тоже не так кончится, — сержусь я. — Учиться надо! Тогда увидим, что начинается и чем кончится. Мозги нельзя зарастить… И смотреть надо во все глаза, а не тыкаться, как кутята. Здесь — тоже есть на что посмотреть! Спойте еще, Нина Аникиевна!

Она всегда соглашается. Может быть, это и трудно ее физическим слабеньким силам — петь, напрягать легкие, но она понимает, как это важно, как надо для всех. Пение уводит нас из лагеря. Остается летний день, шевелящий листочки, березки, белые, как облака, глаза, синие, как небо над облаками…

— Спасибо вам, Нина Аникиевна!

Осень. Ветер обрывает последние медные копеечки березовых листьев. Треплет тонкие прутики. Сорванные, они плавают в лужах.

Серые стены бараков исхлестаны дождями. Серая дорога от колодца к кухне — в водяных колеях: земля уже не принимает воды.

По колеям вертятся колеса телеги. На ней сорокаведерная бочка. Двенадцать укутанных в серые платки и бушлаты женщин тянут бочку с водой.

Это бригада водовозов. Они наполняют бочку водой у колодца и, взявшись за оглобли, тянут телегу до кухни — слить воду в баки. Пустую телегу снова везут метров двести к колодцу и наполняют бочку водой.

Поскрипывая, ползет телега. Наваливаясь на оглобли, тянут женщины. «Почему они не сделают себе лямки?» — спрашиваю я себя. И отвечаю: «Не стоит. Надо искать веревки, прибивать их,

это лишняя работа, а может, завтра этап. Им лучше поменьше уставать сегодня. Поскорее в барак, снять мокрое, взобраться на нары».

Они молча тянут оглобли, низко сгибаясь, отворачивая лицо от дождя и ветра. Только молодое лицо Саньхо Ким не боится дождя. Она кивает мне и улыбается.

— После поверки?

— Обязательно, Саньхо!

Саньхо вытирает круглое желтое лицо и весело кричит:

— Последнюю везем! Скоро обед!

Улыбаюсь ей и прохожу в конец зоны. Там летом цветоводческая бригада таскала лейки, поливала посаженные в песок цветы. Выросли все-таки и в песке. Теперь сникли, мочалками болтается мокрая ботва ромашек. Все мокро. В просвете между серыми тучами видно — к югу уходит косяк гусей. Ниже — полчища ворон проходят с криком строевое учение, готовятся к боям с сороками. Сороки вылетели из лесов к человечьему жилью, им все равно: лагерь или деревня. Осенью они подлетают к жилью, вьются черно-белыми боками.

Сквозь изморозь кто-то мечется по длинной дороге вдоль зоны. Вышагивает из конца в конец,

как в камере, мерит дорогу. Да это Галя. Я подошла к ней. И молча пошла рядом.

— Что, цапелька, нашагалась?

— Не могу успокоиться: как зверь в клетке… Годы идут, неужто так и не будет жизни? — крикнула она. — Я еще ничего не видела, ничего не сделала, так и не увижу, не сделаю! За что, за что я здесь? Не жалко бы мучиться в борьбе за идею, а так… Кому нужны, кому на пользу страдания? Чему служит наше заключение?

Она сердито отбрасывала ногой ветки и камешки.

Помолчали.

— Неужели ничего больше не будет в жизни? Старухой здесь стану. Я хочу видеть жизнь, учиться! А чему мне здесь учиться? Чтобы мерить зону, качать воду и спать в вонючем бараке? И так каждый день, каждый день!

— Послушайте, Галя…

— Не хочу слушать! Вы жили, у вас есть воспоминания, есть дети, к которым вернетесь, а у меня?.. — Она отвернулась, губы дрожат.

— Я хочу рассказать вам, Галя, одну историю, — медленно проговорила я. — Было это в тысяча девятьсот тридцать седьмом году, тогда на многие институты Академии наук просто замки повеси-

ли, потому что все сотрудники были арестованы. Институт истории — замок, Институт философии — тоже. Добрались и до астрономов. Директор их, Нумеров, ездил в Америку и, оказалось, что-то не так сказал. За него забрали всех сотрудников. Расскажу вам про одного молодого астронома[17]. Было ему лет двадцать семь, но о нем уж знали: настоящий ученый будет… Получил десятку тюремного заключения. Попал в одну из самых страшных тюрем — Саратовскую. Одиночку. Без света. Сидит год. Чтобы не потерять себя, вычисляет спектр какой-то звезды. Сначала просто спичкой на стене писал, ведь все привыкли думать записывая. Потом научился в уме держать цифры. Для чего вычислял? Надежды, что выйдет, у него не было, вычислял, просто чтобы мозги не высохли. Чтобы винтики не заржавели. В форме держать себя хотел.

Через год с чем-то тюрзаков направили по лагерям. Дорого оказалось содержать без работы. Отправили в этап. Поездом, в столыпинском вагоне до Красноярской тюрьмы, там — на баржу и вниз по Енисею до Норильска. Тяжелый был этап. Сама понимаешь, плыли долго — теснота, грязь,

---

[17] Примечания: 17
Николай Александрович Козырев. *(Примечание Г. Ю. Г.-Т.)*

голод. В Норильске — на общие работы.

Еще год прошел. «Собирайся с вещами!» Опять на пароход, и повезли в низовье, на побережье Ледовитого океана. Там геологи-зэки вели геологические изыскания, его поставили геодезистом — съемку знал, конечно. После темной камеры и общих работ под конвоем — рай. Живут в палатке, даже без конвоя: кругом пустая тундра на тысячу километров — все равно не убежишь. Поверка — по радио. Простор дает иллюзию свободы. Трудная работа, но жизнь — осмысленная жизнь! И бумага есть — пиши.

Настала осень. Улетели птицы, задули ветры, пошли заморозки, но в палатках есть печки, собирают плавник, топят. Записал он все, что вычислил в тюрьме, проверил, привел в порядок.

Пароход за ними не пришел. По радио сообщили: оставляют на зимовку, продукты сбросят самолетом, собирайте плавник на топливо.

Окопали палатки снегом. Зимуют. Полярная ночь уже кончалась, солнце начало вылезать, когда по радио сообщили, что на него пришло требование — вызывают в Москву на пересмотр дела. Самолет посылать не стали, посадки нет. Разрешили идти на лыжах до населенного пункта, там заберет самолет. До населенного пункта

пятьсот километров…

— Ну, — нетерпеливо спросила Галя, — что же он, пошел?

Все мы почему-то верим, что пересмотр восстановит справедливость.

— Пошел, конечно. До навигации еще полгода. Взял за спину мешочек сухарей, сала, за пояс — топор, за пазуху спички и свою работу, встал на лыжи и пошел. Идет без дороги, по звездам.

Звезды там огромные. Снег лилово блестит под ними. А луна маленькая, в середине неба, в радужном круге. Представляешь? Спать позволял себе два часа, иначе замерзнешь. Вскочит со сна, идет часов шесть. Все равно ночь, солнце только часа на два показывается. Найдет топливишко, растопит снег, попьет кипятку, размочит сухари. И опять идет. Иногда казалось ему — не дойдет. Но пощупает на груди рукопись — надо донести! Не просто идет — рукопись несет. И — дошел! Явился в поселок. Посадили под замок до прилета самолета. С первым же самолетом увезли в Москву, на Лубянку. Как полагается на Лубянке — полгода ждал, пока разбирали дело. Думал уж: зря и шел.

Вдруг ночью: «С вещами!»

Вызвали из камеры. «Распишитесь, получите

документы. На свободу». И рукописи отдали!

Вышел в ночную Москву в валенках и рваной телогрейке, держа рукопись под мышкой. Куда идти? Утром пошел в Президиум Академии наук. Президентом тогда был Сергей Иванович Вавилов. Многим ему обязана русская наука, и когда-нибудь зачтется ему в истории науки великое спасибо, что он спасал научные силы как мог. Помнил погибшего брата. Когда-нибудь в истории науки скажут о нем доброе слово.

Принять этого парня лично он, конечно, не мог, но распорядился: из президентского фонда одеть, обуть и отправить в санаторий. А потом на работу в Симеизскую обсервато-рию.

Там в Крыму я с ним и встретилась, перед вторым арестом. А работа, писанная в тюремной камере спичкой на стене, стала докторской диссертацией. Видите, как иногда поворачивается судьба!

— А где он сейчас? — спросила Галя. — На свободе?

— Не знаю. Может, попал во второй тур, а может — уцелел. Но он успел сделать многое… И как великолепно умел он радоваться жизни! Мы с ним вместе плавали в Черном море. Я перед арестом гостила у своих друзей-астрономов в Симеизе…

Вот этот-то месяц — глоток полной и радостной жизни — помогает не потерять перспективу…

— У меня не было такого глотка, — мрачно сказала Галя. — У него было чем развернуться, а у меня нечем. Не у каждого хватит сил.

— Мы не знаем своих сил, Галя. Сегодня надо делать то, что можно сегодня, а что дальше — увидим потом.

— Но у меня нет даже начала, — вздохнула Галя.

— Начало — это желание помочь себе и другим. Посмотрите на Саньхо, ей много тяжелее нашего. А она — не унывает. Молодец!

— Ей помочь надо, это правда, — сказала Галя.

О верах

Основная масса женщин в лагерях несла свою судьбу и страдание, как стихийное бедствие, не пытаясь разобраться в причинах.

Так нес свою судьбу и Иван Денисович у Солженицына.

Но тем, кто находил для себя какое-то объяснение происходящего и верил в него, было легче.

В современной литературе все больше стремятся показать тип партийца, стойко сохраняющего веру в партию и партийную справедливость. Пожалуй, это не только тактический прием, для печати. Вот и в стихах Елены Владимировой о Колыме, безусловно искренних и не рассчитанных на печать, описано, как умирал коммунист, продолжая верить в партию и ее справедливость. Может, такие чаще были в мужских лагерях — мужчины вообще труднее отказывались от своего прошлого и перестраивались на новую деятельность: она подавляла их.

Женщины перестраивались, ища посильный интерес в работе, забывая о прошлом. Маруся Стебницкая — крупный партийный работник — на Колыме стала свинаркой и с удовольствием

рассказывала об уме поросят и о том, как за ними лучше ухаживать. Подруга ее — Люция Джапаридзе, дочь того самого Алеши Джапаридзе, что был расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров, работала тепличницей. Она воспитывалась в Кремле. Там была арестована по личному приказу Сталина. Обе не проявляли веры в партию, не осуждали ее: они молчали. Боялись встретить негодование и озлобление, если попытаются сказать, что справедливость восстановится в партии? Или не имели что сказать в защиту тактики, породившей страдания миллионов и раболепство уцелевших на воле? Не знаю: они молчали. Молчала и жена Якира, которую я встретила в темниковских лагерях. Молчала Мария Самойловна, о которой я уже писала.

Была ли у них вера во что-то? Не знаю. Я буду писать в этой главе о тех, у кого была какая-нибудь вера, дававшая силу жить не ломаясь.

Прежде всего о «неотказавшихся ленинцах», как они себя называли, которых я встретила на Колыме. Они признавали свою связь с троцкистской оппозицией. Утверждали основные требования оппозиции:

1) Опубликовать посмертное письмо Ленина, которое скрыл Сталин, тем самым нарушив пар-

тийную демократию.

2) Считали, что Сталин диктатуру пролетариата обратил в диктатуру над пролетариатом и ввел недопустимый террор.

3) Считали, что коллективизация, проведенная насильственным путем, с полным порабощением крестьянства, не приближает социализм, а создает гипертрофию государства.

4) Были уверены, что тактика партии, ведомой Сталиным, дискредитирует идею коммунизма.

Спасти эту идею может только жертвенная кровь коммунистов, вступивших в борьбу со сталинской линией. Они шли на это. Из ссылки на Колыму гнали их по Владивостоку, около сотни человек. Они шли и пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу». Конвойные били их прикладами, но пение не прекращалось. Загнали в трюм, но и оттуда слышалось пение. На Колыме они объявили голодовку, требуя политического режима: переписки, разрешения читать, отделения от уголовников. На пятнадцатый день их стали искусственно кормить. Они не сдавались. На девяностый день администрация обещала выполнить требования. Они сняли голодовку. Их развезли по разным лагпунктам, обещая, что там будут требуемые

условия. Потом постепенно снова свезли в Магадан и отправили в страшную тюрьму — «дом Васькова», возбудив новое дело. Они знали, что будет расстрел, и на это шли. Это были мужественные люди. Вероятно, все они погибли, но веру свою в необходимость борьбы за по-своему понятый коммунизм сохранили.

Другие «хранители веры» — националисты недавно присоединенных республик Прибалтики и Западной Украины. Националистов было немало, но я почти не встречалась с настоящими, активными, с их борьбой в лагерях. На 10-м лагпункте при шмоне у группы молодых литовок отобрали листочки с текстом песен на литовском языке, в виньетке дубовой ветки с желудями — эмблемой литовской самостоятельности. По баракам шептались: «Нашли… Они хотели праздновать день Литвы… Всё у них забрали, и их увезли… Теперь только строже режим будет… Бумагу совсем отберут… А что будет с девчонками?.. Новое дело, наверное… Бедные, хлебнут следствия».

Один раз встретила украинскую националистку. Худенькая женщина с горящими глазами говорила по-украински и старалась общаться только с украинками. Их было много, и это не

бросалось в глаза. Обращала на себя внимание страстная напряженность: видно было, что она не интересуется ни едой, ни бытом и ни на минуту не забывает, что находится во вражеском плену. И вот пришел час, когда она решила показать это.

Выходной день. Все занимались своими делами: починкой, шитьем, уборкой постелей. Барак глухо гудел.

Звонкий голос прорезал гуденье.

— Панове! — крикнула она, стоя среди барака. — Сегодня день рождения Степана Бандеры. Хай живе пан Степан!

Барак замолчал. С нар свесились разнообразные головы.

— Хай живе пан Степан Бандера! Хай живе ненько Украина! — крикнула она еще громче. Никто не ответил. Она махнула рукой и выбежала. Через несколько часов ее взяли в карцер… Куда увезли — не знаю.

Зримее и заметнее были религиозные верования. Они то приобретали трагичность, то переходили в гротеск.

Я уже писала о «монашках» на 6-м лагпункте. На 10-м их соединили в один барак, запретив общаться с другими. Они и не ходили. В положен-

ные часы оттуда раздавалось церковное пение, в остальное время — молчание. Степень непоколебимости проявилась, когда одну, очень больную, вызвали и сказали: «Тебя актировали. Получи документы и катись домой в деревню».

Она спокойно посмотрела и сказала: «А я вас не признаю. Власть ваша неправедная, на паспорте вашем печать Антихристова. Мне он не надобен. Выйду на волю, вы опять в тюрьму посадите. Не для чего и выходить». Повернулась и пошла в барак. Она, со своей точки зрения, была вольная, а в плену только тело.

Как смотрели на «монашек» подневольные женщины? Многие ругали их: «Мы работаем, а они нет! А хлеб берут! Наши труды… Нашлись Божьи угодницы». Другие проявляли нейтралитет — нас не касается. Третьи «творили тайную милостыню». Осторожно проскальзывали к ним в барак, пряча кулек под полой, или подзывали одну из «монашек» куда-нибудь в уголок. Кланялись поясно, говорили: «Прими на сестер, Христа ради… Из посылки, из дому, не лагерное…» С поклоном «монашка» отвечала: «Спаси Христос!» — и прятала узелок.

«Монашки» неколебимо держались устоев. Вся традиция поведения уходила за сотни лет,

в старообрядчество. Мы словно присутствовали при иллюстрации старообрядчества, еще более глубокого, чем у Мельникова-Печерского.

Многообразие вер было неисчерпаемо. У каждого толка ядро убежденнейших и кругом болельщицы. Летом всех можно было увидеть в углу, именуемом «парк». Там под каждой березой был как бы свой храм.

В семь-восемь утра затишье лагерной бдительности: кончился завтрак, развод на работу, дежурные надзиратели обошли и проверили бараки, у них утренняя пересменка на вахте, им не до нас.

В «парк» пробираются на утреннюю молитву.

У одной березки собрались православные. У другой стоят «западнички» — униатки. Дальше баптистки, потом «субботницы». Две католички, собравшись в углу, с презрением на них поглядывают, начинают читать — по-латыни — молитвы. Православные тихо поют обедню. Униатки слушают: «Похоже, как у нас». Встав на колени и по-католически подняв вверх сложенные руки, тоже начинают молиться.

— Похоже на наше, — говорит Катя Голованова, лидер православной церкви. — Очень похоже… Так руки складывать только, кажется, ни к чему.

Ну, каждый по-своему молится, все перед Богом равны… А пение у них хорошее…

У самой Кати прекрасный голос, и петь она мастерица. Униатки довольны, что ей понравилось их пение. Происходит единение церквей.

Пение не одобряют баптистки — они считают ненужными канонизированные церковные мотивы. Они поют стихи, часто импровизируя их сами. У них свой лидер — сестрица Аннушка. Она им толкует Евангелие.

Субботницы сидят на скамеечке и ведут религиозную беседу.

Я только в лагерях узнала, что еще существуют субботники, та самая «ересь жидовствующих», с которой боролся царь Иван Грозный. Они пережили всех царей. К царям относятся с пренебрежением. Считают, что царская власть, купно с церковной, подтасовала древние книги, обманув народ различными умышлениями, отступая от единой дарованной Богом книги — Библии. Уличают: «В Библии сказано — „помните день субботний“, а властители выдумали — воскресенье! Обман! И кто Евангелие писал? Люди писали. А Библия от Бога. Надо держаться Библии: в ней и все пророчества… Если их толком понимать…»

Субботники вступали в диспут с баптистами,

береза которых была недалеко от них. Иногда в диспут вступали и девушки, воспитанные комсомолом.

— Глупости говорите, бабки! — задорно говорили они. — Бог у одних — один, у других — другой… У Саньхо — «Пута» какая-то. А кто хоть одного видел? Никто не видал! Небо просмотрено в телескоп, летчики всё пролетали — ничего не видали.

— Доченьки, — отвечала сестрица Аннушка, — Бог есть сила невидимая… Как любовь… Можешь ты любовь ощупать руками?

— Ну да! — отвечали девушки. — Любовь видна делами. Это всякий увидит. А тут какие несправедливости! Как Бог допускает, если есть?

Неожиданно я дала сестрице Аннушке аргумент большой убедительности. Я рассказывала о дальтонизме: есть люди, которые не различают зеленого и красного цветов… Так устроены у них глаза, что не все цвета видят.

Аннушка просияла:

— Вот что наука показывает! Видим мы, значит, мир не в полном его естестве, а сколько нам открыто. Одним больше, другим меньше. Есть люди, что зеленого от красного не отличают, а есть люди, что могут видеть нам невидимое! А

еще я слышала, что волны какие-то есть, волны звука и света, это что?

Я объяснила. И это оказалось на пользу в диспутах — немедленно пошло сообщаться. Прибежали субботницы узнать — так ли? Ушли, покачивая головами.

В бараке подсела ко мне Катя Голованова, поправила беленький платочек, тихо спросила:

— Вы, я слышала, про какие-то лучи рассказывали? Они, — (они — это баптистки), — всё к себе повернули.

Несколько дней, отходя от своих березок, представители разных религий обсуждали услышанное. Это могло стать опасным: надзиратели заметят сборище. Выручали те же девчонки.

— Вассер, вассер, бабки! — кричали они. — Надзиратель!

И «парк» молниеносно пустел. Разноверующие рассыпались по березкам, как вспугнутые кошкой воробьи.

Впрочем, я думаю, надзиратели знали о сборищах. Предпочитали делать вид, что не замечают, и не утруждали себя.

Только один, маленький, прыткий, не в меру ретивый, был опасен: он не хотел терять бдительности. Следил и гонял.

Но раз обмишурился — прибежал на вахту, сказал:

— Новая секта открылась! Сам видел — идемте! В ряд сидят и поют, а одна перед ними пляшет.

Повел старшего дежурного.

Издали видно, не в «парке», прямо перед бараком, штук шесть старых старух сидят и поют заунывно. А впереди седая, высокая размахивает руками и приседает. Так приседает, что веером встают стриженые седые волосы.

Подбежал надзиратель:

— Что вы делаете?! Религиозное сборище!

Бабки встали и поклонились:

— Гражданин начальник!.. Гражданин начальник, дозвольте сказать…

А седая-высокая закричала:

— Как вы смеете! Как вы смеете обвинять меня в религиозном дурмане?! Я член партии с тысяча девятьсот пятого года, всю жизнь вела антирелигиозную пропаганду… И всю жизнь по утрам занималась гимнастикой.

— Это точно, — подтвердили бабки, — она на этом месте каждое утро занимается. А мы просто так сели, сами по себе.

Старший дежурный укоризненно посмотрел на ретивого.

Весь лагерь хохотал, передавая о новой секте.

Иногда моление казалось возникшим из далекого прошлого древним обрядом.

У меня стоит в памяти картина, которую трудно передать словами, лучше (если бы умела) изобразить красками.

Осенний вечер. Осыпаются листья с березок. Лимонно-желтый закат горит, охватив полнеба. В желтом свете, тревожно переговариваясь, на вечернем учении летают полчища ворон. Они поднимаются с криком, кружат и снова садятся на крыши. Черные в желтом свете. У глухой стены барака в ряд стоят черные фигуры старух. Они крестятся все вместе, вместе кладут поясные поклоны и поднимают головы к озаренному небу. Над ними кружат и кружат вороны. Сыплют березы последние желтые листья. Тишина.

Встает другая картина. Солнечным утром, еще до подъема (ходить в уборную разрешалось до подъема) пошла я к березам, мечтая побыть одна. Лежала роса, легкая дымка клубилась над лесом. Озабоченно перелетали скворцы — была утренняя жировка птенцов. Я шла, следя зеленые тени берез на земле. Вдруг услышала за березой плачуще-взволнованный шепот:

— Ты видишь, Ты видишь, как все страдают? Пожалей их, Господи! Нету меры страданиям мира, но Ты простри руку, Господи, и утешь его… С плачем молюсь Тебе и прошу, за всех людей прошу, Господи!

Стараясь остаться незамеченной, я прошла посмотреть, кто это.

Аннушка стояла, подняв к солнцу залитое слезами лицо, крепко сцепив на груди руки.

Она не заметила меня, никого бы не заметила, уйдя в страстную и требовательную молитву о спасении мира.

Я тихо ушла. Когда подходила к бараку, ударил подъем.

А Катя Голованова, приодетая, шла по дорожке.

— Катя, вы куда?

— Ко храму березовому, помолиться бы успеть, пока не встали.

— Там Аннушка стоит, молится, плачет…

— Ну, помоги ей Господь! Не буду мешать… Не пойду туда…

Она повернула за баню.

О переживаниях

Хрупкая и прелестная девочка, Саньхо Ким с веселым интересом наблюдала обрывки жизни чужой страны, которые пришлись на ее долю. Что она думала? Не знаю. Галя Сокол приходила в отчаяние оттого, что видит лишь обрывки и нет возможности охватить, ощупать, понять всю сложную, но изломанную жизнь. Я утешала ее:

— Надо воссоздавать из имеющегося.

Но она кричала:

— Как представить себе неломаной вещь, если не видела ее целой? Воссоздать могут те, у кого есть вера, что требуется воссоздать. А у кого пустота?

Что я могла возразить?

Перед тобою водоем.
Забор. И глина под ногами.
Но ты творец. И творческим лучом
Ты жить заставишь каждый камень.
Ты можешь мир пересоздать
И, бросив скованное тело,
По облакам уйти опять

Туда, где можно жить и делать…
Но тем, в ком ослабела воли нить,
Какими видеть мир глазами?
Зачем Ты их не хочешь пощадить,
Творец, когда Ты есть над нами?

Сестрица Аннушка страстно требовала от Бога, чтобы он нас пощадил. Катя Голованова говорила, вздыхая:

— Пути Господни неисповедимы!

Те, у кого не было никакой веры, стыли под обломками в тупом страдании. А я? Пытаюсь передать пережитое. Но могу только стихами, в которые оно кристаллизовалось тогда.

Слушаю звезды в ночи,
Долго гляжу на луну.
Только сердце во мне молчит,
Точно окунь идет ко дну.
Чтобы в темной глуби воды,
Где колышется водорослей сад,
Укрываться ему от беды,
Не всплывать, не глядеть назад.
Чтобы в темной глуби души
Не взрывался слепительный свет…

Утомленное сердце страшит
Мерный ход наступающих лет.

Но если крепнет морозный воздух, если вдруг раскрываются внутри какие-то крылья, тогда, стоя рядом с уборной, где мигает тусклая лампочка, освещая чернеющий ряд дыр и серые доски с пятнами хлорки, вдруг чуешь: бесконечное небо, круглоту летящей земли, качающей ветками, голыми, черными у нас, пестрыми лапами пальм за океанами.

Благословенно имя Вселенной!
Благословенен жизни зов!
Кругом идет неизменным
Ход неизвестных миров.
А в сердце, песчинке красной, —
Тот же ответный звон
И звездным стадам безучастным,
И слезным мольбам племен.

Тем, у кого устоявшаяся вера, кто ощущает Вечность доброю няней, на руки которой можно положить свою голову, легче. А у меня? Только неведомое, в которое смотрю. Страстная жажда осознать связь времени с Безвременьем.

Как передать это состояние души? Оно как цветок на лезвии ножа. Как звук, которому не подберешь слова. Но сквозь него приходит освобождение.

Лежу на полу карцера. В случайный и вздорный карцер попала за глупую ссору с надзирателем на поверке.

Тонкий луч прорвался в окошечко. Тишина. И приходит:

Душа моя, вольная птица,
Прорвется в решетку окна,
Распростертому телу приснится,
Как далекое небо клубится,
Ходит солнце у синего дна.
А душа, поднимаясь все выше
В голубой океан без краев,
Неожиданно песней услышит
Шум и шорох идущих веков.
То, что в уши усталого тела
Громыханьем тревоги легло,
Ей покажется облаком белым,
Опустившим свой пар на стекло.
В пене крови клокочущий город,

Гнев и кровь, что рекой потекли,
Станут только рывком дирижера,
Увертюрой грядущей земли.

Легло в слова… Ах, какое это освобождение! Их надо запомнить, они — память пути. Сажусь на полу. Отодвигаюсь от «параши» к окошечку под потолком. Смотрю в небо. Опять ложусь. Звучит малопонятная музыка. Не могу ухватить… Могут те, кто владеет ею, умеет обращаться со звуками, как шаман с духами. Я не умею.

Читала, есть у индусов выражение «свист звезд», это потому, что звук и свет выражают одно и то же… Ощущение необъятности мира достигается при помощи разных органов чувств человеческого тела.

Распластываю тело на полу. Погружаюсь в это ощущение. Только бы не запутаться в нем… Суметь вернуться по ниточке найденных слов. Я, как вон тот паук в углу, выпускаю из себя ниточку и качаюсь на ней, уходя в непередаваемое… Ушла… Возвращение радостное:

В прекрасном странствии моем
Слова, как свежие цветы,
Бросаю в светлый водоем,

И их потом увидишь ты,
Когда их вынесет ручей —
Прозрачной памяти вода…
Но тонкий запах тех полей
Не донести сюда…

Ибо запах этот плохо совместим с парашей… Так завершается приземление. Параша стоит в углу, как монумент, напоминающий, где ты. Но в карцере на этот раз не холодно и не грязно: лето, недавно мыли пол. Это способствует свободе внутренних переживаний.

На меня находит сомнение: стоит ли так подробно писать о личных переживаниях?

— Нужны факты, факты, вопиющие о мести, — сердито требовал один из моих друзей, — не рассуждения, а документы, которые передадут будущим поколениям о страшном зле, совершенном над нами, над сотнями тысяч людей. Интеллигентские переживания — чепуха!

Это правда. Нужны такие документы. Страшным было совершенное в лагерях. Кто передаст всю меру зла?

Еще более страшным оно было в немецких лагерях. То, что у нас проводилось как бредовые

рывки, там шло последовательным царством ужаса и зла. Об этом уже написаны книги. Прибавлять ли к ним еще и еще?

Я пытаюсь рассказать, как выныривала из царства зла. Пусть методом выдумок и иллюзий… Но можно ли назвать иллюзией то, что помогало жить?

Иллюзия и реальность смещаемы. Реально то, чем живет человек. Я даю документ не о фактах, а о смещении значимости фактов для человеческой души. О том, как приходило сознание большей реальности духа, чем реальность физическая. У разных людей по-разному вырастала духовная крепость. По-разному строил ее человек. Но ее невозможно отнять, потому что она руками не осязаема. Эти записки — документ о способе сохранить живой душу и о том, как у меня вырастала эта крепость.

Рукописание

Следующим летом вдруг стали приводить лагерь к благолепию: отскребли и вымыли бараки, вышпарили клопов; в амбулатории, полустационаре и больнице повесили марлевые занавески. В КВЧ сделали новый занавес для сцены из старых одеял, раскрашенных художницами. Бригаду садоводов заставили усиленно сажать и поливать цветы. По лагерю поползли «параши»[18] — вместо зэков здесь поселят военные части… Нет, из ООН послан запрос о лагерях. Там хорошо знают, что у нас творится, и вот для опровержения хотят сделать показательный лагерь… Нет, просто собираются создать лагерь для бытовиков, перевоспитательный… А нас?.. Постреляют, наверное… Вряд ли…

Приготовления завершились приездом генерала. Толстый и важный, в сопровождении двух штатских и начальника лаготделения, он

---

[18] Примечания: 18

«Параша» не только ведро с нечистотами, но и новости. По традиции, еще с царских тюрем, «парашу» выносили в уборную, и там создавался центр тюремных новостей: получали записки, оставляли знаки. Оттуда добывались и расходились вести. Они тоже назывались «параши». *(Примечание Г. Ю. Г.-Т.)*

обходил серые ряды женщин. В отдалении шли надзиратели.

— Жалобы есть?

Строй молчал. Было ясно и ему, и всем, что в присутствии местного начальства никто не будет жаловаться.

— Вопросы имеются?

Шепот прошел по рядам.

— Вас спрашиваю: есть вопросы?

— Как мне узнать про детей? — прозвучал чей-то голос. — Я здесь больше года и до сих пор ничего не могу узнать о детях.

— Обратитесь в вышестоящие инстанции.

— Писала всюду! Не отвечают, где дети…

— И мне!.. И мне не отвечают, где дети, — послышались голоса.

Генерал поморщился.

— Дети в Советском Союзе обеспечены соответствующими условиями… — сказал он. — Если ваши родные не хотят о них заботиться, государство берет на себя обеспечение детей!

— Хотят, хотят родные — не могут найти детей!

— Пишите в главное управление лагерей. — Генерал сделал неопределенный жест штатскому и быстро пошел, уходя от начинающейся в рядах

тревоги.

Тревога и возбуждение выплеснули меня.

— Гражданин генерал, — неожиданно для себя окликнула я, — скажите, заключенным разрешается писать?

— Как писать, что писать?

— В царских тюрьмах, как известно, люди занимались самообразованием и писали книги… А в советских разрешается делать записи?

— Вы присланы трудом искупать вину, а не заниматься самообразованием!

— Но это инвалидный лагерь. Производства здесь нет. Могу я, выполнив норму, вместо бездельного сидения на нарах заниматься своим прямым делом?

— Кто вы по специальности?

— Этнограф.

— Нам не нужны такие специалисты. Что вы хотите писать?

— Записи первых научных экспедиций двадцатых годов.

Он сделал неопределенный жест в сторону штатского и прошел дальше. Строй насмешливо смотрел на меня: «Еще чего захотела? Опять карцера?» Я сама понимала бесцельность разговора. Просто захлестнула жажда бессмысленного про-

теста. Карцер так карцер! Но в лагерях никогда не известно, как обернется.

Месяца через полтора меня вызвали к оперуполномоченному.

— Гаген-Торн?

— Нина Ивановна Гаген-Торн, 1901 год рождения. Срок пять лет, — отрапортовала я как положено.

— Это ваши тетради?

Захолонуло сердце. Перед ним на столе лежали мои, таинственно исчезнувшие из матраца на 6-м лагпункте тетради. Все! Я узнала их потрепанные серые корочки.

— Мои.

— Вам разрешено продолжать записи. Распишитесь в получении их.

Не веря ушам, я взглянула на него, прямо в спокойные серые глаза. Глаза одобряюще усмехнулись: подвоха нет. Я расписалась, с трудом веря. Взяла тетради, пошла в барак.

— Девчата, девчата — бывают же чудеса! Помните, я рассказывала об исчезнувших тетрадях?

— Ну, ну?

— Вернули! Со штампом лаготделения вернули написанное, исчезнувшие тетради и дали разрешение писать!

— Ну теперь ясно, что приедут иностранцы, — сказала Оленка, — неужели бы зря вернули! Вот и правду несли «параши».

Я побежала в другой барак, к друзьям.

— Какое счастье! — радовалась Кэто. — Но все-таки, значит, их выкрали из матраца. Кто? Кто из троих знавших?

Подошла зима. Трудно в мороз, стоя на обледеневшей вышке, поднимать тяжелую обледеневшую бадью, лить и лить воду в желоб для бани. Обледеневают рукавицы, намокает до плеча рука под обледеневшей телогрейкой. Но я знала: откачаем, вернусь в барак, скину мокрое и сяду у тумбочки — в открытую — писать свои воспоминания. Барак гудит десятками голосов, но к этому можно привыкнуть. Теснота выработала общую норму поведения в лагерях: если человек чем-то занят, к нему не обращаются, не спрашивают ни о чем. Он ушел из барака в себя, и никто не хочет лишать его этого блага. В лагерях так тесно спрессованы люди, что научаются не толкать друг друга хотя бы для того, чтобы избежать неистовой ссоры.

Ни одна душа не трогала меня за писаньем — будто меня и нет.

Я переписала все возвращенное. Радостно и

покойно уходила дальше в юность, в веселое бродяжничество студенческих лет.

Шла метельная зима, но ведь в бараке все-таки топили печку, и мне не мешали, прислонясь к ней спиной, забывать о бытовой реальности.

Под весну пришла дневальная оперуполномоченного:

— К оперу, с тетрадками, на проверку!

— Сейчас.

Я собрала чистовики и отправилась. Беззаботно постучала, вошла в кабинет:

— Вот, гражданин начальник, тетради!

Почему у него смущенное лицо? Нарочито спокойно поднял глаза от бумаг, положил ладони на принесенные мною тетрадки.

— Это не только проверка, — сказал он, протягивая бумажку, — вот, приказ лагуправления взять написанное и запретить писать в дальнейшем.

Посмотрел, ожидая, как я отнесусь.

Я пожала плечами:

— Мы люди подневольные, ожидаем всего. Разрешите идти?

— Когда кончите срок, вам вернут рукописи, — торопливо сказал он.

Я усмехнулась:

— Могу идти в барак?

— Да, да. — Он облегченно вздохнул.

— Ну как? — спросили девчата в бараке. — Когда обещал вернуть?

— Не вернет совсем, писать запретили.

— Ну-у?

На вышке я сказала Рузе и Гале:

— Девчата, ведь я отдала ему чистовики, а черновики все остались. Надо их спрятать получше.

— Сделать у чемодана двойное дно и положить туда, — предложила Рузя, — пусть лежат в каптерке у Рахиль Афанасьевны, это надежно.

— Да, но кто сделает двойное дно?

— В инструменталке есть верный человек, наш земляк, со Станиславщины, отнесу ему чемодан, если хотите.

— Но не говори, от кого, чтобы соблюсти конспирацию.

— Конечно.

Через три дня Рузя принесла мне мой фанерный чемодан: у него было сделано двойное дно.

Пошла в каптерку индивидуальных вещей, которой ведала Рахиль Афанасьевна. Но прежде надо рассказать о ней. Многие поминают ее добрым словом. И есть за что.

Рахиль Афанасьевна Урина была, по-лагерному, «придурок», то есть не ходила на общие

работы, а ведала каптеркой, продуктовой и вещевой — с домашними чемоданами и мешками. У каптерщицы власть над людьми: посылки — великая ценность не только потому, что спасают от истощения, но и потому, что они единственная радость, связь с домом. Ведь каждая тряпочка в домашних вещах — это воспоминание. Каптерщица может выдавать из посылок в строго определенные часы, по установленным нормам. Выстроится очередь. Ждут. Она может важно сказать: «Время кончилось. Некогда больше возиться с вами». И усталые люди смиренно уйдут — нельзя ссориться с каптерщицей: вдруг составит акт «продукты испортились» и спишет их из посылки. Докажи-ка, куда девались продукты! Она может заложить посылку так, что не скоро найдешь ее. Нет, нельзя ссориться с «придурками» в лагерях, они — власть.

Рахиль Афанасьевна не пользовалась во зло этой властью, у нее не бывало очередей, каждая заключенная в любое время могла отыскать ее и сказать: «Рахиль Афанасьевна! Очень нужно, пожалуйста, дайте сейчас». — «Ну что с вами поделаешь, если нужно. Пошли». Рахиль Афанасьевна безропотно забирает ключи и ведет в свое царство. Она не каптерщица, а хозяйка. В порядке

стоят по полкам ряды ящичков с номерами и фамилиями. Толстый кот сидит и облизывается — стережет от мышей. Блестят весы на чистом столе, чтобы знала берущая, сколько она взяла из своей посылки.

Рахиль Афанасьевна, худенькая, подтянуто аккуратная, садится за столик, поправляет черные с серебром волосы, записывает в картотеку. И ни одной, самой вздорной и грубой, девке не придет в голову заподозрить непорядок или хищение, усомниться в том, что в каптерке сделано все возможное для удобства людей.

Доброжелательно смотрят усталые, все еще красивые глаза, худые руки методически наводят порядок. Надежные руки, они сохранят для тебя все дорогое: продукты из дому, домашние вещи. Каждая вещь — напоминание о прошлом. Рахиль Афанасьевна понимает, помогает, хранит.

Она сама — живое воспоминание о другой жизни, нарядной и незнакомой, уходящей в дальние страны. Аромат этой жизни стоит над ней, она мало рассказывает о себе, но любит рассказывать о Японии, Сибири, Китае.

— Почему вы так хорошо это знаете, Рахиль Афанасьевна?

— Я долго жила на Дальнем Востоке и в Япо-

нии.

— А Сибирь?

— Я выросла в Восточной Сибири. Поэтому и отец мой, еврей, звался Афанасием, в Сибири это привычное имя. У него и у мужа были большие торговые связи на Тихом океане…

Туманятся печальные глаза… Не расспрашиваю дальше, я уже слышала, что муж и сын ее погибли.

Умолкая, она наводит порядок. Лагерное дело, каптерка — для нее это вся возможность помочь людям, она несет свою помощь охотно и безотказно. Она деловито-добра и мужественна. И к ней приходят за помощью.

Я приношу к ней свой чемодан с двойным дном:

— Рахиль Афанасьевна, пустите меня, пожалуйста, перебрать свои вещи, переложить из мешка в новый чемодан. Вы впустите и закройте меня в каптерке, а потом придете.

Она пристально посмотрела на меня, мудрая и добрая душа, поняла — мне надо сделать свое, скрытое от других, дело.

— Хорошо, пойдемте, я вас закрою, повешу замок на сарай, а через час приду за вами.

Под надежным запором в полутьме каптерки

я уложила записки на дно чемодана, наложила второй слой фанеры, прибила планочки тихо, стараясь не стукнуть. Переложила в чемодан часть вещей из рюкзака, поставила все на место. И притаилась беззвучно, чтобы никто не услышал снаружи.

Загремели ключи. Кашлянула, входя, Рахиль Афанасьевна.

— Ну, все уложили?

— Спасибо, Рахиль Афанасьевна!

Этапы и встречи

Зима прошла. Солнце золотыми вениками разметало снег между березками. С крыш торопливо стекали капли. Серые бревна стен уже просохли, около них тепло. Стою у стены бани одна, девчата, накачав норму воды, убежали.

Смотрю в небо, вспоминаю, как на Колыме весной, в голубой прозрачности, летели тысячи птичьих косяков.

Тут, верно, тоже скоро пролетят гуси. Пока только воробьи лихо суетятся да начали токовать вороны. Я раньше не знала, что вороны токуют. Вон села на гребне крыши, расширила крылья, хрипит и кланяется ворона-самец. У них не отличишь самца и самку по оперению, оба черно-серые. Их родственники-вороны много крупнее, совсем черные и кричат по-другому. Вон один полетел и кричит: «Полонг, полонг!» А ворона на крыше удивляется: «Ка-ак? Ка-ак?»

— Вот так, полон — в своей родной стране, и удивляться нечему, — бормочу я.

Ворона-самец начинает токовать все азартнее: поднимает к небу клюв, раскрывает крылья, ритмически кланяется. Хрипит и шипит, изображая

песню.

На соседнюю крышу сели вороны-зрительницы. Чистят перья, прихорашиваются. Жених раздувает шею, все торопливее кланяется. Воробьи обсели березку, наблюдают, переговариваются, помирают со смеху. Но токовик не обращает на них внимания, ему важны свои — воронихи. Он жаждет показать им, как славят весну.

Смотря на птиц, можно не замечать лагеря. Но, опустив глаза, замечаю: хрустя камешками, идет незнакомая женщина. Одета по-зимнему — черная барашковая шуба, шапочка, ботики. Соображаю: со вчерашнего этапа… И взята, видно, этой зимой. Жарко ей в тяжелой шубе, идет заплетающимися шагами, осматривается, как птица, когда выпустят из тесной клетки на улицу или в вольеру.

Отвыкла в тюрьме от солнца, думаю я. Ну, смотри, смотри.

Она подходит. Голубые глаза глядят растерянно и доверчиво.

— Скажите, пожалуйста, вы здесь давно? — спрашивает она робко.

— Порядочно… И не в первый раз, — отвечаю я. — А вы только что из тюрьмы?

Из голубых глаз потоками потекли слезы. Губы

дрожат.

— Только что привезли из Москвы… Как здесь жить? Как можно так жить?

— Какой у вас срок?

— Восемь лет…

Потоки застлали голубые глаза, растекаются по лицу, мохнатая шуба скоро вся намокнет от слез.

— Я не понимаю! Я ничего не понимаю! — говорит она. — За что? Мне так и не предъявили обвинения… Дали подписать бумажку об окончании следствия и отправили в лагеря…

— Я пять лет просидела на Колыме без предъявленного обвинения. Вы что, не знаете, что, начиная с тридцать шестого года, многие тысячи людей гибли в лагерях, не получив обвинения?

Она вздрагивает:

— Гибли? Невинные люди?

— А вы думали, виноватые? В чем был виноват ученый с мировым именем, гордость советской ботаники, академик Николай Иванович Вавилов, погибший в тюрьме? Или академик Самойлович, Александр Николаевич, пропавший без вести? Думаете, он был шпионом или диверсантом? В чем виноват цвет беспартийной интеллигенции, сгноенный в лагерях? Вы что, не знали об этом?

— Не знала, — шепчет она побелевшими, су-

хими губами. Добрые голубые глаза смотрят с ужасом, молят о пощаде.

— Может, вы и того не знали, что половина руководящего актива партии тоже оказалась в лагерях в тридцать седьмом? — говорю я жестко. — Может, не заметили, что тогда секретари обкомов и облисполкомов, старые большевики и активные комсомольцы летели, как чурки в лапте? Вы кто по специальности?

— Писательница, детская писательница, — шепчет она.

— Ну тогда вы должны были приметить, что исчезли Пильняк, Мандельштам, да что перечислять, десятки писателей исчезли и погибли.

— Кто же их погубил?

— Система НКВД, которая безо всяких улик и доказательств может арестовать и расстрелять человека. «По подозрению» — пишется в приговорах Особого совещания. Вы еще не встречались с этой формулировкой?.. На Колыме полковник Гаранин расстрелял десять тысяч человек, и нам зачитывали их имена на поверках. А потом расстреляли самого Гаранина. Это тоже входит в систему…

Голубые глаза кричат от ужаса. А я уже не могу остановиться — меня понесло волной боли и

гнева, мне не жалко ее, меня корежит от простодушной наивности и неведения.

— Как же вы могли не видеть того, что делается?

— Я верила партии, верила тому, что пишут о необходимой бдительности, — шепчет она.

— Бдительность, погубившая миллионы людей! Теперь увидите!

Она больше не плачет, с робостью и недоумением начинает перестраиваться сознание этой, впервые до конца ужаснувшейся от бедствий страны, женщины. Она молчит, а потом медленно говорит:

— Муж мой, комсомолец и молодой поэт, в тридцать шестом году покончил с собой — бросился с шестого этажа… Меня убедили, что в припадке безумия… Он был нервный… И были у него в то время какие-то мне неясные тяжелые переживания… Он был мрачен, казался минутами в каком-то отчаянии… Я думала, это нервное расстройство… Но это было другое… Теперь понимаю, что другое. Он, наверное, уже тогда увидел эту бездну. Мне иначе все освещается… Но как жить с этим?

— Постараться понять до конца. Это помогает собрать силы, чтобы выжить.

— Страшно понять…

Она раздавлена, ищет опоры. Именно поэтому и возникает такой разговор при первой встрече — в надежде найти опору. Но я-то уж знаю: не надо ни утешать, ни жалеть сейчас, надо встряхнуть до конца и заставить думать. Тогда опора придет сама собой. Не сразу и думать возможно… Безошибочным чутьем прошлого опыта знаю: пора дать отдохнуть.

— Вас в какой барак поместили?

— Кажется, во второй.

— Правильно! К ним вчера поместили этапниц, но я вечером так устала — много воды пришлось качать, чтобы вымыть новый этап, — как-то даже забыла посмотреть. Неплохой барак. Наша бригада тоже там, только в другой секции. У вас есть конверт и бумага, чтобы написать письмо домой?

— А позволят написать?

— Конечно! Этапу сразу разрешают. Мы имеем право писать родным раз в месяц, а получать писем — неограниченно. И посылок тоже.

Она по-детски радуется возможности сообщить домой. Высохли слезы, голубые глаза уже улыбаются, когда она рассказывает о маме, о тех, кто остался на воле. Как справится мама, что будет

делать? Они жили втроем — она, мама и приемная дочка — младшая дочь ее сестры, которую привезли после блокады почти умирающей. У сестры в Ленинграде тогда умер муж и остались трое детей. Она взяла себе младшую.

Все это очень тяжело и тревожно, но это уже не бредовая лагерная, а житейская понятная тревога. И кажется почти счастьем, что можно написать, узнать про всех, распорядиться… Мы идем в барак за конвертом и бумагой. По дороге устанавливаем: конечно же, у нас есть общие знакомые; спорим о значении Маршака в детской литературе. Мы почти утвердились в нелагерных нормах реальности. Так началось мое знакомство с Надеждой Августиновной.

Каждый этап, и только он, приносил новости в однообразие лагерной жизни. Этапы разносят сведения из конца в конец лагерного мира, от Воркуты до Магадана, от Караганды до Норильска. Люди этого мира жадно ловят и передают вести — они лишены других сведений. От этапников узнают о других лагерях, о родных и друзьях. Иногда неожиданно, вдруг — встречают близких в пришедшем этапе.

Помню, прибыл новый этап на 6-й лагпункт. Ко мне прибежали, сказали:

— Вас ищет Шатерникова… Больная, не ходит, на носилках принесли в четвертый барак.

— Шатерникова!

Мы сутки провели с ней в московской пересылке. Только сутки, но и за сутки можно многое учуять в человеке: соприкосновение обостряется на грани неведомого. И вот снова скрестились дороги.

Побежала в барак.

Большая, красивая, она лежала, тяжело распластавшись на нарах. Протянула мне руки:

— Вот и встретились! А я совсем инвалидом стала — вспыхнул старый бруцеллез и свалил меня.

Мы обнялись.

— Татьяна Михайловна! Как же вы? Что же вы?!

— Да вот, дали костыли, кое-как на них двигаюсь. Но иногда такая судорога в ноге, что лежу как бревно, — усмехнулась она. — Лучше расскажите, как вы?

Неподвижная, она не потеряла способность думать, смеяться, радоваться принесенным цветам или острой красоте закатного неба. Сохранила великое умение — уйти из лагерей. Мы подружились на годы, все время боясь: а вдруг разлучат навсегда? Как на фронте, в лагере дружба острее

оттого, что может в любую минуту оборваться.

С 6-го снаряжают этап огромный. Выкликают списки фамилий. Сжимается сердце: кого возьмут и куда? Вызвали Нину Дмитриевну. И Кэто — слава богу! Значит, они хоть вместе! Вызвали Доброву, Рузю, Галю. А меня? Жду! И меня! А Шатерникову? Как Шатерникову? Не вызывают?! Вызвали! Ну, какое-то время, видимо, вместе.

Прибыли на 10-й лагпункт. У Добровой язва желудка. Нина Дмитриевна почти ослепла от катаракты и качается, как былинка, от слабости. Их помещают в барак «малолеток», а потом переводят в полустационар. Мы в рабочих бараках, но навещать их можно. И это утешает. Как передать состояние человека, который месяцы, годы лежит на нарах? Шатерникова лежала. Кругом стоны, слезы, ссоры отчаявшихся старух. Санитарки раздают металлические миски с обедом, с ужином. День сменяется ночью. Ожидание каких-то вестей, перемен. Безнадежное и бесцельное ожидание… Как вода в канаве, текут дни. Брякают железные миски — обед. Топают мужские шаги — поверка. Звон в рельсу — отбой. В полутьме глуховатый и низкий голос Александры Филипповны Добровой читает стихи, рассказывает о литературной Москве, о муже, о Данииле Андре-

еве. Тихий смешок Нины Дмитриевны радостно откликается на шутку. Тонкие руки Татьяны Михайловны освещены косым лучом из окна за нарами: она лепит фигурки животных. Текут дни. Из глины, из мягкого хлеба, из проволоки и ваты. Как антитеза лежанию, фигурки всегда в движении — кошка в прыжке, собака в напряженной стойке над дичью или в лае, лошади в стремительном беге. Она лежит, смотрит строгими, пристальными глазами и лепит.

— Не думала, занимаясь научной работой, что я — непроявившийся скульптор, а вот оказалось, — усмехается она, когда проходящие мимо нар женщины умиляются на зверюшек.

Женские лагеря отличаются от мужских неистребимым стремлением создать дом из нар. Отгородят тряпками, на тряпки повесят вышитые коврики или салфетки, на подушку или на тумбочку поставят «игрушки» — фигурки из лоскутков, изображающие клоунов, балерин, негритят. И это уже дом. Зверюшки Татьяны Михайловны пользовались необычайным успехом: ей приносили глину и вату, упрашивали слепить, расхватывали сделанное. Гордый человек, она трудно переносила беспомощность и зависимость от чужих услуг. За «игрушки» ей несли

пайки хлеба, комки сахара, которые она отдавала санитаркам в благодарность за то, что возились с нею. Дарила им и ватных зверюшек. Для нее же самой лепка была необходимым выходом во внелагерный мир.

Прибыл новый этап на 10-й… Я прибежала к Шатерниковой.

— Таня, ты знаешь, пригнали Ирину Львовну Карсавину, дочь Льва Платоновича Карсавина, профессора Петроградского еще университета, который написал в двадцатом году книгу «Nogutis Petropolitanis».

— Книгу помню, интересная книга.

— В двадцать втором году его выслали за границу, вместе с Лосским и другими профессорами-немарксистами. Дочь была тогда еще девочкой. Попали они в Париж, она училась в Сорбонне, расскажет о Франции, об отце… Хочешь, я приведу ее к тебе?

У Тани светлеют глаза.

— Интересно… Приводи обязательно!

— Карсавина — сухонькая, черненькая, как галка, на отца не похожа. Тот был красавец с кудрями и огненным взглядом. Я слушала его лекции под портретом Владимира Соловьева, тогда еще висевшим в аудитории университета. И сам он

был под Владимира Соловьева. Что стало с ним за границей?

— Талантливый был человек?

— Очень!

— Ну, жду, очень жду, приводи!

Ирина Львовна пришла. Села, подергивая плечами. Быстрые, сухощавые ручки ее все время двигались. Глаза, темные и горячие, как у отца, смотрели едко и настороженно. Она держалась a quatre epingeles[19], как говорят французы. И сама походила на француженку. Об отце рассказывала. Они долго жили в Париже, в тесноте эмиграции, тяготившей его. Она не любила эмиграцию, но любила Париж, Сорбонну, острые блюда и острые разговоры французской интеллигенции.

Она осталась в Париже, когда отец и мать перебрались в Литву. Отец стал профессором Вильнюсского университета, специалистом по истории литовского языка, литовские ученые обращались к нему за консультацией. Написал на литовском языке «Историю европейской культуры» в семи томах.

— Как жаль, что на литовском, — сказала Таня, — ведь мало кто сможет прочесть.

---

[19] Примечания: 19

Букв. «на четырех булавках» *(фр.)* — подтянута, аккуратна, тщательно одета.

— Отец говорил: кому надо, тот выучит язык и прочтет.

— А как он смотрел на историю европейской культуры? Как Шпенглер, ждал «заката Европы» или нет?

— Я не читала, меня мало интересует история культуры. Знаю, что говорил о росте государства, проводя аналогию с государством Древнего Египта. Он стал интересоваться египтологией одно время. А меня, знаете, мало интересовали эти экскурсы в прошлое. Не люблю абстрактных философических построений. — Она засмеялась, подергиваясь. — Ему, вероятно, тоже сейчас не до абстракций. В семьдесят лет попасть в лагеря… Вряд ли выживет долго…

— Он когда же попал?

— Когда ваши советские войска освободили Литву. Я имела глупость приехать к ним в гости из Франции. Взяли его и меня… Мама осталась одна. Она писала мне, что отец в Абези. — Губы ее опять передернулись горько и зло. — Я давно не имею вестей о нем… Впрочем, это естественно… В германских лагерях стариков сжигали живьем. Здесь, кажется, не сжигают, но все равно они умирают.

Говорить с ней было трудно, временами каза-

лось, она на грани бреда.

Относительно отца она оказалась права: Лев Платонович Карсавин умер в лагерной больнице в 1950 году. Впоследствии я узнала от мужчин, с ним сидевших, и от врача, который анатомировал его тело, что до последнего дня он интересовался не своей судьбой, а культурой человечества. Это — он выдержал. На анатомическом столе лежал старик с лицом прекрасным и значительным.

Этапы приносили вести о судьбах людей, которых мы никогда не видели. Еще в тюрьме я слышала, что вслед за мной была взята моя сослуживица по Институту этнографии — Юлия Николаевна.

В тюрьме она родила, а через два месяца сына у нее отобрали и отправили в Дом младенца. Тяжело шло следствие. Потом я узнала: она тоже в Темниках, на 13-м отделении, там же, где сейчас Ивинская.

— Ивинская? Кто такая?

— Жена Пастернака, сидит за него…

— Значит, и он арестован?! — заволновалась интеллигенция.

— Вероятно, да. Она говорит, взяли за то, что получила хвалебную книгу о Пастернаке, написанную в Америке… Красивая женщина…

— А про Бориса Леонидовича ничего не знаете?

— Говорят, в лагерях, где-то у Котласа…

— Боже мой! Пастернак?!

Мы качали воду для бани, когда прибыл этап. Тридцать женщин стояли у вахты. Девчата побежали смотреть. Вахтеры, как всегда, отгоняли их от вновь прибывших. К ним не пускали, пока не приняты, но лагерь успел узнать: с 13-го, не инвалиды.

Их поместили в рабочий барак, в соседнюю с нашей секцию. Окончив качать, пошла туда. Как всегда с новым этапом, суета, груда вещей на полу, размещение по нарам. Мне указали: вон Ивинская, та самая!

Она стояла в распахнутом бушлате, что-то взволнованно говоря, кому-то доказывая:

— Так нельзя, ну просто немыслимо! — Платок сполз у нее с головы, открыв пышные светлые волосы.

— Ольга Всеволодовна, — позвала ее какая-то женщина, — вот свободное место на нижних нарах.

— Ну и слава богу! — просияла она, подхватив свой чемодан.

Мы познакомились с ней на следующий день.

— Я встречалась с Борисом Леонидовичем у Андрея Белого. А после войны уже раз заходила к нему на Лаврушинский, — сказала я ей. — Могли бы мы с вами и там встретиться, а вот где пришлось.

— Да, лучше бы там… Меня, вероятно, дома не было.

— Скажите, где Борис Леонидович, что с ним?

— Я от него ничего не имею, но мама моя писала, что он где-то под Вяткой, здоров. Обещала переслать его открытку.

Через несколько дней она получила и письмо, и огромную посылку. Щедрой рукой угощала всех, устроила целый литературно-гастрономический пир на своих нарах. Мы, человек пять, сидели, поджав ноги, на нарах, пили чай, слушали стихи — она знала очень много стихов Бориса Леонидовича. Говорила о нем. Ольга Всеволодовна забавно и мило изображала, как он на даче раскланивается с деревьями, беседует с кошками. Рассказывала, что у нее есть сиамский кот, которого он очень любит. Она умела видеть смешное и рассказать о смешном. Не только рассказать, передать интонации Бориса Леонидовича, жесты и выражения в быту. И нежность, и восхищение Пастернаком передавались ею в одежде

шутки. Мне очень нравилось это. Я повела ее в полустационар к Татьяне Михайловне и Нине Дмитриевне — угостить их стихами.

Вечерами, сидя в темноте на нарах, мы много говорили о судьбах литературы, о поэзии, читали друг другу и свои стихи.

Пришло письмо из дома, в нем открытка, написанная почерком Бориса Леонидовича, — несколько теплых, заботливых слов, без пометки — от кого и откуда, и фотография ее детей.

— Это — Ирочка, от первого брака, а это Митрон, — сияя, показывала она. — Какой большой стал!

Я рассматривала тонкое, задорное личико девушки и пучеглазого мальчика.

— Пожалуй, он похож на Бориса Леонидовича…

— Да, находят, что похож, — кивнула она пушистой головой, — и Борис Леонидович очень любит его…

Рассказы полны бытовых подробностей, овеяны светом прошлого счастья…

Только уже выйдя из лагерей, я узнала, что у Бориса Леонидовича другая жена, что та жила с ним в Переделкине и что Митя-Митрон вовсе не сын Пастернака. Ольга Всеволодовна — «вторая дей-

ствительность», как сказал Борис Леонидович.

Ольга Всеволодовна реализовала в прошлое несостоявшуюся мечту. Это не единственный случай в лагерях, я уже писала об этом.

Об одежде заключенных

— Вы знаете, на воле я занималась этнографией и изучала одежду как один из источников выяснения этногенеза. Племенная одежда — это система символов, сигнализирующая о принадлежности человека к определенной группе и отражающая идеологию этой группы. Цвет, орнамент, покрой — не случайны. В них не индивидуальное, а групповое творчество, как в фольклоре. Род, а позднее поселение носит одежду, как паспорт, — можно по ней узнать принадлежность к роду, определить социальное положение. Одежда шамана, взрослого воина или юноши, женщины замужней или девушки имеет различия, всем ясные, как форма в нашу эпоху.

Я рассказывала Надежде Августиновне об изучении одежды, стоя в очереди перед каптеркой за получением весеннего обмундирования. Очередь была длинная и располагала к отвлеченным разговорам.

— Покрой отстаивался из раздумий, как удобнее и экономичнее использовать материал для защиты от холода и гнуса. Орнаментика и расцветка служат защитой — оберегом — от другой

опасности — духов. Эстетика — слишком большая роскошь, она приходит позднее.

Надежда Августиновна посмотрела насмешливыми голубыми глазами, хихикнула:

— Никогда не представляла, надевая вышитую блузку, что она оберег. От кого она защищает?

— Вероятно, не защищает, а призывает: посмотрите, какая я красивая! — ответила я, смеясь. — Но это рудимент. Эстетика пришла, когда сознание целесообразности орнамента забылось.

Надежда Августиновна запротестовала:

— Я все равно вам не верю! В каждой женщине существует исконная потребность украшать себя. Даже здесь, в этих страшных условиях, меня обрадовал присланный мамочкой халат не только потому, что он удобный и теплый, но и потому, что красивый. С запахом духов… А почему не выдают из посылок одеколон и духи?

— Они думают, что мы выпьем его вместо водки и станем пьяными.

— Господи, какая чушь! И как унизительна эта цензура — что можно, что нельзя… Отравляют единственную радость…

Я вспомнила, как она с детски доверчивой радостью показывала свою первую посылку. Угощала всех конфетами, радостно готовая все раздать.

Стояла в пушистом синем халате, восхищаясь каждой вещью из дома.

— Женщина проявляет себя в том, что и как она носит, — говорила она. — Даже дурацкое и страшное казенное платье стараются переделать, украсить, хотя бы воротничком.

— Здесь что! — усмехнулась я. — Посмотрели бы на Колыме! Пригнали тюрзаков из тюрем, у них никаких вещей, только то, что на себе. Через три-четыре месяца начальство при шмоне руками развело: у каждой баульчик, а в нем и простыня, и комбинезон, и какая-нибудь вышитая блузка. Откуда?? Подбирали мешки, добыли в прачечной хлорки, белили их на снегу и шили. Старые трусы и чулки распускали на нитки и вышивали.

— Ну вот видите! Хотела бы я только знать, как можно эстетически оформить это? — Она указала глазами на маленькую старушку, которая отходила от каптерки, расписавшись в получении обмундирования. Старушка безропотно несла солдатские ботинки 42-го размера и линялое серое платье с синей заплатой.

У раздачи возник шум.

— Ты мне не суй второй срок! — кричала плечистая девушка. — Ты мне дай ботинки первый

срок и мой размер. Я — зазонница. Как я в таких ботинках работать буду? — Она трясла огромными ботинками.

— Не бери на горло! Я тебе объяснила: первого срока нет! Платья есть первого срока, я и даю тебе первого, как рабочей. А ботинок нет.

— Это вам, «придуркам», можно сидеть со вторым сроком, а ты себе небось нашла первого? Да и по ноге? А мне хочешь всучить второго? Я к оперу пойду!

— Пойди, пойди попробуй!

— Преломление социальных отношений в одежде, — едко сказала Надежда Августиновна. — А что получим мы? Теперь ведь не дают ходить в своем.

Заключенным выдавалось казенное обмундирование два раза в год. Осенью — стеганые ватные бушлаты, байковые платки, валенки. Работающим за зоной полагались и ватные брюки. Весной отбирали зимнее обмундирование, давали летнее: стеганую телогрейку, ботинки, платье, сорочку, трусы и пару чулок.

Теоретически, работающие должны были получать новое, а инвалидам доставалось поношенное, сданное прошлый год в каптерку. Часто первого срока не хватало и работающим. Тогда

поднималась перебранка с каптерщицей.

В день выдачи у каптерки обычно образовывалась огромная очередь, все стараются захватить пораньше, пока не разобрали другие. Получившие бегут в бараки, примеряют платье — «перемахнем»? Меняются, подбирая подходящее по размеру, — ведь выдают как придется. Бегут в инвалидный барак, просят неработающих переделать, сами удлиняют или укорачивают, добывают белые лоскутки на воротнички. Весь выходной день, к которому приноравливают раздачу, лагерь возбужден и занят обновками.

Но не всегда это радостное возбуждение.

Через год давали зимнее обмундирование. Открыли двери каптерки, выстроилась очередь.

Что такое? Почему рядом с каптерщицей и ее помощницей поставлен еще стол и сидят двое? А на столе банка с густой хлоркой. Очередь недоумевала. Разнесся слух — будут клеймить одежду номерами. Неужели правда?

Начали выдачу. Получает бушлат, расписывается, но его не выдают на руки, а перекидывают к следующему столу. Там списки.

— Как фамилия? — спрашивает сидящая.

— Аникина.

Она ставит в списке галочку. Вторая за столи-

ком переворачивает бушлат и на спине выводит хлоркой: А-285.

— Подставляй подол платья!

Аникина ахает:

— Что это? Что за издевательство?

— Не издевательство, а приказ. Вся одежда должна быть пронумерована. Бушлаты и телогрейки — на спине, платье — сбоку.

Она хлоркой выводит номер на платье.

— Следующая! Как фамилия?

— Дынина.

На бушлате ставят номер: Д-842. На платье и платке тот же самый номер.

Очередь перешептывается. Получившие утешают друг друга:

— Ничего, можно на это место заплатку пришить.

— Как жалко — новые бушлаты, нельзя было не взять.

Очередь начинает редеть: лучше перезимую без бушлата, чем с номером на спине, — шепчут отходящие.

Но на поверке зачитывают приказ: «С завтрашнего дня все зэки обязаны ходить в нумерованной по форме казенной одежде. За выход из барака в вольной или ненумерованной одежде — двое

суток карцера. Обращение к зекам начальственного и вольнонаемного состава — по указанному на одежде номеру».

Стояли подавленные. Многие вытирали слезы. Как быть? А через день бригады строем шли на работу. На спинах белели вытравленные хлоркой номера. Смотрели и плакали: «Даже у лошадей и коров есть имена, а мы — вещи нумерованные».

— Не могу я смотреть на эти номера, так и кажется, что в фашистском лагере опять — там с номерами ходили.

— Страшно!

— Что дальше будет?

Вернувшись из-за зоны, сообщили: видели на разгрузке вагона бригаду мужчин. Тоже все нумерованные — на телогрейках, на брюках, на шапках. Один крикнул нам:

— Майданек! — (Конвоир его за это прикладом.)

— Страшно!

Я, собственно, не понимала, почему именно нумерование сблизило в сознании многих наш лагерь с фашистским? Почему номер так страшен? Равнодушно подставила подол платья, взяла бушлат. Осмотрела свой номер: Г-398. Что значит буква и цифра? Этот вопрос появился у

многих. Стали искать объяснений: как построена нумерация? Нашлись грамотные статистики — растолковали: в картотеке лагеря фамилии стояли по алфавиту. Так и взяли букву. Номера, можно убедиться, или совпадают с первой буквой фамилии, или с близлежащей. На каждую букву цифрами обозначают тысячу человек. Потом в следующую букву. На «К», это общеизвестно, всегда много фамилий. Оказалось, больше тысячи, и они захватили «Л».

Обрадовались, будто это легче. Загордились все: они думали, что нас задурят! А мы больше узнали. Знаем теперь, сколько тысяч сидит в Темниках: последние номера на «Щ». Послали «ксиву» (письмо) на центральный лазарет, проверить, совпадает ли. Вернувшиеся с лечения привезли ответ: точно, совпадает!

Есть неудержимое стремление у людей что-то выяснить в своей судьбе, постараться приоткрыть хоть какую-то тайну тех, распоряжающихся нами.

Еще о рукописях

Рукописи лежали в чемодане с двойным дном. А потребность писать дальше подсасывала, как голод.

Стих выковывает переживаемое в формулу. В стихе я давно научилась обходиться без записи. Проза дает свободу расположиться во времени, тут запись необходима. Шли мысли о юности, о становлении человека исследователем, о первых экспедициях. Они были в записях и возродили привычку связывать мысль с бумагой. И уже трудно было отказаться. Но как укрыть записи?

Нары нашей бригады стояли подряд. Я — в углу у стены. На соседней со мной вагонке долгоногая Марийка. Она тихонько вышивала, все думала о маленькой дочке, что осталась на Львовщине. Дальше — Лена Борис с Волыни, Оленка-гуцулка, Рузя и Галя. В наших я уверена — не сболтнут, что пишу. Может, и можно, лежа в своем углу, записывать дальше, хоть наметки?..

Раз, откачав норму воды, мы возвратились в барак. Девчата, сидя на нарах, занимались своими делами. Я лежала в углу с карандашом и клочком бумаги.

Вошла Свидерская, толстоногая и толстозадая женщина, о которой говорили: стукачка! Для чего, если не для осведомительской работы, привезли здоровую, крепкую бабу на полуинвалидный лагпункт? Зачем она ходит по баракам и со всеми заговаривает? В лагерях трудно что-нибудь скрыть, «параши» быстро разносят новости.

На 10-м лаготделении скоро открыто стали говорить ей:

— Катись, Свидерская, нечего тебе делать в нашем бараке.

Она оборачивалась и, крикливо пререкаясь, уходила, тряся толстым задом.

Эта вот Свидерская сунула нос и неожиданно вошла к нам в барак. Сказала мне медовым голосом:

— Письма пишете? Говорят, сегодня почту будут раздавать…

— Не лазь по чужим баракам, Свидерская, — сурово сказала Лена Борис, — нам тебя не треба.

Свидерская, ворча, утряслась из барака.

— Худо, — покачала головой черноглазая Оленка. — Видала, падла, что вы не письмо пишете.

— Байдуже! — ответила Рузя. — Не посмеет стучать, слишком явно будет, ведь никого, кроме нее и нас, в бараке не было.

— Не сразу и настучит.

Прошло с неделю.

Вечером, перед отбоем, надзиратели пришли в барак и подошли к моим нарам.

— Индивидуальный обыск, — сказала надзирательница, ощупывая меня, — следуйте за мной.

Надзиратель остался рыться в тумбочке и под нарами, а она повела меня в кабинет начальника режима.

Там стояли принесенные из каптерки мой чемодан и рюкзак.

— Произвели личный обыск заключенной? — спросил важно начальник режима, одергивая под ремнем гимнастерку.

Надзирательница сказала:

— Осмотрела всю, товарищ начальник. Ничего не найдено.

Он смотрел оловянными глазами:

— Произведите обыск вещей.

Надзиратель вошел:

— Ничего нет, товарищ начальник.

Присоединился к надзирательнице. Она вытряхнула на пол содержимое рюкзака. Щупали каждую тряпку. Я неподвижно стояла у дверей. Косой, низкий солнечный луч прошел за окном по дорожке. Шумно верещали воробьи, у них шло

вечернее совещание. Я — неподвижна. Мелкая дрожь под коленками и сухие губы.

— В мешке ничего нет, товарищ начальник!

— Приступайте к осмотру чемодана. Отодвиньте его. Заключенная, соберите барахло в мешок.

Стараясь, чтоб незаметно было, как дрожат руки, я засунула вещи в рюкзак. Опять выпрямилась.

Присев на полу, надзиратели пересматривали и выкидывали все из чемодана. Начальник режима, поскрипывая сапогами, прошелся по кабинету.

— Ничего нет, товарищ начальник, — сказал надзиратель, поднимаясь и захлопывая крышку чемодана.

Начальник удивленно остановился:

— Не нашли?!

— Ничего нет, точно.

Молчание…

— Убирайте барахло. — Начальник с силой поддал деревянный чемодан ногой, так что тот перелетел к двери, ударился о порог. Звонко, с треском, лопнуло фанерное дно.

И по кабинету, по порогу и за порог разлетелись бумажные листья.

— Вот! Ловите! — крикнул начальник режима.

Надзиратель бросился за дверь, ловить листы по дороге, надзирательница хватала их на полу, будто и тут они могли исчезнуть. — А-а! — торжествовал начальник. — Целый склад! Видали, чем занимается? Следствие разберет, что за бумаги… Раз-бе-ре-ет!

Ему уже виделся орден за открытие нового дела. Оловянные глаза блестели.

Я стояла деревянной чуркой, крепко сжав мышцы лица. Я уже испытывала раньше: холодная лягушка шевелится под ребрами, на ладонях пот, ноги ватные. И чувство пустоты. Но не показать…

— В барак! — сказал начрежима. — Отбой был.

Надо идти спокойно. Не дать гаду радоваться… Надо дойти до барака совершенно спокойно…

Барак встретил меня напряженным молчанием. Не спали, но ни одна не подняла головы — в лагерях не расспрашивают. Я прошла в свой угол, разделась, легла на нары. Напряженные глаза девчат смотрели на меня.

— В последний момент он ударил ногой, и дно лопнуло, — тихо сказала я, — рукописи рассыпались.

Рузя и Галя побледнели. Темные глаза Оленки стали совсем черными.

— Святый Боже! — прошептала она.

— «Мордовка» сгребла их лапами в кучу и бросила в чемодан… А он — прямо лопался от торжества… — Я отвернулась к стене. Умение уйти в небытие, закостенеть — спасительно для арестанта. Оно вырабатывается…

Впереди была ночь опустошенности. Надо ее пережить… Не думать…

— Мару! — тихо позвала Рузя. Стала что-то шептать лежавшей рядом Марийке. Не поворачиваясь, я слышала, Марийка взяла подушку и одеяло и перешла куда-то. Рузя легла рядом со мной. По дыханию мы обе знали, что ни одна не спит. Я — как ощипанная птица. Ощипали живую… Молчу. Идет ночь. Рузя приподнялась и наклонилась послушать. Боится, жива ли? — подумала я машинально.

Не спросив ни слова, она опустилась на подушку. Ночь шла. Барак спал.

На нары беззвучно вползла Галя.

— Иди спать, Рузя, теперь моя очередь… — прошептала она.

Им предстоял день тяжелой работы, но они не спали, дежурили по очереди, чтобы не оставить меня одну. Знали: иногда к человеку подступит такое, что одиночество непереносимо. Но

трогать, говорить с человеком не надо. Только следить: не придется ли помочь?

Милые мои девочки, мне помогла, навсегда стала опорой и помощью их молчаливая вахта в ту ночь.

* * *

Утром вызвали к оперуполномоченному.

В кабинете, заполняя диван, лежала груда листов и обрывков тетрадей.

Оперуполномоченный, поднимая глаза от стола, сказал:

— Почему не выполнили приказ? Я вам зачитал приказ, что писать запрещено. А вы продолжаете писать. Вот! — Он жестом показал на диван.

— Я вам тогда принесла чистовики, думая, что это на просмотр. Черновики остались у меня. Вы можете сами убедиться, что это черновики сданного.

— Почему их не сдали?

Я посмотрела ему в глаза и сказала не казенным, человеческим тоном:

— А вы можете себе представить автора, который не постарался бы сохранить плоды своей работы? Не могла же я, своими руками, принести уничтожить то, что делала годы… Так поступил

бы каждый. Разве вы не понимаете?

— Пожалуй, понимаю, — медленно согласился он. Встал, взял наименее порванную тетрадь, перелистал. — Действительно, черновик сданного… Но ведь вам обещали вернуть по окончании срока…

— Ну кто мне их вернет? Если бы они еще оставались на лагпункте. А из управления… — Я пожала плечами. — Следователь в тюрьме сжег весь мой научный архив; неужели будут хранить эти рукописи?

Он, видимо, не был кадровым энкавэдэшником, этот светлоглазый офицер, — человеческое понимание встало в комнате.

— Я обязан вас наказать за нарушение дисциплины, — сказал он, раздумывая.

— Понимаю. Но, гражданин начальник, не отправляйте эти рукописи в управление! Мне осталось полтора года до окончания срока, если они будут у вас, я, может, действительно смогу получить их при освобождении, а там… — Я махнула рукой.

Он долго молчал.

— Хорошо… Я их не отправлю. Если буду еще здесь, отдам вам при освобождении… Те тетради я прочел с интересом.

Он посмотрел на меня с добрым мальчишеским любопытством. Он явно не верил, что я враг народа, что справедливо лишить меня возможности писать. Ему, пожалуй, хотелось бы расспросить о написанном, сказать свое мнение, не как оперуполномоченному, а как читателю… Но он только дружески улыбнулся:

— Можете не волноваться, все будет цело…

— Спасибо!

— За нарушение дисциплины я отдам приказ — трое суток карцера с выводом на работу… Можете быть свободны…

Я ушла.

Карцер с выводом на работу? Это почти формальное наказание: целый день ходишь по лагерю, как и все, питаешься не штрафным, а обычным пайком, с бригадой; после поверки отправляешься в карцер, захватив с собой постель, а утром опять выходишь на работу. Начальник режима был явно разочарован.

Но что я буду делать с бумагами, если и получу их при освобождении? Ведь они теперь груда оборванных листов, так перепутанных, что вряд ли я смогу разобраться, когда забуду. Разорванные странички…

Недели две я раздумывала, наконец решилась:

пошла к нему на прием.

— Гражданин начальник, вы не отправили мои рукописи в управление?

— Нет, я же вам обещал оставить их у себя, — удивленно сказал он.

— Да, спасибо. Но они превращены в такую кашу, что я боюсь, что через полтора года уже не смогу их разобрать, если их так оставить. Да и вам удобнее хранить их приведенными в порядок.

— Я не имею права выдать их вам на руки, и у меня нет времени, чтобы вы в кабинете приводили их в порядок, — сухо сказал он.

— Это я понимаю. И не решилась бы просить вас об этом. Но быть может, можно посадить меня в карцер и туда принести рукописи? Там я за два дня все бы разобрала и перенумеровала страницы.

Он посмотрел озадаченно, а потом расхохотался:

— Рацпредложение?

— Ну да!

— Посадить без вывода, с карцерным режимом?

— Разумеется!

— Ну что же, я согласен! Сегодня напишу приказ. Завтра с утра пораньше вас возьмут в карцер

и принесут рукописи. Когда кончите разборку, скажите надзирателю.

— Большое спасибо!

В восторге я отправилась в барак. Двое суток сидела я в карцере, разложив по нарам всю груду бумаг и приводя их в порядок: нумеровала, делала пометки, перечитывала стихи, чтобы лучше запомнить их наизусть.

Изредка заглядывал надзиратель:

— Тебе ничего не надо? На прогулку в карцерный двор велено выпускать, когда захочешь.

— Да мне некогда гулять!

— А кипятку тебе принести?

— Спасибо!

Вечером щелкнул замок. Надзиратель вошел с подушкой и одеялом:

— Велено дать постель.

Я сидела за бумагами, пока не стало совсем темно, торопилась. Приказ только на два дня, вдруг да не успею разобрать.

Кончила к вечерней поверке второго дня. Заявила, когда в карцер пришли с поверкой. Рукописи забрали.

— Велено сразу отпустить.

Я, с подушкой и одеялом, отправилась в барак.

Со смехом встретили меня девчата. Побежала

в полустационар рассказать друзьям. Там волновались.

— Что это значит? За что опять карцер? — спросила Таня. Я рассказала. — Бывают же и среди них порядочные люди! Так и разрешил, пока не кончишь?

— Видимо, да. Надзиратели предупредительны были чрезвычайно.

— Может, и правда отдаст при освобождении.

— Если будет здесь. Где еще мы-то за полтора года окажемся, могут заслать к черту на рога.

— Во всяком случае, сейчас это здорово, а будущее когда будет!

Все радовались со мной.

О путеводной нити

Читаю записки о немецких лагерях Марии Рольникайте «Я должна рассказать» («Звезда». 1965. № 2–3) и «Я пережила Освенцим» польской писательницы Кристины Живульской.

Бесспорно, это значительно страшнее того, что я видела в советских лагерях. Разница в том, что немецкое государство открыто рассматривало пленников как рабочую силу, по использовании подлежащую уничтожению. В советских лагерях долго сохранялась фразеология — «изоляция от общества в целях исправительно-трудового воспитания». Устаревшая эта фразеология вступала в явное противоречие со сроками в 15–20 лет, которые стали обычными, — где уж тут говорить о перевоспитании — и с условиями существования, о которых уже писали А. Солженицын и Е. Гинзбург-Аксенова.

Формы заключения в советских лагерях многообразны, как круги Дантова ада. А. Солженицын рассказывает о круге, превратившем русского солдата в рабочую машину государства.

Иван Денисович — родной брат Василия Теркина, но постаревший в тяжком опыте. От Васиной

удали остались умение и лихость в труде, от насмешливого оптимизма — жизнеутверждающее благодушие. Он идет сквозь лагеря, как сквозь буран, упорством побеждая стихийное бедствие.

Е. С. Гинзбург-Аксенова пишет о тюремном круге, целью которого было не использовать рабочую силу, а разломить верхушку Коммунистической партии.

В тюрьме и этапе эту верхушку, кроме физиологических страданий, потрясал ужас недоумения: какое колдовство превратило заботливую мать-партию в уничтожающую мачеху? Как случилось, что они, коммунисты, в советской тюрьме?

Быстрым пером журналиста Евгения Семеновна очерчивает разнообразных женщин, связанных общим вопросом — как мы попали сюда? И воспоминаниями прекрасного прошлого. В этом беспощадном круге они мечутся в попытках осознать — что же произошло?

В темниковских лагерях был иной круг: здесь не было задания смолоть в порошок, которое ощущали тюрзаки; не было и прямого уничтожения отработанной силы — как в мусорный ящик, в темниковские лагеря сбрасывали физически малоценный материал, нерентабельный для северных лагерей.

Психического раздавливания не требовалось: даже бредовому сознанию НКВД было ясно: это масса, не представляющая опасности. Из нее, сколько могли, выжимали работу на швейной и деревообделочной фабриках и сбрасывали в инвалидные подразделения.

На 10-м лагпункте были женщины 28 национальностей. Равно беззащитные. Чужестранки были готовы к тому, что будут уничтожены. Люди советского воспитания надеялись выжить, меньше верили в реальность назначенных сроков. Впрочем, все учились не думать о сроке. Отличие лагерного сознания от обыкновенного в том, что лагерник теряет ориентир во времени. Заключенный в очень ограниченном пространстве, он и время воспринимает ограниченно — в отрезке дней. За ними следует неизвестность.

Человек, управляющий своей жизнью, обязан думать о будущем. Лагерник не распоряжается собой и не имеет будущего. Тем острее воспринимает он настоящее, легче готов прийти в хорошее настроение от малейшей удачи. Живульская описывает, какую радость даже в Освенциме доставлял случайно лишенный страданий день, выпавший отдых. «Все внимание, все мысли направлены только на то, чтобы „спокойнее“ про-

жить день», — пишет она (с. 35). Но, уверяя, что нет других мыслей, что они стали «полуживотными», она тут же пишет о необычайно острой радости попасть на берег реки Соны, любоваться природой, чувствовать ее. Она пишет: «Бывало, мы часами сидели, не проронив ни слова, отупевшие, не думая ни о чем…» Но это неверно! Они продолжали и думать, и чувствовать, только в глубине, вне власти дневного сознания.

Она спаслась от смерти прежде всего потому, что сумела эти переживания обратить в стихи. Человек не знает меры своих нервных сил. Напряжением нервов и воли можно преодолеть то, что кажется невероятным осилить.

Но надо уметь организовать эти силы. В индийской культуре, видимо, учатся, что делать системой упражнения воли. Во всяком случае, они достигают необыкновенной власти над телом, чему пример — Ганди. Европейцы не знают этого.

Но, поставленные в безмерное напряжение, ищут выхода. Один из таких выходов — овладение ритмом, в слове или музыке. Стих становится необходимостью, чтобы выжить. Об этом свидетельствуют из разных кругов ада XX века.

Кристина Живульская пишет: «Никогда прежде

я не писала стихов. Но так трудно было переносить апель (поверку) и безумное выстаивание на лугу. В уме я стала подбирать рифмы. Нечем было, да и не на чем записывать их. Первая придуманная строфа подбодрила меня. Я прочла вслух самые простые слова, вырвавшиеся из глубины сердца» (Кристина Живульская. Я пережила Освенцим. Изд-во иностранной литературы. М., 1960. С. 56). Она приводит много стихов, что читались по лагерям.

В другом немецком лагере другая девушка выжила и тоже написала о своих стихах: «А писать необходимо и шуточное, и серьезное. Если мой „Штасенгофский гимн“ тайком распевают даже незнакомые, даже в других блоках лагеря, значит — он нравится людям» (Мария Рольникайте. «Звезда». 1965. № 3. С. 110).

О советской тюрьме Евгения Семеновна Гинзбург пишет: «В ужасных условиях карцера спасла только сила, уводящая на свободу, — стих.

Пусть же беснуется, воя,
Вся вурдалачья рать,
Есть у меня вот такое,
Что вы не в силах отнять!

Да, этого (стихов) они отнять не в силах. Все

отняли: платье, туфли, гребенку, чулки. Бросили на мороз почти голую. А вот этого не отнимут! Мое со мной, я и пересижу карцер». Она бы не выдержала, если бы не стихи, свои и чужие, которые говорила.

На Колыме я прочла стихи дистрофикам, направленным в больницу с лесоповала:

Что же, значит – истощенье?
Что же, значит – изнемог?
Страшно каждое движенье
Изболевших рук и ног.
Страшен голод… Бред о хлебе…
«Хлеба, хлеба» – сердца стук.
Далеко в прозрачном небе
Равнодушный солнца круг.
Тонким свистом клуб дыханья…
Это – минус пятьдесят.
Что же? Значит – умиранье?
Горы смотрят и молчат.

Оля Журавлева, которая неподвижно сидела на нарах, без сил, подняла руки к лицу и стала плакать. Плача, сказала:

— Это правда, это все правда, именно так, как

вы сказали! А оттого, что вылилось в стих, мне стало легче. Боль вышла из меня и не так давит. Я могу теперь плакать… Мне легче…

Боль, выраженная в слове, в песне, как бы отходит от человека. Это для многих.

Фольклористы составили сборник «Песни плена» о немецких лагерях. Там приведены строки:

Мама, выйди утром рано,
Рано утром на заре…
Не твоя ли дочка плачет
В белой каменной тюрьме?

Они думали, что это сложили угнанные в плен к немцам советские девушки. Но я слышала это на Колыме в 1937 году. В лагерях там был огромный фольклор, хранивший и наследие царских тюрем, и новое. Пели:

В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,

Своему родному сыну
Передачу принесла…

Приговоренный к расстрелу какой-то уркач сложил и пел в смертной камере песню о себе с припевом:

Раньше был он, раньше был он
Коля Кучеренко,
А теперь расстреляли его…

Из смертной камеры услышанная песня пошла гулять по лагерям.

На пределе душевного напряжения человеку надо вместить его в ритм живого слова. Лишенное записи, оно передается, меняется и в то же время остается нетленной памятью о прожитом. Люди, привыкшие раньше выражать себя письменно, становились носителями фольклора и его создателями. Неправдоподобные, бессмысленные, с точки зрения здравого смысла, страдания легче выдержать, уходя от трезвого смысла в другие пласты сознания. Поэтому Евгений Винокуров пишет:

Больной лежал я в поле на войне
Под тяжестью сугробного покрова.
Рыдание, пришедшее ко мне,
Вот первый повод к появленью слова.

Земные пределы

Очень тяжел голод души. В лагерях она лишена всего, что питает ее, — любви близких, бытового лада, впечатлений нормальной жизни. Если

душа не найдет собственный, питающий ее корешок, человек теряет себя и тогда не выдерживает и физической тяжести. Для очень многих питающий корешок — стих, песня.

Но бывает и другое питание души: я знала женщину на Колыме. Ее дело было облегчить страждущих, накормить их как можно лучше. В лесу, километров за десять от всякого жилья, стояли барак и отдельная избушка для вольных, бригадира и инструментальщика. В бараке жили пятьдесят заключенных женщин, которые работали на лесоповале. По бокам барака — нары. Посредине — железная круглая печка-бочка и вторая печка с вмазанным котлом. Тут готовили пищу, топили снег на плите, так как ручей замерз — стояли морозы. Поварихой была маленькая, худенькая женщина, которая решила, что должна, как может, поддерживать силы других. Она растапливала снег, вымачивала в этой воде соленую рыбу, которую давали, без мясорубки рубила ее на котлеты, пекла какие-то пончики из скудно выданной муки, своими силами с осени насушила грибов для супов, замочила бруснику. Из скудного арестантского пайка она умела приготовить еду, которую ели с удовольствием. Похваливали: «Спасибо тебе, тетя Паша!» И глаза

ее сияли. Она делала работу, вкладывая в нее всю жалость к этим женщинам. Это был подвиг и питание ее души.

Я встречала людей в лагерях, которые проносили научную мысль, и она держала их. Врач писал из лагерей в ссылку сестре: «Я знаю, что ты не можешь достать настоящих покровных стекол, но пришли мне пластинки слюды, которые употребляют в керосинках, — я сделаю из них покровные стеклышки. Сделай это ради блага человечества, потому что, кажется, я открыл рак». Мечта, выношенная ночами, казалось ему, уже готова осуществиться. И эта путеводная нить вела и поддерживала тут, в лагерях.

Продолжаю читать Кристину Живульскую. О, конечно, в советских лагерях было много легче. У нас не бросали людей в крематории, не убивали в газокамерах.

Но как похож, как страшно похож быт тех и других лагерей! Ведь, как и у нас, в Освенциме были клумбы цветов, и белый домик у них, там, где расстреливали и пытали, был весь увит цветами.

Те же поверки, тот же счет по пятеркам, двойные и тройные нары, колючая проволока, создание привилегированных команд, что работают, не голодая. И такое же сознание людей, у которых

нет «завтра».

Из мира безумия спасало умение уйти в себя. Живульская без конца пишет о стихах. А Елена Михайловна Тагер писала о Колыме:

Сверкала морозная чаща,
Когда кочевали вдвоем
Слепое несчастие наше
И зоркое горе мое.

Зоркость — это сознание, сумевшее овладеть ритмом.

Праздники и будни

НКВД сталинской эпохи, продолжая традицию царских тюрем, опасался политических выступлений в определенные дни: перед октябрьскими и майскими праздниками. Тогда шли массовые аресты, тюрьмы заполнялись новыми заключенными. В лагерях в эти дни соблюдали особо строгий режим: запрещалось ходить из барака в барак, на ночь запирали, не выпускали даже в уборную. По лагерю патрулировали усиленные наряды надзирателей, в столовую водили под конвоем.

Кому пришла мысль опасаться восстаний именно в эти дни? Кто и почему в эти дни мог выступать? Это осталось неясным, но приказ соблюдался. Перед праздниками был обязательный шмон — тщательный ночной обыск. Входили группой, начиная с разных концов барака. Обязанность надзирательниц была ощупать каждую, раздетую до рубашки женщину, осмотреть волосы и тело. Надзиратели перетрясали постели и тумбочки, смотрели за нарами и под нарами. Заключенным в лагерях не позволялось иметь режущие и колющие предметы — ножи, вилки,

ножницы, иголки.

Во время обысков их отбирали. У зэков, конечно, были и самодельные ножи и лезвия бритв — как без этого отрезать хлеб или кусок колбасы из посылки? Были иголки и ножницы. Как без этого поставить заплату на платье? Если зазеваются, плохо спрячут их, во время неожиданного, внеочередного обыска все становилось трофеями надзирателей. Перед праздниками знали, что будет обыск, и недозволенное выносили из барака — в баню, кипятилку, уборную. Обыск был недобычлив, его делали лишь для угнетения психики, унижения — к обыскам трудно привыкнуть.

В праздники женщины сидели на нарах подавленные: на работу не гонят, а сделать что-нибудь для себя — постирать, пошить — нельзя, ходят надзиратели. Кое-кого из молодых, не знавших других праздников, кроме советских, угнетало сознание: «Все празднуют, а мы нет, мы — отщепенцы». Но большинство к этому оставались равнодушны.

Национальности, недавно приобщенные к жизни советской страны, — литовки, латышки, западные украинки — были особенно равнодушны, потому что помнили свои праздники. Старались их соблюдать: Святки, Пасху, Троицу.

Наша украинская бригада отмечала дни рождения друг друга: новорожденной приносили «дарунки» — торт, сделанный из черного хлеба (варенного с сахарным песком), украшенный узором конфеток и бумажными цветами; какую-нибудь вышивку, футляр для расчески или подушечку для иголок. Утром новорожденная находила подарки у себя на подушке, а после работы друзья ее собирались пить чай с «тортом». У кого остались на воле родные, они старались отправить посылку к Рождеству или к Пасхе. Каждая национальность праздновала по-своему. Собирались небольшими группками, чтобы не заметили надзиратели. Барак не видел собравшихся, в лагерях умеют уважать чужие секреты. Перебегали тени из барака в барак в «Святый вечер». На Западной Украине «Святый вечер» — сочельник — справляли торжественно. Мне рассказывали девчата: дома устилали в этот день полы хаты душистым сеном. На стол ставили двенадцать перемен еды, по числу апостолов. В хлев ходили угощать хлебом скотину, сыпали ей лучшего корму, досыта кормили даже собак, потому что, если обидеть животных, они в этот вечер «Богу жалуются». Молодежь бегала по селу, колядовала. Им очень хотелось хоть чем-нибудь вспомнить

дом в этот день. Барак не устелишь сеном, но «шматок» его старались притащить из-за зоны. В дальнем углу на нарах делали стол, снося каждая, что получила в посылке. Тихими голосами пели рождественские коляды. И какая-то торжественность воцарялась над лагерем. К пасхальной неделе каптерка была переполнена посылками. Сияя, разворачивали девчата великолепные писанки — яйца, крашенные по правилам древнего гуцульского искусства: яйцо натирают воском, иголкой соскабливают воск, выводя узор, и окунают в краску. Вынимают, замазывают воском окрасившиеся узоры, иголкой выводят новую часть узора и окунают в иной цвет. Так получают многоцветный тончайший узор. И весь лагерь любовался писанками. Лучшие были из Космача, этот район славится на все Карпаты своим искусством. Сколько гордости и радости показать такие яйца. Вполголоса, но неутомимо звенели пасхальные напевы украинок. «Монашки» в своем бараке тихо пели «Христос воскресе из мертвых». Эстонки, литовки, латышки собирались вместе, справляя свои, как дыхание дома, праздники. Не имели их мы, денационализированная, ушедшая от быта советская интеллигенция. И поэтому острее и безнадежнее чувствовали будни.

Будни темниковских лагерей. Лагеря эти не в дальнем необитаемом крае, не на глухом севере и не в безлюдной Азии, они в центре Европейской России. В них нет героических заданий стройки, на которой, как шпалы на железной дороге, тесно ложились мертвецы. Такая «мертвая дорога», от Воркуты до Енисея, описана в «Новом мире» Побожим. Там, в ослеплении бесцельной героики, рвались вольные люди; молча погибали тысячи заключенных. Это не Колыма, где смалывали людей на добыче золота, не Караганда, где дробили их на угле. Один день тех лагерей правдиво и мудро описан был А. Солженицыным. Он не забыл даже приходившего иногда увлечения работой, стихийного, не озаренного пониманием — ради чего работа? Увлечение Ивана Денисовича, выработанный до лагерей условный рефлекс труда, строительный бред. Но даже его были лишены заключенные в Темниках. Их использовали: женщин на швейной, мужчин на деревообделочной фабриках. Они должны были по десять-двенадцать часов шить штаны и бушлаты или делать мебель. Они работали по конвейеру со всей напряженностью механизированного труда, но в условиях крепостных мануфактур. Их не замораживали, не расстреливали, не замаривали

голодом. Давали паек, при котором можно существовать и, при таком труде, неизбежно получать туберкулез или дистрофию. Тогда отправляли подлечивать в больницу, потом на инвалидные лагпункты. Тут теплились жизни, как сырые дрова: не горят и не тухнут. Сидят в сознании полной бессмысленности того, что с ними делают. Зачем нужны стены колючей проволоки, ослепительные прожекторы на вышках, бегающие на цепях зло обученные овчарки? Зачем патрули солдат, бдительность надзирателей, поверки, обыски, хождение строем? Больные и старые женщины, съежившись на нарах, перебирают и латают свои тряпки, вяжут ветошь. Немного более здоровые силятся обслужить себя и вполне немощных инвалидов. А гигантская машина, смоловшая их, продолжает вертеться, разминая, как охапки травы на силос, тысячи человеческих жизней, превращенных в мусор истории.

Трава размалывается. Овцы идут на бойню и умирают. Люди, оторванные от близких, лишенные здоровья, человеческих прав и привязанностей, все еще продолжают существовать.

Куда и зачем несется искрошившая их машина — Государство? Они не знают. Они продолжают существовать. Или питаясь смутной инстинктив-

ной надеждой на перемену. Или выискивая себе путеводную нить, манящую их целесообразностью индивидуального бытия.

Окончание срока заключения

Как веревочка ни вейся, а конец бывает.

Пора мне кончать эти записки. Пора выходить из внутреннего затвора, на который я себя обрекла, погружаясь в лагерные воспоминания.

Нас не пересылали с 10-го лаготделения. Три с лишним года я прожила там, по милости судьбы не разлучаясь с ближайшими друзьями. Наступил конец назначенного Особым совещанием срока. Мы уже знали к этому времени — на волю из спецлагерей не выпускают, по окончании лагерного срока этапом отправляют в ссылку, на вечное поселение.

Проскакивали сквозь цензуру кое-какие письма. Переписка разрешалась только с родными, но вести от окончивших срок доходили. Печать красноярской почты указывала вероятное направление и для следующих.

Меня не очень радовало освобождение: разлука с друзьями щемила сердце, вставал перед глазами тяжелый зимний этап. Слишком хорошо знала я, что такое пересылка.

— Может, зимой лучше, чем летом, — утешали

меня, — клопов меньше и не так душно.

— И духоты, и клопов хватит, но прибавятся морозы, невозможность раздеться, постирать. А проедем — может, месяц, может, два.

— Надо готовиться…

Написала домой: пришлите ваты. Прислали, недоумевая: зачем тебе? Ведь скоро конец.

Лежа на полу, мы стегали ватное одеяло. Кто-то дал мне свои шубные чулки:

— В этапе-то нужнее, здесь отсижусь в бараке.

Другая связала варежки:

— Не в ватных же ехать! И главное, в Сибири ходить — все-таки вольная.

Улыбались тревожно: что меня ждет?

Оставались считаные дни до конца. Таня Шатерникова попросила принести из каптерки мешок. Порылась в нем, с торжеством показала черное шелковое платье:

— Уцелело! Из большого-то сделают на тебя.

Швейницы подтвердили:

— Сделаем. Вольняшке необходимо приличное платье — мало ли что будет!..

За два дня до окончания срока узнали: пришли документы на нескольких женщин.

Меня вызвал оперуполномоченный.

— Я обещал вернуть рукописи, — сказал он. —

Если хотите, верну. Но не советую, их могут отнять у вас при первом же обыске на пересылке. Я предлагаю, если доверяете, оставьте мне. Приедете на место, сообщите адрес, я вышлю почтой.

Я поняла, что он прав, — рукопись неизбежно отнимут в этапе. Он смотрел на меня прямо и внимательно. Ждал.

— Хорошо… У меня это действительно единственная возможность их сохранить. Я верю, что вы пришлете.

Чуть улыбнулся, спрятал улыбку, сказал:

— Обещаю. Можете быть свободной.

Нарочно жестко и твердо, чтобы не расслабить пружину.

Забегая вперед, должна сказать: он выполнил обещание. Не только послал рукописи, но и дал телеграмму, уведомляющую об их отправке. Благодаря телеграмме смогла я их получить от местного начальства. Мне хотелось бы, мне очень хотелось бы назвать его фамилию! Но… я нигде не называю фамилии без согласия людей, которым это может повредить чем-нибудь. Верю, что настанет время, когда смогу громко сказать спасибо этому человеку.

В бреду НКВД вдруг попался человек, а не робот, исполняющий приказания, и не садист, которого

пьянит власть. Пусть я не могу сейчас сказать ему спасибо, пусть память о нем останется хоть будущим читателям.

Настал последний день. Объявили: завтра, после развода, мы, три женщины, должны быть на вахте с вещами.

Готово мое черное платье. В нем хожу по баракам, прощаюсь. Меня осматривают с тревожными улыбками.

— Ну, покажись, вольняшка!

— Ну, дай тебе Бог!

— Ссылка все-таки лучше, чем лагерь…

— Лучше ли?

Как трудно расставаться с друзьями! Как обступает одиночество…

Темнеет. Идет снег. С Рузей мы ходим и ходим по зоне.

— Рузя, ты помни: нельзя подходить с национальной меркой, как вы подходили. Нельзя ненавидеть. Есть вещи, достойные ненависти, перед ними нельзя склоняться, их не надо бояться, но нельзя тратить силы на ненависть. Это ведет к душевному бесплодию и принижает. Понимаешь?

— Я знаю, я помню, пани Нина, что вы говорили.

— Самое важное не закиснуть; чтобы не заросли мозги, надо здесь учиться не переставая. Учитесь английскому языку, ведь есть преподавательница, она обещала заняться с вами. Найдите, кто бы учил вас математике — этому я не могла вас учить, а это необходимо… Не знаю, встретимся ли мы когда-нибудь, Рузя, но помни, что я всегда буду рада встрече… У вас еще много времени впереди, будет и хорошая полоса. Помни, надо быть готовой войти в жизнь, не потеряв умения думать и видеть новое…

— Я помню, я помню все, пани Нина.

Много мы говорили… Падали белые хлопья. Горели прожекторы на вышках, затемняя звезды. Темными копнами стояли бараки…

— Ну, иди, Рузя, я пойду в полустационар.

Там меня ждали. Поднялась с нар навстречу мне худенькая фигурка.

— Нина Дмитриевна! Дорогая моя, не знаю, как я расстанусь с вами. Так больно, так больно! Страшно за вас… Слава богу, с вами Кэто, но сохранитесь ли вместе все время? И ничего не буду знать…

Она обняла меня, худенькая, хрупкая, говорила, как дочери, уезжающей в неведомое. Слова напутствия… Не слова, худые старческие руки,

которые, чуть дрожа, гладили мне волосы, говорили…

С Таней я и не пыталась говорить, сидели в темноте, держась за руки, думали вместе.

Ударил отбой. Я все не могла уйти — последняя ночь. За занавесочкой на нарах шевельнулась Нина Дмитриевна — хотела и боялась сказать, что надо расстаться, что вдруг застанут меня здесь, в чужом бараке, после отбоя.

— Да, надо идти!

— Ты все-таки постарайся дать о себе знать.

— Уж как-нибудь, да сумею.

— Ты ведь сможешь написать Николаю?

— Конечно. — Я повторила заученный адрес. — Подпишусь: сестра Нина.

— Он поймет и мне сообщит, что было письмо от сестры.

Мы усмехнулись: в лагерях разрешалась переписка только с родственниками, но лагерники всегда понимали друг друга, и мы побратались по переписке с ним.

— Обход, — испуганно прошептала дневальная.

Я скользнула в темноту и за средними нарами незаметно вышла из барака.

Снег блестел под прожекторами. Поднимался

ветер. Пригибаясь, я перебежала в свой барак.

Наутро, как только ударил подъем, в наш барак вошла надзирательница, заторопила:

— На вахту с вещами!

Девочки подхватили мои вещи:

— Прощайте, прощайте…

Последний обыск на вахте. Гудок поезда. Часовой, вскинув винтовку на плечо, провел нас троих в вагон. Мы знали, что ехать недолго — до пересылки на Потьме. Там формируют этап.

Через час поезд остановился.

— А ну, давай вылазь!

Потьма. Та самая, куда мы приехали летом четыре с половиной года назад. Теперь всё в снегу. Снег на колючей проволоке. Снежные шапки — крыши бараков. Часовые в белых полушубках, в валенках.

Провели через вахту.

— Налево!

Деревянное здание, но вроде тюрьмы: коридор, а по обеим сторонам двери с висячими замками.

— Вот-те и вольные, — шепнула спутница, — из лагеря да обратно в тюрьму.

В камере народу, как на вокзале. Сидят на вещах. Вот несколько девушек, которых впустили только что перед нами.

— Из северных лагерей мы — и чего везли? — удивляются они. — Ведь до конца срока у всех меньше двух месяцев.

— А в каких лагерях были? В общих, вместе с бытовиками? — спрашивает, закуривая, какая-то изможденная женщина.

— В общих, на лесоповале.

— Вот оттого и везли: из общих выпускают на волю, а тут спецлагеря, по окончании — ссылка. Значит, вам в ссылку.

Девушки переглядываются и бледнеют:

— Но ведь не было в приговоре!

— Этого в приговоре не ставят. Просто везут этапом из спецлагерей на поселение. И крышка.

— Полно вам, Анна Ивановна, — говорит изможденной какая-то старушка, поправляя белый платочек, — Бог знает, как еще все обернется, может, и выпустят их… Скажите лучше, девушки, вы где были-то?

— На Воркуте.

— А не слыхали ли, случайно, про Громова? Коля Громов, сынок мой, тоже на Воркуте срок скоро кончает… Может, встретили на каком этапе?

Все бесконечно знакомо: расспросы, нары, чемоданная жизнь без завтра…

Я очень устала… от волнений, от ночи без сна.

Отыскиваю свободные нары, подстилаю бушлат, покрываюсь одеялом, кладу рюкзак под голову… засыпаю.

Во сне слышу голос:

— Est-ce qu'il n'y a pas quelqu' un qui parle français? Est-ce qu'il n'y a pas?[20]

Вижу — стройная фигурка с волнистыми каштановыми волосами, темные глаза с пушистыми ресницами, типично французская ортогенность движений — парижанка из французского фильма. Вот так сон!

— A votre service, madame[21], — говорю я, забавляясь неожиданным сном.

— Quel bonheur![22] — восклицает женщина, бросаясь ко мне, и, протирая глаза, я понимаю, что это не сон, на самом деле мне протягивает руку молодая красивая женщина и начинает быстро, почти захлебываясь, говорить по-французски. Она счастлива, что наконец может поговорить, расспросить, что-то понять. Вот уже две недели

---

[20] Примечания: 20

— Нет ли кого-нибудь, кто говорит по-французски? Нет ли кого-нибудь? *(фр.)*

[21] Примечания: 21

— К вашим услугам, мадам *(фр.)*.

[22] Примечания: 22

— Какое счастье! *(фр.)*

ее везут с этапом, она не знает куда, не понимает русского языка и не встретила никого, с кем могла бы поговорить.

— Как вы попали к нам из Парижа? — спрашиваю я, не сомневаясь по акценту, что она парижанка.

Нет, она не француженка, она грузинка. Но выросла в Париже. Арестовали ее в Тбилиси, и следствие шло по-грузински. После приговора вывезли из Грузии, она даже не знает куда.

— Где мы находимся? Что со мной будет дальше? — спрашивает она.

— Сейчас мы в Мордовии, — говорю я горько.

Она смотрит с ужасом:

— А дети? Неужели я не смогу узнать, где мои мальчики, что с ними?

— Узнаете. В лагерях вы встретите много женщин, говорящих по-французски, и грузинок. Я только что с десятого лаготделения, там остались мои близкие друзья, две грузинки из Тбилиси.

Я называю фамилии.

Она оживляется:

— Я слышала эти фамилии от отца. Он сам из Тбилиси.

— Хорошо, если попадете на десятый. Но и на других лагпунктах есть. На шестой, когда мы там

были, пригнали четырех грузинских девушек. Потом их перебросили, кажется, на шестнадцатый.

— Молодые грузинские девушки? За что они сидят? — удивилась она.

— Попали в плен к немцам. Раз выжили, значит работали на немцев.

Она не может этого понять.

— А вы, мадам, долго в лагерях? — спрашивает она.

Я рассказываю о себе и о лагерях. Шутливо рассказываю, стараясь не пугать. Передаю комические сценки. Мы смеемся.

Ударил отбой. Надо укладываться спать. Расстилаю свое ватное одеяло, приглашаю ложиться рядом. Клопов мало, но она стыдливо почесывается. Шепотом, чтобы не мешать другим, мы продолжаем говорить. Она так стосковалась по возможности общения, так рада, что встретила человека, говорящего по-французски…

И я узнаю всю ее историю.

Ее родители жили в Париже. С тех пор как Грузия стала советской, они отрезаны от родины. Дети, она и брат, выросли во Франции, но не забыли Грузию. Отец ее инженер, но его вторая специальность, его любовь — история Грузии. Он сумел внушить эту любовь своим детям. Она,

Лалико, вышла замуж за грузина, который тоже мечтал увидеть родину.

Когда они прочли воззвание советского правительства к эмигрантам — «Родина прощает вас — возвращайтесь!», — они решили уехать. Отец мечтал вернуться к своей работе над «Витязем в тигровой шкуре», он рвался к тбилисским архивам и летописям. Она оживилась, рассказывая, что отец нашел данные об исторических источниках знаменитой поэмы Шота Руставели. Их надо проверить. А ей и мужу так страстно хотелось увидеть неведомую Родину. Напрасно мать говорила, что не ждет добра от этого переезда, чувствует, что семью ожидают страдания. Ее не хотели слушать. Отец шутил над ее страхами, все смеялись. И вот все сделано… Они получили паспорта, все ликвидировано, они радостно собираются, а мать… в последний день мать покончила с собой, оставив записку, что у нее нет сил увидеть и пережить страдания, которые, она уверена, ждут их. Они были потрясены. Но уже нельзя было остановиться, получены паспорта, отправлены вещи. Похоронив мать, они поехали. Отец, муж, она и двое их мальчиков.

Родные в Тбилиси встретили их как-то странно: с радостью, но и с каким-то ужасом.

Они не понимали: почему? Через несколько месяцев поняли: сначала арестовали отца, а потом мужа и ее. Дети у каких-то родных, у кого, она даже не знает. О муже узнала, что ему дали лагеря. За него она меньше беспокоится. Он молодой, крепкий, но отец стар, потрясен смертью жены, винит себя во всем, что случилось с ними, он не выдержит…

Она умела держать себя в руках, эта изящная, хрупкая женщина, рассказывала без рыданий, спокойно и сдержанно. Я понимала, чего это стоит ей. Мы заснули под утро.

А днем меня вызвали на этап. Уходил для меня в прошлое «Темниковский заповедник» — так значилась зона темниковских спецлагерей. Впереди был долгий и трудный этап в ссылку.

Лалико ожидала этапа на какой-нибудь из ближних лагпунктов. Встретит ли она кого-нибудь из своих?

Часть IV. С котомкой за плечами[23]

Как зыби, зыблемые в ветре,
Промчите, дни былой весны, —
Свои ликующие ветры,
Свои целующие сны.

А. Белый

[23] Примечания: 23
Об этой повести идет речь во «Втором туре» и «На Енисее».

До отъезда

Зимой 1918/19 года в Петрограде был создан новый институт, которого не было в царской России, — Географический институт (позже — географический факультет университета). Институту был отдан великокняжеский дворец и соседний с ним особняк Решке. У колыбели института стояли крупнейшие ученые — геологи, географы, биологи, этнографы. В нем объединились люди, которым становилось трудно дышать в городах, когда в просветы между крыш начинали проглядывать весенние облака: им уже хотелось сорваться с места, изучать еще неведомые уголки милого круглого шара Земли.

Главой этнографического факультета стал профессор Л. Я. Штернберг. Профессором этого факультета был В. Г. Богораз (Тан).

Уже летом 1920 года были организованы первые экспедиции, или экскурсии, как их называл Богораз, студентов факультета.

Наступал НЭП. Произошла денежная реформа. Голод отступил, но отступило и то Будущее, которое, казалось, вот наступит завтра.

Я была студенткой и рвалась в поле, в экспе-

дицию, просто так, из жадности все увидеть и узнать.

В предисловии к сборнику студенческих научных работ В. Г. Богораз писал: «Мы устраивали наши экспедиции исключительно из молодежи, на том основании, что учиться работать должна молодежь… Мы старались втолкнуть наших работников в жизнь, как с берега в воду, и заставить их плавать собственной силой и умением… Этнография не живет в кабинетах… Она живет в полевой работе. Мы разбивали наших экскурсантов на группы в два-три человека. Часто один человек — сам себе отряд. Этнография — дело интимное. Изучать колдовство, формы брака невозможно гурьбою».

Один червонец и красный фрак

Окна были открыты. Из сада в Большую аудиторию неслось отчаянное верещание воробьев, затевавших весенние драки. Но студенты не поворачивали голов к окнам: они слушали профессора, сообщавшего о возможностях летней практики. Профессор был толст и подвижен, как мяч. Розовый череп его сиял в белой опушке волос. Голубые глаза его озорно блестели.

— Поехать смогут многие. Денег отпущено маловато, но у нас появился вот этот обменный фонд. Удалось достать из бывшего дворцового ведомства! — Он ткнул пальцем в красную груду, лежащую на полу рядом с кафедрой. — Ливрейные фраки! Красное сукно необходимо для отделки национальной одежды по всему Северу. А его нет. Подарите полосу красного сукна — и будете желанным гостем. Можете жить без денег, на золотые пуговицы, — усмехнулся он. — А теперь подходите проверить у Сережи, кто куда записан. И расписываться в получении фраков.

Студенты столпились, перебирая фраки. Надев фрак, я вскочила на скамейку и закричала:

— Владимир Германович, я не записана! За-

пишите меня в Лапландию! Я очень хочу в Лапландию!

— А где вы раньше были? — повернулся профессор.

— Я думала, это практика только для старших курсов. А теперь обязательно хочу ехать!

— Все хотят экзотики, всем нужен Север! Этнографией можно заниматься всюду, — пылко сказал профессор. — За углом, на канале, стоит баржа с горшками — это уже этнография!

— Горшки сделаны на гончарном круге, о налепе хозяин ничего не знает, — ответила я.

— А вы таки спрашивали? — усмехнулся профессор. — За это запиши ее в Лапландию, Сережа. Но кажется, кто-то уже едет туда?

— Лиза Орлова и Федя Физик, — ответил секретарь Стебницкий, поднимая лохматую голову.

— «М» и «Ж», — пробормотал профессор, — «М» и «Ж» уже есть… Как бы еще одно «Ж» не осложнило работу? А как с деньгами? — спросил он громко.

— Сейчас, Владимир Германович! — Сережа посмотрел списки. — Остался один червонец. Остальные распределены, — сказал он, подводя черту и вставая.

— С этим в Лапландию не поедете? На вашу

долю остались один червонец и красный фрак. Не надо было опаздывать!

— А литер есть? — спросила я.

— Бесплатные литеры на проезд обеспечены по всему Союзу, — гордо ответил долгоносый Сережа.

— Тогда поеду с червонцем и в красном фраке хоть на Камчатку! Записывай меня, Сережа!

— На сколько же времени вы собираетесь на Камчатку? — спросил низкий голос. Студенческая толпа раздалась. Худой и высокий, как бы обугленный, старик поднялся на помост, погладил седую шерсть бороды. — Куда вы направляете ее, Владимир Германович? — спросил он глуховато.

— А куда я смогу направить ее, Лев Яковлевич, когда остался один червонец? — отвечал Владимир Германович. — А она хочет сразу на Камчатку и в Лапландию!

— Ну?!

— Пусть едет! Только не сразу в оба конца, потому что это — уже невозможно.

Размохнатившись, хмурясь, Лев Яковлевич сунулся в списки.

— Вы кидаете их на практику, как в воду щенят, — тихо сказал он, покачивая головой.

— Сильных так и отбирают, — усмехнулся

Богораз, — поплывут! В крайнем случае пускай телеграфируют с места о помощи. Тем, кому быть этнографом, — надо уметь ориентироваться в любой обстановке, остальные отсеются. Нужны нам кисейные барышни обоего пола?

— Не нужны, — кивнул Лев Яковлевич, — но даже лучшим требуется предварительная подготовка.

— А кто знал, что у нас окажутся деньги? — отвечал Владимир Германович, оглаживая белый пух вокруг лысины. — Посмотрим подготовку! Эй! — Он повысил голос. — А ну, скажите, когда вас можно будет считать этнографами?

— Когда скормим фунт крови вшам, Владимир Германович, — весело крикнул молодой баритон.

— Когда научимся в каждой правде отделять двадцать пять процентов лжи, — подхватил другой.

— И усвоим, что каждый этнограф должен быть хоть немного художником, — сказал девичий голос.

— Мы уже этнографы! И мы привезем материал для Великого Шамана, нас обучавшего, — закричали несколько голосов.

Владимир Германович хохотал, широко, как

морж, открыв пасть под усами.

— Вечно вы шутите, Владимир Германович, а в науке необходима серьезность, — укорил Лев Яковлевич.

Столько милой и кроткой серьезности было в его черных, блестящих глазах, что насмешливое племя, шумевшее вокруг, умолкло.

— Достаточно ли у вас бумаги и фотоаппаратов? — спросил он.

Сережа заторопился:

— Аппараты — по одному на каждую группу, Лев Яковлевич, тетрадей — достаточно. Денег маловато, но красные фраки заменят.

— То есть как это — фраки?

— Вы же знаете: на Севере нуждаются в красном сукне. Будут отдаривать и кормить.

— Откуда вы их взяли?

— Из дворцового ведомства, — сказал Бограз. — Мы с Сережей догадались поискать во всех направлениях!

Лев Яковлевич, в черном сюртуке, худой, как бы обугленный, поправил очки.

— Друзья мои! — сказал он, как всегда, глуховато. — В этом году посчастливилось: удалось достать средства, чтобы всех отправить в поле. Не одиночки-энтузиасты, а большой коллектив,

с единым методом, начнет изучать этнографию нашей Родины. Ни в одной стране нет, знаете ли, столько разнообразнейшего и интереснейшего материала, как в нашей! А этнография, — он поправил очки и грянул звонко на всю аудиторию, — ключ к пониманию народа! Только полевой этнограф, сумевший проникнуть в душу народа, изнутри понять своеобразие и особенности культуры, может анализировать процессы жизни общества. Этнография не только изучает лишенные письменности народы — она снимает с глаз очки, искажающие перспективу истории человечества. — Он снял и положил на стол свои очки. Темные глаза его горели. — За историю долго признавали ничтожный отрезок в две-три тысячи лет, относящийся к народам Европы и Средиземноморья. Другие народы мира считали неполноценными, дикарями. Дикарей нет! У всех есть культура, достойная внимания и уважения! Каждый народ что-нибудь дает в общем пути человечества! Европейцы считали: мы — центр земли. Но древнемексиканская и перуанская культуры были выше, чем у испанских варваров, которые их разрушили. Преимущество испанцев было в лучшем умении убивать. Благодаря ему они смотрели на инков как на низшую цивили-

зацию! Англичане считали дикарями индусов, обладавших древнейшей культурой! Этнография учит всматриваться, видеть принципиально равными все народы. Знайте, что процесс истории человечества — един. Его можно понять, изучая конкретные процессы культуры народов, с которыми живет и которые любит исследователь. Надо уметь любить людей, знаете ли! Без этого пусто научное понимание и пуста наша жизнь! Это я хотел бы напомнить перед вашей практикой в поле. — Он закашлялся и махнул рукой. Посмотрел на всех пристальными, не видящими каждого в отдельности глазами. Добрая улыбка прошла у него под усами. — Не надо много говорить сегодня, — сказал он опять глуховато, — мы достаточно говорили в течение года. И будем еще говорить. Сейчас же вы молоды, надо уметь веселиться, знаете ли. От души вам этого желаю!

— Вы за них не волнуйтесь, Лев Яковлевич! Веселиться — это они могут, — встал Владимир Германович. Поправил штаны, сползавшие с округлости его живота, подмигнул насмешливыми, выпуклыми голубыми глазами. — Этот вот Костя Жихарев, например, как всем известно, и мне тоже, с тщательностью, достойной лучшего применения, отделывает фигуры «казачка». Если

бы он половину этого старания отдавал на подготовку докладов на семинаре!

Смех прогрохотал по скамьям. Красный смеющийся Костя замахал руками и закричал:

— Что вы, Владимир Германович!

— Да, да, — кивнул старик серебряной головой. — Но это полбеды. Надо, чтобы вы помнили, — рявкнул он, — отсутствие тщательности в поле — беда! То, что упущено, — не вернешь! То, в чем понадеялся на память, — упущено! Записывайте! Проверяйте и снова пишите! Сколько тетрадей надо иметь? Скажите хоть вы. — Он ткнул пальцем в какую-то девушку.

— Три, Владимир Германович! — отвечала она, вскакивая. — Дневник, тематический дневник и окончательное описание.

— Ну, так! — согласился старик. — Но, я уверен, осенью у половины не все разделы будут заполнены… Предупреждаю: не жалейте бумаги и времени! Лишних записей не бывает! Заведите вьюки для тетрадей, собирайте их хоть пудами!

Зал засмеялся. Сережа Стебницкий сказал:

— Товарищи! Я прочту список участников и районы обследования.

Потом Константин Никитич, дядя Костя, как все его звали, вышел, поправил пенсне на маленьком

носике, расшаркался и сказал:

— Я долго учительствовал в провинции, товарищи. Немало в жизни поездил, посмотрел, собирал фольклор и материальную культуру. Но не покидало чувство одиночества и как бы ненужности моих записей. Окружающим казался я чудаком, а записывание — бездельем. И теперь, попав в наш институт, я восхищаюсь: я не один! В коллективе! Сколько народу — молодого, живого, интересуется тем же, чем я! На лекциях маститых и мудрых ученых мысли, что смутно бродили у одиночки, приобретают глубокую и стройную связь. Школа этнографии! Общие усилия сделают плодотворной всякую работу и всякую мысль! Если бы вы могли себе представить, какое это счастье, мои молодые друзья! — Он высморкался и осмотрелся. — Я нашел свою Alma mater! Вам будет легче, вы это нашли в юности. Будем же дружно работать на пользу науке, на пользу народу! — Он поклонился, расшаркался и направился к месту. Дяде Косте хлопали, чуть посмеиваясь.

Хмурясь на эти смешки, к кафедре вышла Лиза Орлова. Обведя всех добрыми глазами, она повернулась к профессорам.

— Константин Никитич прав, — сказала она. — Не умею я много говорить. Хочу только подтвер-

дить то, что сказал он: мы понимаем отношение к науке, о котором говорите вы, Лев Яковлевич. Мы поедем не только изучать, постараемся помочь там чем можем. Мы знаем, Владимир Германович, важность полевых записей, знаем, как много значит для дальнейшей работы первое пребывание в поле. Трудностей не боимся. — Она улыбнулась с угловатой застенчивостью и просветлела. — Мы ведь потому и становимся этнографами, что хотим испытать трудности, увидеть, как люди живут… — Она развела руками и сложила их вместе. — Мы хотим изучать, чтобы понимать, понимать, чтобы помогать! Вот увидите, к осени привезут работы! — Она улыбнулась и села. Ей долго хлопали: Лизу любили.

Потом еще многие говорили. Наконец Костя стукнул по бубну:

— Деловая часть окончена! А теперь предлагаю пантомиму-импровизацию. Художественное изображение задач этнографии. Произведение Сережи Стебницкого и Левки Перовского.

Костя недаром накануне носился по институту, мелькая сразу в двадцати местах: готовил отвальный вечер. Всюду слышался его заливистый, веселый тенор. Костя загонял с полдюжины первокурсниц — Левка уверял, что видел их в

обмороке. Неделовая часть — прощальный вечер перед практикой — был организован отменно.

На помост вбежали люди. Отодвинули стол. Поставили ширму. Перед ней — кресло. Ведущий, в бархатной куртке с бантом, вышел и поклонился:

— Пантомима. Прекрасная Этнография и ее женихи. Действующие лица: Старый Мудрец Антрополог Археологович. Прошу.

Лев Яковлевич, уступая умоляющему взгляду Сергея Стебницкого, растерянно усмехаясь, сел в кресло. Шушуканье весело пробежало по залу.

— Дочь его, Прекрасная Этнография!

Девушка в сделанном из простыни плаще, с распущенными косами прыгнула на эстраду, склонилась к ногам отца.

— Друг дома — Мудрый Шаман, — указал Левка и пододвинул стул смеющемуся и трясущему животом Владимиру Германовичу.

Зал хохотал, аплодируя.

— Женихи Этнографии: метод разъездной, известный величиной.

Длинный Федя Физик, наивно приподняв брови и сохраняя серьезность, выехал на детском велосипеде, стал кругами объезжать Этнографию.

— Метод стационарный, рассчитан на многие

лета.

Костя, груженный папками, фотоаппаратом, штативом, вздыхая, подошел и сел на пол.

— Они влюблены в Прекрасную Этнографию, — комментировал ведущий, — но ужасные опасности грозят ей. Свирепый Историус близко!

По помосту уже крался некто в простыне, исписанной знаками, потрясая огромным пером, как копьем.

— А этот? — Левка выхватил из зала студента-географа. — Грозный Географус! Он ничего не знает, как видите, но я-то знаю: он хочет захватить в плен Этнографию и сделать ее своей служанкой!

Географ засмеялся и тихо спросил:

— Что мне делать?

— Они хотят украсть Этнографию у отца! — вскричал ведущий.

Этнография изображала испуг и мольбу. Историус и Географус гонялись за ней.

— Великий Шаман, помогайте!

Профессор Богораз ударил в бубен.

Зал зааплодировал, входя в пантомиму, как греческий хор.

Методы, взявшись за руки, закрыли Прекрасную Этнографию от похитителей. Она танцевала.

Шаман бил в бубен.

— Правильно! Объединить оба метода! — кричали в зале.

Потом вызывали авторов и исполнителей. Антрополог Археологович смеялся. Левка кланялся, откидывая пушистые волосы. Прозрачные глаза его не смеялись. Он был горделив и серьезен.

После инсценировки утащили скамейки. Один из студентов сел за рояль. Начались танцы. Старики в своих креслах смотрели, покуривая. Потом незаметно встали, пошли в кабинет кафедры.

— Ну как? — спросил Владимир Германович, ложась на диван. — Мой Сережка и этот Лева: теоретические споры о методах — в пантомиме? — Он засмеялся. — Способные парни! А? Антрополог Археологович?

Лев Яковлевич, негромко смеясь, поправил очки и махнул рукой.

— Старимся мы с вами, Владимир Германович… Старимся… Но, знаете ли, и стариться хорошо, когда смотришь на них. Прекрасная Этнография. Эта девочка очень весело ее изображала. Хорошая девочка! Ну, до свидания, Владимир Германович! — Он взял свою шляпу, пошел по пустым коридорам под взрывы смеха и музыки, долетавшие из Большой аудитории.

Владимиру Германовичу идти домой не хотелось. Он лежал, усмехаясь, в полутьме. И скоро уснул.

А танец сменялся танцем… Костя упросил Васю сыграть на рояле, а сам дирижировал, заплетая вальс в сложные фигуры, отщелкивал каблуками «венгерку»…

Танцующие, утомленные жарой и движением, то растекались по коридорам и, поделившись на парочки, уединялись, то снова вплетались в танцующий ритм. Некоторые в поисках уединения добрались до кафедры.

— Сядем!

Но… тут раздался храп с дивана.

— Ах! — испуганно отскочила девушка. Но тут же засмеялась, зажав рот рукой. Смех разбудил старика.

— А? Кто? Как?

— Простите, Владимир Германович! Мы не заметили, что вы отдыхаете!

— Я и сам не заметил, как уснул. Пора домой. Где мой мешок?

— Я разыщу, — торопливо сказал Левка. — Вот. — Он вытащил из-под стула полосатый мешок.

— Мы пойдем провожать вас, Владимир Герма-

нович, хорошо? Я скажу нашим, — предложила Аленушка.

— Ты куда? Организуем проводы, — сказал мне Левка. — Идем?

Не успел Владимир Германович закрыть рот от зевка, как его окружили человек десять. Дядя Костя и Костя взяли его под руки.

— Gaudeamus igitur, — фальцетом запел дядя Костя.

Старик басом подхватил:

— Yuvenes dum sumus!

Все со смехом захлопали в ладоши:

— С песнями вас поведем.

Повели серединой улицы, потом набережной Мойки и закоулками. Город спал в синеве. Круглели булыжники. Шаги были далеко слышны. Песни уносились в затихшие улицы, как весенний ветер к морю. Мягкий глубокий баритон завел:

С песней звонкой
Шел сторонкой
С любушкой своей
И украдкой
Да с оглядкой
Целовался с ней…

Я узнала голос. Это Юрий вел песню. Она ударялась в молчаливые окна, разлеталась, как брызги света. Небо синело над крышами, переливалось легкими перистыми облачками.

Из-за угла вынырнул милиционер.

— Это что, товарищи? — спросил изумленно.

— Ничего, — ответил Лева.

— Кричите вы почему?

— А что вообще есть крик? — спросил Лева. — Может быть, вам это кажется? Крик не в силах нарушить мировую тишину вещи в себе.

— Как это? — удивился милиционер.

— Сущность вещей непознаваема, — отвечал Лева, вздыхая, — вам кажется, что мы кричим, но, может быть, нас и не существует.

— Как это кажется, — рассердился милиционер. — Очень даже вижу, что существуете и порядок нарушаете!

— Может, вам кажется, что я хожу на ногах? — вежливо спросил Лева.

— Не кажется, повторяю: и ходишь ты на ногах, и порядок нарушаешь!

— Посмотрите внимательней! — Лева быстро встал на руки и на руках обежал вокруг милиционера.

— Ах, чтоб тебя разорвало! Вы что, циркачи?

— Студенты мы, — сказали несколько голосов, — и провожаем с вечеринки профессора.

— Профессора! Видно, выпито было немало… — усмехнулся милиционер. — Ишь, седой весь, а тоже…

Но Владимир Германович так подмигнул милиционеру, что тот рассмеялся.

— Не пьяные, видно, а бешеные! Тишину надо соблюдать, граждане! — И, махнув рукой, он ушел за угол.

Студенты снова запели.

Юра подошел ко мне:

— Пойдем на Неву.

— Хорошо.

Через Мойку и сумрак Зимней канавки мы вышли к Неве. Еще издали, из-за арки, она манила великолепием белой ночи. И вот — распахнулось!

Был час, когда все становится синим. Повисают в синем воздухе дворцы, мосты, набережная. Над Васильевским островом еще тлеет заря. Розово-малиновые отсветы взбегают на небо на маленьких тонких облачках. На востоке же, за Литейным мостом, все было густым, сине-лиловым. В синеве купались деревья, лазоревые купола мечети, золото Петропавловского шпиля.

Над зыблющейся синевой повис Троицкий мост. Из синевы, казалось, поднимался глубокий и радостный страх: вот-вот придет неизвестное. Шаги раздавались на гранитных плитах так звонко, что мы невольно пошли по торцам: темные восьмигранники мягчили шаги. Шли быстро и молча. Страх нарастал.

Преодолевая его, Юрий взял меня под руку, облизал пересохшие губы и тихонько запел:

С песней звонкой
Шел сторонкой
С любушкой своей
И украдкой
Да с оглядкой
Целовался с ней…

И как будто захлебнулся, оборвал и опять начал. Заглянул мне в глаза. Наверное, глаза что-то сказали, потому что он наклонился и поцеловал, а потом, убыстряя шаг, запел уже уверенно, снова остановился, еще раз заглянул в глаза и прошептал:

— Хорошо тебе? Хорошо?

Я кивнула.

— А мне так хорошо, что даже не знаю, что

сделать.

— Тебе тоже страшно?

— Очень! Уже много месяцев…

— Чего же… Чего тебе страшно?

— Тебя. Того, что так, так люблю тебя, что не знаю, что же мне делать с этим. Как жить? — Зеленые потемневшие глаза его стали строгими, почти страдальческими, брови изогнулись, сходясь к переносице. — Как вместить такую любовь? Ведь она заполняет все!

— Разве она не радость? Мне тоже было страшно, а сейчас так стало радостно, что, кажется, я поднимусь выше Петропавловского шпиля, чайкой полечу к морю… Смотри, смотри: все было синее, торжественное и странное на востоке, а теперь — какая заря!

За Литейным мостом встала тонкая желтая полоса. В высоком позеленевшем небе строились ряды прозрачных розовых облачков… Лиловые тени убегали. Воздух и камни зарозовели.

— Как великолепно жить на свете! Как великолепно, а люди мучаются. Ну для чего вот мы мучили друг друга?

— Не знаю! Черт меня знает, почему я мучился всю зиму?.. Не мог сказать… Ты — лучше меня! Поэтому у тебя все радостно и просто получается.

А я боялся. И злился.

— Как все это странно. Ты совсем свой, можно все сказать, а сколько месяцев была стена! А теперь — вместе!

— Совсем, совсем будем вместе, да?

— Но ведь через несколько дней ты едешь на Байкал, а я в Лапландию… На долгие месяцы!

— Какой я непростительный идиот! Не сумел раньше сказать… Вместе бы ехали!

— Хорошо вместе, но, знаешь, может быть, так и лучше. Слишком странно: совсем вместе. Ответственно как-то! То, что совершается, от тебя не зависит. А надо — еще открыть мир, а потом уж найти друг друга. Надо ждать, когда рассветет.

— Оно уже взошло, посмотри!

Золотые лучи брызнули из-за домов…

Отъезд

Геологи уехали на Байкал. А у нас выяснилось, что ни Лиза, ни Федя не могут выехать в ближайшие дни. Я предложила: поеду в Мурманск одна, пойду в облисполком, зарегистрирую нашу практику, выясню, где кочуют лопари, а они достанут фотопластинки, тетради и все оборудование, Лиза съездит к отцу. Все согласились. Я получила командировочное удостоверение и литер на проезд до Мурманска.

И вот я — на верхней полке вагона. Конечно, неплацкартного. От резкого толчка я открываю глаза. Солнечный луч осветил рыжую краску вагонной полки и надписи на ней. Я повернулась к окну.

Умытое солнце покачивалось над редкими соснами. Вчера в городе были лето, пыль, жара. Поезд настигал уходящую весну. На земле стоял туман. За туманом наметилось синее озеро. Стая длинноших птиц поднялась, полетела, опять опустилась на воду.

— Как вы смотрите на теорию Маха и Авенариуса? — вдруг спросил мужской голос с нижней полки. Парень в серой рубашке приподнял тре-

угольник лица. Глубоко, наискось, посаженные серые глаза, твердые губы…

— Вы меня спрашиваете? — удивилась я.

— Вас, конечно. Читаю Ленина и думаю, почему он обвиняет эмпириокритицизм в идеализме?

— Я считаю, чтобы правильно оценить эмпириокритицизм, нужно сначала изучить Канта и Гегеля. Без Гегеля нельзя подойти к философии марксизма. Но у него не разработана гносеология. Необходимо изучить мышление.

— Вы при помощи мышления хотите определить бытие? Это скверный идеализм! На черта нужны эти вещи в себе? — раздраженно отвечал парень, блестя глазами. — Мы знаем мир — данную общественно значимую реальность. Кое в чем мы уже совладали с этим миром.

— Вот чудак! Кто же отрицает необходимость овладеть миром и перестроить Землю! — Я спрыгнула вниз.

— Вы где учитесь?

— В географическом институте, еду в Мурманск на практику, — а вы?

— На полгода послан на партийную работу в Мурманск, как на практику. Давайте по этому случаю чай пить… Вот станция!

Парень схватил чайник, пошел за кипятком.

Седой старик сидел, поглаживая длинную бороду. Он кивнул, усмехнулся и сказал:

— Шестьдесят пять лет прожил, людей маленько понимаю, а тут битый час парень с девкой гуторят, а я не понял, что к чему. Ни единого словечушка не уразумел!

Мой собеседник вошел с чайником.

— Проснулся, дед? — спросил он. — Как раз под кипяток, чаевать будем.

— Аль зовешь?

— Как не позвать?

— Ну пожди, заварю. Давайте, детки, чай пить! — Он кинул заварку и оглядел нас благодушно насмешливыми глазами. — Только два слова и понял: на практику едете. А в чем твоя, дочка, практика будет?

«Начинается! — подумала я. — В сущности, уже начинается этнографическая практика: как суметь объяснить этому старику свою задачу?..»

— Видите ли, дедушка, я изучаю, где да как люди живут, какие у них обычаи, житье — порядки…

— Так, а пошто ты это изучаешь?

— Чтобы люди знали и в книгах написали, где худо, где хорошо живут.

— Хорошо там, где нас нет, это уж известно, — сказал старик, балагуря и потешаясь.

— А вдруг мы там и окажемся? — улыбнулась я. — Эта поговорка потому, что неизвестно толком, где хорошо, а мы возьмем да и узнаем!.. А коли все плохо — станем думать, как сделать, чтобы хорошо было.

— Ну ладно! — согласился старик, отрезая ломти семги. — Угощайтесь-ка семушкой, детушки!

— А вы пирожки мои кушайте, пожалуйста, — сказала я.

— Пирожки, чать, не твои, а матушкины, не ты стряпала, — шутил старик. — А семушка — моеловная.

— Вы рыбак? Помор?

— Поморянин.

— Откуда?

— С Колы. Про Колу слыхивали?

— Как же, около Мурманска поселок, — сказал парень.

— Не Кола коло Мурманска, а Мурманск коло Колы ставлен, — строго сказал старик. — Кола из веков стоит, еще ковда, может, и Москвы не было.

— Будто? А ты как, отец, знаешь?

— Помним. От Господина Великого Новгорода сюда люди набегали. Ковды про Москву еще слуху не было. С норвежанами здесь торги велись.

— И у вас это помнят? — заинтересовалась я.

— От дедов-прадедов знаем. В церкви у нас и книга была, счисления лет, где писано, ковда Кола стала и ковда церковь ставлена и грамоты жалованы, от царя Ивана Васильевича… Слыхали про такого царя? Грозным прозывается…

— Ну-ну-ну! Где же эта грамота, дедушка? И сейчас в церкви?

— Англичана увезли; книги и грамоты. Англичана у нас были. Не в досюльные годы-те, нет — теперь приходили. Церкву все рисовали да на карточку снимали, а книги, бают, увезли. Верно-то не скажу тебе, дочка. Да ты гости к нам в Колу, там те все обскажут.

— А песни у вас старинные есть?

— Песням как не быть, где люди, там и песни живут.

— Я приеду обязательно! Как вас зовут, дедушка?

— Морей Иванович, а прозвище Шаньгин. Песни лучше всех моя старуха знает. Она как заведет были-небывальщины — не переслушать! С Зимнего берега она, с Золотницы; там — место певчее, поют постатейно и старину хранят. Я как на Новую Землю ходил, все с золотничанам, с жениной родней зимовал. У них старик был — ну,

старик! Его с собой для утехи зимовать брали. Зверовать он стар, не неволят, а долю дают: старины сказывай, песни выпевай. Без этого на зимовке нельзя. Заскучат какой парень, тут цинга и привалится. Как она заманиват, знаете? Девушкой прикинется, в губы целовать зачнет — лежи не вставай! А рот в крови. Сон нападает. Поддался парень — и сгинул. Тут надо: распотешил бы кто! Про то и держат сказателей!

— Вот так способ лечения цинги! — усмехнулся парень, наливая всем по новой кружке чая.

— Ты, сынок, не зимовал, так не перечь! Я те не перечил, когда вы невесть што баяли про вешши каки-то! А тут толк понять всякий может: человек без песни, што птица без крыльев… или уха без соли, — усмехнулся старик. — Где люди, там и песни. Гости к нам в Колу, увидишь.

Он сошел на станции Кола, а я доехала до Мурманска.

Мурманск в те времена был двухэтажный бревенчатый город с немощеными улицами. Он кипел, как живорыбный садок, заезжими людьми. «Облстрой», «Облисполком», «Облжелдор» — пестрели названия. А улицы были без названий. Я разыскала отдел культуры, записалась и решила, что до приезда остальных успею

съездить в Колу.

В Колу!

Я сошла с железнодорожного пути, будто переступила в другое время, в досюльные, стародавние годы.

Застыли на берегу светлого залива большие бревенчатые хоромы из кондового леса. Смотрят узорными наличниками. У иных — окна в два ряда, один над другим, у других — в один ряд, высоко над землей. Распахнуты узорные ставни. Сбоку крыльцо, широкий бревенчатый въезд. Двор — под одну крышу с жильем. Торчат над крышами деревянные конские или птичьи головы.

Не тесня друг друга, просторно стоят усадьбы. Вокруг — ряды кольев; шипит ветер, покачивая на них сети.

Как вожак среди стада, на пригорке — колоколенка. Церковушка невелика. Темные бревна в многоугольных перекрещениях; в куполах — многошатровая крыша. Резная галерейка ведет на высокую звонницу. За церковушкой — вода. Темные, хмурые горы под розовым от зари небом. Церковушка — улыбается воде и небу, словно родилась от них, выросла и стоит — радуется на тишину… Черные карбасы и высокие, с резны-

ми носами полы стоят на воде. Под ними стоят отражения. Так тиха вода, что отражаются в ней карбасы, и церковушка, и хоромы, и дальние горы, и розовые предвечерние облака.

Вдоль по улице идет-плывет статная девушка в длинной темной одежде, несет на плечах коромысло с ведрами, полными воды, они — не ворохнутся. Может, она тоже — только отражение?

Я пошла, твердо ступая по каменистой земле. Точно погрузилась в подводный мир стеклянной прозрачности — передвинулась машина времени, я попала в XVII век или просто пригрезилась сказка? Нужно в ней говорить, действовать или ждать, как само развернется?

Заря била в узорчатые наличники. В зарю уплывала многоярусная, многошатровая церковушка.

Поправив наплечные ремни рюкзака, я глянула кругом, отодвинулось боковое волоковое окошечко. Высунулась старушка в темном повойнике.

— Кого тебе, умница? — спросила, прищуривая светлые глаза.

— Морей Иванович где живет, скажите, пожалуйста.

— А к нему и попала, голубка, — улыбалась старуха, — проходи в хоромы-то, не заперто.

Я поднялась на высокое крыльцо и шагнула в сени. На пороге костеватая старуха улыбалась.

— Ты, што ли, песни собираешь? — спросила она. — Старик-от сказывал. Ну, проходи, проходи! Просим милости.

Я перешагнула порог. Золотистые лики икон глянули из большого угла. Хлебным теплом дохнула печь. У окон белели лощеные лавки.

Перекреститься на иконы или не перекреститься, подумала я. Надо соблюдать обычаи.

Непривычно поклонилась иконам, перекрестилась и встретила смеющиеся голубые глаза хозяйки. Старуха оглядывала меня добродушно-насмешливо; смеялись из морщин молодые глаза…

— Морей Иванович, значит, про меня рассказывал? — спросила я.

— Сказал, сказывал.

— А вы жена его?

— Она самая.

— Мне он про вас рассказывал, только как звать — не сказал.

— Зовут меня Марфа, величают Олсуфьевна, — отвечала хозяйка, — а твое как имячко?

— Нина.

— Ну, разболокайся, Нинушка, разболокайся,

садись, моя дочушка. Пословица: прежде напой, накорми, тогда — спрашивай. Сейчас самовар поставлю.

Марфа Олсуфьевна поправила сухими, тонкими руками темный платок на повойнике, приняла с голбчика, возле печи, большой белый самовар, неторопливо надела трубу. Собирая на стол, стала рассказывать:

— Старик-от мой вернулся из Питера, сказывал: стретилась деушка, сама бойка-баска. Про песни спрашиват. К нам гостевать собирается. Ну, говорю: гость в дому — серебро, песня — золото.

— Марфа Олсуфьевна! Ваши песни слушать хочу. Морей Иванович говорил, какая вы песельница.

— Хвастат! Смолоду певала, а теперь уж што.

— А старины знаете?

— Это — знаю; у нас в роду старины сказывают.

— А мне скажете?

— Там поглядим, как управимся. Скоро старик вернется, семушки принесет, на тонях он, уху варить станем. Садись гостевать, деушка.

Поставила на стол самовар, вытерла полотенцем толстые, с синим краем, чашки.

— С Норвеги чашки привезены, — сказала

она, заметив, что я их рассматриваю. — Свекор-батюшка в Норвегу всякий год йолы водил, с Норвеги порато[24] что привозил. Норвежане ему знакомы были: как на Колу прибегут с кораблям, у нас стояли.

— А почему норвежцы сюда приезжали?

— Исстари торги у них с Колой. У нас семгу берут, олений да беличий мех, нам сукна везут, снасти… на том Кола стоит — торги заводить. Еще с Господина Великого Новгорода мужики сюда торговать прибегали с Норвегою. Ты про Садка слыхивала?

— Ну, слышала! Да вы расскажите!

— Дай срок, скажу… — Старуха налила чаю мне и себе, подвинула пирог с рыбой и блюдце с мелко крошенным сахаром.

— Вы исконние, здешние?

— Старик мой здешнего кореню, а я с Зимнего берега, с Золотницы.

— Я в Мурманске не встречала местных жителей, все приезжие.

— Не богато их, здешних-то. Они города не любят, в море больше ходят, корабли водят, промышляют. Старик мой по морскому делу и в

---

[24] Примечания: 24

Весьма, сильно, крепко *(северный говор).*

Питер ездил… Сказывал он тебе?

— Нет, не рассказывал.

— Были дадены нам от царя Петра грамоты — корабли строить. И лес отведен на Туломе-реке. По реке бы его сплавляли, а здесь в Коле корабли рубили. Ныне — лопаришки забрали тот лес под себя. Плавить нам не дают. Вот старик и ездил, права вызволять.

— Ну и как?

— Непонятно: и лопарей обижать не велят, и корабли рубить велят, а где лес брать, не сказывают. А грамоты-те наши порушены.

— Скажите, пожалуйста, Марфа Олсуфьевна, — спросила я, — какие были грамоты в церкви у вас? Говорят, их увезли англичане?

— Про то не могу сказать; знаю, что были, а какие — не ведаю… не те, не петровски грамоты…

Марфа Олсуфьевна из-за самовара разглядывала меня. Я слегка стеснялась, давая себя рассмотреть: пусть, пусть, думала, надо привыкать. Профессор Штернберг говорил: лучший способ приобрести доверие — показывать себя. Насмотрятся — сами начнут рассказывать. Марфа Олсуфьевна спросила:

— А вы чьих будете? Родители живы ли?

— Живы родители, в Петрограде живут, я с

ними. В институте учусь. Сюда, на Мурман, нас, трех студентов, на практику послали.

— Как же отпустила тебя матерь, такую молоденьку?

— Я вовсе не такая молоденькая, мне уж двадцать первый год! Кто меня удержать может? — задорно сказала я.

Марфа Олсуфьевна засмеялась, но посмотрела укоризненно:

— Матерь всегда удержать может. Вон у меня сыны: вовсе большие мужики, а скажу — удержатся. Один женатый, отделен, а из материнского послушания все одно не выходит. А ты — ишь кака выросла, выискалась!

Я покраснела и в ту же минуту поняла: эта краска, ребячливая беспомощность сделали больше, чем любой обдуманный прием, — завоевали доверие.

С потеплевшими глазами старуха села к окну.

— Ну, — сказала она, — коли хошь, слушай, спою тебе старину.

Она протянула руку, взяла начатую сеть, сделала несколько быстрых движений челночком. Потом подняла голову, поглядела на окно, словно советуясь, и — запела. Пела негромко: о том, как жила-была чесна вдова Мамельфа Тимофеев-

на… Собирался сын ее на богатырские подвиги, становился на колени, просил материнского благословения. Но не благословляет сына ехать Мамельфа Тимофеевна. И опять становится сын на колени, в землю кланяется.

— Вишь, — прервала пение Марфа Олсуфьевна, — богатыри у матери спрашиваются, а ты говоришь! Материнско благословение — сила.

Олсуфьевна сидела, прислонясь к косяку. Прямой, сухощавый очерк ее лица темнел в закатном огне. Словно пела про сестру — вдову Мамельфу Тимофеевну: собирает сына, наставляет молодецкую силу с мудрой материнской строгостью. Стоит сын: большой, удалой, озорной, а не смеет поперечить матери.

И я догадалась: всегда так было; сидела мудрая женщина в доме, держала в руках ключи или прялку. Не пряжу, а долгую нить памяти своего народа плела. Родная страна тоже женщина-мать. Приходят к ней сыновья, разудалые, буйные, становятся на колени, просят благословения. Кто просил — получал, тот и путь находил, а кто самовольничал, ручки, ножки ребятам подергивал, как Васька Буслаев, тот — погибал. Гневалась мать и скорбела…

Отворилась дверь, тихо вошли две женщины.

Перекрестились, молча поклонились образам и хозяйке, сели на лавку. Марфа Олсуфьевна кивнула и продолжала вести сказ.

Пришли еще люди. Седой старик на лавку сел, положил локти на колени. Две девушки сидели, подняв лица. У женщины — мальчик, посапывая, стоял между колен.

Я хотела записывать песню, но поняла, что невозможно. Запись — потом, после первого раза.

В избе становилось синее. Опять отворилась дверь. Вошел Морей Иванович и с ним какой-то чернобородый, носатый мужик.

— Пришел? — прервала пение хозяйка. — Да и гостя хорошего привел! Просим милости! Здравствуй, Герман Михайлович!

— Здравствуешь, Марфа Олсуфьевна, — ответил чернобородый, — да ты пой! Не обрывай песню.

— Я, почитай, кончила. Надо ужин собирать. Гостя баснями не кормят…

— Вари, вари уху, — сказал хозяин. — Здравствуй, гостенка заезжая! — Морей Иванович протянул мне руку. — Как старуха-от моя, гоже ли сказыват?

— Ох, как хорошо!

Соседи поднялись с лавок.

— Она ли не гожа? Дай ей Господь!

— Да чего там!..

— Стой! — сказал Герман Михайлович. — Люди добрые, не уходи! Ужин — фиг с ним! Благо мастерица распелась, надо песню прослушать. Не пущу тебя, Марфа Олсуфьевна. — Он шутливо растопырил руки. — Спой мою любимую! — Все улыбались ему.

Марфа Олсуфьевна засмеялась:

— Ох, неотступный! Ох, скаженный! Нешто ето слыхано?

— Слыхано, да и пето. Пой, пока не остыла, — весело сказал черный. — Не отпущу без моей песни!

Марфа Олсуфьевна правда еще не остыла. Она поправила платок и покачала головой.

— Неуемный, так уж и есть неуемный. Ну, слушайте.

Долго тянулась песнь…

— Хватит! — встала Марфа Олсуфьевна. — Всего не перепоешь. Надо ужин собирать.

Соседи поклонились и пошли в двери. Морей Иванович чиркнул спичкой. Засветил лампу над столом. Белая ночь ушла из избы.

При огне я рассмотрела чернобородого Германа. Он был кряжист, невысок, одет в серую

куртку, темные брюки и мягкие ичеги[25]. Крутой тонкий нос оседлан очками. Черная борода прятала нижнюю часть лица и делала его старше, но глаза из-за очков смотрели по-детски: серьезно и доверчиво.

Он говорил, как помор, но в гибких интонациях голоса чувствовалась возможность другой речи.

— Давайте знакомиться, заезжая гостенька, — сказал он, протягивая мне руку и рассматривая меня с веселым интересом. — Крепс, Герман Крепс. Вы из Петрограда пожаловали?

— Да, — отвечала я, называя себя и охотно поддаваясь дружескому интересу Крепса. — Из Петрограда, на практику.

— Так, так! Еще одна экспедиция? Скоро здесь на каждого лопаря будет по исследователю, но это хорошо! Вы на каком факультете?

— Этнограф. А вы что делаете?

— Быка развожу по Мурману.

— То есть как это развозите?

— Очень просто: в вагоне. Три четверти вагона под быка, четверть под меня, так и живем.

— Но куда же и зачем вы его возите?

— На коровьи свадьбы. Бык один на всю Мур-

---

[25] Примечания: 25
Мягкие кожаные сапоги *(северный говор).*

манскую дорогу. Несколько лет назад по всему Мурману ни одной коровы не было. Я — агроном. Животноводством, как и всем здесь, до сих пор занималась железная дорога. Я ведаю животноводством. Приходится самому: развозить быка, лечить коров, читать лекции, изучать и гербаризировать флору — выяснять возможности кормовой базы… И делать еще многое другое. До войны это был совершенно дикий и неизвестный край. Война выдвинула необходимость Мурманского порта и постройку железной дороги. Но только после революции, когда прогнали англичан, оккупировавших край, его стали изучать и осваивать…

По мере того как он говорил, отпадал поморский акцент, зазвучала привычная питерская речь.

— Вы из Петрограда? — спросила я.

— Был когда-то. Теперь лопарем стал. Хорошо здесь: места нетронутые, птицы непуганые, звери — неловленые, люди не порченые. «Край непуганых птиц» — читали у Пришвина?

— Ишь, Герман Михайлович места наши нахваливат… Садитесь к столу-то!

— Свои порато хвалить нечего, — усмехнулся Герман Крепс, пропуская меня на лавку.

— Вы не любите Петроград? — удивилась я.

Герман покрутил бороду и усмехнулся, блеснув очками:

— Ну, пожалуй, люблю. Но жить в каменном мешке не могу: ни неба над головой, ни земли под ногами, ни мыслей в голове… Тянет Север. Говорят, этим заболевают, любовью к Северу.

— Интересная болезнь, — возможно, и я заболею. Похоже, уже больна!

После ужина Марфа Олсуфьевна увела меня в светелку, постелила постель. Я уплыла в сон до утра.

Утром вышла в избу, когда Марфа Олсуфьевна уж топила печь.

Хозяйка улыбнулась:

— Хорошо ли спалось? На новом месте приснись жених невесте.

— Жених не приснился, а вот песни ваши приснились. И хочется мне про здешнюю жизнь расспросить: все у вас не так, как в Питере.

— По стародавней старине живем, блюдем старину.

— А одежда старинная есть у вас, Марфа Олсуфьевна?

— Про одежу нашу ты спрашиваешь? Есть, есть старинна одежа: и шушуны, и сарафаны. Вот

уберусь — выну из сундука. Как я была молода, у нас баско наряжались. Кики жемчугами низаны, сарафаны — штофные, рукава — кисейные, аглицкие…

— Почему аглицкие?

— А кто знат, почему так зовут — аглицкие и аглицкие, исстари так. У нас одежа-то долго жила, от бабки к внучке укрута переходила.

Она засунула уже состряпанные ею шаньги в печь.

— Ну, кончила! Пока мужики придут завтракать, я тебе покажу. — Вымыв руки, Марфа Олсуфьевна открыла в углу тяжелый сундук и достала одежду. Пахнуло сухим старым деревом и тканью. — Вот те и аглицкие рукава. — Марфа Олсуфьевна развернула платок, достала кисейный верх рубахи с рукавами пышными, во много перехватов, с рюшами у кистей.

Такие рукава рисуют на портретах времен королевы Елизаветы, изумилась я. Неужели были завезены сюда? Мода времен Ивана Грозного и королевы Елизаветы?! Приезжали в Архангельск английские моряки, приходили корабли, торговали с Москвой через Архангельск. Неужели сохранилось?

Я зарисовала и стала записывать, Марфа Олсуф-

ьевна с усмешкой смотрела.

— Ну, отвели жениха к невесте, сватам пировать можно… Здравствуйте! — сказал, входя, Герман Крепс. Морей Иванович подмигнул, посмеиваясь.

— Надо выпить, мать, по случаю бычьей свадьбы.

— Ну-к доставай. А закуска на столе.

— Вы тут чем занимались? — спросил Крепс.

— Своим бабьим делом, нарядами. Вишь, хвасталась… Как раз к свадьбе… — усмехнулась хозяйка.

— Знаете, какую я обнаружила интересную вещь?

Я рассказала про «аглицкие» рукава.

— Интересно, — покрутил бородою Герман, — возможно, вы правы: тут край старины непуганой, как птиц. А я вам хотел предложить сегодня на птиц посмотреть. Пойдем со мной в горы. Не все людей, надо и горы послушать, чтобы край узнать.

— Горы что хошь расскажут, только слушать умей, — отозвался Морей Иванович. — Он те наскажет, Герман-от, он кажну птицу, дерево и камень понимат.

— Трапезуйте. — Хозяйка поставила на стол

самовар.

В волоковое оконце тянула свежая струя, пахнувшая соленой водой и березками, она отгибала парок над самоваром. Норвежские, с синими каймами, чашки блестели.

— Натошшак кака беседа, кушайте, товда побеседуем, — приглашала хозяйка, разворачивая рыбник.

— Географу необходимо знать ландшафт, — сказал Герман, откусывая пирог, — походите со мной, посмотрим глухариков.

— Да ведь не время для охоты, — сказала я. — Тока кончилась.

— Но я занимаюсь режимом каменного глухаря, и мне поручено Академией наук привезти несколько штук.

— Ну, пойдем.

В сопках

Стоят на Мурмане хвойные, заросшие мхами леса. Простираются над ручьями ольхи и серебряные тальники. Перед океаном не выдерживают сосны — отступают. Только березовое криволесье, опускаясь на колени, изворачиваясь, распластывается по земле, с высоких серых скал заглядывает в зеленые океанские волны. Но над Кольской губой еще шумят сосны. Белыми свечками стоят по косогорам березы.

Хорошо в июне под ними: маленькие листочки, словно детские воспоминания, высовываются из почек. Солнечные тени бегают по брусничникам, как веселые маленькие зверьки. Рябчики посвистывают…

Крепс им подсвистывал. Поблескивали очки, отражая голубизну неба. Идти да идти так, вдвоем, когда радость третьей идет с нами. Я оглядывала тонкие, переплетающиеся ветви, уходящие вдаль горы, брусничники между камнями. Хотелось петь, а если не петь, так стихи во весь голос читать.

— А вы, Герман, стихи любите?

— Кои люблю, а без других могу обойтись.

— А без каких не можете?

— Без «Песни о Гайавате» не могу, — твердо сказал Крепс. — А вы ее любите?

— В детстве — очень, а с тех пор не перечитывала.

— Напрасно! Я считаю, «Гайавата», как и «Джунгли» Киплинга, — на все возрасты, от шести до шестидесяти лет, для настоящих людей.

— Настоящие — это какие?

— В которых бродяжий дух. По «Джунглям» я человека определяю: помнит «Джунгли», значит понимает в редьке вкус, не упомнил — дырявая балалайка у него душа.

— А если вовсе не читал?

— Ну, это — не позор, а несчастье, — развел руками Крепс, — не позор, а несчастье… Я о тех, что читал да не упомнил — по кривизне глаза.

— «Мы одной крови, ты и я», — улыбаясь, сказала я Владычные Слова Джунглей[26], быстро взбираясь по косогору. Крепс неслышно шел рядом и усмехался.

Тонкие, клейкие березовые листки трепетали; ветки начинались почти на уровне лица. Над светлой лавой березовой поросли темнели ред-

---

[26] Примечания: 26

Цитата из «Маугли» Киплинга в переводе К. И. Чуковского.

кие сосны. Под ногами переплетался багульник. Из него выскочила, улыбаясь и морща нос, черно-белая лайка Крепса.

«Вы тут?» — спросила она взглядом.

— Тут, Муська, тут, — ответил ей Крепс. Муська, вытянув свежий, влажно-розовый язык, снова нырнула в багульник. — Иные не любят черно-белых, — сказал Герман, — говорят: коровья масть. Но я считаю удобным — и по снегу, и по черно-тропу — далеко видна, со зверем не спутаешь.

Мы поднимались к вершине сопки. Лес кончился, шли моховые ковры. Изредка в каменной ямке, как в огромном блюдце, стояла прозрачная снеговая вода. Мы подошли к такой чаше. Вода была так чиста, что казалось: серый камень накрыли вымытым стеклом. Я зачерпнула в горсть, стала пить. Герман лег к краю и бородой припал прямо к чаше.

— Какой это персидский царь так испытывал воинов? — спросила я. — Тех, кто припадал прямо к воде, брал в поход, как лучших.

— Не знаю. Оказывается, я годен в иранские воины?

— Вполне. А я — нет.

Мы засмеялись. Сели на камень. Муська опять подбежала.

— Тихо, Муся! — шепнул Герман, опустив руку на мохнатую шею. Лайка вздрагивала, боясь пошевелиться. Я проследила их взгляд: шагах в десяти шевелился брусничник — желтела грудка птицы. Шейка ее тянулась вверх, озабоченно блестел глаз. «Кок-ко-ко», — звала птица; тоненькие голоски ей отвечали: «Киви-киви-киви». По брусничнику покатились маленькие, желтовато-серые пуховые комочки с блестящими точечками глаз. Путаясь в былинках, они бежали между камнем и застывшими людьми: «Киви-киви-киви». Один комочек нацелился, подскочил, прямо с воздуха подхватил комара, но не удержался, ткнулся носиком в мох. «Кок», — сказала мать. «Киви-киви-киви», — запищали комочки. Мать, быстро крутя головой, собирала их. Ветер дул от нее, она не могла чуять и слышать людей, но что-то ее потревожило: она уводила детей.

— Ну, — прошептала я, переводя дыхание, — я не представляла себе…

— Край непуганых птиц, — ответил Герман. Глаза у него под очками стали такими, что я поняла, почему заулыбались коляне, когда он вошел в избу.

— Странно, — медленно сказала я, — мы только вчера познакомились, а кажется, целый век

знакомы.

— У хороших людей так и должно быть. Пойдем глухарей смотреть.

Но глухари не давались в тот день. Может быть, потому, что тишина прерывалась смехом. Муська смотрела на нас с укором. Солнце стало ближе подходить к сопкам. Небо расцветилось розовым и лиловым. Как трубы зазвенели клики: в розовом небе летела стая больших белых птиц.

— Лебеди. — Крепс поднял голову. — Жировать на губу пошли.

— Хотела бы я посмотреть их поближе.

— Ну что ж! Можно! Карбас на берегу. Спустим в губу, там покараулим.

Мы спустились к заливу. Перевернутый карбас, как большая рыбина, лежал на гальке.

— Карбас, — сказал Крепс, рассматривая, — малость рассохся.

— Пустяки, — убежденно отвечала я, — давайте спускать, не потонем.

Перевернули, спустили, карбас закачался на воде. Под ним, расходясь кругами, закачалось черное отражение.

— Течет.

— Вы что, трусите, Герман? Черпак есть! — Я взяла черпак и откачала всю воду. Лодка была

действительно почти суха.

— Ну ладно… Муся — прыгай.

Крепс сел на весла. Муська, привычно балансируя, перебежала к носу. Карбас заскользил по воде. В небе была такая же рябь розовых и золотых струй. Светлую тишину разделял темный пояс сопок. Они стояли неподвижно и твердо, а внизу и вверху все двигалось, меняя цвета, будто разворачивали вороха гигантских тканей.

Поплыл карбас. Мы высматривали белых птиц и не заметили, как сплошной стеной нашел туман, будто столкнули с горы ком плотной ваты. И покатился, разворачиваясь, все быстрее и быстрее.

— Откуда он? — удивилась я.

— От перемены давления выпадают осадки. Тут бывают такие внезапные явления…

— Меня интересует — как мы будем двигаться?

— Не как, а куда? Вопрос, достойный внимания. Компаса у меня нет.

— Пожалуй, лучше держаться на месте? — спросила я.

— Течение-то все равно несет. — Герман тихо двигал веслами. Муськины уши чернели на носу лодки. Платье, волосы, руки, лицо — все стало влажным.

— Холодный компресс, — засмеялась я, — хоть пошевелиться немного!

Я с силой взмахнула кормовым веслом. Карбас резко вильнул и стукнулся. Нельзя было разобрать в тумане: скала или плывшее мимо бревно?

— Удар крепкий, и течь усилится, — сказал Герман. — Начался отлив. Нас несет к океану. Довольно неприятно, что нельзя понять — в какой стороне берег.

— Смотрите, как проступает вода.

— Шпаклевка выпала от удара. Карбас — половина смерти, — пробормотал Крепс. Он взял черпак и стал быстро выбрасывать воду.

— Черпак один, — виновато сказала я, — чем бы еще качать?

— Если качать интенсивно, все равно надо передыхать, будем качать по очереди, — утешил Герман.

Он качал быстро, всплески падали за борт, но вода почти не убывала.

— Направление течения можно определить при полной неподвижности в лодке, а мы хлюпаем и мешаем. — Крепс поднял черпак, вслушиваясь и присматриваясь. Все сливалось за белой стеной. Почти не верилось, что есть мир видимых, твер-

дых предметов.

— Как странно, — сказала я, — как в армянском анекдоте про жирафа — «не может быть». Или — как во сне… Далеко отсюда до океана, дяденька? — Я засмеялась.

— Океан не ближний свет, до него не донесет, но до затопления — недалеко. Вы умеете плавать?

— Брассом или кролем прикажете?

— Любым стилем, только на большое расстояние. Жаль, ружье придется бросить…

— Неужели топить ружье? — я возмутилась. — Пожалуй, и сапоги снять?

Я не верила в серьезность опасности. Казалось — опасность вроде игры, разворачивающей еще не испытанные возможности.

— Лучше приготовиться, — сказал Герман, посмеиваясь в бороду, — поплывем, так и выплывем — «чем мы хуже зверя»? Это поговорка у нас такая. Был я на зверобойном судне на Новой Земле. Затерло нас во льдах, сидим. Безделье. Только и дела — спирт пить. Поморы натопили в кубрике — жарища! Сидим в одних штанах, голые, выпиваем и закусываем. Ну, конечно, рассказы. Стал старик рассказывать, как зверь — они зверем тюленя зовут — в полынью ныряет и плавает. А парнишка один обиделся. «Чем я

хуже зверя?» — кричит. Выскочил из каюты как был, в одних штанах, и прямо с борта в полынью! Плавает и кричит: «Че-ем я хуже зверя? Чем я хуже зверя?» Ему орут: «Вылезай!» А он: «Чем я хуже зверя?» — «Лучше, лучше, вылазь». — «Ну, то-то!»

— Во льду голым и плавал? — спросила я.

— В штанах. Вылез — хмель прошел. Выпил еще стакан спирта и лег спать.

— Ну и что с ним?

— Выспался и — ничего. «Жестокие, сударь, нравы»… Давайте я воду-то покачаю!

— Нате черпак! А я сапогом буду качать. У меня в нем все равно дырка, — сказала я. Обоим это показалось смешно.

— Вы молодец, — одобрил Крепс, — с вами можно бродяжничать.

— Хорош молодец! Карбас чуть не угробила!

— И на старуху бывает проруха.

Вода в карбасе прибывала. Лодка двигалась тяжело.

— Довольно устарелый вид романтики: сидеть и ждать, — пошутила я. — Я бы предпочла что-нибудь поактивнее.

— Можно еще наблюдать собаку. И не без пользы, — ответил Герман, указывая на Муську. — Смотрите!

Собака на носу вдруг поднялась и навострила уши. Сырая вата тумана заглушала звуки, но она что-то слышала.

— Чует… — сказал Герман. Муська огляну-лась на него, затанцевала передними лапами и, подняв морду, залаяла. — Так! — сказал Крепс. — Голос, Муська, голос!

Муська еще оглянулась. Крепс, подняв весла, слушал. Муська громко залаяла.

— Ну, теперь можно грести, — облегченно вздохнул Крепс, — берег ясен. Слышите?

Сквозь белую вату долетел ответный лай.

— Голос, Мусенька, голос! — Крепс налег на весла. С берега все яснее звучал собачий лай. — Лают с подвывом, — значит, у своего дома, это по лаю можно понять. Двое, видимо, кобеля. А ну, Мусенька! — Муська залилась частым лаем. Уже совсем близко ответил ей низкий собачий бас. — Го-го-го! Хозяева! — крикнул Герман Крепс, гребя осторожно, чтобы не наскочить на ка-мень. Карбас зашуршал и ткнулся в песок. Муся мячиком выскочила на берег. — Пошла дого-варивать, — пробормотал Крепс, — будем и мы вылезать. — Он схватил ружье и шагнул. — Сей-час подтяну. — Лодка шла, шевеля песок. — Я на берегу. Помочь вам?

— Я сама! — Ноги нащупали гальку. — Вы где?

— Тут!

Рука Крепса легла на плечо. Приблизил мокрую бороду.

— Пойдем греться. Если не ошибаюсь — лает Хессу, Калины Ивановича кобель. Вежа недалеко.

Муська, оживленно отлаиваясь, подскочила к ногам. За ней виднелись две тени. Бас и молодой собачий баритон перебивали друг друга.

— Хессу, а ну — помолчи! Я сам хозяина позову! Калина-а-а!

— Тут, — отвечал туман, — не с губы ли вы, люди?

— С моря, с моря.

Мутной радугой затрепетал фонарь.

— Избави Бог! Как не пропали! Да не ты ли это, Герман Михайлович?

— Я самый.

— Я было не признал. Да как же ты не пропал?

— Чуть не утопли. Карбас — половина смерти.

— А с тобой кто? — Фонарь приблизился. В круглое пятно света вступили рука Калины Ивановича, уши Муськи, бурая голова крупного пса. — Девушка! Ох грех, ох грех, чуть не утопли! — твердил Калина. — Идем в избу греться!

Шаркала галька под ногами: мы поднимались по склону.

— Ты разве избу поставил? — на ходу спросил Крепс.

— Ну да! Рыбачить стал. Олешек брату отдал.

— Да ну?

— Сам увидишь… — Калина отмахнул дверь. Пахнуло теплом, запахом жилья. — Входите, входите, — звал Калина, — уху варить станем.

Глаза открылись уже в сухом и прозрачном воздухе жилья. Крепс протирал очки. Я, будто снимая туман, провела рукой по глазам. Светила над столом лампа. У белой печки — алый повойник и улыбающееся лицо хозяйки: она разводила огонь в очажке.

— Здравствуйте! Раздевайтесь скорее! Одежу вашу сушить повешу. Девушка, дать тебе платье? У меня есть новое.

— Нет, спасибо, — сказала я, садясь на скамейку и скидывая сапоги, — я не очень промокла, ноги только.

— Самовар сейчас вздую, — горделиво хлопотала хозяйка, медное яйцо самовара блестело у нее в руках.

Желтые, новые бревна стен светлели. Охватило счастье теплоты, света и приветливости. Показа-

лось: нет места лучше этой избы! С полу глядели, приподнявшись из оленьего меха, темноглазые детские головы. Я быстро присела на корточки и перецеловала их всех. Пахнуло кисловатым мехом. Ребята испуганно юркнули в мех и засмеялись.

У стола Герман, без пиджака, в протертых очках и с расчесанной мокрой бородой, беседовал с Калиной Ивановичем.

— Он тебе кто — свой? — тихо спросила хозяйка, опуская рыбу в закипевший котел.

— Нет, чужой, — отвечала я и сама удивилась: разве чужой?

— Хо-о-роший человек, — убежденно сказала лопарка, — такой человек — лучше тебе в целом свете не найти. Коли будет сватать — иди. — И я увидела ту же улыбку, как у Морея Ивановича и у женщин в Коле, когда они говорили о Крепсе. Должно быть, правда — очень хороший, подумала я. Люди, когда о нем говорят, — светлеют. И всем он — свой. — Ну мужички, выпивайте, что вам надо, уха кипит, — сказала хозяйка.

— А девушка? Девушке с холоду тоже надо выпить, — приглашал Калина Иванович, поставив на стол бутылку. Я отказалась, подсела к ухе. Пар, с клейким рыбьим запахом, стоял над большой

деревянной чашкой. Мы доставали нежное розовое мясо кумжи.

— В жизни не едала ничего вкуснее! — сказала я.

Хозяйка стелила на полу оленьи спальные мешки — роввы.

— Отдыхайте с дороги!

Олений мех теплом охватил захолодевшие ноги. Я нырнула в мешок, опустила голову на розовую наволочку подушки.

— До чего хо-ро-шо! — Не успела рассмотреть светлый ламповый круг над столом, как сон схватил и унес в глубину веселого розового тумана.

«Мы наш, мы новый мир построим...»

Утром Калина Иванович на своем карбасе отвез нас в Мурманск.

— Ну, — спросил Герман, когда мы простились с Калиной Ивановичем, — вы куда?

— Пойду в облисполком, надо материал подготовить, выяснить возможный маршрут: завтра подъедут мои товарищи.

— А я в Колу, позаботиться о быке. Я его поручил Морею. Хотите — захвачу ваш рюкзак, или еще вернетесь в Колу?

— Лучше захватите, не знаю, успею ли еще в Колу. Кланяйтесь там.

Я пошла по улице. Город только начинал строиться. На улицах торчали пеньки и кустики брусничника. Валялись щепки. Многие дома были наскоро сбиты из двух пластов фанеры, между которыми клали шлак и мох. Кое-где высились двухэтажные бревенчатые здания. «Мурманск двадцатых годов, — подумала я. — А каким он станет через десять лет?»

— Выстроим настоящий порт и настоящий город, вот тогда и смотрите! — словно отвечая мне, сказал чей-то голос. — Здравствуйте!

Вагонный попутчик нагонял меня.

— Все-таки я вас встретил! Устроили свои дела? — Он протянул мне руку.

— Здравствуйте. — Я посмотрела в его озорные серые глаза и улыбнулась. — Я в Коле была, песни записывала у Морея Ивановича и собрала неожиданно интересный исторический материал…

— Идем обедать в обкомовскую столовку, там и расскажете.

— А далеко?

— Нет, у будущей пристани, за второй Нахаловкой.

— У будущей? А теперь там что?

— Пока — ничего, пеньки. Но будет — центр города.

Парень гордо посмотрел на меня, хвалясь этим городом.

— Идем, — согласилась я. — Послушайте, а как вас зовут все-таки?

— Егор Спиридонов. А вас, я знаю, — Нина.

— Да, Нина Гаген-Торн.

Мы шли Нахаловкой — так назывался тупик железнодорожных путей, обращенный в поселок: старые товарные вагоны обзавелись окнами и лесенками. Дымили трубы печурок, лежали кучки дров. Между колес были устроены закутки

для поросенка или кур. Качалось белье у тендера. Женщина стирала и пела. Поросята деловито, как собаки, бродили между колес.

— Прочно встали, — заметила я.

— Зимовать собираются.

— Но ведь вагоны-то нужны?

— Квартиры еще нужнее. Жить негде, а строить — некогда. Вот и устроили товарищи железнодорожники городок из ломаных вагонов. Ничего. Будет и настоящий, — кивнул головой Егор, — на месте этих халуп — Дворец профсоюзов… Ну, пришли. — Он показал рукой на строение из фанеры, в бревенчатых рамах. — Видите? От англичан много фанеры осталось. Кладут двумя слоями, а между — шлак, щебень, всякую дрянь — и тепло! Дом за неделю готов. — Он засмеялся. — Ловко? А вот и столовая.

Егор открыл дверь, пропуская меня. Сели за столик у широкого низкого окна.

— Окна как перевернутые, — сказала я, — в ширину больше, чем в высоту.

— Можно с удобством любоваться видом на море и обратно, — отвечал Егор, наклоняясь к тарелке.

— Вид действительно хорош. — За окном переливалась зеленоватая, блестящая серебром вода.

По ту сторону залива горбились горы в нежных пятнах березок.

— Берег оденут набережной. По воде — суда встанут в очередь разгружаться в порту. Вот тогда — будет вид, — сказал Егор.

— Вы говорите, будто уже видите, как это будет.

— План утвержден. Большевики не бросаются словами. Мы выстроим Мурманск. И еще сотни городов. Я слышу, как стучат молотки, перестраивая нашу землю. — Он поднял вилку, точно прислушиваясь. Я смотрела на него с любопытством. — На месте обдерганных городишек с ломаными деревянными мостками и мещанскими домиками в геранях мы построим новые, социалистические города. Города дворцов и садов. Да, да! Общественных дворцов! Не прежних, с финтифлюшками и выкрутасами, а прямых, гладких, ровных, где много стекла и света. Там будут читальни и спортивные залы, столовые и библиотеки. Для детей — выстроим отдельные дома, детей будут воспитывать квалифицированные специалисты, а не бестолковые матери. Женщина будет освобождена: ни плит, ни примусов, ни домашней кухни. Вы понимаете, что это значит? — Егор бросил вилку и нагнулся через

стол. — Представьте: огромные прямые улицы, обсаженные деревьями и цветами. Стоят гладкие, ровные дома, с огромными окнами. Нам не нужны аляпости и выкрутасы: прямые, ровные линии — вот задача современной архитектуры…

— А они не будут выглядеть коробками? — осторожно спросила я.

— Они будут отвечать тому, что разумно, необходимо и полезно. Чернышевский прав: действительность лучше искусства… Искусство нужно, чтобы воспроизводить прекрасное, существующее в действительности. Самое прекрасное — удобство и разумность. Как можно больше стекла, легкого металла, цветов — они тоже полезны, — воздуха и солнца. У нас будет музыка — прямо на улицах — и электрическое освещение, согревающее, двигающее. Ленин поручил товарищу Кржижановскому разработку проекта электрификации страны. Мы построим гидроэлектростанции, северные реки не будут бежать попусту, мелькая по порогам: они понесут электроэнергию. — По сухощавому, острому лицу Егора пробежал сдерживаемый свет восторженности. Он выступил розовыми пятнами на скулах, искрами в светло-серых глазах. Но Егор старался говорить сухо и деловито. — Новые города сотрут

деревню. Я в ней вырос: в дыре старой карельской деревни — и ненавижу ее. Избы с крытыми, как крепость, дворами, неподвижность, темнота. Этого не останется через десять лет. Мы сделаем новых людей, и они будут жить в новых условиях, где все коллективно, организованно, разумно…

— Отдельных квартир, для семей, не останется?

— Некоторое время еще останутся коммунальные квартиры, как сейчас, — небрежно кивнул Егор, — все сразу не перестроишь. А потом в каждом доме будет общественная фабрика-кухня, комнаты отдыха, и только отмирающие дураки будут возиться с едой у себя в квартирах. Каждому — своя комната, а обслуживание и стол общие.

— Да, конечно, так люди смогут освободиться от бытовых дрязг, — согласилась я. — Чем меньше быта — тем лучше! Но, знаете, некоторые любят всякую дребедень уютов. Нравится бытовой ритуал, власть традиций…

— Они просто еще не поняли. Мы их научим… Заставим, если понадобится!

— Вот это мне не нравится — заставлять, — протянула я.

— А как же иначе? Если дурак сидит в грязи, его надо за уши вытащить. Для его же пользы. Если

человек мешает обществу расти — научить его не мешать; хоть силой.

— А вы твердо знаете, что надо и что не надо людям? — спросила я. — Может быть, то, что кажется хорошо нам с вами, будет плохо для других? Вот вы не любите деревни, а я города не люблю. Как же быть?

— Города в прежнем смысле — понимаю, — быстро сказал Егор, — он место неравенства и эксплуатации; но это будет новый город.

— А если человек вовсе не хочет нового? Я понимаю лопаря, которому его вежа и костер милее дома. Зачем ему навязывать?

— Это глупая романтика — костер. В тайгу вам хочется приехать поглядеть. Жить всегда в веже вы не захотите.

— Может быть. Но в старых формах много интересного. — Я радостно засмеялась. — Ну не прелесть ли, что в Коле рукава, как у Елизаветы Английской. Так и называются «аглицкие». Разве не любопытно?

— Какая нам польза с них? — Егор усмехнулся. — И самим поморам какая польза?

— Та, что по таким мелочам восстанавливают процессы культуры, как палеонтолог по зубу может восстановить животное. Они — объективнее

письменных источников. Летопись отражает точку зрения писавшего, то есть господствующих классов, а рукав или печка — как жил народ. Подлинная история — в вещах, в песнях, в обрядах, а не в политических событиях. А потому, — я откинулась на спинку стула, дразня Егора, — а потому этнография — царица всех наук.

— Время царей кончилось не только в жизни, но и в науке, — яростно отвечал Егор. — А этнография ваша и не наука: сборник анекдотов. Науку об обществе создали Маркс и Энгельс.

— На этнографическом материале Моргана! — закричала я и переконфузилась: с соседних столиков стали оглядываться на нас. Грузный, крупный человек, с шевелюрой серебристого бобра, обернулся, надел пенсне на черном шнурке, положил на стол большие руки. Его сосед, обтянутый черной кожей тужурки, покосился на меня и кивнул Егору. — Знакомые? — спросила я.

— В кожанке — секретарь обкома, а толстый — по вашей части: ученый археолог, биолог или еще что-то. Завтра делает в облисполкоме доклад. Судя по тезисам — много вздору. О древней культуре в Лапландии, в несколько тысячелетий. Приходите послушать.

— Приду обязательно!

В Мурманске

Федя Физик мерил Мурманск длинными ногами — он искал меня. Был в облисполкоме, в облоно, в Главрыбе, в Севрыбе, в Севпорту, но везде отвечали: «Экспедиций тут много, а где которая останавливается — не интересуемся». Про меня никто не знал.

Федя шел к вокзалу по будущей улице, утомленно спотыкаясь о корни: Лиза с вещами ожидала его на вокзале.

Чернобородый, крепкий человек сквозь очки посмотрел на него и сказал:

— Не вы ли, часом, товарищ Физик?

— Да, — отвечал удивленный Федя. — Я — Физик.

— Прекрасно! — сказал Крепс. — Идемте скорее есть уху и копченого палтуса!

— Почему есть уху, — удивился Федя, — и палтуса?

— Обратите внимание на палтуса. Нина велела поторопить вас.

— А где же она?

— На докладе в облисполкоме.

— Я должен вернуться на вокзал — там наш

третий спутник, Лиза Орлова.

— Нет, Лизавета Порфирьевна Орлова не сидит на вокзале, а следит, чтобы не перекипела уха. Бык спит и не помешает.

— Какой бык?

— Холмогорской породы, который живет со мной в вагоне, где Елизавета Порфирьевна варит уху.

— Почему же Елизавета Порфирьевна варит уху в вагоне у быка?

— Потому что Нина встречала два петроградских поезда, третий просила встретить меня, так как пошла в облисполком. Но я опоздал, вы уже ушли. Я забрал Елизавету Порфирьевну к себе в вагон и кинулся за вами, поручив ей уху… Мурманск невелик, человека отыскать можно — своевременно или несколько позже.

— Печурка эта, под названием буржуйка, служит преисправно, — говорил Крепс, запуская еще порцию рыбы в кастрюлю. — Уха должна быть системы трехстволки: первая порция — ерш, навар сливается, рыба — собаке. Вторая — окуни — употребляется для концентрации навара и тоже идет собаке. Третья — хариус или кумжа — опускается в последний момент — на еду.

Лиза смеялась. Ровные белые зубы, стекляшки

очков, отлив на гладкозачесанной толстой косе — все отсвечивало розовым от танцующих в печке огоньков. Горбоносый хозяин говорил так, будто они век были знакомы и даже сродни.

— Как ты успела со всеми познакомиться, Нина? — удивилась Лиза.

— Узнать не долго. Ехали вместе с Мореем Ивановичем, помором. Он пригласил к себе в Колу. Записала былины и встретилась с этим джентльменом, — улыбалась я Крепсу, — мы чуть не утонули в заливе и вернулись в Мурманск. Что у вас? Фотопринадлежности привезли?

— Да. — Лиза указала на рюкзак, откуда торчали желтые ножки штатива. — С деньгами хуже. Сережа крутился, но больше достать не мог.

— Не велика штука — деньги, проживете и так, — сказал Крепс, разливая уху, — рыбки на всех хватит. Каков ваш маршрут?

— Хотим с вами посоветоваться, Герман, в облисполкоме мне говорили, что сейчас лопари откочевали на лето на реку Воронью.

Крепс достал из ящика карту.

— Вот Воронья. По ее течению лопари со стадами идут к морю. Гнуса не выдерживают, а у моря его нет.

— Как добраться? — наклонилась над картой

Лиза.

— На боте Областьрыбы до Гаврилова, там поморское стойбище и фактория. А повыше на Вороньей лопари все лето ловят семгу.

— Это действительно самое разумное. — Лиза оглядела всех.

— Вы обе, кажется, готовы сегодня плыть на Воронью, — улыбнулся Федя.

— Если бы вы знали, как интересно было в Коле, — сказала я.

— Поморы — достойный народ, — кивнул бородой Крепс, — крепкий народ. Это вам не рязанские или тамбовские мужички — век шапки ни перед кем не ломали, крепостного права не знали. От новгородских ушкуйников их корень.

— Ну вот, ну вот! А в Гаврилове и поморы, и лопари, — сказала я.

— Пьют только здорово, — усмехнулся Крепс. — Меня чуть без носа не оставили. Штормовали мы на зверобойном судне. Кончился шторм. Выпили по этому случаю. И показалось одному парню, что у меня нос велик: отрежу, говорит, кусочек. Я загрустил: не режь, ладно и так. Надо, говорит, отрезать, и нож берет. «Жалко резать, ну — надо отрезать». А другой заплакал: «Алеша! Не режь Герману нос. Лучше мой отрежь! Он ученый че-

ловек, исследователь, как ему без носа? Пусть с носом останется». — Герман Крепс доверчиво и серьезно поглядывал сквозь очки на гостей. Они хохотали.

А Герман Крепс продолжал рассказывать — ставил слова, скупые и короткие, как буйки на реке: они намечали течение. Река же — рассказ — текла не в словах — в блеске его глаз сквозь очки, в легких шутках.

Крепс в те времена был лучшим знатоком Мурмана. Он понимал и любил природу Севера. Целый вечер он рассказывал об освоении Севера:

— Иоган Гансович Эйхфельд вывел новые сорта капусты, они успевают вызреть за короткое лето. У него на опытном огороде редиска, капуста, картофель — даже цветы. Освоением края занимается железнодорожное управление, в его ведении огороды и даже бык, единственный на всю округу. Я — железнодорожный агроном, поэтому бык в моем ведении. Необходимо осваивать край и при этом следить за сохранением его природных богатств, частично уже уничтоженных. Например, здесь раньше водились бобры. Они давно выбиты. Можно восстановить их, но

нужно организовать заповедник[27].

Мы остались ночевать в вагоне.

Утром, чаевничая, обсуждали наш маршрут.

— Советую остановиться на Вороньей. Начать с устья и подняться вверх, — сказал Крепс.

Мы пошли оформлять документы.

Вечером Крепс встретил нас ухой и веселым сообщением: договорился со знакомым капитаном! Завтра его бот отправляется в Гаврилово. С утра пойдем на пристань.

На пристани — сивые доски. С грохотом катят по доскам огромные бочки. Бот пыхтит у причала…

— Придем в Териберку за полночь, — сказал чей-то голос.

Мы заснули.

---

[27] Примечания: 27

Он и стал организатором и первым директором Лапландского заповедника — Герман Михайлович Крепс.

Териберка

Проснулись все сразу. Ботик тихо покачивало. Федя вылез из бочки, где спал.

— Териберка, — сказал он. — Приехали в полночь. Как хорошо здесь!

Йолы толпились у пристани. Голубая вода лизала гальку берега. По берегу стояли шпалерами суковатые вешала. На них сохли тресковые головы.

Дальше толпились домишки.

— Выйдем? — спросил Федя. — Ночь, видно, отменяется по случаю прихода бота. Не только люди, вон даже овцы не спят.

Три овцы, торопливо прожевывая что-то, стояли на берегу.

По мосткам кончили катать бочки; мы пробрались на берег.

Улицей шли вешала — ряды деревянных жердей; на них тресковые головы, головы таращили рыжие жабры.

— Для чего столько голов? — удивилась Лиза.

— Овец кормим вместо сена, — отвечал проходивший помор.

— Да ну?! Шутите?

— Поглядите, как овцы приучены!

Он оторвал голову и кинул овцам. Три овцы, тряся хвостиками, подбежали и стали рвать друг у друга рыбью голову, топоча копытцами и толкаясь. Разорвали, уставились желтыми глазами, быстро жуя рыбьи косточки. Прохожий пошел, они, толкаясь, побежали за ним.

Вешала были у каждого домика. Рыбьи головы смотрели сушеными глазами в широкие окна. Дверь домика распахнулась: мальчик выбежал и погнал овец.

— Зайдем, посмотрим, как живут! — предложила я.

— Что ты! Ведь ночь — как же мы войдем? Неудобно! — засомневалась Лиза.

— Ночь отменена: никто не спит, мальчик выбежал из этого дома. А мы попросим напиться, — не унималась я.

— Решаюсь! — сказал Федя и постучал.

— Войдите! — крикнул звонкий женский голос. С порога была видна кухня такой чистоты, что мы остановились: пол, стены, потолок и все вещи сияли бликами масляной краски — голубой, кофейной, палевой. Низкий солнечный луч дробился в медном блеске задвижек, кастрюлек, крантиков у плиты. На полу вместо дорожки

лежали белой краской окрашенные доски на рейках. Они вели из кухни в комнату.

Эти доски удивили нас больше всего: в них блестел какой-то незнакомый, невиданный быт.

— Откуда вы? — невольно спросила Лиза хозяйку, обернувшуюся от плиты. — Приехали сюда откуда?

— Из Вардэ, — не удивляясь, ответила светловолосая хозяйка.

Прозрачная синева ее глаз тоже говорила о каком-то другом мире. Она улыбнулась фарфорово-чистыми зубами.

— Ездил, ездил муж промышлять сюда, да и переехали совсем. Тут многие из Норвегии приехали, когда у вас свобода стала.

— Вы так хорошо говорите по-русски. Никак нельзя сказать, что вы не русская!

— Бабка у меня из Колы. Дед мой в Колу торговать ходил, там и засватал ее. Она со мной всегда по-русски говорила.

— Уж не из Шаньгиных ли она? — спросила я.

— Откуда вы знаете? — удивилась хозяйка. — От Шаньгиных!

— А я с Морей Ивановичем знакома, он мне про норвежцев рассказывал, говорил, что родня.

— Родня, родня, — заулыбалась хозяйка. — Да

вы садитесь же! Кофе попейте!

Она обернулась к буфету и зазвенела чашками.

— Что вы, что вы! — испугалась Лиза. — Как это можно! Спасибо!

— Благодарим! — раскланялся Федя. — Мы не можем — бот уже загрузили.

— Да вы еще успеете попить! Кофе готов. И я так рада вам, гости здесь — подарок Божий! Кушайте!

Она присела, взяв в руки передник.

— Спасибо большое! Очень, знаете, жаль, но надо нам уходить.

— Извините нас… Благодарю вас… — сконфуженно бормотала Лиза. — Как ты можешь так! — укорила она меня. — У совсем незнакомых людей, как у добрых приятелей…

— Но, Лизонька, она ведь правда рада нам! А знакомиться — необходимо. В первый раз мне тоже жутко было войти в чужой дом. Но у Морея Ивановича прошло все прекрасно, и у лопарей, к которым мы попали с Крепсом, тоже. Но это, конечно, благодаря ему. Если бы вы знали, как он умеет делать, что люди с первого раза — точно сто лет друзья! Так и надо! Все будет хорошо, если подходить к людям доверчиво, как Крепс.

— Лев Яковлевич говорил: рассказывайте про

себя, и вам так же просто расскажут, — задумчиво сказал Федя. — Но это очень трудно: взять и начать говорить…

— Труднее всего, — подтвердила Лиза. — Разве ты не смущаешься?

— Крепс научил! Он, кажется, считает всех людей за ближайших родственников. К нему так и относятся.

— Крепс — особенный человек, — улыбнулась Лиза. — С ним правда сразу свободно.

Мы вернулись на ботик. И — снова океан.

Туман встал белой стеной. Ботик храбро барахтался, как муха в густом молоке. Сирена свистела и взвизгивала. Вахтенные матросы пробегали по палубе. Сколько времени двигался ботик? Неизвестно. Машина стучала, сотрясая палубу. Труба выкидывала теплую струю пара. Струя ударяла вдоль палубы, мешаясь с туманом. Из белого клуба звучал голос капитана. Было трудно в тумане войти в Гавриловскую губу.

— Подходим к Гаврилову? — спросил чей-то голос.

— Не подойти! — отвечали из серого тумана. — Пойдем в другую губу, а оттуда горой до Гаврилова.

— Ход давай! — крикнул капитан.

Свистела сирена. Время, как туман, колебалось в неопределенности.

Опять крикнул капитан. И вдруг — разорвалась повешенная на скалах завеса. За ней — полная ясность и тишина голубого, солнцем залитого дня. Блестела вода, бурели и зеленели скалы.

Ботик радостно загремел якорем и встал, покачиваясь. Серая скала перед ним белела рябинами ракушек. На берегу черное здание; около него на шесте трепетал флаг. Людей не было. Тишина.

— Э-ге-гей! — загремел капитан. — Где вы, черти, подевались?! Тут же два сторожа должно быть… Ни одного! Кому товар выгружать будем? — Он помолчал, выжидая.

Никого.

— Ванька! Сходи за чертями в Гаврилово, скажи — пусть принимают…

Простясь с капитаном, мы захватили котомки и выскочили на скалу. Ванька ждал нас, поигрывая ногой в клешных брюках.

Прекрасна земля, когда вступаешь на нее ногами, привыкшими к качке моря!

— Сколько до Гаврилова?

— Горой версты две, — отвечал матрос.

Шли скалами, вглядываясь в повороты тропинки. Вон и поселок!

Становище Гаврилово

В прорыве скал заблестела вода. Тропа завернула; у залива, под нами, открылись строения.

Стали спускаться гуськом. Пахнуло смолой, рыбой, пересохшими досками. Галька хрустела под ногами. Мы подошли к домам.

— Кажется, и здесь никого? — сказала Лиза.

— Найдем! — утешил матрос. — Жителев здесь вовсе немного, это ведь стойбище: рыбаки с Двины на лето приходят, а постоянных — два-три семейства; ну и служащие Областьрыбы, исполкома и прочее. С тоски надо дохнуть зимой! Вот контора Областьрыбы, рядом райисполком. Председатель всегда там, как кукушка на часах. А я — сторожей найду. Счастливо!

Матрос ушел. Мы зашли в райисполком.

Председатель похаживал по светлой комнате и поглядывал в окна. Окна выходили на море. Изредка он пощелкивал счетами, ворошил бумаги и опять ходил, покуривал. До вечера ждать было некого. К вечеру, как стадо коров, будут возвращаться в деревню, пойдут между скал с моря йолы — посуда поморская. Вечерами складывают они паруса у причала, как чайки крылья.

Высыпят навстречу жители; в дверях складов вырастают приемщики; с важностью идут к берегу немногие женки, что живут в поселке, вертятся белоголовые мальчики — зуйки, звонкие, как кулички, кричат над корзинами с рыбой. Светятся серебряные тела трески. Ловкие руки вспарывают рыбе брюхо, бросают: в корзину — рыбину, в другую — печень, в воду — внутренности. Чайки, как бабочки перед огнем, кружат над добычей.

Оживает поселок по вечерам. А днем пустота, тишина.

Председатель лениво похаживает… Он обрадовался неожиданному развлечению: трое незнакомых из Питера! Радостно сел за стол, усадил нас, бумажки рассматривал:

— Так-так… Оказать содействие? Окажем! Дело хорошее, поживите у нас… Предоставим вам жительство. Лопарей изучать, говорите? Лопарей еще нет. Но — будут; не сомневайтесь! Увидите лопарей. И все наше производство увидите: рыбой живем. Ну — гостите, гостите… Я городским людям рад: помогут революционной сознательностью. Поселю вас к Бушуевым: люди семейные. Хозяйка хорошая, самостоятельная женщина… И светелка порожняя есть. Самое хорошее — у Бушуева, Петра Митрофановича!

Да вон, — председатель глянул в окно, — как раз бушуевский зуек идет. Олешка! Иди сюда!

В комнату вошел синеглазый худенький мальчик лет десяти.

— Веди к матери! Постояльцы, мол, к вам. В светелке им знатно и вам не помеха.

— Ну-к што! Пойдемте! — Олеша оглядел нас задумчивыми синими глазами и улыбнулся. — Давайте вешши ташшить помогу. — Он взял у Лизы мешок, из которого торчала тренога фотоаппарата.

Мы взвалили котомки, простясь с председателем, и пошли за Олешей.

— Вы чьих? — спросил Олеша на улице.

— Питерские! — весело отвечала я. — А ты чей — мы знаем.

— А ну?

— Бушуевский. Алексей Петрович Бушуев, так?

— Правильно! — удивился Олеша. — Как ты догадалась?

— Слово такое знаю! Пошепчу и каждого человека насквозь вижу, — шутила я. — Хочешь? Про тебя все расскажу?

— А ну!

— Лет тебе десять. С отцом тебя мать в море не пускает, балует; любишь ты книжки читать да

рисовать; значит, нам родней приходишься!

— Пошто?

— По то, что мы читать, да писать, да рисовать — мастера.

— Как ты знаешь, что я книжки люблю?

— А это что? — Я похлопала его за пазухой.

— Ну — книжка!

— То-то! А это? — Я указала чернильное пятно и след цветного карандаша на рубашке. — Ты, брат, не отпирайся — все знаю!

Олеша засмеялся и покачал головой.

— Прытка девка!

— От меня не спрячешь! Лучше сам все рассказывай!

— Что ж тебе сказывать?

— Про все, что знаешь. Ты мне, а я тебе. Ладно?

— А ты про чо сказывать будешь?

— Про Питер, про другие города, про всяких людей и про всяких зверей.

— О-о, поди, хвасташь?

— Ну — сам увидишь! А сейчас скажи, как твою маму звать?

— Онисьей Романовной. Да ты баяла, сама знаешь, как человека звать, пошто спрашиваш? — лукаво спросил Олеша.

— Я знаю, как увижу да пошепчу, а теперь по-

дойду да прямо и скажу: «Здравствуйте, Онисья Романовна!»

Онисья Романовна встретила нас приветливо:

— Ну-к што? Живите! Светелка пустая стоит. Только вот ни лечь, ни сесть там не на что: ни кроватей, ни лавок, ни стола. Постели-то я дам.

— Спасибо, да мы как-нибудь… у нас с собой одеяла, на полу устроимся, нам надо лопарей дождаться.

— Живите, сколь поживется, — сказала она приветливо.

Мы положили вещи и пошли осмотреть поселок. Был он невелик; казенная лавка, где выдавали пайки рыбакам, склады для заготовленной трески, салотопная — для выпарки тресковой печени, несколько громоздких срубов, где жили рыбаки, приезжавшие в Гаврилово на сезон лова трески. Немногочисленные дома постоянных жителей, переселившихся в Гаврилово с семьями. Дошли до реки Вороньей, куда должны были на днях прикочевать лопари. Надо их дожидаться. Сходили в лавку запастись продуктами. Но сведения о нас еще не поступили. Со следующим ботом должны были прислать наш хлебный паек, но когда придет этот бот — неизвестно. В лавке был только табак и дешевые конфеты. У нас — только

остаток привезенных из Мурманска сухарей. Решили — будем питаться грибами, их много растет во мху.

Среди стелющихся по земле ползучих березок, возвышаясь над ними, стояли грибы-березовики. Нарвали их много. Разложили костерок, сварили похлебку — постеснялись варить такую еду в печи у Бушуевых. Целый следующий день бродили по окрестности. Ждали: скоро ли прикочуют к Вороньей реке лопари.

На третий день туман вышел из океана и захватил землю. Он был так густ, что казалось, бушуевская светелка плавает в нем, как поплавок.

— Три дня! — мрачно сказала Лиза. — Три дня уже, как мы приехали, а видим только туман в огромном количестве, в меньшем — скалы и в минимальном — поморов. Хотела бы я знать, когда же приедут лопари?! Безделье угнетает…

— И бескормица тоже, — согласилась я. — Хотела бы я знать, когда же прибудут наши пайки? Сухари уже кончились…

— Вчера грибы, сегодня грибы, завтра тоже; это, конечно, маловато без хлеба, — сказал наш Физик.

— Обошлись бы и грибами, если бы дело делали, — сурово ответила Лиза.

— А вы пошто трешшинку не берете? — спросил Олеша, поднимая голову от тетрадки. О нем забыли, так тихо сидел он в светлице, раскрашивая Федиными красками срисованный с журнала пароход. Лежа на животе, вытянув в сторону язык, он с утра рисовал и красил — первый раз в жизни увидел акварельные краски.

Мы все сидели на полу — мебели в светелке не было. Федя дочерчивал карту маршрута, Лиза графила тетрадь, я записывала в дневник.

— Как же нам рыбу брать, Алексей Петрович, когда у нас на это денег нету? Только чтобы паек выкупить, — сказал Федя.

Олеша засмеялся.

— Нешто за рыбу деньги платят?

— То есть как же без денег?

— Да как йолы пристанут — подойдите, — вам каждый трешшину даст! Нешто могут человеку не дать? Тогда рыба ловиться не станет. Так ведется: пристанет рыбак, и кто стренется — дает рыбину. А то лову не будет. Это кажный знает.

— Послушайте, ведь это — остаток первобытного коммунизма! — в восторге сказала Лиза. — Вот интересно!

— И практически важно, прибавьте! — улыбнулся Физик.

— Вы бы давно про рыбину-то сказали, — укорил Олеша, — я думал, вы не едите!

Он вышел из светелки и с грохотом побежал по ступенькам.

— Интересный народ поморы, — сказала я. — Стоит все-таки заняться ими.

— Но мы приехали с другим заданием, Нина, — с упреком сказал Федя. — Надо сознательно отбирать материал.

— Ну до чего же я несознательная! — сказала, отворяя дверь, Онисья Романовна. — Как это не догадалась рыбы предложить! Ведь уха наварена, на всех хватит. Пойдемте, пойдемте, милости прошу ужинать.

На другой день, когда рыбаки возвращались с лова, я села на берегу.

Стройная просмоленная йола с высоко поднятым носом, сложив парус, скользнула к берегу. Парень выпрыгнул на камни, подтянул канат и закрепил якорь.

Старик с вспененной, кудрявящейся бородой подвязывал паруса и смотрел на меня светлыми глазами.

— Здравствуйте! — сказала я. — Не знаю, как полагается говорить, когда люди с лова вернулись.

— Как ни скажи, все ладно, дочка, коли от серд-

ца скажешь… все ладно, — дружелюбно ответил старик. — Возьми-ка рыбину на уху. Вот с печенкой, мы еще не пластовали. А печень трескова больно сладка в ухе. Едала ты трескову печенку, свежую, чужаниночка? Ну, бери, на добро здоровье! — Старик взял за хвост тяжелое серебряное тело трески и бросил на берег. — Сейчас пластовать станем.

Парень шагнул в йолу. Нож заблестел у него в руках. Он поднимал рыбьи тела, одним взмахом вспарывал их, кидал печень в корзину, кишки — в море, рыбину — на берег. Чайки носились над йолой и дрались за добычу.

— Скажите, пожалуйста, почему первому встречному обязательно дают рыбину? — спросила я.

— А как же? Кого стренешь — надо дать: тебе Бог послал, ты и дай, а то море осердится, — убежденно сказал старик.

— Ну, спасибо, дедушка! — сказала я.

Рано утром Олеша вскарабкался в светелку.

— Ставайте! — сказал он, отворяя дверь. — Ловозерские приехали: лопин Митюша с семейством на низу Вороньей стали, у губы. Поди сей день и Семен с нашими олешками подойдет.

Я вскочила с разостланной на полу постели и

натянула платье. Непричесанная Лиза принялась искать блокнот.

— Сразу тронемся? — спросила она.

— Безусловно! — из-за одеяла ответил Федя. — Только хорошо ли, если все? Когда так много народу — пожалуй, трудно будет.

— Это правда, — решила я. — Идите к Митюше вдвоем, а я пойду с Олешей в тундру. А потом займусь поморами.

Олеша и Борис Иваныч

— Ты скажи мне: конь-от, он какой ростом? Как собака, как олень аль поболе? — Олеша поднял на меня синие глаза.

— Ты разве никогда не видел коня, Алешенька?

— На картинках видел, а живого не видывал. Смотрю когда на оленей и думаю: ужели он больше? Он страшный? Как медведь?

— Почему страшный? Ты же видел на картинках! На конях работают, пашут землю!

— Вида-ал, — задумчиво протянул Олеша. — Я въяве поглядел бы! И коня, и как хлеб сеют…

— Ты отсюда не выезжал?

— В Териберку ездил. Корову я там видал, — оживился Олеша, — така больша! Рога каки толстушши!

Он надул губы, руками и губами показывая толщину и тяжесть коровьих рогов.

— Там я и молоко пил коровье… Сладко!

— Ты тут родился, Алеша?

— Не, я по третьему году был, как тятя хоромы здесь поставил. С Онеги мы… Ране он с другим онежанам летовать сюда ходил, а потом хоромы

поставил и нас насовсем перевел. Я Онегу-то не помню… Только море да камни, чайки да олешки.

Мы с ним сидели в тундре на камнях и держали полные корзинки грибов. Олеша привел сюда меня посмотреть, не приехал ли Семен-лопин. Но его еще не было.

— Олешки наши у Семена летуют. Вот подгонит их, ты и увидишь; пыжиков маленьких я люблю, — задумчиво улыбнулся Олеша, похлопывая прутиком по кустам голубицы.

— А я вот пыжиков живых не видела… И грибов таких больших. У нас их зовут подберезовики, а это надберезовики! Смотри! — Я поднялась с камня и сорвала крепкий березовый гриб, который поднялся над гибкими, ползущими по земле веточками берез. — Таким одним наесться можно! Ведь не червивый!

— Маленькие лучше. Маманя не велит больших брать… Ты мне про коня скажи: копыта у него, бают, кованы железом — это как?

— Подкованы. Кузнецы подковы делают, такие вот, — я палочкой нарисовала на земле, — и прибивают гвоздями к копыту…

— О-о-о! — удивился Олеша. — Не больно разве?

— Нет, оно роговое, копыто. А куют, чтобы не кололось.

— Одно копыто-то на ноге?

— Одно.

— А у оленя — двойное. И у коровы — я видел…

Я забавлялась, рассматривая Олешу: русский мальчик не знает ни коня, ни земли, ни телеги… Море — вместо поля. Ход трески — вместо летней страды… Как странно, подумала я.

— Олеша, а яблоки ты видел?

— Сушеные? — живо сказал Олеша. — Я и яблоки, и изюм видал.

— Нет, живые, румяные яблоки, они висят на деревьях, так много, что ветки гнутся…

Олеша засмеялся.

— Эдак в песне поют только:

…Яблочко румяное,

Дочушка желанная.

В песнях и про виноградье красно-зелено поют, а како оно? Растет, бают, завиваясь, как хмель, а я хмеля тоже не видывал. Тут у нас Борис безногий как начнет старины сказывать, всяко насказывает: про сады да про дубы, про Киев-град да про князя Володимира; как заиграет песню, все припевать: «Виноградье красно-зелено».

— Сведи меня к нему, Алеша!

— Ну-к што ж! Пойдем!

Олеша поднялся, подтягивая голенища сапог-бахил.

Мы прошли моховище, по каменистой тропинке стали спускаться. Внизу блестели на солнце светлые бревна срубов, голубела круглая Гавриловская губа. Оттеняя вход из океана, стояли на скалах черные кресты.

По океанской переливающейся дали бродили, точно кони по пашне, черненькие полоски — рыбачьи лодки йолы.

Я тихонько толкнула Олешу в плечо. Он оглянулся, ответил на мою улыбку и побежал, сбивая камешки.

Я, с полной грибов корзиной, побежала за ним. Обгоняя друг друга, мы спустились к дому. Я взбежала к себе в светелку, поставила грибы, взяла блокнот и позвала:

— Пошли!

Олеша поправил поясок на рубашке и степенно повел меня улицей к конторе Областьрыбы.

На дверях висел замок.

— Борис Иваныч! — крикнул Олеша в темноту склада.

— Тут! — ответил голос. Олеша вошел в сосед-

нее здание. Там стояли котлы, тянулись чугунные трубы. Лесенка вела на галерейку.

— Борис Иваныч! — крикнул Олеша.

— Ту-ут! — ответили сверху. Над перилами галерейки наклонились худые плечи и острое худощавое лицо с небольшой бородкой. — Вот я!..

— Тут тя питерка спрашивает, — сказал Олеша, задирая вверх беловолосую голову. — Выдь на низ!

— Пошто я питерке занадобился? — довольно хмуро спросили сверху.

— Простите, что беспокою вас, Борис Иванович! — сказала я, выступая в полосу света. — Я студентка. Работаю по изучению здешнего края. Очень бы хотела побеседовать с вами, если у вас есть время.

— Ну добро! — ласковее ответил голос. — Подождите — иду!

Деревяшка застучала по галерейке, потом по лестнице. Сухонькая, небольшая фигурка в черной длинной блузе под ремешком быстро спустилась.

Борис Иванович подошел, глянул, протянул мне руку. Как щипцами охватили меня его твердые, небольшие глаза в мохнатых бровях. Кости лица обтягивала обветренная, темная кожа. Бо-

родка оставляла открытыми подвижные губы. Спросил:

— Вы что — рыбоведению обучаетесь? Или по экономике?

— Нет, — призналась я. — Занимаюсь я вовсе пустяками — записываю песни, сказки, старые старины, новые новины, добрым людям на утешенье, себе на поученье.

Борис Иванович засмеялся. Потеплели глаза.

— А-а, ну это — особая стать! Этим я тоже грешен. Тогда пождите мало время, я тут покончу, да ко мне домой пойдем, побеседуем. Не сочтите за труд, подождите, я сейчас. Ну, показал завод Олешка вам? — спросил он. — Специалистом у нас скоро будет… Что вам еще показать?

— Откровенно говоря, лучше бы рассказать старины, — призналась я.

— Ну добро, добро! Этому я и сам привержен, люблю книги старинные, от руки писанные, иконы письма древнего, прекрасного и всякие рукомесла. Пойдемте ко мне, буду сказывать… — Он светло глянул на меня.

— Очень рада!..

— Я до вечера ушел, Онуфрий, ты сам запри! — крикнул он наверх.

— Ладно! — прогудело оттуда.

Постукивая деревяшкой, Борис Иванович пошел впереди, я шла за ним, положив руку на худенькое плечо Олеши. Борис Иванович отомкнул дверь конторы. Лесенка из сеней вела в светелку. Мы поднялись. Борис Иванович распахнул дверь.

Я остановилась изумленная: широкое окно сияло лазоревым наличником. За ним блестели серебряным блеском океанские дали, а на фоне их покачивалось, привешенное на веревочке к оконному наличнику, резное суденышко. Оно было так искусно вырезано и оснащено, что казалось: приплыло сюда из океана, чудом не увеличившись, и повисло на окне. По бокам его покачивались на таких же шнурочках резанные из тонких стружек птицы. Одна, распустив разноцветный хвост, повернула голову к морю; другая, с девичьим лицом в высокой короне, смотрела в комнату, сложив на груди ярко-синие крылья. На столе стояли рогатые фигурки оленчиков, резанные из кости, и такая же резная шкатулка.

— В старину боле прекрасного было. Сейчас же — благообразия мало.

— Это потому, — убежденно сказала я, — что все растет и меняется. Когда ребенок бежит и кричит, раскрыв рот, разве он благообразен? Бла-

гообразны бывают старики. А сейчас — детство нового мира. Он строится: совсем, совсем новый! Мы прошли войну, кровь, голод, а теперь — вышли в жизнь. Очень интересно — какая станет она? И знаете, что еще интересно? — спросила я, понижая голос. Борис Иванович придвинулся, стукнув своей деревяшкой, и сел. — Еще интересно видеть, как именно все меняется. Сохраняется старое и — появляется новое. В старине надо найти и понять такое, про которое еще не знали, а оно — было! Жило да жило, неведомое, вдруг — всплыло! Расцвело неизвестными цветами, как этот ваш шкафчик…

— Так… удивительного и чрезвычайного в жизни немало, ежели уметь видеть, это правда. И красоту, как цветы, легко рвать надо, чтобы не измять. Это все — правда. Но что же выглядеть думаете и чего ищете?

— Приехала я из Питера изучать лопарей. Но лопарей пока нет, а интересного кругом — много! В Коле я будто в сказку попала. А песни какие! Слушала бы, не отрывалась… Пела там старины Марфа Олсуфьевна Шаньгина… Олеша сказал, что вы тоже поете. Вот я и пришла…

— Про Шаньгину я наслышан, — кивнул Борис Иванович, — наслышан: женка память имеет

твердую и голос хороший. Но сам ее не слыхал. Учился у другой великой души женщины… — Он указал тонким сухим пальцем на фотографию на стене. — Мария Дмитриевна Кривополенова. Мастерица была и утешительница.

Узкая койка у стены была застелена узорным рядном. На бревенчатых стенах висели фотографии: сморщенная старушка в повойнике и темном платке смотрела большими глазами; какой-то норвежский городок, чистые домики и суда у пристани; осанистый старик с раздвоенной бородой. В углу стоял деревянный шкафчик, ярко разрисованный птицами, цветами и травами.

Хозяин выдвинул из-за стола табуреты, приглашая садиться, а сам встал, прислонясь к окну и рассматривая меня.

— Борис Иванович! — доверчиво сказала я, поднимая на него глаза. — Если бы вы знали, как мне интересно жить на свете! Войдешь в комнату к незнакомому человеку, посмотришь: как интересно! Как здесь живут? И не знаю, что лучше: про себя ли рассказывать, вас ли расспрашивать?

— Любопытствуете к жизни? — усмехнулся Борис Иванович.

— Любопытствую! Нет, пожалуй, больше, чем любопытствую: хочется полюбоваться — откуда

это так много в жизни прекрасного?

— А с непрекрасным как быть? — хмурясь, спросил Борис Иванович. Он сжал губы. — Со скверною как?

— Ну? — удивилась я. — Мне кажется, оно просто от недоразумения. Надо постараться понять, где хорошее, оно и окажется… Хорошего же все хотят? Я думаю, прекрасное должно все расти и расти на земле.

— Ну это едва ли! — покачал головой Борис Иванович. — Мысли текут из века в век. Песни хранят старину, тем и важны они. — Борис Иванович кивнул головой. Сел, положив на стол руки. — Слушайте, когда так:

Во таульи во городе,
Во тауль во хорошеем —
Поизволил наш царь-государь,
Да царь Иван Васильевич,
Он поизволил жонитися.
Да не у нас, не у нас на Руси,
Да не у нас во каменной Москвы,
Да у царя во Большой Орде
Кострюка, сына Демрюковича,
Да у его на родной сестре

Да на Марии Демрюковне…

Пел Борис Иванович негромко, протяжно и однотонно, широко открывая рот и покачивая седоватой головой.

Сначала я усумнилась даже — пение ли это? Но чем дольше он пел, тем яснее выступали Москва, царские палаты, звенели свадебные чаши.

Глаза Бориса Ивановича смотрели вдаль, будто изумляясь встающим воспоминаниям. В однообразном ритме, в троекратной повторности нарастала многократность передачи, отложились переживания многих человеческих душ. Песня несла слова, как река раковины: с мерным, повторяющимся рокотом.

Я слушала, держа карандаш.

— Так вы близко знаете Кривополенову? Я читала, как Озаровская вывезла ее в Петроград, она выступала там.

— Знавал. А она, как бывала в Архангельске, — у нас останавливалась, в Соломбале. А я с детства любитель был песен и память имел. Бывало, хожу вокруг и все слушаю. А как отняли ногу — новое пристрастие заимел. Утешает песня в несчастье. Как потерял ногу, она и говорит: «Калека ты, Борис, теперь не работник. Самое тебе дело петь, людям на потеху, себе на усладу, старине на про-

славление. Ты запоминай-ка!» И стала с голосу учить. — Борис Иванович замолчал, сжав губы, — не хотел говорить о своем несчастье. — Ну — что еще спрашивать будете?

— Я бы очень хотела про Кострюка записать. Может, вы продиктуете?

— Могу… Могу и сам записать…

— Я боюсь, Борис Иванович, что вы запишете слишком грамотно, — засмеялась я.

— Запишу сколь обучен, — нахмурился Борис Иванович.

— Ну да, а надо не так, как мы с вами грамматике обучены, а как слышится, это называется фонетически.

— Пошто так?

— Потому, что тогда остается говор, каким поется. Вы знаете, что в разных местах говорят различно. С говора записанная песня скажет, откуда она пришла, откуда родом, это — ключик в историю.

— Понимаю, — кивнул Борис Иванович, — для того и в трубу записывают?

— Борис Иванович, ты спой ей про виноградье. Вишь, мы не знаем, како виноградье, а поем! — вдруг сказал Олеша. Он тихо сидел на порожке.

— Это свадебная, величальная.

— Спойте, пожалуйста!

Борис Иванович погладил бородку и запел:

Виноградье – красно-зелено,
Да ишшо кто такой стучит,
Да во светых-то вечерах,
Да во светых-то вечерах?
Да виноградчица стучит.
Да ишшо спрашивают ребята
Да господина во дворе
Да ишшо около двора,
Да все трава да мурава,
Да все трава да мурава,
Да цветы лазуревы…

Олеша смотрел расширенными глазами: казалось, он видел удивительные лазоревые цветы, прекрасный терем с хрустальными воротами и серебряными «ободверенками», неизвестную, но такую знакомую в корнях своих жизнь. Мне повернулось впервые «Виноградье» не толстой книгой А. Шейна, где записаны тексты песен, а узорчатой песней безногого Бориса Ивановича. Чем дальше он пел, тем больше развертывалось то, что жило не в словах, не в ритме — в отзвуке

прошлого, долетавшего в глуховатом голосе, строгом, худом лице и подвижных бровях сказителя.

Я попрощалась с Борисом Ивановичем и договорилась, что приду, когда он будет свободен, вечером, буду еще записывать песни.

Заря, из широкого окна, заливала комнату Бориса Ивановича розовым светом. В нем, как в воде, плавали у окна подвешенные на шнурках птицы с девичьими лицами, покачивался резной кораблик, уплывая в полыхающее небо.

Борис Иванович сидел спиной к заре, опираясь локтями о стол. Лицо его казалось темным. Нос прямой полосой пересекал удлиненную линию глаз, как на византийских иконах. Клинышек бороды сливался с темным воротом рубашки.

Борис Иванович внимательно слушал меня — мы говорили о старообрядцах.

— Книги древнего письма, Борис Иванович, как и всякие книги, — говорила я, — отражают точку зрения группы людей, их писавших. Те, кто писал до Никона, отразили свое понимание греческих текстов, с которых переводили, Никон — свое. В этом ли дело? Разве надо так держаться за букву?

— Я и не держусь, — отвечал Борис Иванович. — Дело не в букве и не в двуперстии, а в том, что насилием введенное — духа лишается.

Сказ есть: стоит Россия, не проваливается потому, что три старца неведомых в лесах за нее молятся. Перестанут они молиться и — рухнет все… — Борис Иванович посмотрел на меня и сказал: — Может, и не молятся они, а просто помнят да помалкивают. И того довольно. Беда приходит, когда обеспамятует народ. Понимаете, что сказать хочу?

— Нет, — призналась я.

— Видно, не имею слов настоящих… А — чую… Будто вьется ниточка али стежка по полю. Идет и идет по ней кто-то. От самого Киева до Архангельска — все идет. Многие сотни лет. Уж забыл, когда вышел, а памятует: надо идти вперед… Ты его не пинай: он сам знает, куда идти. Сила великая в том, что сердце помнит… — Борис Иванович поднял палец. Строго, как бы недоумевая от невозможности отыскать слова тому, что для себя было ясно.

— Я думаю, то, что вы рассказываете, называется традиция культуры — сказала я. — Но ведь большая сила, Борис Иванович, не только в сохранении, но и в разрушении традиций.

— Новое — не отрицаю. Но оно откуда берется? Чтобы разобраться — старое понимать надо.

У лопарей

Река Воронья недалеко за поселком. На берегу ее выпрямились тоненькие, хрупкие березки. Сплетались ветками ольхи и тальники. Вода, пенясь, скакала по большим серым камням. Между ними торчали колья, перегораживая реку. Оставался узкий проход в стремнине. У берега, прислонясь спиной к камню, стоял небольшой темноглазый человек. Он курил трубку. Седоватую жидкую бородку шевелил ветер. Человек поглядывал на реку, на небо, на бегущие легкие облака. В руке он держал шнурок, уходящий в воду.

— Федя, — шепотом спросила Лиза, — как вы думаете, это он?

— Вероятно. Кому же здесь быть? И вид у него такой…

— Что он делает, Федя?

— Не знаю. Надо спросить…

— Но как? Неловко. Подойти и так, прямо, спросить — что вы делаете?

— Надо начать разговор…

— Безусловно. — Она вздохнула и помолчала. — У Нины это как-то просто выходит: возьмет и заговорит. А мне трудно начать, стесняюсь, —

горько сказала Лиза.

— Ну, как-нибудь заговорим, — улыбнулся Федя. Он подошел к человеку у камня. — Здравствуйте.

— Здравствуйте, — не вынимая трубочки изо рта, ответил человек.

— Скажите, пожалуйста, этот забор — семгу ловить?

— Для семги.

— Ловить собираетесь?

— Жду ее, семгу.

— Как же вы ее ловите?

Человек передвинул трубку и усмехнулся, меряя глазами Федю: он приходился Феде ниже плеча.

— Пойдет семга — буду вытягивать, — он потянул за шнурок, — вот так.

— Здравствуйте! — Лиза подошла. Она смотрела внимательными темными глазами. — Вы тут живете?

Человек улыбнулся.

— Вчера вежу поставили. — Он кивнул на березовую поросль.

— Вы ловозерский? Мы слышали, что прикочевали, — живо сказала Лиза, — как вы по-русски хорошо говорите!

— Почему не говорить? Я при царе в Петроза-

водске служил, в военной службе.

— Разве лопарей призывали?

— Почему нет? Самоедов не призывали, а карелов и нас призывали. У меня и жена по-русски немного говорит. — Митюша-лопин стал опять смотреть на воду. — Не идет.

— А как вы узнаёте?

— По воде: рябить станет. Я и потяну… Кто знает, когда пойдет, может, к вечеру… — Митюша бездумно посмотрел на небо. Видно было, что он мог ждать рыбу — как дерево растет — неторопливо и беззвучно.

— Нам что же, с ним сидеть? — прошептала Лиза. — Или в вежу идти? Спросите про вежу, Федя…

Федя с укором посмотрел на нее, но спросил:

— Не помешаем, если пройдем к веже?

— Идите, посмотрите, — приветливо ответил Митюша, указывая тропку среди тальников.

Тропка привела на бугорок.

— Смотрите, Лиза, совсем индейский вигвам, но крытый брезентом!

— Неужели брезентом? — озабоченно сказала Лиза. — А не оленьими кожами? Как жаль!

Они обошли кругом вежу. Снизу ее окружал валик из дерна. Брезентовая покрышка натянута

на тонкие березовые жерди, как зонтик на спицы. Вверху, где жерди скрещивались, было дымовое отверстие.

— Войдем?

— Спросим… Можно войти? — тоненько спросила Лиза.

Изнутри откинули брезентовую полу. Показалась женская голова:

— Проходите.

Свет падал сверху, освещая оленьи шкуры, большой самовар на земле, черный крюк, подвешенный над очагом. Пахло свежими березами.

— Хорошо как! — сказала Лиза, осматриваясь. — Я думала: как жить в веже? А пожалуй, пожила бы с удовольствием, комаров и мошки нет, прохладно… — Она присела у очага.

Две девочки, взявшись за руки, подошли к ней.

— По-русски знаете? — спросила Лиза ту, что постарше.

Девочка покачала головой и спряталась за другую.

— Не умеешь? Вот беда! А вы говорите? — спросила Лиза женщину.

— Мал-мало умею.

— Надо мне по-лопарски учиться. Это как по-вашему? — Лиза показала на свое платье.

Девочка подвинулась ближе, рассматривая Лизу. Она еще раз спросила, и женщина засмеялась:

— Ну учи, учи…

Лиза выговаривала незнакомые звуки, девочки смотрели, раскрыв рот. Потом засмеялись. Лиза указывала предмет, они сначала шепотом, потом звонко, раньше матери называли его. Лиза следила за их губами, старательно выговаривала. Они смеялись, качали головами, опять и опять повторяли. Это становилось увлекательным: научить говорить. Перебивая друг друга, девочки показывали пальцами на вещи, называли их. Покатывались от смеха, когда Лиза неверно произносила. Лиза достала записную книжку, записывала.

Девочка побольше подошла и взяла Лизу за руку, чтобы удобнее показывать ей вещи. Уже много слов накопилось в Лизиной книжке.

Федя вышел, сел на пенек — рисовать вежу.

— Лиза! — позвал он. Лиза, а за ней обе девочки вышли.

Девочки посмотрели на рисунок, по-птичьи защебетали тоненькими голосами, показывая измазанными пальчиками то на рисунок, то на вежу.

Побежали за матерью. Она вышла, улыбаясь и покачивая головой. Федя быстро нарисовал около вежи фигуру человека и лежащей собаки. Восхитились и мать, и девочки. Не уставая, смотрели, как он срисовывал берестяной туес с узорами, корзинку для рыбы, люльку, обтянутую оленьей кожей. Лиза записывала названия, девочки приносили вещи, ставили перед Федей и жадно ждали: как возникнет она на бумаге? Наконец Федя устал.

— Довольно, Лиза, пожалуй, на сегодня? — спросил он.

— Достаточно. Для первого раза — очень хорошо, — согласилась Лиза. Они простились с хозяевами, пообещав завтра прийти.

С утра шел дождь. Мы сидели в светелке, разбирая свои записи.

— Две семьи лопарей на троих этнографов — мало! — мрачно сказала Лиза. — И неизвестно, когда прикочуют остальные к Вороньей реке.

— Может, дожди задержали? — предположил Федя, отрываясь от плана стойбища, который он чертил.

— Тяготит безделье, теряем время! — Лиза сердито поправила очки.

— Можно заниматься языком, что мы и де-

лаем, — спокойно ответил Федя. — Как ваши лингвистические записи, Нина? — спросил он меня.

— Она увлекается сказами Бориса Ивановича, ей не до лопарей, — укорила Лиза.

— Лиза! Почему поморы менее интересны, чем лопари, хотела бы я знать?

— Потому, что мы ехали изучать лопарей.

— А приехали к поморам! — смеясь, ответила я.

— Тем хуже. Не выполняем задания. Ты мало озабочена этим?

Я писала в дневнике: «Лиза считает легкомыслием мой интерес к русскому фольклору. Но не лучше ли начать с изучения своего народа? Когда я слушаю старины Бориса Ивановича — я чувствую себя капелькой потока. Словно я знала всегда и этот глуховатый голос, и мерно повторяющийся ритм, и встающие образы.

Как Олеша знает про виноград, если он никогда его не видел. Это живет памятью рода. Поэтому, начав с изучения родного народа, больше научишься видеть, чем изучая чужой. Лиза считает обязательным заниматься лопарями, а мне хочется охватить всю страну…»

— Лиза! — позвала я. — Как быть, если любо-

пытство одолевает? Любопытство ко всему на свете! И — сразу!

— Настоящий исследователь должен начинать с небольшого вопроса, овладеть им, а потом — расширять круг интересов, — спокойно сказал Федя. Поглядел ясными голубыми глазами.

— Я, должно быть, не исследователь, а просто бродяга! Хочется обежать всю страну! Посмотреть: что? где? как?

— И ничего не сделать — да? — резко сказала Лиза.

— Я записала шесть былин и восемь песен. Хотите — прочту?

Они не успели ответить: в море взвыла сирена.

— Пароход, — сказал Федя.

— Почта, — закричала я, — идем скорее!

Опять Егор

— Вошел, вошел в губу пароход! — кричал снизу Олешин голос.

Жители поселка бежали к берегу.

Пароход, дымя белой высокой трубой, плавно прошел на середину губы и остановился. Загрохотала якорная цепь. Карбасы отошли с берега к пароходу. Рыбаки кричали и махали шапками.

Первый карбас пришвартовался. По палубе забегали: стали спускать тюки, сходили и садились в карбас люди. Следующий карбас уже покачивался рядом. Суда подходили один за другим: шла разгрузка.

Первый карбас подошел к берегу. Люди выскочили на камни.

— Почта! — указала Лиза на толстую кожаную суму. — Сейчас понесут в сельсовет. Идем!

— Смотрите, честное слово, это Егор Спиридонов! — удивилась я, указывая на высокого парня. — Как он сюда попал?

— Тот, что выступал на докладе Барченко? — спросил Федя.

Я еще не рассказала о докладе, на котором была в исполкоме, когда приехали Федя и Лиза. А

рассказать, пожалуй, стоит. Я была на докладе. Федя решил тоже послушать и разыскать меня. Он поднялся на второй этаж. Из открытой двери вытекала плотная струя табачного дыма. В нее упирался солнечный луч. В темноватой комнате сидели люди. Куренье казалось их основной обязанностью. Физик не сразу рассмотрел меня, наконец увидел, но я смотрела на помост. На шершавых досках помоста, рядом со столом президиума, у рыжей кафедры толстый седой человек указывал на карту Лапландии.

— Датировка геологических пород определяет древность этих изображений примерно в две тысячи лет до нашей эры. Значит, культура создалась здесь раньше, чем в Греции, — говорил он бархатным голосом. — Легенды о древней северной культуре известны давно: сюда приходили скандинавы. Может быть, правильнее сказать: отсюда они вышли. У нас еще нет достаточных данных, чтобы утверждать, но есть основания предполагать… — он провел рукой по воздуху, — что Лапландия является столь же древним очагом культуры, как Малая Азия. — Толстый человек обеими руками поднял черные роговые очки, откинулся назад и положил на кафедру полные, в перемычках, руки. Серебрились волосы сереб-

ристым бобром. — Товарищи! — Он медленно обвел глазами скамьи. — Задача советской науки — найти и изучить эту древнюю культуру!

Брови его поднялись.

— Мы должны обследовать древние памятники, указать, чем была Лапландия, и найти пути новой социалистической культуры. — Брови опустились, ставя точку.

Люди на скамьях курили махорку и ждали дальнейшего. Председатель, завороженный плавностью речи, не спускал глаз с докладчика. Худой сероглазый парень в президиуме прицелился в докладчика блестящими глазами, ноздри его подпрыгивали. Он быстро глянул на меня, на минуту смягчилось лицо, и опять насторожился. Недоумевая, оценивал слышанное: взгляды докладчика были неожиданны и головокружительны.

Александр Семенович Барченко был опытен, умело вел аудиторию. Плыла волна слов, звучных, убедительных, не совсем понятных. Непонятность казалась понятной его убедительной ясностью и сердечной открытостью. Барченко, стоя на солидных ногах, опирался о кафедру. Солидностью веяло от пышных волос. Он немного покачивался от солидности. Председатель смот-

рел на него, не отводя глаз. А сероглазому парню докладчик не нравился. Барченко это заметил, понял, что надо переходить к конкретному.

— Облисполкому, я полагаю, надо взять в руки инициативу по изучению местного края. Важность этого я постарался выяснить в докладе. Ваше дело, товарищи, решить: сможете ли вы, в добром вашем желании я не сомневаюсь, найдете ли средства помочь советской науке? Затраты на экспедицию невелики, на предварительное обследование мне и моим двум помощникам, я полагаю, будет достаточно пятьдесят червонцев. Мы дойдем до Ловозера и, обследовав древние памятники, дадим общий очерк. — Барченко снял очки, скрестил их черные ножки и положил их на кафедру. Обвел взором комнату. На скамьях покашливали. Сероглазый, в президиуме, прицеливался. Председатель оглядел скамьи:

— Кто желает высказаться?

Сморкались и кашляли. Задумчиво глядели в окна: за окнами вода залива, лиловые горы, какие-то мачты.

— Н-да! — сказал кто-то, вздыхая. — Говори, Спиридонов, ты.

— Больше нет желающих? Начинай, Егор! — Председатель спустил сероглазого, точно лайку

на лося.

Егор Спиридонов спросил:

— По каким данным рисовали вы картину древней культуры, уважаемый товарищ докладчик?

— На основании старинных скандинавских рукописей, — с любезной важностью отвечал Барченко, поднимая очки, как щит. — Потом — по опросам лопарей и моим предварительным исследованиям. Изучая биологию белки, я собирал и археологические материалы. Лопари в один голос говорят, что от Ловозера в океан идет древняя, когда-то мощеная, дорога. Они уверяют, что строили ее великаны. Изображения этих великанов в виде барельефов стоят над Ловозером. Это я и предлагаю проверить.

— Так! — сказал Егор. — А по-лопарски вы говорите?

— Мм, я понимаю их язык, — замялся немного Барченко.

— Так! — сказал Егор, постукивая пальцами по столу. — Наука — прекрасная вещь! — Егор сжал губы. — Она должна служить на пользу пролетариата. Научное освоение нашей страны — наше оружие; мы переделываем мир с помощью знания. Это так. Но мы еще бедны и не имеем права на роскошь. Здесь, в Мурманске,

надо строить город и порт; переделывать — по существу, создавать заново — рыбные промыслы. Нужно геологическое изучение края, чтобы узнать его богатства. Археология — роскошь в наших условиях. Мы не можем отпускать деньги на роскошь, уж не говоря о том, что предложение товарища Барченко и его взгляды кажутся мне несолидными…

Барченко рванулся к кафедре, простирая руку, но спохватился и спокойно покачал головой, застывая в величии. Егор быстро глянул на меня и продолжал:

— Всякое исследование должно иметь конкретное, практическое значение. Зачем тратить средства на голословные предположения? Я — против! — Егор посмотрел на меня и повторил: — Да, я против! Если это действительно нужная вещь, пусть ее организует центр. Мы можем помогать экспедициям, направленным на то, что нам по плечу: изучение современных нужд, а не отвлеченных теорий. Они — вещь спорная.

— А, приехали, — обрадовалась я, увидев Физика. Мы ушли, не дожидаясь конца собрания.

Но вернемся в Гаврилово.

Егор Спиридонов шел по поселку, оглядываясь,

будто искал кого-то. Заметив нас, махнул кепкой и повернул.

— Здравствуйте, товарищи лихие исследователи! — сказал он, пожимая руки. — Я как раз искал вас.

— А почему вы знали, что мы здесь?

— Крепс сказал. Просил передать записку. — Егор достал ее из кармана. — Он узнал, что в этом году мало лопарей будет кочевать по Вороньей — исполком поручил ловить рыбу по озерам и везти ее в Мурманск.

— Ну?! — испуганно сказала Лиза. — Как же быть?

— Вернуться в Мурманск и подняться по Туломе к Ловозерскому погосту. Да вы читайте!

— А вы почему попали сюда? — спросила я.

— Дали задание объехать рыбацкие становища по побережью. Был в Териберке. Здесь побуду, пока стоит пароход, успею за несколько часов собрать данные и — дальше. Где здесь сельсовет?

— Пойдем, мы туда за почтой!

— Пошли!

Почту разобрали, выдали нам письма. Лиза, нежно улыбаясь, стала читать отцовские наставления. Я жадно просматривала сразу два письма. Даже спокойный Федя слегка покраснел, читая.

Егор сидел с председателем и записывал сведения в блокнот: председатель показывал сводки лова трески.

— Кончили? — спросил Егор, когда я оторвалась от письма. — Как ваши дела?

— Елизавета Порфирьевна страдает, что мало лопарей, а я занимаюсь сбором русского фольклора.

— За лопарями надо вглубь, по следам Барченко.

— А куда он отправился, на Ловозеро? — заинтересовался Федя.

— Да, добился в облисполкоме денег и пошел искать древние дороги. Моя бы воля — не дал ему ни гроша! — У Егора зло сузились глаза.

— Ну что ж, — задумчиво сказал Федя, — я думаю, стоит пойти на Ловозеро.

Егор повернулся ко мне:

— Нина, пойдем со мной в партячейку, раз вы не специализируетесь по лопарям. Или вас современность не интересует? — добавил он насмешливо.

— Пойдем. Все интересует.

— Ну а мы домой — работать. До свидания, — сказала Лиза.

— Сядут за лопарский словарь, а я — ленюсь! —

вздохнула я.

Мы с Егором шли по улице, хрустя галькой. Егор с любопытством озирался…

— Каковы в ячейке ребята? Убедились, что туда идет самая активная и толковая публика? Лучшие — группируются вокруг партии. Это — закон.

— Не знаю, — ответила я, — я еще не установила его. Трудно вообще судить о закономерностях, сидя в одной маленькой дыре. Я вам завидую, Егор! Вы столько изъездите! Неудержимо тянет двигаться, дух бродяжничества охватил.

— Так поедем со мной! Кто мешает? Черта вам дались эти лопари, когда вся страна растет и кипит! Вас тянет видеть новое? Стройку? Правильно тянет! Едем, посмотрите все становища, увидите настоящих людей, привезете свежий материал…

Я усмехнулась:

— Просто решаете! А наше задание?

— Разве вы обязались именно по лопарям работать? Вам выдали красный фрак, один червонец и послали: поди туда, не знай куда, принеси то, не знай что. Вам дали твердый план, который пострадает, если выпадет одно звено?

— Нет, — призналась я, — нам важно за это лето научиться быть этнографами: собирать материал, улавливать самое характерное, научиться

подходить к людям.

— Это важно не только этнографу. Партработники это делают лучше вашего, — задиристо сказал Егор. — Проедете по ряду ячеек со мной — сами увидите! Что вас здесь привязывает?

— По существу, ничего.

— Ну так вот что: осталось два часа до отхода парохода. Решайте: если хотите осмотреть все побережье, увидеть, как входит в жизнь революция, собрать новый материал — поедем со мной.

— А на каких основаниях? Кто даст командировку?

— Я имею право взять себе помощника: шамовка и литер обеспечены. Ведь вы сами говорите — поморы интереснее лопарей!

— Я хочу побольше посмотреть, это правда, — призналась я. Егор засмеялся:

— Думаю, это интереснее, чем хлюпать по болотам вслед за Барченко.

— Древние дороги мне правда менее интересны, чем современные.

— Тогда идите предупредите товарищей, соберите вещи и приходите к пароходу. А я — в партячейку! Буду ждать вас на берегу.

Он кивнул и быстро пошел вдоль улицы. Я стояла, раздумывая: знала, что Лиза и Федя резко

осудят меня за легкомыслие. Но белый пароход заманчиво покачивался. И сама неожиданная возможность вдруг взять и все переменить — манила. Как они пойдут по Лапландии, было уже почти ясно. Конечно, очень интересно дойти до Ловозера, описывать лопарей, ночевать в вежах. Но это все я уже представляю себе. А что будет, если вдруг возьмешь и сядешь на пароход? Совершенно неизвестно! Куда я приеду? Куда приведет путешествие? Борис Иванович говорил, что в Архангельске у Ивана Лукича есть старинные рукописи. Может, объехать Кольский полуостров и добраться в Архангельск? Неизвестность — заманивала. И я не стала себя удерживать, прибежала к Бушуевым, ошеломила Лизу и Федю: сейчас еду со Спиридоновым по всем рыбацким становищам! Быстро стала укладывать рюкзак.

Странички из дневника

25 июня 1923 г. Начинаю новую тетрадь. Выехала из Гаврилова с Егором Спиридоновым в качестве его помощника, он получил задание от облисполкома обследовать поморские становища — на мурманском берегу Ледовитого океана. Совершенно неизвестно, что впереди, и это очень заманчиво.

Штурман уступил мне каюту, а сам перешел к капитану, потому что пароход не пассажирский и кают нет. Егор устроился в кубрике с матросами. Слегка покачивало. Зеленая вода шипела за иллюминатором. Завтра прибудем на очередное стойбище, где будут сгружать с нашего парохода бочки для засолки трески. Пароход уйдет дальше, а мы будем заниматься обследованием: типы рыбацкой «посуды», количество рыбаков, количество и состояние снастей.

Егор будет еще вести работу по партийной линии, а я — собирать этнографические материалы.

6 июля. Опять на пароходе. 4 дня пробыли на становище. Егор «беседовал с ребятами», «вправ-

лял мозги». А я обследовала снабжение становищ — рыбаки жалуются, что не хватает ярусов для лова, обещали и не завезли, плохо снабжают продуктами. Егор на собрании сказал, что в этом замешаны бывшие скупщики, которые нарочно тормозят государственное снабжение и вредительствуют. Так ли? Трудно с налету разобраться в происходящем, а мы не можем тратить на каждый поселок больше 3–4 дней.

8 июля. До чего красивы здесь ночи! У нас уже кончились белые, вернее, голубые питерские ночи, а здесь все еще висит ночью над морем желтый шар солнца и от него идет золотая дорога. Так и хочется петь, когда видишь это. Пел бы да пел и любовался. Но любоваться и петь некогда: надо записывать данные.

Егор в неистовстве энтузиазма. Он налетает на становище, созывает партийное собрание, открытое, «чтобы поговорить по душам». Часто мне кажется, этот «душевный разговор» смущает рыбаков: они робеют перед Егоровыми темпами. Вынь да положь все сразу: и социальный состав, и количество неграмотных, и как идет политучеба. Каково снабжение, уловы и т. д. Те, что побойчее, отвечают, Егор записывает, требует цифровых данных. Более медлительные теряются. В глазах

— тоска и недоумение.

Но я даже выражение глаз не успеваю толком рассмотреть, потому что веду протокол. Это если собрание открытое. А что на закрытом партийном собрании — не знаю.

Егор сказал: «Раз ты не считаешь нужным подать заявление о приеме в партию, не буду тебе рассказывать о партийных делах».

«Ну и не надо», — отвечала я. Он почему-то очень огорчился, что так ответила.

14 июля. Обследовали еще два становища. Егор становится вроде ревизора: принимает и разбирает жалобы. Если видит недостатки — шлет телеграммы в Мурманск, собирает цифровой материал по всем вопросам жизни. А я как-то за цифрами теряю людей, не могу завести с ними настоящий разговор и понять их. Егор говорит, что видит их насквозь, а я — не умею. Вероятно, это моя расхлябанность мешает.

16 июля. Во время переездов на борту я читаю и делаю заметки по Канту. Егор не протестует. Он соглашается, что Канта надо преодолеть, чтобы понять Гегеля, а Гегеля необходимо изучить, чтобы знать, как Маркс повернул его с головы на ноги, т. е. откуда вырос теоретический марксизм.

Но вот сегодня я сидела на палубе и читала Блока, вытащила из рюкзака «Седое утро». Подошел Егор:

— Что читаешь?

Я показала.

— Блок… Слышал я про него. Охота тебе заниматься этой мистической тарабарщиной!

— Это не тарабарщина, а великолепные стихи; если ты их не понимаешь, Егор, тем хуже для тебя, — рассердилась я. — Это не позор, но несчастье.

Он обиделся:

— Сколько в тебе гнилой интеллигентщины еще не изжито.

— А я и не собираюсь что-то изживать. Что гнилая — не чувствую, а что интеллигентщина — как же ей не быть? Я потомственная интеллигентка многих поколений и вовсе этого не стыжусь. Не вижу в этом ничего плохого.

Он покраснел от злости:

— А я — крестьянский сын, карел к тому же. Считаешь ниже своего достоинства иметь со мною дело?

— Не говори чушь! Не давала оснований к подобным заявлениям, — сказала я, правда очень холодно, потому что обозлилась на его дурацкую

вспышку.

Он повернулся и ушел. Была бы дверь — хлопнул бы дверью. Но двери не было, была палуба. Я осталась на ней читать Блока, а он спустился в кубрик.

26 июля. Наконец обскакали или, вернее, обплавали все намеченные стойбища и вошли из океана в горло Белого моря. Там нас малость потрепало. Потом пришвартовались у большого поморского посада на летнем берегу. Настоящее жилое место, а не мужские летние стойбища. Стоят высокие кондовые дома, на взгорке — церквушка крестами помаргивает. Ходят по погосту женки: статные, дородные, в сарафанах и душегрейках. Только что кокошники не надевают, а платками повязаны и называют его «плат». Говорят певучими голосами, пересмеиваются. В домах полы «нашорканы» — блестят, окна светлые, в узорных наличниках, пахнет теплом и хлебом. Словом — женский дом, настоящий, а не берлога. Сразу мне стало уютнее.

И посмеяться есть с кем, настороженность не уронить себя в мужских глазах пропала.

Останемся здесь довольно долго — будет рыбацкое совещание. Выступят какие-то ихтиологи из научно-промысловой экспедиции, и Егор будет

делать доклад о своем обследовании.

27 июля. Ихтиологи-то оказались студентки из Пермского университета. Они на практике здесь. Ох и славные девчонки! Дина и Зина, обе на 3-м курсе биофака. Мы познакомились и сразу пошли трещать про свои дела.

Они расспрашивали про Петроград и про театры. Я им изобразила оперу в лицах и пела на разные голоса. Хохотали мы — ужасно!

Потом пришел Егор, глянул колючими глазами, и стало нудно.

Завтра совещание. Дина и он выступают с докладами, а я ему ассистирую.

Дина и Зина волнуются: народу будет много, всё бородатый, солидный народ — рыбаки.

29 июля. Целый день заседали вчера. Доклады сошли удачно. Как полагается: слушали, постановили, приняли меры…

Егоров доклад меня мало интересовал. Я все наизусть знаю, по существу, а излагать он — боек, тоже знаю. Ну Дина — очень здорово выступила, я даже не ожидала. Рассказала все, что они исследовали: миграции трески. А потом деловито и важно привела данные, нужные для организации лова. Словом — здорово!

После заседания пошли в столовую. Сидим, едим палтуса, пересмеиваемся. И вдруг Егор закатил мне какую-то дикую сцену о несерьезном отношении к работе вообще и к его — в частности. Вскочил и убежал. Я пожимаю плечами: чего он бесится?

Дина и Зина переглянулись и говорят:

— Неужели вы не видите, что он ревнует? Вы нарочно дразните?

— Кого ревнует? Что за чушь!

— Не чушь. Парень явно влюблен, видит полное равнодушие и не знает, как приступиться.

— В голову не приходило! — ошеломленно сказала я. — Не может быть!

— Ну как это не может, когда явно, почему бы иначе злиться?

Подумала. Пожалуй, они правы. Но если так — надо сматываться! Ничего хорошего из совместного путешествия не выйдет. Надо придумать, как смотаться.

2 августа. Все сложилось очень удачно: приехало (опоздав на один день) ихтиологическое начальство — руководитель экспедиции. Маленький ученый старичок с седенькой бородкой. Опоздал потому, что делал доклад в Архангельске. И оказалось: нужно всем ехать на губернское

совещание. Там нужны и экономические данные по тресковому промыслу, а экономики у них нет. Зато у нас с Егором — есть.

Словом, товарищ Егор Спиридонов не успел рта раскрыть, как старичок предложил нам ехать в Архангельск с докладом. А Егор ехать не может — ему пора возвращаться в Мурманск. И вышло так, что надо ехать мне и ничего возразить он не может. Это, конечно, еще Дина своего профессора настрополила, чтобы он решительно потребовал у Егора отпустить меня в Архангельск.

И вот — мы в Архангельске сегодня. Представили все нужные данные в Областьрыбу, и Рыба их проглотила. Но предстоит еще завтра выступить на совещании.

На три дня получили командировочный паек и литеры в столовую, ходим по славному архангельскому городу, осматриваем достопримечательности. Что буду делать дальше, пока не представляю себе — денег-то нет, а теперь НЭП, жизнь строится согласно денежным знакам. Ну — буду думать после доклада в облисполкоме, там я должна добавить экономику к ихтиологическому докладу.

Зашли мы в музей, разговорились с сотрудниками. Они похвастались, что организовали

при музее кустарную артель косторезов и пошивочную артель самоедских вещей из меха — торбаза[28], туфли, сумочки, шитые меховыми аппликациями.

— Спрос большой, и все бы хорошо, — сказал заведующий мастерской, — да нигде не достать красного сукна на отделку — ну просто необходимы полоски красного сукна по швам для правильного стиля одежды, и негде взять!

— А у меня есть красный ливрейный фрак с медными пуговицами, — говорю я.

Он возликовал:

— Продайте! И пуговицы нужны на украшение!

Вот я и продала свой фрак. Надо только оформить продажу через промкооперацию.

В промкооперации случилась интересная встреча: направили меня для оформления покупки фрака в соседнюю комнату. Там сидит смотрит на меня сероглазая женщина. Тонкие черты лица, знакомые интонации речи.

Она любопытствует:

— Кто вы? Почему у вас красный фрак с золотыми пуговицами?

---

[28] Примечания: 28
Сапоги из оленьей шкуры.

Объясняю:

— Я этнограф, студентка Географического института, на практике. Отправляя нас, профессор Богораз выдал фраки как обменный фонд, они нужны народам Севера — не хватает у них красного сукна для орнаментации одежды. Денег же дали мне всего один червонец, вот и торгую фраком.

Усмехается:

— Вы петроградка?

— Коренная.

— И я тоже.

— Вы в какой гимназии учились?

— У Стоюниной.

— И я стоюнинка.

— Да ну!!

— Только я значительно старше вас — до революции кончила, в первый год революции поступила в Петроградский университет!..

Пошли у нас разговоры про гимназию. Оказалось — у нее в классе училась Вера Гвоздева[29], а в моем классе ее младшая сестра — Муха. Тут уже мы совсем почувствовали, что — родня.

Пригласила она меня вечером к себе — Перм-

---

[29] Примечания: 29

Впоследствии Вера Федоровна Шухаева, жена художника, колымчанка, как и он.

ская ул., № 5. Говорит:

— Я здесь с семьей живу — мама и трехлетняя дочка.

— Приду обязательно.

Оформила я продажу и вернулась в общежитие, где мы с Диной и Зиной получили койки. Доклад у нас завтра. Сегодня отправились бродить по славному городу Архангельску.

Прекрасная высокая набережная вдоль Двины. Наверху — березовая аллея, книзу — заросли шиповника. Весной их заливает Двина, конечно — разлив. Через Двину и мост на остров Соломбалу ставят, только когда разлив спадет, а осенью опять снимают. На Соломбале пыхтят лесопильные заводы. Теперь — национализированные, раньше — купеческие. Таможня на берегу у пристани — петровских времен. Стены толстенные. В середине таможни — колодезь; говорят про него: бездонный; дна не могут достать. Все при государе Петре Алексеевиче заведено. Кажется, слышно еще, как ходил государь-царь Петр Алексеевич по Архангельску, в ботфортах и зеленом кафтане с красными обшлагами, наводил торговые порядки с иноземцами.

Параллельно набережной идут проспекты до самого болота — там под деревянными мостка-

ми вода хлюпает. По проспекту, мимо главного собора, трамвайный путь проходит. Проспекты поперек пересекают улицы.

3 августа. Вчера вечером была у Елены Михайловны. Дали ей комнату во втором этаже бревенчатого, крепкого дома с резными наличниками. Прежде был этот кондовый дом купеческим, а теперь — казенная жилплощадь. Огромная закопченная кухня; в ней, как алтарь, стоит русская печь. Немало было в ней перепечено рыбников и шанежек, а теперь — стоит сиротой.

Ходами-переходами деревянных лестниц я прошла во второй этаж, где получила комнату Елена Михайловна Тагер. Встретили меня маленькая светлоглазая девочка и старушка с милым питерским лицом — мама Елены Михайловны. Покивала головой, протянула мне руку, тихо сказала:

— Здравствуйте! Леля за хлебом пошла, сейчас придет.

Старушка, верно, глухая — глухие всегда или орут, или очень тихо говорят.

Огляделась я: не жилище, а временное пристанище. Две железные кровати, стол, табуретки, детская кроватка у печки. И — все.

Вошла Елена Михайловна с хлебным пайком.

Уселись мы чаевничать. Рассказала Елена Михайловна, что вместе со всем филологическим факультетом Питерского университета в 19-м году перебралась в Саратов. Там и был Венгеровский семинар, в котором занимались Тынянов, Шкловский, Жирмунский — весь цвет современного литературоведения. Там она познакомилась с молодым поэтом Георгием Масловым. Поженились. Маслова скоро мобилизовали в армию, и он погиб где-то в Сибири на Гражданской войне. У нее же родилась дочка. Мама приехала помогать. Стала Елена Михайловна работать «на голоде», который охватил Поволжье. Работала в американских аровских столовых.

— Впервые в жизни, — рассказывает, — попала в такую глушь: половина женщин по деревням — неграмотные! Темнота, нищета — невылазные! Уровень развития — как двести лет назад. Я просто не представляла себе такой дикости в двадцатом веке.

— Так это же самый угол крепостничества! — сказала я. — «Ты в царстве нищих и рабов!» На Севере — совсем другое дело! И другие деревни.

Рассказала ей о поморах. О рыбацких стойбищах и селах Зимнего берега. О Борисе Ивановиче, поющем «старины».

— Борис Иванович рассказал про одного человека — Ивана Лукича Стадухина, у кого хранятся древние записи поморских походов. Рукопись, описывающая, как ходили поморы торговать на Мангазею. И приметы пути указаны. Написана книга эта лет триста назад — на пергаменте. Борис Иванович сам ее видел. А где теперь этот Стадухин — он не знает.

— Послушайте, — сказала Елена Михайловна, — я слышала от архангельских краеведов про какого-то Ивана Лукича. Завтра узнаю у них и все скажу вам. Вот было бы здорово!

Я простилась с Еленой Михайловной, условившись завтра после нашего доклада в облисполкоме с нею встретиться.

4 августа. Доклад был. И сошел хорошо. Дина просто здорово выступила: четко и популярно рассказала про биологию трески и необходимость, в соответствии с этой биологией, организовать лов. Я дала статистические данные о промысле, собранные с Егором.

Сразу после доклада забежала в Промкооперацию к Елене Михайловне узнать про Стадухина. Сказали ей: есть такой старичок, на Соломбале живет, в собственном доме. Пошла на Соломбалу. Искала, искала, нашла тот переулок. Соседи

сказали: жил, жил здесь Иван Лукич, да уехал к дочери. «Куда?» — «А в Чердынь. В Чердыни зять его работает. Домишко в Архангельске они продали и переехали в Чердынь. Стар Иван-то Лукич стал — не захотел один оставаться».

Ну что теперь делать? Так и бросить неоткрытое открытие — древние рукописи? А ведь жаль упустить…

Получу в Промкооперации продукты, и что дальше? Домой? А ведь это было бы настоящее научное открытие, если удастся найти рукопись! Но как добраться до Чердыни?

Обсуждали с Диной и Зиной. Дина и говорит:

— По студенческому удостоверению полагается бесплатный литер на проезд по железной дороге. Покажите-ка ваше удостоверение. «Студентка географического факультета Петроградского университета». Так. А мы с Зиной — студентки Пермского университета. Возьмем и подадим вместе все три удостоверения — будут они там всматриваться! Всем дадут литеры до Перми. А уж от Перми до Чердыни — просто: пароходом доедете. Наши ребята помогут. Мы с Зиной еще должны в Александровск вернуться, сдать отчет на биостанцию. Но билеты можем взять заранее — сейчас. Идем получать литеры.

Так и сделали. Парень не стал долго раздумывать. Сказал только:

— Выдам литеры через Котлас. До Котласа пароходом по Двине, а дальше — поездом. Все вместе едете?

— Нет, одна сейчас, а мы две — через неделю, — сказала Дина.

— Ну, сейчас так сейчас. Пароход отходит в семь утра, а ты приди пораньше, чтобы место достать.

Утром пришли мы на пристань. Села я на пароход.

Все это малоправдоподобно, но факт! Дина и Зина ручкой помахали на пристани, прокричали:

— Не забудь передать Наде Беспалых, что скоро приедем.

Пароход зашлепал колесами и — отвалил.

6 августа. Устроилась в 3-м классе. Двина расстилается голубая, широкая. Моет прибрежные пески, чешет ивам косы, дома стоят «кондового леса ставлены», как говорит моя соседка. Она сообщила мне, что для того, чтобы дом стоял «хушь двести лет», надо знать, как лес рубить: рубят его обязательно в полнолуние. Тогда все соки вверх поднимаются и дерево будет крепким. Эти дома, пожалуй, лет сто уж стоят, а то и больше. Я сижу в трюме и беседую с людьми, получаю неожиданно

такие интересные сведения: приметы, рассказы по быту!

А вверх — сияет 1-й класс; там, в шезлонгах, важные, сидят нэпмачи и ни на кого не глядят. Пароход стучит себе лапами-колесами да идет вверх по Двине. Вот здорово!

7 августа. Егора выковал кузнец на деревенской кузнице на благо военного коммунизма. Раз и навсегда прочным. НЭП он принимает потому, что полон дисциплины: раз партия велит, значит нужно. Я понимаю, что ему, как и мне, тяжело было принять НЭП. Отвратительно, что входит опять понятие денег, что обессмысливается все пережитое в годы военного коммунизма! Меня не сдерживает партийная дисциплина, и потому я открыто говорю: «НЭП противен».

А Егор — если было бы постановление партии, что нужен балетный танцор, надел бы трико и пошел изображать принца в балете «Лебединое озеро», делая это во имя революции.

8 августа. Все-таки отвратительно смотреть на нэпмачей: они сидят в ресторане парохода разряженные, сытые, смакуют свою собственную жизнь. А женщины — просто лопаются от гордости.

Я надела свою кожаную куртку, высокие сапоги, повязала голову красной тряпочкой и прошла на нос парохода.

Встала на палубе и запела:

Мы красная кавалерия,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ.

У них кусок застрял в горле. Смотрели на меня испуганными глазами, и никто не посмел спросить: «Почему пассажирка из трюма зашла в первый класс?»

Я была как призрак военного коммунизма, и все поджали хвосты:

«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма!»

Егор был бы в восторге, если бы увидел это. Простил бы мне и Блока, и Ахматову, и Гумилева, всю «гнилую интеллигентщину». Завтра будем в Котласе, и я пересяду в поезд. Интересно, сумею найти у кержаков «книги древнего благочестия», о которых говорил Борис Иванович? Правда ли, что существует древняя традиция, о которой он говорил?

Дорога в Пермь

Паровоз пыхтел перед водокачкой. Лилась вода, грязные полосы пачкали стенки и тендер пыльного паровоза.

Вдоль платформы стояли пропыленные тополя. На них расплавленным потоком лились солнечные лучи из высокой синевы.

По вагонам, в поту и пыли, сидели люди, насованные, как семечки в подсолнухе. Если поезд двигался, можно было дышать; в окна врывались струи лесных запахов, но на остановках пыль и пот застилали дыхание.

Пока поезд шел, я, лежа на верхней полке, беседовала с Иммануилом Кантом. Лежала я на животе. «Критика чистого разума» была разложена на котомке.

Угольная пыль покрывала лицо, скоплялась у ноздрей и в уголках глаз, но не мешала заносить в тетрадь мысль, уводившую в область трансцендентного.

В мире же имманентном пассажиры пили чай. Сидевшая внизу подо мной старуха пестрым платком вытирала пыльные щеки. Вдали пел какой-то татарин.

Я то следила за мыслями Канта, то представляла себе его самого — сухонького старичка, проходившего по улицам Кенигсберга в установленных им координатах времени и пространства. А поезд по имени «Максим» то несся, проглатывая километры, то простаивал, не замечая текущего времени: он придерживался теории Эйнштейна об относительности времени и пространства. Я восхищалась логической стройностью кантовской мысли и жалела мыслителя: «Непостижимость вещей при страстном поиске постижения — трагична». Кант занимался анализом мышления, считая логику единственным путем к познанию. В этом дань вере в Разум, свойственная XVIII веку. И — основная ошибка Канта. Ведь логика — орудие, и довольно грубое, нашего постижения мира.

Я вспоминала свой разговор с Егором Спиридоновым в мурманском поезде — о связи логики с формами социального бытия. Каким будет мышление будущего? «Логика будущего будет так же соответствовать бесклассовому коммунистическому обществу, как ассоциативное мышление первобытного коммунизма соответствовало тем отношениям. И так же отличаться от современной логики, как бесклассовое общество от классового. В бесклассовом будет диалектическая

логика, включающая противоречия, свойственные процессу...»

Тут поезд засвистел и остановился у водокачки.

— Теперь надолго! — сказали осведомленные пассажиры и пошли из вагонов отдохнуть по откосам насыпи.

— А кипяточек-то? Кипяточек тут есть? — спросила, высовываясь из окна, толстощекая старуха с нижней лавки. — Родные мои, кто бы кипяточку принес?

— Давайте, бабушка, я вам принесу, — предложила я, спрыгивая с полки.

— Деточка, благодарствую! Не сочтите за труд!

Я взяла чайник и выскочила из вагона.

Ветерок, насыщенный запахом сена, показался необычайно бодрящим.

— Где? Где кипяток — далеко? — спросила я, ища повод бежать быстрее.

— Та-ам! — махнули рукой проходившие.

И, прижав чайник, я побежала к кипятильнику, радостно отталкиваясь от земли. Зажмурившись, неслась, как на гонках.

И вдруг — ткнулась головой во что-то пружинистое. Открыла глаза: передо мной был округлый живот, облаченная в синюю толстовку грудь и

румяное лицо с раздвоенной седоватой бородкой. Из-под пенсне, венчавшего крупный нос, удивленно смеялись глаза… Лысина блестела из-под путейской фуражки.

— Пробег был великолепен, а удар — оглушителен, — сказал человек, весело колыхая животом и обращаясь к спутнику.

Тот, высокий и бритый, тоже в путейской фуражке, засмеялся, показывая неровные зубы.

— Как это вы не сбили Петра Петровича с ног, дорогой товарищ барышня? — сказал он, покачивая головой.

— Простите, пожалуйста! — конфузилась я. — Совсем нечаянно!

— Полагаю, не злоумышленно хотели выпустить душу из бренного тела, — ответил толстяк, рассматривая меня.

— Куда это вы так спешили? — спросил бритый.

— За кипятком. Старушка, соседка по вагону, просила.

— А вы куда едете?

— В Пермь.

— Студентка?

— Да.

— Та-ак, та-ак… Пермского университета? —

спросил толстяк.

— Нет, Петроградского, я на практике.

— И едете в бесплацкартном вагоне этого убийственного «Максима»? — щуря глаза, протянул бритый инженер.

— Что в нем ужасного? — удивилась я. — Вовсе неплохо еду. И люди кругом хорошие.

— Вонь, теснота…

— Пустяки! Надо вот кипяток старушке достать. — Я тряхнула чайником.

— Мы вам достанем, самый горячий, — предложил толстяк.

— Я думаю, он везде одинаковый, — улыбнулась я.

— Наш — лучшего качества. Да в кипятилке, верно, и нет уж…

Действительно, в кипятилке мрачный голос сказал:

— Весь выпили. — Волосатая физиономия высунулась в окошечко, но, увидев инженеров, осклабилась. — Проводники в ваш вагон отнесли, не извольте беспокоиться, товарищ начальник пути!

— Ну вот видите — придется идти к нам! — сказал толстяк, разводя руками. — Я вам говорил: у нас лучшего качества. Идем!

— Ну пойдем, когда так! — улыбнулась я.

Подошли к блестевшему синими стенками салон-вагону. Зеркальные окна, казалось, усмехались вежливо-снисходительно, как бритый инженер. Я презирала и начищенный вагон, и начищенного инженера.

Проводник услужливо открыл дверь.

— Налейте-ка в этот чайник кипятку, Степан! — сказал толстый Петр Петрович. — А может, вы с нами стаканчик выпьете? Или лимонаду холодного? — предложил он мне.

В открытые двери видны были парусиновые чехлы на диванах и белая скатерть на столе. Синие занавесочки затеняли окна. Благопристойно, прохладно и чисто.

— Это — наш служебный вагон, — сказал Петр Петрович, — в нем мы с Николай Сергеевичем странствуем не без удобств. И — тоже в Пермь. Чем тащиться «Максимом» — переходите-ка к нам! Нас прицепят ночью к скорому, и утром будем в Перми.

— Ну что вы! Нет, спасибо!

— А почему, собственно? Петр Петрович это прекрасно придумал! У нас одно купе пустует. Вот мы и предоставим его вам, — посмеиваясь, сказал Николай Сергеевич.

— Спасибо! Мне и так неплохо. Спасибо за кипяток! — Я соскочила с лесенки и пошла к своему вагону.

Из-за леса засвистел встречный. Бабушка в окне взволнованно выглядывала.

— Деточка моя, я думала, вы потерялись!

— Вот она я! — улыбнулась я, вскакивая на подножку.

Шипя тормозами, прошел встречный поезд. Остановился. «Максим» закричал, дернул. Чокая буферами, состав двинулся.

Я подтянулась, вскинула ноги и улеглась на своей полке. Веер подсолнечной шелухи и окурков осыпал меня — это парень с третьей полки высунулся в окно, крича:

— Са-а-дись, ребята! Останетесь… Садись, Миха, лезь!

Пассажиры бежали по платформе и гроздьями вешались на подножку. Входившие в вагон отфыркивались:

— Ну и крепок дух!

Я хотела опять приняться за Канта, но стук, шум и духота мешали думать. «Пожалуй, неплохо бы ехать в салон-вагоне, — мелькнула мысль, — все-таки чистота — приятная вещь. И не будут мешать…»

Старик напротив курил махорку и рассказывал, как ездил в Вятку, к сыну:

— Ничего угошшали, подходяшше! Ничего, говорю… — твердил он.

Толстощекая старуха пила кипяток и рассказывала соседке об уме своей коровы. Соседка сочувственно соглашалась, посасывая мелкие кусочки сахару.

— А вы, деточка, с нами чайку? — предложили они мне.

Я отказалась. Стала смотреть в окно. Мохнатые лапы елей, раздвигая чащу лиственного леса, просовывались к самому железнодорожному полотну.

Потом лес разорвали поля. Ели стояли в них одиночками, по холмам, как сторожа. Вятская буро-красная земля убегала от поезда…

Мы снова остановились на какой-то станции. Я высунула голову.

— А-а, вот вы где! Мы за вами! — крикнули снизу.

Взявшись под руку, оба инженера, еще более свежие, чистые, улыбающиеся, стояли перед вагоном.

— Пришли уговорить вас перейти к нам и помочь перенести вещи, — сказал Николай Сер-

геевич, покачиваясь на носках.

— Соглашайтесь, соглашайтесь, чего там! — кивал Петр Петрович. — Берите вещи дамы, батенька.

Я поколебалась, но чистота и прохлада вагона-салона манили меня.

— Хорошо! — наконец согласилась я. — Спасибо, перейду, если это вас не затруднит. Вещей у меня нет.

Я закрыла «Критику чистого разума», сунула ее в рюкзак, скатала одеяло туда же и спрыгнула с полки.

— Куда, моя деточка? — спросила толстощекая старуха.

— Перехожу в другой вагон, бабушка, там свободнее.

— Ну дай тебе Бог!

Соскочив с подножки вагона, я поправила рюкзак.

— Дайте я понесу, — наклонился Николай Сергеевич.

— Спасибо, я сама!

Подошли к блистающему вагону. Петр Петрович открыл купе.

— К вашим услугам! Тут и умывальник, и зеркало. Мы будем ждать вас в столовой.

Я закрыла дверь и посмотрела в дверное зеркало. На меня глянуло смуглое и грязное лицо с яркими глазами. Я засмеялась, откинула умывальник и стала с наслаждением плескать воду. Достала из рюкзака полотенце, чистую блузу, долго расчесывала и заплетала косу. И наконец, еще раз глянув в зеркало, вышла в коридор.

— Пожалуйста, пожалуйста! — звал Петр Петрович.

Легко ступая солдатскими сапогами по блестящему линолеуму, я пошла в их салон.

Кипел самовар. На столе масло, сыр, печенье, а в середине — бутылка вина. Хозяева усадили к столу. С веселым любопытством я оглядывала все.

— Как в довоенное время!

— Ничего живем, — весело отвечал Петр Петрович, — прошу вас, — он подвинул стакан чаю, — бутербродик, пожалуйста! Кушайте, не стесняйтесь!

— Я редко стесняюсь, — улыбнулась я. — Если стесняться — не увидишь людей и многого не заметишь, а ведь все — интересно.

— Правильно! — осклабился частоколом зубов Николай Сергеевич. — Надо изучать жизнь! — Изогнувшись дугой, с пришепетыванием втягивая воздух, он рассмеялся. Петр Петрович

кашлянул и взглянул на него.

Я спокойно рассматривала обоих. От этого спокойствия им будто становилось неловко.

— М-да! — сказал Петр Петрович. — Значит, в университете вы учитесь?

— Нет, в Географическом институте.

— И жизнь изучаете? — улыбаясь, спросил Николай Сергеевич.

— А книжечку какую почитывали? Претолстенная… Интересный роман?

— Это не роман — это «Критика чистого разума» Канта.

— Что-о? — удивленно откликнулся Петр Петрович. — То есть как это — Кант? Какой?

— По-моему, он один — Иммануил Кант, немецкий философ. Чему вы удивляетесь?

— Не подходит как-то к вагонному чтению, — покачал лысиной Петр Петрович.

— Почему? Читать можно всюду. Мне надо успеть проработать за лето «Критику чистого разума».

— Ну и как? Уморились? — засмеялся Николай Сергеевич. — Неужели нужно к экзамену?

— Нет, для себя. Знание философии ведь каждому нужно. Правда?

— Признаться, не замечал… Молодая девушка

едет в путешествие, и вдруг — Кант.

— Экстравагантно! — подхватил Николай Сергеевич. — И не засыпаете над философией?

— Да вы-то читали Канта?! — спросила я.

— Не пробовал, — смеясь, ответил Николай Сергеевич.

— Напрасно! Канта должен каждый прочесть — без Канта немыслима гносеология. Он основоположник учения о мышлении, об анализе мышления, — поправилась я. И, незаметно для себя, перейдя к еще не остывшим мыслям, стала излагать свою точку зрения на Канта.

В пылу рассуждения, не замечая, я допила чай и, доедая хлеб с маслом, потребовала, чтобы Николай Сергеевич изложил, как он думает жить без гносеологии. Петр Петрович заерзал на стуле.

— Ну-те, батенька, отвечайте-ка! А? Предложение, можно сказать, неожиданное.

Он хихикнул:

— Я, знаете ли, позитивист, — важно сказал Николай Сергеевич, — я поклонник Спенсера и абстрактные суждения считаю софизмами.

— А вы хорошо знаете Спенсера? — живо спросила я. — Тогда у меня к вам несколько вопросов…

— Хм… собственно, самого Спенсера я не читал.

Но знаком с ним по изложениям.

— А-а, ну это неинтересно! — Я откинулась на спинку стула. — Стоит ли знакомиться из вторых рук? Если бы вы прочли Спенсера, то увидели бы, что и для его системы необходима гносеология.

— Петр Петрович! Вы занимались гносеологией? — спросил Николай Сергеевич, подымая брови. Он достал надушенный платок, потер им лицо. Петр Петрович посмотрел на него. Они принялись хохотать. Что-то липкое почудилось мне в воздухе, неприятное. «О чем с ними говорить? Ржут, как жеребцы». Мне стало скучно.

— Спасибо за чай, — сказала я, вставая, — хочу до конца воспользоваться вашей любезностью и отдохнуть. Я, по правде говоря, почти не спала в том вагоне. Пойду лягу… Покойной ночи.

Петр Петрович мячиком подскочил и расшаркался. Николай Сергеевич поднялся и нагнул голову. Я пожала им руки и пошла. Слышно было, как прокатилась на роликах дверь и щелкнул замок.

Лежа на мягком диване, я зажгла лампочку на столике и спокойно вписала в дневник: «Еду удобно, в мягком вагоне. Но спутники — дураки: в Канте ничего не понимают. Инженерная серость, как говорит Крепс».

Спала я долго. Приятно покачивались пружины, постукивал вагон, было тихо. Открыла глаза, когда лазоревые и зеленые дали за окнами утонули в золоте: августовское солнце уже шло высоко.

Вскочила, радостно умылась свежей водой, причесалась и открыла дверь в коридор.

Из салона сочный басок Петра Петровича говорил:

— Это, батенька мой, непорядок! Вагоны приведены в негодное состояние, пути не ремонтированы… Вы отвечаете за свой участок! Я требую неукоснительно…

— Я понимаю, Петр Петрович! — оправдывался другой голос.

— Понимать — это мало! Надо дело делать, — возразил Петр Петрович. — Посмотрите! — (Слышно, как защелкали счеты.) — Вот что получается! Вы просмотрели отчет, Николай Сергеевич?

— Да, — тускло ответил голос Николая Сергеевича и забубнил что-то, доказывая.

Паровоз засвистел. За окнами мелькали красноватые земли. Стоя в коридоре, я смотрела в окно. Вдруг — странно нереальными показались и черные ели на красной земле, и начищенный

салон-вагон, прицепленный к обмызганному поезду, и однообразно под щелк счетов рассуждающий голос. Почему я здесь? Так недавно были соленый океан, задумавшаяся тундра. Реально ли все окружающее меня, которое пришло неизвестно откуда и уйдет неизвестно куда? Я вспомнила, как Наташа Ростова ждала князя Андрея — ей казалось, что время пустое и идет зря. Ну нет! Ни одна минута не зря. Я — радуюсь каждой! Сама не знаю почему, но хочу все больше и больше увидеть. Путешествие в пространство, в то же время — путешествие внутрь себя…

По коридору, шаркая сапогами, с веником и совком в руках, пошел проводник.

— Что же вагон не подцепили к скорому? — спросила я.

— «Максимка» обгоняет скорый. Через час прибудем в Пермь.

— Да ну? Пойду складываться…

В Перми

Паровоз закричал и остановился. В окне мелькнуло белое здание. На нем надпись: «Пермь II».

Как — уже? Я заторопилась, вскинула рюкзак и пошла поблагодарить хозяев.

— Спасибо большое! Всего вам хорошего.

— Очень, очень рад, — пробормотал Петр Петрович, поглощенный подсчетами с толстым железнодорожником.

Я соскочила с подножки вагона.

Во все стороны шли рельсы. Шипели какие-то паровозы. Один, высокий и красный, полыхая дымом, выходил из депо. Потоки сажи и нефти заливали песок. Сбоку темнели доски ворот, и туда густо шел серый, шершавый народ из вагонов.

Я тоже пошла в ворота. За ними открылось пустое поле. Посреди его, как скала, высилось серое здание. Толпа валила мимо, к сгрудившимся домишкам города.

Толстощекая старуха, давешная соседка по вагону, вынырнула из толпы, еле двигаясь с узлами. Остановилась, отирая на лице пот, озабоченно оглянулась.

— Здравствуйте, бабушка! Давайте помогу! — Я

легко взвалила на плечо самый большой узел.

— Ах, моя деточка! Это вы? Слава тебе господи! Нашелся же добрый человек. А то боюсь отдать узел-то какому-нибудь шаромыжнику, того и гляди упрет совсем! Отдать боюсь, и самой не снесть. Привел же Господь вас! Вы куда идете-то?

— Сама еще не знаю, — сказала я, оглядываясь.

Близко выступало каменными глыбами серое здание.

— Что это за дом?

— Не скажу, моя милая… Строил-то его Малашкин, купец, под ночлежный дом, в миколаевское время. Шаромыжников привечать хотел, о спасении души своей заботясь… Смолоду-то было бито-граблено, а потом — чудил на всю Пермь. Прямо надо сказать — чудеса выдумывал, себя потешал: для шаромыжников целый дворец! Родня он нам, и мне про него все хорошо известно: строил, строил да недостроил — война помешала. А вскорости — революция. Отошел этот дом от Малашкина, а что в ем теперь — не упомню…

— Университет! Государственный университет, бабушка, — сказал, проходя мимо, веселый черноватый парень.

— Да ну? — обрадовалась я. — Сюда-то мне и нужно!

— Неужели покинете меня, моя доченька? — забеспокоилась старуха. — А я было думала, к нам зайдете, позавтракаем. Вы к кому приехали-то?

— Да я проездом, — отвечала я.

— А остановитесь-то у кого?

— Сама не знаю… Дали мне адрес…

— Так пойдемте ко мне! Как же в незнакомом городе, ахти Господи! Пойдемте, с дочерью познакомлю, с внучатами. Места много, остановитесь. Корова — своя, шанежек с творогом испеку, малина — в саду… Сегодня воскресенье и зять дома. Он у нас с немецкого плену пришел, так мы знаем, каково странному-то человеку…

Старуха стала рассказывать про зятя, про внуков, про корову и про собаку с одинаковой добродушной насмешливостью. «Она как большая уютная печь: печет для всех и греет всех», — подумала я, рассматривая старуху. Толстые щеки ее раскраснелись, седая прядь выбилась из платка, на широком мягком носу блестели капельки пота.

— Шалопуты-шаромыжники: не пришли! — говорила она, отдуваясь и смеясь. — Не ожидают… Телеграмму-то сын отбил, да поди не дошла… А может, не знали, в какой поезд попаду. От сына я, от сына еду… месяц гостила. Ну, слава богу,

вот и дома!

Началась улица. Дома присели за палисадники. Из открытых окон доносился теплый запах избы. Тренькали балалайки, пели какие-то голоса. Чужая, неизвестная жизнь шла за окнами. Мне хотелось бы узнать каждую из этих жизней.

— Пришли! — Старуха отворила калитку. — Радости-то, радости! — подмигнула она.

А на нее уже с визгом неслась рыжая собачонка, подпрыгивала, силясь лизнуть в лицо.

— Букашка, Букашка, здравствуй, ты моя матушка! — гладила и отбивалась от нее старуха.

Из окна выглянуло усатое лицо, веселый голос загремел:

— Мамаша! Настасья Андроновна! Поля, мамаша приехала!

Старуха, бросив узел посреди двора, встала, подбоченясь, и засмеялась:

— А вы думали, шаромыжники, зимовать у Микеши буду?

— Бабушка, бабушка! — зазвенели детские голоса.

На крыльцо, торопливо вытирая передником руки, выбежала полная женщина, ее обогнал круглоголовый мальчишка.

Женщина подбежала к Настасье Андроновне,

с размаху расцеловала ее в обе щеки, повернулась ко мне, также стремительно расцеловала и — остановилась.

— А я думала — Анюта! — пробормотала, разглядывая меня.

Огромный мужчина на крыльце хохотал. Ему тоненькими голосами вторили две девочки, прыгая сразу на двух ножках и тряся косичками.

— Вот тебе и на! — сказал мужчина. — Обозналась, Поленька!

— Это ничего, это не к худу, — улыбаясь и отирая слезу, сказала бабушка, — все равно — гостья: проходите в дом, моя деточка!

Стриженый мальчишка уже стащил бабушкины узлы и вертелся, не зная, брать ли тот, что держала я.

— Бери, бери, Костенька, тут вам от дяди Микеши гостинцы!

Бабушка, тряся щеками и переваливаясь, пошла в дом, на крыльце расцеловалась с зятем.

— Не донести бы мне, Федя, спасибо вот, барышня помогла!

— Проходите, пожалуйста, в зале как раз самовар кипит, — говорила мне все еще смущенная Поля.

Я скинула в сенях рюкзак и вошла. Солнечный

луч играл на блестящем полу. Ветерок из открытых окон шевелил струю самоварного пара и листья фикуса в кадке. Веселые зайчики прыгали на стене, в зеркале. Красные герани в нем казались еще краснее, а груда пирожков на столе еще пышнее.

Не успела я оглядеться, уж передо мной стояла, блестя золотыми краями, чашка с чаем и вазочка с малиновым вареньем. Напротив меня, умытая, розовая, повязав беленький платок, сидела Настасья Андроновна и пила чай с блюдечка. На коленях у нее сидела, болтая ножками, девочка.

— Бабуся Настуся, бабуся Настуся, — лепетала она.

— Вы чьих же будете? Не здешние? — спросил меня огромный зять, допивая свой стакан.

— Федя, ты не знаешь, как добрые-то люди велят: напои, накорми, спать уложи, а потом уж расспрашивай, — сказала Настасья Андроновна, колыхаясь животом и улыбаясь.

— Не здешняя я, проездом, студентка из Петрограда… — Подумала: «Как рассказать? Чтобы было понятно и вызывало доверие… ни этнография, ни бродяжничество — недопустимы». И, неожиданно для себя самой, сказала: — Я под Соликамск еду, к брату. Он там на практике. Он

у нас младший, и мама все о нем беспокоится. Я ей и написала: я к нему поеду, присмотрю, чтобы все в порядке… Мама обрадовалась: «Поезжай, ты побойчей его».

И, мешая правду с фантазией, стала рассказывать, что была на практике в Архангельске и оттуда решила ехать к брату. В Перми у меня адрес есть к одной студентке, Наде Беспалых, она посоветует и поможет.

— Это каких же Беспалых-то Надя? — вмешалась перемывавшая чашки Поленька. — Не Митрофана ли Терентьевича дочка?

— Не знаю, она в университетском общежитии живет.

— Племянница это, — сказал зять. — Афиногенова дочка. Афиноген-то Терентьевич в Усолье живет теперь.

— Ну-ну, верно, она! Так почему же она не у дяди живет?

— Видно, не захотела. Дядя-то он стро-огой! — сказала Настасья Андроновна. — Какая ей неволя у дяди жить? Там вольнее, в общежительстве.

— Худого про девицу не слыхать. Самостоятельная девица, — сказал зять, закуривая. — Так вы к ней и приехали?

— У меня к ней письмо. Она знает, как лучше

добраться к брату, потому что сама была там на практике.

Я сама удивлялась, как легко и быстро у меня все складывалось. Весело я рассказывала про брата и сама уже почти верила, что еду к нему, даже видела, какой он: похож на Вальку Дашкевича — в очках, длинноносый и тихий, маменькин сынок, которого я, старшая сестра, опекаю. Я уж любила этого выдуманного брата и искренне готова была заботиться о нем, радоваться, что он существует.

— Спасибо большое! — сказала я, допивая чай и доедая последнюю из подсунутых мне Поленькой ватрушек. — Вы меня извините, что я прямо из-за стола убегу искать Надю — надо поскорее ее встретить и все узнать!

— Ну-ну, в добрый час, в добрый час, моя деточка, — закивала Настасья Андроновна, — а не уедете сегодня в Соликамск, ночевать-то к нам приходите, у Нади где ж ночевать-то? Голоштанство! Уж вы к нам, обязательно!

— Спасибо большое! Да, я думаю, уеду. Вот мешок, если разрешите, пока у вас оставлю.

— Приберем, приберем, — сказала Поленька. — Костя, отнеси ихний мешок в кладовку.

— Да обедать-то к нам приходите, где ж вы

обедать-то станете? — заботилась бабушка.

Я засмеялась, махнула рукой и расцеловала Настасью Андроновну. За два часа я почувствовала себя, как у родных: было интересно и весело входить в их жизнь.

— Не беспокойтесь, найдется где перекусить, я человек дорожный, не пропаду.

— Ах ты, моя странница! — смеялась Настасья Андроновна, трясясь толстым телом.

Попрощавшись, я направилась прямой пыльной улицей, мимо присадистых домиков с цветными ставнями, назад к вокзалу.

Пройдя пустое поле, вошла в ворота приметенного утром серого здания. Подъезд ввел в широкий гулкий коридор. Длинный ряд окон тянулся с одной стороны, шкафы стояли по простенкам между дверями у другой стены. Холодом веяло от бетонных лестниц.

— Скажите, пожалуйста, где студенческое общежитие? — спросила я идущую по коридору женщину с тряпкой и шваброй.

— Общежительство-то? Налево, во флигеле, — ответила она, — да разъехавшись все… Вам кого?

— Надю Беспалых, с биологического факультета.

— А-а, со второго курса? Эта, кажись, здесь.

Приехала. Да пройдите на третий этаж, сначала направо идите, потом налево, а потом сверните на другую лестницу в тупичок. Тут и будет ихняя комната, девушек со второго курса.

Гулко гремя шагами по пустым коридорам, я отправилась разыскивать Надю. Немного екнуло сердце, когда постучала в дверь.

— Войдите!

— Здравствуйте, — сказала я толстой белокурой девушке, которая стояла у стола.

Девушка чистила картошку и одновременно смотрела в раскрытую на столе книгу.

— Скажите, вы не Надя Беспалых? — спросила я.

— Надя, — отвечала девушка, смотря на меня и не выпуская из рук нож и картофелину.

— У меня к вам записка от Зины и Дины.

— Да ну?! — обрадовалась Надя. — Разве они приехали?

— Нет, я их видела в Архангельске, пять дней назад.

— В Архангельске? Разве они не на Александровской биостанции?

— Они приехали в Областьрыбу делать доклад о миграциях трески. Очень удачный был доклад.

— Ну, Дина такая девка! Я те дам! Не подкачает.

Да вы садитесь, пожалуйста, — чай пить будете? Еще теплый?

— Нет, я только от чаю.

Надя пробежала глазами записку и сказала:

— Так вы с географического факультета? Ой, ин-те-ре-сный же! Я бы хотела там учиться!

— Почему же не едете?

— Ну, где там! И сюда с трудом из дому вырвалась. А в Петроград... разве батька пустит?

— На родителей надо плевать, — уверенно сказала я, — если хочется ехать — поезжайте!

— Ну а как жить?

— В общежитие устроитесь. Ребята у нас хорошие. Вот, например, наша коммуна... — Я стала рассказывать, как весело живет наша коммуна. Надя слушала, радостно смеясь.

— А в театрах часто бываете? Как бы я хотела побывать в настоящей опере!

— В опере — редко, — отвечала я, — туда трудно попасть без билета. Мы больше в филармонию ходим. Там мы открыли: есть удобная лестница сбоку, на хоры. Если иметь два билета, двое идут через контроль, а потом один сторожит, а другой — отворяет с этой лестницы ход на улицу. И — впускает всех, мы — лавой на хоры. Вы любите музыку?

— Очень! А вы в коммуне живете?

— Да не совсем, — призналась я, — приходится дома жить, маму одну не оставишь.

— А говорите — наплевать на родителей, — укорила Надя.

Мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Ну — так говорится! — сказала я. — Да я немного попыталась: мама думает, что я на Мурмане, а я вон где.

— А зачем вы сюда приехали?

— Я вам правду скажу, Надя, — дружески смотря в доверчивые голубые Надины глаза, отвечала я, — сама не знаю, зачем приехала.

— Как это — не знаете? Приехали и не знаете? — Надя удивленно села на кровать.

Я посмотрела на ее удивленное лицо и расхохоталась так весело, что и Надя засмеялась.

— Бродяжить хочу! — сказала я. — Нет терпения сидеть на месте — хочется увидеть как можно больше, поехать как можно дальше! — И я рассказала, как получила, при Дининой помощи, литер на Пермский, а не на Петроградский университет.

— Ну и Динка! — покачала головой Надя. — Ну и Евдокия! Так вы и приехали?

— Так и приехала.

— А теперь?

— Хочу пробраться дальше, к кержакам — у них фольклор интересный, — не сохранились ли у них древние книги? Не сохранились ли у них былины? Как далеко идут очаги былин? Хочу подняться вверх по Каме, да денег на пароходный билет нет. Пешком разве пойти?

— На пароход попасть можно! Вы очень удачно пришли сегодня: Коля и Саша Меркуловы как раз здесь. А они ездят с агроуголком на пароходе «Степан Халтурин». Возьмут и вас с собой. Пойдем к ребятам в комнату, Коля, верно, вас сумеет просунуть.

Спустились этажом ниже.

— Здравствуйте, ребята! Коля Меркулов тут? — спросила Надя, входя в задымленную комнату.

— Я за него! — басом отвечал высокий парень, вскакивая с кровати и встряхивая русым чубом. — Здравствуй, Надюша, зачем я тебе понадобился?

— Понадобился, Коля, не мне, а вот этому товарищу из Питера. Знакомьтесь, ребята!

Четыре парня повставали со стульев и кроватей. Я пожала им руки.

— Ну вот, рассказывайте, ребята свои, — предложила Надя, садясь на кровать.

— Трудновато сразу рассказать, но попробую. На этнографической практике была я на Кольском полуострове. Там, в Александровске, на биологической станции, ваши студентки Дина и Зина работали. Мы с ними встретились на Зимнем берегу. До этого на берегу Ледовитого океана записывала я былины у сказителя — «старины» они там называются. И рассказал он мне про одного старика Ивана Лукича, который не только старины знает, но есть у него древние книги, писанные на пергаменте. Старообрядческие книги. И еще есть более интересная рукописная книга — описание путешествия поморов на шнеке вдоль берега Ледовитого океана до самого устья Енисея. Поморы, оказывается, вели торги в Мангазее с местными туземцами. Меновая торговля: туземцы выменивали собольи шкурки на разные товары. И вот — представляете себе: рукопись на пергаменте, видимо, шестнадцатого или начала семнадцатого века, есть у этого Ивана Лукича! Ведь если ее найти и только описать подробно — уже будет настоящее научное открытие! Загорелась я найти Ивана Лукича. Жил он в Архангельске да переехал с дочерью в Чердынь. Вот и хочу добраться до Чердыни — расспросить и найти там Ивана Лукича. Вы понимаете, как

это важно? Фольклористы записывают устные старины, а я хочу найти исторический документ о путешествиях поморов. Понимаете, как это интересно? Здорово!

— Еще бы не понимать! Конечно интересно, — сказал Коля Меркулов, расхаживая по комнате и ероша волосы, — вот это интересно… И откуда вы такая взялись?

Розовые губы его сложились в добрую улыбку. Большой, костистый, он остановился, рассматривая меня.

— Я — ушкуйник, — смеясь, отвечала я. — Как ушкуйники от моря.

Славить Питер свой пошли,
Они славя доходили
Аж до Пермския земли.
Опускайте стяг, пермяне,
Выдавайте корабли.
Мы, ушкуйники, на лето
К вам из Питера пришли, —

запела я.

— Опускаем! — пробасил Коля. — Выдаю корабль «Степан Халтурин». Что будете делать, товарищ ушкуйник? Плыть до Чердыни без вся-

кого билета — готов предоставить агроуголок со всеми плакатами, брюквами, тыквами и картошками — плывите!

— Я ведь не смеюсь, Коля, — сказала я, подымая к нему лицо. — Правда возьмете в агроуголок? Мне надо подняться до Чердыни, а денег нет.

— О чем речь! — отвечал Коля. — Мы с Сашкой вас прекрасно устроим. Вы пройдете вместе с нами на пароход, неся связку плакатов, в агроуголке и останетесь. Мы вам между фанерными плакатами логово устроим. Закроем на ночь, и спите спокойно. А утром выйдете, билетов никто уже проверять не станет. Гуляйте по пароходу.

— Правда? — обрадовалась я. — Когда же прийти?

— Часов в шесть вечера будьте у пристани. «Степана Халтурина» сразу увидите. Я предупрежу брата, мы вас встретим.

— Вот как удачно! — сказала Надя. — По этому случаю захотелось есть. Картошку-то я поставила, она, пожалуй, уже сварилась. Сейчас принесу сюда.

— А у меня есть селедка, — сказал чернявый студент.

— А у меня — полный портфель огурцов, — сообщил Коля Меркулов. — Шамовка обеспечена.

Позавтракав, я вместе с Надей Беспалых отправилась к Настасье Андроновне за своими вещами. Потом вернулась в общежитие — Саша Меркулов вручил мне агроплакаты, чтобы снести их на пароход.

На пароходе

Неся выданные мне плакаты, я легко прошла с братьями Меркуловыми на пароход. Ночь проспала в агроуголке, между диаграммами и плакатами; под мягкое постукивание пароходной машины хорошо спалось.

Утром явились Коля и Саша.

— Ну как? — спросил Коля.

— Прекрасно! Никто и ничто не беспокоило. Укрылась своим одеялом, его же подстелила, и было очень хорошо.

— Мы принесли кипяток и еду — будем завтракать.

— Пойду умоюсь. Путь свободен?

— Вполне. Не ходите только в первый класс — там нэпманы, — сказал Коля, — обслуга бегает вокруг них на задних лапках и следит, чтоб не явились посторонние.

— Вот они денежки — опять в честь вошли, — вздохнул Саша.

— Туда не сунусь! — обещала я и пошла в умывальню.

Когда я вернулась, на столе лежали огурцы, хлеб и вобла. Я достала кружку и остатки своего

сахара. Сели за чай.

В дверь постучали. Вошел парень в сдвинутой назад кепке.

— Приятно закусывать! — сказал он, весело скаля зубы. — А я за советом. Значит, маленько рановато?

— В самый раз, — отвечал Саша. — Садитесь с нами чай качать и спрашивайте совета.

— Нет, чаю… не хочу, благодарим. А совет хотел вот такой спросить, товарищи агрономы. Был я, знаете, в гражданскую на Украине, с батькой Махно воевал. И очень я на Украине стал уважать помидоры. Под водочку и так — очень прелестное кушание. Просто — привык. А у нас на Каме их сроду не было. Теперь еду домой, с собой помидорчики спелые везу. Семян достану, как думаете — будут они у нас расти?

— Будут! — отвечал Саша. — Надо только их рассадой выращивать на окне. Лучше всего в навозно-земляных горшочках. Слепить горшочки, немного больше стакана, для каждого семечка.

— Понимаю, — моргнул парень, закуривая и жестом предлагая всем махорку из вышитого кисета.

— Не курю, — сказал Саша.

— Благодарю, нет! — отвел рукой Коля.

— Так вот, — продолжал Саша, — вырастите в горшочке, а когда будут ростом четверти полторы, — он показал какие, — в июне высаживайте в грядку. Поливайте не часто, обязательно пасынкуйте. Знаете, что это такое?

— Пасынков — знаю, а пасынковать — не пробовал, — осклабился парень.

— Вот книжечка, почитайте. — Коля достал с полки брошюру.

Парень, усевшись к столу, с удовольствием стал разглядывать картинки.

— А вы сами выращивали помидоры эти? — спросил чей-то голос.

В дверях стоял старичок с козлиной бородкой и шапочкой пирожком. Он опирался на палочку и ехидно поглядывал на студентов.

— А вы сами в Москве бывали? — любезно спросил старичка Саша.

— Нет! — отвечал удивленный старичок.

— Но верите все-таки, что она на семи холмах стоит?

— Известно, что стоит, — нахмурился старичок, — да при чем она тут?

— А при том, что вы в Москве сами не были, но знаете, что стоит, а я сам помидоров не выращивал, но знаю, как растить: книжки рассказали.

Парень, уважавший помидоры, захохотал.

— По книжкам не вырастить, — сердито сказал старичок.

— Вырастим, папаша, — заверил парень, — книга, она, брат, научит! Теперь по-новому жить будем — с книгой. — Он с удовольствием выплюнул на пол окурок и, усевшись поудобнее, стал дальше рассматривать картинки.

— Не хотите ли почитать что-нибудь? — предложил старичку Коля. Но старичок только покосился, обошел каюту, оглядел таблицы с ростом урожайности, остановился у плаката, где румяная девушка обеими руками держала огромную тыкву, покачал головой и молча ушел.

— Не любит! — подмигнул парень. — Образованности не понимает… серость.

Я оставила студентов в ожидании новых посетителей и вышла на палубу.

Пароход шел вверх по голубой реке. Мягко разворачивались высокие берега красной глины. По косогорам спускались темные ели. Настоящих гор не было, но по голубой прозрачности воды, так непохожей на желтую воду Волги, по изломам крутых косогоров чувствовалось уже: каменный пояс земли — Урал — недалеко.

Я разглядывала берега. Какая обжитая земля.

В Лапландии все время ощущаешь человека как пришельца-завоевателя. Видишь его разрушительные действия. А здесь человек корнями врос в землю. Земля обжита, это чувствуется во всем ландшафте. Древний торговый путь Перми Великой… Биармии. Какие племена здесь жили? Летописи говорят о поклонении «золотой бабе». Богиня чего она? И сохранились ли в фольклоре остатки этого культа?.. У вогулов и остяков…

Я постаралась представить себе Урал. Там люди плавили металл тысячи лет назад… И все шло по Каме…

Пароход загудел. За излучиной реки показались избы. Стояли по гребню яра, косогором спускались к реке. Село большое, торговое; склады столпились у берега. На горе белела церковь, каменная, с синими куполами. Пароход пристал к плавучей пристани — барже. И сразу по берегу затолпились, закипели люди. Бабы несли корзины, белели четверти с молоком, дымились ведра с горячим варевом.

Народ с парохода, как окунь в мережу, шел на мостки. Только на верхней палубе не двинулись неторопливые пассажиры. Они стояли, опираясь на белые перила, или сидели в плетеных креслах, вытянув ноги. У них были выхоленные лица и

равнодушные глаза. Там, наверху, был мир сытый, мытый, разглаженный.

Я смотрела на них с чувством глухой брезгливости и вражды.

— Нэпмачи! — сказала подошедшему Коле Меркулову. — Смотрят-то как! Расселись и — смотрят! Точно до революции.

— Деньгам своим радуются, — отвечал Коля.

— Злость берет на них глядеть, будто и правда хозяева.

— Ну чего там! — неопределенно махнул рукой Коля.

— Вы не были в Питере в голодные годы, а я там росла. Мы голодали, сидели без топлива, не ходили трамваи, не горел свет. Мы стояли в очередях за хлебом, но мы знали: жизнь необычайна, прекрасна и мы в ней — хозяева! Была Петроградская коммуна. Деньги — бумажный сор, и человек чувствовал себя гордо не потому, что у него деньги, а потому, что у него вера… Подходит другой мир, и он его строит! А теперь что? Значит, все страдали зря? Опять сидят толстые хари и дамы с крашеными губами, думают, что они соль земли, а высшее счастье — хорошо одеваться… Противно…

Коля посмотрел на меня и спросил:

— Вы что, член большевистской партии?

— Нет. Мне противно думать, что опять будет сытое довольство у одних и нужда у других. Противен возврат к власти денег… — я поискала слова, — косности мира, казалось уже совсем разрушенного.

— Это вам в Питере казалось, что он разрушен. Он просто был под давлением в несколько атмосфер, а теперь — выпихнул поршень и распрямился… И косность вылезла… Вот, посмотрите, какова деревня. Эх! — Он встряхнул чубом и медленно пошел в агроуголок. Угловатый, ссутулившийся. Потом вернулся. — Есть поговорка: из-за деревьев не видно лесу, а из Питера да из Москвы, как с горы, — ни деревьев, ни лесу, одна щетинка торчит.

— Я и хочу походить по лесу, посмотреть его, не головой, а ногами измерить!

— Это — правильно. Правильно, ушкуйничек, — усмехнулся Коля и опять пошел в агроуголок, осторожно неся свои большие руки и ноги.

Я пристроилась у кормы на нижней палубе и стала думать обо всем сразу: о Коле Меркулове и о Наде Беспалых, с которой так хорошо встретились и неизвестно, увидимся ли еще когда-нибудь, о Егоре и о Крепсе. Как много хороших людей; Крепс, пожалуй, лучше всех…

Вечером ушли посетители агроуголка. Мы пили чай с братьями Меркуловыми. Они похожи, но Саша как бы копия с оригинала Коли — ростом пониже, поплотнее и погрубее. Глаза смотрят острее, не так вдумчиво. Рот у Коли нежнее и улыбка открытее. Хорошо бы вглубь заглянуть — какие они? Да не успею, через день расстанемся…

Коля ел, держа в одной руке огурец, в другой — кусок хлеба. Крепкие белые зубы раздробили бы кости, не огурец. Полные губы растянулись в доброй улыбке.

— Что вы рассматриваете меня? Неэстетично закусываю?

— Нет, — отвечала я, беря огурец. — Я не об этом думала. Думала: хорошо бы спеть нам сейчас, да нельзя — привлечем внимание.

— Конечно нельзя, — сказал Саша, отрезая тоненький ломтик огурца, — рискуете погореть.

— Забавно жить зайчиком, но скоро надоедает, — вздохнула я.

— А знаете вы, — задумчиво сказал Коля, — нам с братом все время приходится жить вроде зайчиков. — Он посмотрел мне в глаза. — Батька наш «служитель культа», выражаясь официально — деревенский поп… Такой самый, как были отцы Сеченова, Ивана Петровича Павлова

и многих других ученых. Как отцы Добролюбова и Чернышевского, наконец. В царское время мы, деревенские поповичи, с трудом пробирались в университет, голодали, мерзли, черносотенные баричи подавали нам два пальца, но мы пробивали себе дорогу. Шли в науку или в революцию. А сейчас на нас — клеймо. Прячь его или изворачивайся, откажись от того, к чему тебя тянет. Я вот в Медицинскую академию хотел поступить, хирургом стать — не приняли. Слава богу и на том, в Пермский университет протолкался, благо здесь не так людно. Сашка в Александрию хотел, агрономом стать — не взяли, сиди помалкивай в тряпочку. Вот те и хозяева жизни, как вы говорили. Новый мир строя, вы о таких думаете? Которые хотят учиться, быть полезными народу, а им отвечают: «У тебя батька — поп».

Коля невесело усмехнулся и тряхнул русым чубом.

— И от батьки своего не хочу отказываться — какой он там мракобес? Тишайший человек! Бился, нуждой задавлен, потому что за требы ничего с крестьян не брал. Из последних грошей рассовал нас, пять штук, по гимназиям, а мы от него откажемся? — Коля насупил широкие брови. Дрогнули губы горькой, но твердой скла-

дочкой. — Не откажусь!

— Но-но, Колька, — сказал Саша. — Не хирургом, так физиологом станешь. А я и без Александрии агрономом развернусь. Ты чего это рассуропился?

— Не рассуропился. Вы, Нина, человек хороший, а в жизни многого не видите. Вот и захотелось вам показать, как иногда жить приходится.

Я смотрела на них широко открытыми глазами.

— Я понимаю, Коля, я понимаю, мальчики.

— Понять нетрудно: чужой в родной стране. И не верят тебе. А чем мы виноваты?

Я перевела глаза с одного на другого. Они сидели, костистые, крепкие. «Развернуться бы им, хохотать да петь во весь голос, да учиться, упорно, настойчиво. Такие доходят до профессуры».

Мы молчали. Сумерки спустились в каюту. Где-то далеко, на реке, встречный пароход кричал тонким, протяжным голосом. «Степан Халтурин» вздохнул и прогудел басовито. На реке зажигали бакены.

Путевые записи

16 августа. Вот и простилась с Меркуловыми. «Степан Халтурин» повернул обратно к Перми, а я вылезла в Чердыни. Первый раз в жизни увидела я уездный городишко.

К Каме спускались с крутого берега две деревянные лестницы. У пристани толпились бабы, приоткрыв белые тряпки на корзинах.

— А вот, а вот творожные шаньги! Пироги с грибами! А ну, а ну — налетай!

Я бы и налетела, да купить-то не на что — деньги за фрак почти кончились, не до пирогов. Пошла по лестнице.

Вышла на широкую пыльную площадь, на другой стороне высунулась из-за деревьев белая каменная церковь. Приземистая, с синими куполами. А во все стороны от нее — поросшие травой улицы. По обеим сторонам домики то прятались за кусты черемухи и бузины, то высовывались из палисадников. У каждого стояли деревянные, украшенные металлическими бляшками гвоздей ворота, и рядом — калитка.

Шла я вдоль улицы, сама еще не зная куда; глазела. И на меня, чувствую, из окон глазеют.

Ребятишки выбегают за ворота и глядят вслед. Вдруг они закричали:

— Матвеич да Михеич идут! Матвеич с Михеичем!

Серединой улицы шел человек с балалайкой. Он приплясывал, пошатываясь, но ловко сохранял равновесие и припевал:

Трах, тах, тара-рах!
Появился монах
На сионских горах:
У его трубка в зубах,
Балалайка в руках!

Рядом с ним шел большой козел, тряся бородой и тоже пошатываясь.

Изредка козел останавливался, открывал бородатый рот и кричал: «Бэ-э-э!»

— Поет, поет! — с восторгом кричали ребятишки.

— А ну подноси кто-нибудь, мы не так запоем! — сказал человек. И козел закричал, подтверждая: «Бэ-э-э!»

У ворот там и сям показывались люди. Какой-то старик сел на лавочку, не спеша вынул из кармана кошель и крикнул:

— Ванька! Принеси им чекушку!

Босоногий мальчишка, зажав в кулаке деньги, побежал в переулок. Он вернулся и, переводя дух, протянул человеку с балалайкой бутылку. Тот взял, посмотрел на свет, крякнул и стал пить, запрокинув голову. Козел смотрел на него рыжими глазами. Потом разбежался, пнул его в бок рогами и встал, раскрыв рот.

— Просит! Просит свою долю! — закричали ребятишки.

Человек оторвался от бутылки.

— Не обижу! — Хлебнул еще раз и протянул бутылку козлу. Козел жадно раскрыл рот и запрокинул рога. Человек, держа под мышкой балалайку, лил ему в рот, приговаривая: — Пей, Михей, пляши веселей!

Со всех сторон глядели люди.

— Невинную тварь и ту совратили, безбожники, — со скамейки сказала старушка, поправляя платок и качая головой.

— Как совратили, бабушка? — спросила я.

— Да был козел как козел, обыкновенная животная. А как вернулись они с войны, пошли, с радости, что целы, по кабакам и его, козла, выучили. Шатается теперь по городу, только что не сквернословит. Хозяин от него отступился. Кому нужна такая животная? Караулит он у кабаков. И

ведь каждый-то ирод сам пьет и ему подает.

— Водку?

— Водки у нас нет, кумышка самогонная. Вольют козлу и идут вместе, песни играют.

Мужик отдал мальчишке бутылку, взял балалайку и запел. Козел шел рядом, покачиваясь. Кругом у ворот хохотали люди.

— Вот какие времена пришли, — вздохнула старушка, — животная и та озорует.

— Нешто раньше не бывало? — отозвался старик у других ворот. — Не твой ли свекор, Матрена Ниловна, так напоил гусей суслом, что они пали как мертвые. Их даже ощипали, думали, пропащие.

— Это было, — нехотя согласилась старушка, — но безобразий таких, чтоб животная песни средь улицы пела, — не бывало.

Так встретил меня древний торговый град Чердынь.

17 августа. Проночевала я у той старушки, с которой разговорилась у ворот, а утром направилась в Бондюг. Там, говорил мне Борис Иванович, живет старичок Иван Лукич, у него есть записи былин, очень старинные. Есть и книги старого письма.

Это может быть: ведь Кирша Данилов, видимо,

записывал былины в Приуралье. Может, и я открою такой старый список?

До Бондюга тридцать верст лесами, дойду в два дня, в один трудно дойти, не зная дороги. Заночую в 20 верстах от Чердыни, там есть деревня.

19 августа. Бондюг. Зарисовала и начертила планы построек. Здесь дворы, как крепости, окружают дома. Дома невысокие, не такие, как в Архангельской губернии: по Двине там люди живут во втором этаже, а внизу хозяйственные постройки все под одной крышей. Тут — скотный двор стоит в стороне, амбары, клети, всякие хозяйственные постройки смыкают квадраты двора, а изба — сбоку, окнами на улицу.

Пришла я в Бондюг под вечер. Шла из Чердыни все лесами да лесами, решила проделать путь в один день. Вдруг сразу раскрылись ели, обнаружив поляну, косогор и вытоптанную к речке поскотину. Несколько коров стояли по брюхо в воде.

В кустах послышался лай, мячиком вылетела пестрая собачонка. Показалась потом седая борода и сдвинутая набок войлочная шапчонка.

— Шарик, Шарик, ко мне! Ты, милай, не бойся, он не тронет.

— Я не боюсь, дедушка… Скотинку пасешь?

— Пасу, дочушка, пасу. Здравствуешь! — ответил старик, выходя из кустов. — Ты откелева, девушка?

— Из Чердыни, в Бондюг иду. Далеко ли осталось?

— Версты три. Да ты сядь, девушка. Отдохни.

— Я и то думаю.

Мы сели. Коровы, лежавшие на поляне, повернули к нам головы и посмотрели равнодушными глазами.

— Отдыхают. Тут гнуса нет, ветерок! — сказал старик. — И пастушонок мой притомился, уснул.

Между коровами спал, животом вниз, белоголовый мальчик.

— Не скучно в лесу вам?

— Пошто скушно? То грибы беру, то лапти плету, то со скотинкой разговариваю.

— И понимают?

— Как не понять? Скотина только не говорит, а разум свой имеет. Я их понимаю, а они меня. Как зачну говорить, уши наставят, слушают.

— А звери — волки, медведи — есть здесь?

— Известно, есть. Тут до Уралу леса идут, зверино царство.

— А как нападут на корову?

— Корова знает, что делать. Она замычит,

сейчас все сбегутся, кругом станут, рога, как частокол, выставят. Телят, молодь внутрь затолкают. И мычат что есть голос. Я прибегу, кнутом пощелкаю, кричу на него:

«Иди, иди, серай! Хозяину жалиться стану. Ему челобитна писана, тебя пущать не велено». Он оскалится и убежит.

— Какому хозяину, дедушка?

— Лесному, — понижая голос, сказал старик, — кажинный год челобитну в дупле кладу. В наших лесах без наговору да без договору скотину не убережешь. Как на Егория скот выгонят, его со словом обойдешь, огладишь, лесному хозяину поручишь. Бабы яйцам кажну скотинину окатают, яйца пастуху дадут. Который опытный, — старик горделиво посмотрел на меня, — опытный, говорю, пастух — половину ему дает.

— Кому, дедушка?

— Кому, кому? Девка ты хороша, а бестолкова. Царю лесному, знамо кому…

— Ты его видел?

— Видеть его нельзя, а слыхать — многие слышали. И я слыхал. Лонись, как грамоту в дупло клал, слыхал. Он как захохочет, как заплещет ладонями — весь лес затрещал. Это он яйцам да шаньгам возрадовался. И во все летичко ни

одного зверя на скотину не подпустил. Потому челобитна крепка была, на бересте писана, в дуплу положена.

У меня даже сердце екнуло.

— Что писано-то?

— Про то говорить нельзя, не твоего это ума дело, девонька, — хмурясь, сказал пастух.

Тут коровы стали вставать. Сначала одна, потом другая. Они медленно поднимали зад, становились на передние коленки, потом распрямляли тело, шевеля ушами, оглядывались. Я раньше никогда не обращала внимания, как встают коровы. Тут наблюдала закон стада. Он поднимал одну за другой. Какая-то нетерпеливая толкнула рогом лежавшую. Пестрая собачонка сразу побежала наводить порядок. Мальчик тоже поднялся, волоча кнут, и, зевая, подошел к пастуху.

— Гнать, что ли, к речке, дед Андрон? — И поклонился мне. — Здравствуешь!

Я ответила ему, вспоминая помора Олешу, который только раз в жизни видел корову.

А этот, такой же белоголовый русский мальчик, верно, не слыхивал, что есть океан, рыбачьи йолы, уходящие на промысел, и треска, как для этого мальчика — пашня.

Хорошо бы мне раздобыть где-нибудь такую

«челобитную лесному царю»!

22 августа. Четвертый день я в Бондюге. Остановилась у учительницы в школе. Она интересуется краеведением и много мне помогла. Плохо то, что денег у меня совсем не осталось, а она все хочет угощать меня. Пока эти дни я угощала ее чаем и остатками сахара (здесь этого не достать), а она меня шаньгами с брусникой к этому чаю. Это утром, а днем я сматывалась, бродила по селу, собирая фольклорный материал у старух, которые домовничают, потом шла в лес и варила на костре грибы. Вкусно и безрасходно. А набрать их здесь — раз плюнуть, полно грибов.

Про Ивана Лукича узнала у нее, что действительно был такой старичок, «великой учености по церковно-славянскому языку», да помер два года назад. Жаль! И придется подвигаться к Перми, август к концу идет, а мне еще много верст пешочком идти. Завтра тронусь.

26 августа. Шла, шла, шла, все лесами шла. Верст 40 за день прошла. Ночевать попросилась в деревню. Пустили легко. Попала ко вдовой и детной женщине, муж в 16-м году погиб на войне. Ребятам одному 10, да двоим девчонкам-близнецам по 8 лет. Бьется она с уборкой яровых.

Осталась ей помочь овес убирать, хоть и неопытный я работник, она и этому рада. А я научилась вязать снопы. Она жнет, мы с парнишкой вяжем. Просит «поживи подоль», да я не могу — надо, надо двигаться к Перми: идет осень.

28 августа. Шла целый день вчера лесом. Деревья в лесу, как ноты в песне. Лейтмотив — красноствольные сосны. Как звуки мелодии, перемежаются они темными елями и высокими звонкими взлетами берез. Иду — точно песню разучиваю. И она все яснее звучит. Переливы вершин дают небу различный отсвет — то оно голубое, то ярко-синее, когда вонзаются в него золотые ветки берез, то жемчужные тени проходят. Опустишь из синевы в землю глаза, а синева все еще чудится под черничником. Тетерева оттуда как захлопают крыльями, как взовьются! Я вместо них и сяду в чернику. Столько ее, столько грибов! Этим всем и питаюсь. Задумала переночевать в лесу. Сейчас набрала хворосту огромную кучу, толстых суков, чтобы на всю ночь хватило. Устроила себе ложе из папоротников, сижу отдыхаю от всякой этнографии. Отдыхать приходится вот от чего: ведь, чтобы узнать от людей, чем они живут, надо прежде всего рассказать о себе. И такое, чтобы было им понятно, внушало доверие.

Если сказать, хожу да бродяжу, — это неубедительно. Приходится пробавляться придуманным братцем, который болел и я навещать ходила. Чтобы было убедительно, надо самой верить в то, что говоришь. Я и поверила. Очень ясно представила себе и поверила: есть у меня такой брат.

Лиза бы пришла в негодование и ужас от такой лжи. А как быть? Я рассказываю ведь не для корысти какой-нибудь, а просто так удобнее говорить на общем языке. И все идет очень хорошо. Но иногда хочется отдохнуть, послушать лес и побеседовать запросто с профессором Кантом.

Часть V. На Енисее

Из тюрьмы на поселение

Наш этап держали в красноярской тюрьме неделю: ожидали хозяев, которым нужна рабочая сила. Наконец щелкнул замок, открылась дверь.

— Построиться! — сказал надзиратель. — Смирно!

Он прошел по рядам женщин вместе с грузным мужчиной в меховой шапке и валенках. Мужчина останавливался, осматривался, тыкал пальцем:

— Эту, эту и эту!

— Шаг вперед! — командовал надзиратель. Девушка выступала. — Фамилия? Имя, отчество? — Отвечала. Надзиратель отыскивал в папке «Дело», сличал с фотографией и передавал девушку потребителю. Потребителю интересно получить молодую и здоровую рабочую силу. Таких и отбирали. — С вещами! — Девушка, готовая вырваться из тюремной камеры куда угодно, кидалась к своему чемодану.

Камера постепенно пустела — каждый день наезжали потребители.

Через неделю остался только бросовый товар: немолодые или слишком интеллигентного вида

женщины. Запоздавший потребитель, махнув рукой, вынужден был взять всех.

Был январь, когда нас погрузили на машину, вывезли из города. После многих месяцев увидела я у края дороги огромные рыжие сосны под шапками снега. Сине-лиловые тени бежали по снегу за нашим грузовиком. Сосны кланялись, когда он подскакивал на ухабах, поднимая морозную пыль.

Ехали целый день. В деревне остановились в темноте. Нас провели в жарко натопленную избу. Не рассматривая и не расспрашивая, продрогшие и усталые, едва проглотив хлеб с кипятком, мы повалились на широкие доски пола и заснули.

Я поднялась, когда рассвело. Кругом спали. Натянув бушлат и шапку, вышла на улицу. Первый раз одна после тюрьмы. Широко шла накатанная дорога. Прямыми столбами поднимался дым из домов. За рядами усадеб густо синел лес. Это было самое радостное.

Я не знала, куда нас привезли, как сложится будущее, радостью были и нетронутый снег, солнце, синие сосны и скрип снега под валенками. Возможность идти по лесной дороге вправо, влево, куда вздумается. От воздуха кружилась голова. Мороз щипал, пытаясь окрасить вялую,

как проросшая картошка, кожу. «Ладно, ладно, — думала я, — щипли, слабость пройдет, только бы ходить по лесу, дышать, смотреть на небо».

Вон заячий след… Ворона с шумом перепорхнула, осыпая снег. Закачались ветки… Хорошо!

На дороге показалась запряженная в дровни корова. Подле шел человек в стеганых брюках и бушлате, до глаз закутанный платком. Они везли дрова.

— Здравствуйте! — сказала я. — Как называется эта деревня?

— Бобровка, — женским голосом отвечал человек.

— Почта здесь есть?

— Нет, почта в Пяткове. Вас вчера с Красноярска пригнали? — Она размотала лицо, чтобы лучше беседовать.

— Из Красноярска. Сколько досюда километров?

— Поди двести будет.

— А до Енисея отсюда?

— До Залива — это деревня на берегу Енисея — верст семь. Там нашего колхозу бригада. — Женщина критически осмотрела меня. — Председатель вечор бранился — никудышних, говорит, привез. И вправду… Какая с тебя колхозу польза?

— Никакой, — отвечала я. — Я в Бобровке оставаться не хочу, поеду в Залив, на Енисей.

— Нук что? Зайди в правление, поговори. Во-он правление-то!

— Пойду.

В правлении было жарко и накурено. Взволнованно толпился народ, прибывший с нашим этапом. Председатель спрашивал, у кого какая специальность. Что может делать? Дошел до меня:

— Что можешь работать? Коров доить можешь?

— Нет. Я инвалид, физически работать не могу.

— А чем жить будешь?

— Там посмотрим. У меня взрослые дети, помогут.

— Пятая баба работать отказывается! Чего же я вас возил?

— А ты нас спрашивал? Нам даже не сказали, куда едем.

— Это верно, не сказали. — Он махнул рукой…

Через народ ко мне протиснулся здоровенный сивый мужик, протянул руку.

— Я столяр, — сообщил он, — становись моей бабой, прокормить смогу.

Он удивился, что я отказалась от брачного

предложения.

— Чем же жить будешь? А у меня специальность хорошая!

— Поеду в Залив, там посмотрю.

Столяр прошел дальше, перебирая приехавших женщин, подыскивая жену. Я вышла из правления, пошла продавать рубашку, чтобы дать телеграмму — денег у нас ни у кого не было, не выдали из тюрьмы.

На улице остановила женщина:

— Мне старушка нужна, смотреть за ребенком, я ветфельдшер, в разъездах всё, — не пойдете ли ко мне? Всё лучше, чем в колхозе!

Но я отвергла и это предложение:

— Поеду на комиссовку в райцентр. А пока — хочу жить в Заливе.

В Заливе

Дня через два колхоз дал подводу под вещи и мы — пять человек — переехали в Залив.

Князь сибирских рек, Енисей сочетает прозрачность и быстроту горной реки с необъятным простором. Проходя через жаркие хакасские степи, он так нагревается, что у Красноярска становится мощной артерией, обогревающей сотни километров вниз по течению: вдоль его берегов не бывает заморозков до половины октября.

Русские старожилы чтут живительную силу Енисея: в деревне Залив в 50-е годы XX века еще выходили к нему с поклонами, когда он весной ломал лед, выносили и пускали по воде хлеб-соль.

Я увидела первый раз Енисей не весной, когда он гремит ледоходом, не летом, когда он, блистая, несет свои теплые воды, а зимой. Огромную снежную пустыню, отороченную синеватой зеленью сосновых боров да серой твердью скал на другом берегу. От солнца лежали на нем ярко-синие тени. Было тихо, но резкий холод захватывал легкие, ослабевшие в каменных мешках тюрьмы. Вдоль берега тянулись прясла огородов, упираясь

в береговой обрыв. Коричневые бревна домов выделялись на белых снегах.

Поклонилась я Енисею и заплакала от радости перед его красотой.

Жить в деревне стала в избе у мохнатого старика-бакенщика в боковушке, за перегородкой. Веселой алой краской, что красят бакены, были окрашены в избе лавки, очелье печи, кадка с водой и кровать. Вечерами хозяин сидел за самоваром, и щеки его становились такого же алого цвета. Но старичок он был строгий — даром жечь керосин не велел: в восьмом часу вечера запирал калитку на улицу и тушил лампу. Он забирался на печь, а я устраивалась за перегородкой.

Жизнь входила в тихое русло: память стирает такие дни, чтобы восстановить их, надо было отыскать обрывки записей, перечитать уцелевшие письма, свои и друзей: Григория Абрамовича Шайна и Веры Федоровны Газе. У них, в Симеизской обсерватории, прожила я счастливые месяцы летом 1948 года, между первым и вторым турами. Эта дружба была отрадой в лагерях, поддержкой в ссылке: в те времена лишь немногие не боялись помогать заключенным. Сохранились и отрывочные дневниковые записи. Привожу отрывки из них.

15 января 1953 г. Занесенная снегом деревня. Полное одиночество. Оно особенно трудно, когда человек слаб и болен. Письма отправила. Пока дойдут до Москвы — 10 дней. И обратно — столько, ведь почта из Пяткова ходит не каждый день. В колхозе выдали всем бывшим лагерникам «аванс на будущие трудодни» — 15 кг картошки. Но нужны деньги хотя бы на муку (хлеба здесь не продают — надо купить муку и печь оладьи). Когда-то придут деньги?

17 января. Никогда в жизни не было так тяжело. Все, о чем ни подумаю, — несет боль. Одиночество полное: ни друзей, ни детей, некого ожидать. Да никому, кроме Тани, и я не нужна. А Таня беспомощно лежит на нарах в лагере. Вспоминаю о «Ломоносове» — мучительно ожидание, как за любимого сына в бою: пробьется ли эта поэма в печать? Вспоминаю «Котомку» — беспомощность, близкая к отчаянию: получу ли написанное — вышлет ли Ликин? Когда уезжала из лагеря, он вызвал меня к себе и сказал:

«Если хотите — получите рукопись, как я обещал. Но предупреждаю, ее могут отнять на первом этапном обыске. Если доверяете мне — советую оставить, я вышлю вам на место».

Согласилась, конечно. Как приехала — напи-

сала ему свой адрес. Ответа пока нет. Как мало надежды увидеть и это дитя!..

А живые, реальные дети? Они живут собственной жизнью, и я им не нужна. Написала, чтобы выслали деньги. Горько в 50 лет брать деньги от детей. Что может быть горше сознания, что есть силы, есть мысли и знания, но они никому не нужны? Ты выкинута из жизни. Тебе предлагают на выбор: чистить свинарники или плести маты в колхозе. В лагерях было легче: там видимые глазу заборы и стены, а тут самое сильное глумление, которое может быть совершено над человеком. Говорят: «Вы свободный гражданин, вы даже не лишены права голоса, будете участвовать в выборах», — а без разрешения коменданта не можете двинуться дальше, чем на 10 км.

19 января. «Робин, Робин, бедный Робин!» — кричал попугай Робинзона… А у меня нет даже попугая, который пожалел бы меня.

25 января. Наконец получила деньги и могу расплатиться с долгами за жилье и за молоко. Договорилась с комендантом, что еду в Казачинск к врачу. Ехать надо из Пяткова, там проходит автобус Красноярск — Казачинск. Это новость для меня — такие длительные, на сотни километров,

рейсы автобусов. Очень интересно. И поеду, «как все люди», ни сопровождающего, ни конвоя.

26 января. Отдала деньги за молоко. Они порадовались не деньгам, а тому, что я их получила. Хорошие старики! Ведь он сам пришел ко мне две недели назад, поздоровался с Сергеичем (моим хозяином — бакенщиком) и говорит:

— На одной картохе-то ноги протянешь. Приходи к нам за молоком. Будут деньги — отдашь, а не будут — не обеднеем от литра молока, а тебе поддержка. Пойдем со мной, старуха тебе нальет. И ходи к нам всякий день.

Пошли. Хороший, крепкий дом. Домотканые половики, на окнах «сады», на лавках — домотканые дорожки.

— Привел, — коротко сказал старик, — налей в свой бидончик, у ей посуды нет.

— Пожди, — отвечала старуха, — пообедаем, тоды и налью. Садись с нами обедать, гостюшка.

— Нет, спасибо.

— Спасибом сыт не будешь, — сказал старик, усмехаясь, — я сам такой же, как и ты, ссыльный был, знаю, каково на новом месте обживать.

Разговорились… Оказывается, он был раскулачен. Их забрали из Залива «полдеревни», названных кулаками. В конце сентября 1930 года

посадили на баржу и спустили вниз по Енисею. Выгрузили, когда встала река и дальше везти нельзя было. Ни жилья, ни продуктов. Стали рыть они в мерзлой земле норы, собирали плавник на подпорки и на топливо. Дети и старики у всех за зиму перемерли, взрослые — кое-как уцелели. «Сибиряки привышны», — сказал он, усмехаясь. Питались дичиной, что попадала в петли, ели песцов да рыбу, что ловили подо льдом. Словом, около половины людей в первую зимовку вымерло. Те, кто выжил, кое-как приспособились. А потом рассосались из этого гиблого места кто куда. Во время войны не очень-то смотрели, кто куда делся. Жена у него умерла. Он вернулся в свою деревню, да и «прибился» к дому А. И. Она — вдова его двоюродного брата. Тот, «слава богу, умер до раскулачивания». Жила она с сыном. В войну сына забрали на фронт, и он сгинул без вести. Вот и стали старики жить вдвоем. «Ни мне без мужика, ни ему без бабы не прожить, — сказала она, — а мы все-таки свои, вот и сошлись. Огород есть, старик рыбачит, за орехами ездит по осени, у меня — корова, живем помаленьку». — «Не хуже людей живем. Кто работать умеет, его как ни дави — вымырнет», — подтвердил старик. Стала я у них брать молоко. И стали это первые

мои друзья в кромешном одиночестве.

2 февраля. Была на комиссовке. Казачинск набит ссыльными, их как тараканов на печи, и мечутся в поисках жилья и работы. Хватают любую. Нет, не хочу жить в Казачинске. Врачи тоже ссыльные. Они, конечно, прекрасно понимали, что мне нужна справка, чтобы освободиться от принудительной работы в колхозе, и сделали все возможное. Написали: дистрофия, ослабление сердечной деятельности, эмфизема легких. Толстый старик-хирург Юрий Соломонович, не участвовавший в комиссовке, позвал меня к себе в гости. Он сам из Киева, отбыл срок в лагерях и попал, как и все мы, «навечно» в Казачинский район. Но здесь сравнительно неплохо устроился — работает по специальности, нашел новую жену, получили они двухкомнатную квартиру, колодец близко, есть электричество, почти по-городскому живут. Очень гостеприимны. Меня усиленно потчевали. Провожая, он сказал:

— Комиссовка комиссовкой, но о здоровье-то вам надлежит серьезно подумать: состояние очень неважное.

Я правда иногда чувствую такую слабость, что с трудом могу поднять ведро воды.

* * *

В начале февраля была назначена регистрация ссыльных у коменданта. Нам дали расписаться в том, что мы оставлены здесь «на вечное поселение» и обязаны ежемесячно являться на регистрацию. На некоторых эта бумага произвела подавляющее впечатление, но большинство приняли равнодушно — зэки привыкли не верить в «вечность» постановлений и не думать о будущем, абы устроить жизнь в настоящем.

Комендант принимал по очереди. В канцелярии сидели ожидающие. Группа мужчин на лавках рассматривала желтолицего человека. Японец? Самый настоящий интеллигентный японец? Откуда он тут взялся? Он заговорил со мной по-английски. Английского я не знаю. Отвечала по-французски. Французского он не знает. Сошлись на немецком. Он знал его плохо, но немножко знал. И говорить не могли — кругом толпа и галдеж. Больше смотрели. Внимательные, скорбные глаза японца. Создалось понимание без слов.

10 февраля. Ни писем, ни книг, ни ответа от Ликина, выслал ли «Котомку». Галя прислала

письмо: «Отдыхай, поправляйся, деньги смогу высылать без затруднений». Она добрая девочка, но от этого не легче.

Мыслей много, а делать ничего не могу. Как писать, если все написанное погибло? Да и на чем писать? Бумаги здесь не достать. Вышлют ли в посылке? Вряд ли написанное будет нужно кому-нибудь, дойдет до кого-нибудь. Но упрямый бес, владеющий мною, требует: пиши!

В лагерях я прочла прекрасную книгу Г. Уэллса «Мир Вильяма Клиссольда». Это исповедь английского интеллигента 30-х годов. Прочла, как пьют светлую воду из ручья, как в ранней юности внезапно находят друга.

Быть может, кому-нибудь, когда-нибудь, после моей смерти, эти записки тоже станут разговором с другом. Бывает: рукопись случайно сохранится и зазвучит в веках голосом человеческой души. Сохранился, например, отрывок египетской рукописи (Б. А. Тураев приводит его в «Истории Древнего Востока»): письмо скрибы, написанное в период кризиса египетской культуры. В ужасе и отчаянии скриба пишет, что рушится государство и гибнет мир. Исполненный горечи и гнева, пишет о злодеяниях, творимых «рабами и низкими людьми», несчастьях «благородных».

Пишет с точки зрения своего класса, своего времени. Но — в силу искренности и страстности переживания — это звучит общечеловечно, криком через тысячелетия. Напряженность боли и страсти делает написанное бессмертным. Как переписка Абеляра и Элоизы или письма испанской монахини о любви. Напряжение боли создает душевную расплавленность, кристаллизующуюся в живые слова. Постараюсь и я дать неведомому человеческому братству пережитое со всей напряженностью. Не знаю, сумею ли: робинзоны косноязычны. Мне не с кем заострять и оттачивать мысль. В торичеллиевой пустоте, от нервности, отсутствия тренировки она стала суетливой и беспорядочной. Как в одиночестве из хаоса сформулировать ви́дение мира?

12 февраля. Собираясь писать в будущее, неведомым друзьям, может быть, внукам, вспоминаю Герцена. Он писал в будущее «Былое и думы». Но писал в Лондоне, располагая всеми библиотеками, временем, средствами, подводя итог плодотворным и получившим признание трудам. Ах, Александр Иванович, начинаю беседовать с вами и вашими воспоминаниями, по памяти, идя в прошлое, а с неведомыми друзьями — в будущее, не располагая ничем, даже бумагой.

Я сижу в маленькой сибирской деревне, на берегу Енисея. Может быть, много лет буду здесь сидеть. Снег. Горы, покрытые черным еловым и синим сосновым лесом, высятся перед моим окном. 80-летний старик, неграмотный, простой, как приречный камень, лежит на крашеной красной кровати, курит трубку, смотрит на меня одним голубеньким глазком, другой он давно выбил веткой на охоте. Ему не нравится, его тревожит — зачем я пишу?

Снег на коричневых срубах покосившихся домов. Одна, сама из себя, должна додумать мысли: о мире, о Боге, о человечестве и его путях. Должна потому, что иначе без этого не могу, не умею жить.

14 февраля. У меня нет ни книг, ни друзей, ни вещей. Нет среды, в которой привычно складывалась умственная работа.

Одна. Солнце над головой; зеленый шар под ногами. Оторванность от сегодняшнего дня и его дел дает чувство отрешенности и великой свободы. Но она — трудна. Отняли обыкновенную жизнь. У меня нет близких, с которыми я бы могла беседовать за чашкой чая (нет ни чашки, ни чая тоже). Реальностью моей жизни стали те, кто умер, оставив след в книгах, и те, кто родится, кому я

должна оставить свой след. Прикрепленность к месту дает свободу во времени. Приходится или вовсе перестать думать, или думать об общем и вечном. Ощущать жизнь как беседу с миром, Богом и человечеством.

А с кровати на меня смотрит голубенький глазок Сергеича, не понимая, почему я пишу. Не любит, когда пишу.

15 февраля. Сергеич ушел. Я одна в избе. Могу спокойно расположиться за столом, писать. Только уселась — постучали в дверь.

— Войдите! — Вошел — японец! — А, Хасэгава-сан! Здравствуйте!

Сделав несколько шагов, он стал отступать назад, улыбаясь, приседая и кланяясь, — вежливая форма приветствия у них. Я поднялась, тоже кланяясь, и протянула руку:

— Садитесь, пожалуйста!

Пододвинула табуретку.

— Пришел просить учить по-русски, — сказал он.

— Охотно, конечно.

— Деньги нет, могу работать: мусская работа — дрова!

— Ну какая может быть плата, Хасэгава-сан! Очень рада, если смогу помочь. Книг вот нет…

Придется без книг. Но прежде давайте пить чай, я только что получила посылку!

Достала из русской печки кипяток, бросила ему в чашку хорошую заварку чая. Как он обрадовался! Оказывается, не пил настоящий чай все годы, что прожил в лагере. А японцу без чая, как курильщику без табака.

Объясняемся смесью слов: он русско-английских, я — русско-немецких (он немного понимает немецкий). Выручают иногда и формулы, например, вместо «вода» — H_2O, и международная «латинская кухня». Ничего, соображаем.

28 февраля. Получила я от Ликина телеграмму: «Рукопись выслана на адрес коменданта. Справьтесь и получите». Бывают же такие порядочные люди! Пошла в Пятково, к коменданту. Прошу выдать рукопись.

— Нет у меня никакой рукописи!

Показываю телеграмму.

— Что же, мне телеграфировать оперуполномоченному в Темники, что рукопись потерялась?

Посмотрел волком. Помолчал. Буркнул:

— Зайдите через неделю.

Значит, рукопись давно у него, не хотел отдавать… А теперь — боится и не знает, как поступить. Но добьюсь, вы-даст…

Дальше — перерыв в записях. Не помню почему. Может быть, потому, что подошли дни болезни и смерти Сталина, а про это нельзя было писать, слишком довлело «табу» даже мыслей о Сталине. Слышали ежедневно по радио краткие сообщения «болен… опасно болен». Что? Что дальше? «Положение серьезное… Угрожающее…» Умер? Ну? Что будет дальше? Надо делать невозмутимое грустно-безразличное лицо…

Приезжавшие из Казачинска рассказывали: «В Казачинске многие плакали, когда читали о его смерти. Ссыльным говорили: «Радуетесь? Напрасно радуетесь, лучше вам не будет». — «В Красноярске тоже плакали». Ну-у?

Вы приготовляетесь, читатель, к отзвуку исторического события — смерти владыки? Каков он был в деревенской глуши? А никаков: отзвук всегда отстает от событий, как звук от реактивного самолета. Как при попадании снаряда в воду — чем дальше расходятся круги, тем больше они замедляются. На претворение в деревенском быту и в сознании революции потребовались годы. На осознание сталинской смерти — месяцы. Вначале жизнь двигалась по инерции, без перемен. Подходила весна, она была насущнее сталинской смерти, ощутимее: необходимо приготовиться к

весенним работам.

Население Залива смешанное: 1 — старожилы, 2 — поволжские немцы, высланные в начале войны, 3 — люди нашего этапа.

Старики жили воспоминаниями доколхозного времени, когда вольготней жилось, да гаданием, как устроит жизнь молодежь, убежавшая в города. Немцы, пересаженные на чужую почву, заботились покрепче врасти корнями. Люди нашего этапа суетились, как грачи, которые, прилетев, начинают таскать прутья для гнезда.

И всем было не до Сталина.

А мне старик Сергеич сказал:

— Мне тебя в доме боле не надобно — дочь приезжает. Ищи себе фатеру.

— Ладно, через неделю уйду.

Дом

Но «фатеру» искать не стала: надоело по чужой половице ходить. Бродя по деревне, давно уж заметила крепкий дом-пятистенок с забитыми окнами. Пустой после раскулаченных хозяев стоял. Захватив с собой топор, взошла по шаткому крыльцу, без большого труда отогнула гвоздь, закрывавший дверь. Вошла. Одна половина здорово разрушена. Рассыпается и оседает в подполье большая глинобитная печь. Над ней в крыше дыра, снег и дождь падают на печь, в эту дыру. В забитых окнах нет рам. Ходуном ходит пол. Но цела дверь в другую, меньшую, половину. А там почти нет разрушений: печь и стена требуют небольшого ремонта. Крыша цела, это видно по потолку без потеков. Окна? В одном даже стекла целы. В другом — надо сделать раму и остеклить. Заглянула в подполье: целы балки пола, доски только разошлись. Приспособить дом для жизни — в моих силах. Сговорилась с властями — отдали мне дом для жительства. Надо отремонтировать. Наискосок жил немец Майер — плотничал. Он тоже воссоздал свой дом из кулацкого, когда немцев Поволжья сюда

пригнали. За три дня он мне сделал, остеклил и поставил раму. Рычковы, старики, у которых брала молоко, дали мне старый «подтопок» с трубой (так здесь называют железную печку) и глину для ремонта. Дров — сушняка, у самой деревни, в лесу — сколько хочешь. Навозила салазками. Вставила в отверстие русской печи железную трубу, затопила подтопок. Горит хорошо. Стало в избе тепло. Растопила замерзшую глину, подправила под и чело печи, подштукатурила стены. Тут пришел Хасэгава. Осклабясь, поклонился, как всегда пятясь задом, покачал головой. Потом взял топор, стал сколачивать пол, дров наколол.

Словом, за неделю было готово жилье, и солнце засветило в окна.

* * *

Появился свой дом и оседлость. Пришла из Крыма, от друзей, посылка с книгами и продуктами, от детей из Москвы — фотоаппарат, который я просила, — буду снимать, а за снимки получать натурой: картошку, яйца. Фанерная крышка от посылки стала книжной полкой, полученный в ларьке ящик из-под пряников — фотолабораторией.

В морозы дом выстывал, конечно: вода в ведре

замерзала; но на печи спать не холодно. Утром я растапливала подтопок, и струи горячего воздуха от железной трубы бодро расходились по комнате. Можно сесть и читать и писать. Никого… Тишина… Только белые гуси под окном гогочут и купаются в первых весенних проталинах.

Я ли восстановила этот старый разрушенный дом, превратив его в жилье человеческое? И для чего он был нужен мне? Нет, соорудили друзья. Далекие, те, что были в Крыму, и в Москве, и в Ленинграде, и в лагерях. Не тем, что прислали посылки и деньги, а тем, что уже на третий месяц ссылки кончилось у меня чувство заброшенности и одиночества, подавлявшее вначале: я почувствовала руки друзей.

Тут надо сказать о милости, которую подарила судьба: во время своего заключения я чувствовала всегда — есть близкие люди. И в лагерях, и на воле есть. На Колыме, оставив маленьких детей, я в отличие от большинства женщин знала: не одиноки мои дети. Есть руки, которые их поддержат, люди, которые не бросят ни мать, ни детей моих. Так и было. Надо назвать имена друзей моих, хотя бы умерших, потому что о живых приучены мы не говорить. Елена Михайловна Тагер и Софья Гитмановна Спасская поддерживали мою мать,

пока сами не были арестованы. Герман Михайлович Крепс заботился о детях моих, пока не умер. Заботились и другие, живые еще, родные и друзья. А во второй тур подросли дочери мои почти до самостоятельности. Основная тревога была о стареющей матери. Но я знала — поддерживают ее и Вера Федоровна Газе, и Григорий Абрамович Шайн[30].

Я чувствовала теплую опору там, на воле: чем могут, помогут. Не испытавшим бреда сталинской эпохи, пожалуй, непонятна огромная сила этой веры в дружбу. Дружба для человека почти такое же естественное чувство, как солнечный свет или отдых при усталости. Основой сталинского режима было разрушение естественных чувств. Был проделан социальный опыт: как создать полную автоматическую покорность? Для этого представлялось наиболее пригодным нарушить естественные реакции человека — заботу о близких, веру в друзей, умение отличать правду от лжи. Это было основным для бредового состояния, в которое была поставлена страна: перестать понимать, где правда, где мистификация, кто враг, кто друг. Возводились обвинения

[30] Примечания: 30

Бабушка и сестра были на моем иждивении с 1948 г. Я работала, и друзья были. Они писали маме, бывали у бабушки. *(Примечание Г. Ю. Г.-Т.)*

в чудовищных поступках. Заставляли людей признавать их. Ложь скапливалась до осязаемой плотности, начинала, как твердое тело, давить на сознание. Под этим давлением запутывались не только обвиняемые, но и обвинители: стирались грани — что правдоподобно, а что неправдоподобно. В отчаянии, в ужасе от пребывания в бреду люди впадали в беспредельное одиночество: они не знали, кто предал их, что бросило их в гигантскую мясорубку. Над ней стоял серый туман страха. Он охватывал тех, кто еще не попал под нож мясорубки, и заставлял метаться, отрекаясь от самых незыблемых, самых близких связей: дети отрекались от родителей, жены от мужей, друзья отказывались от друзей и братья от братьев. Пожалуй, только матери не отказывались от своих детей — я не помню, чтобы слышала слова: «Мать отказалась от меня».

Особенно трагичным было положение партийцев: они привыкли думать, что партия — их добрая мать, заботящаяся о них, поддерживающая и направляющая их шаги. И вдруг, неожиданно, эта мать с легкостью отказалась от них, швырнула своими руками в мясорубку. А вместе с ней от них отказались все: каждый друг поднимал свой партийный билет и прятался за него. Человек

оставался оголенным, лишенным покровов и связей. Был совершенно один в бредовом мире теней и со страхом смотрел: кто окружает его? Какую гримасу сделают тени? Чем они обернутся?

Положение беспартийных было лучше: почти всегда у них оставалась связь с семьей. Она приносила боль, страх за семью, ее беспомощность и обреченность, но она же служила отрадой, укрепляла незыблемость сознания.

Лишь немногим была милость судьбы: сохраненная вера в друзей, гордость друзьями. Это давало огромную силу. Это был тот спасательный круг, который в царское время держал горсточку революционеров в водоворотах борьбы с императорской властью. Проводившие дьявольский социальный эксперимент — приведение человека к полной покорности — по царскому времени знали спасительную силу этого круга. Поэтому в первую очередь старались его разрушить. Если не удавалось — человек оставался духовно неуязвим, выплывал из водоворота.

Мои дорогие друзья, умершие и живые еще, это ваши руки держали меня и дали мне силу. Как можно отчаяться, опуститься на дно, перестать быть самой собой, когда знаешь, в тебя верят. Значит — выплыву, значит — останусь сама со-

бой, не согнусь.

Это сохранило мне ясность глаза этнографа в экспедиции, а не раба. Для этого слепила я дерево и глину в жилой дом, вместилище мыслей и ритмов.

* * *

Текучие дни не остаются в памяти. Я восстанавливаю те дни по отрывкам записей и письмам, которые сохранились.

Начинаю восстанавливать с окружения, с соседей. В забор рядом со мной стояли в одном дворе две избы. В большой жила Онисья Ивановна, в маленькой — Липа. Они — вдовы двух братьев. У обеих есть дети, но дети где-то далеко, в городах, и живут они одинокими.

Через улицу от меня — старики Пантелеевна и Егор Романович. У них сыновья тоже в городах, «в большие люди вышли». Старики блюдут крепкий быт исконно зажиточного сибирского крестьянства.

Большой пятистенок. Сени рубленые, стены, пол и крыльцо масляной краской крашены. В избе припечек и стены тоже крашеные. На белых окнах «сады» в горшках и занавески. По лавкам — тканые дорожки, а у стола — деревянные сту-

лья. В горнице — тоже стулья, комод, домотканые половики и крахмальные занавески. Все крепко, устойчиво, как было 30–40 лет назад, когда, поженившись, сладили они жизнь.

Основная прелесть для них, как для всех стариков, — воспоминания. Егор Романович рассказывает:

— Вольно здесь жили-те — выйди на гору, посмотри, где полюбится, — вырубай тайгу и начинай, паши, сколь тебе полюбится, запрету нет… Вольная была тайга. Начальство раз в год видели: приедет осенью урядник, соберет подати, рубля по три или пять со двора, и уедет. Поп тоже приедет раза два в год, окрестит, кто народился, повенчает, кто оженился, и опять уедет. Церковь-то только в Казачинске была, туда мало кто ездил.

— А управлял кто в деревне?

— Како тебе управление? Ну, старосту выбирали, конечно. Когда надо — соберет мужиков: «Мужики, у нас мост через ручей проваливается — когда строить будем?» Договорятся, кто бревна подвезет, кто рубить станет, и ладно. Зимой опять соберет: «Мужики, кого выбирать станем проруби рубить?» Погалдят и договорятся, за сколько и кого наймовать. На Енисее в зиму три проруби

делали: вверху для питья, пониже — скотину поить, еще пониже — белье да порты полоскать. Проруби вениками обсаживать надоть и в порядке держать. Особого для того человека наймовали, он же и колоду на ручье прочишшал, коней поить. Столовался он по очереди, порядок известный. А больше — како управление? Как хочет, так и живет хозяин. Спокойно было. Беспокойство еще, когда присылали к нам ссыльных.

Присматриваемся: что за человек есть? Разные, бывает, люди. Политические, те — ничего: станет к кому на квартиру, деньги платит, сидит читает. В учителя для ребят мы их наймовали.

— А школа у вас была?

— Нет, школы не было, так, обществом наймовали учителя, в череду, по избам, собирали их.

— А государство как?

— А кому како дело до наших ребят? Хошь — учи, не хошь — пусть болтаются. Ну, понимали мы, что без грамоты нельзя, находили учителя.

— А лечил кто? Доктор или фельдшер был?

— В Казачинском была больница, а по деревням старухи травами лечили, — подхватывала Пантелеевна и начинала рассказывать о травах.

— Политические тоже, бывает, лечили, — добавлял Егор Романович, — но они птицы перелетные,

поживет-поживет, да и уедет. На вечное поселение не политических тюремников посылали. Тут остро смотрим: какой человек? Ежели живет смирно, работает, не болтается без дела, года три как поживет — ему и говорят старики: вот что, паря, — входи в обчество. Избу рубить тебе — поможем. Выбирай девку, женись, в приданое за ней скотину дадут, хозяином ты и станешь. Так и наши деды садились. Будешь работать — жить у нас можно. Чего не жить-то? Хошь — рыбачь, хошь — в тайге промышляй, хошь — в извоз ходи. Вольно жили.

Иван Иванович Рычков подтвердил: «Жили, не ведая ни власти, ни политики государства, словно бы не входя в него. Сами по себе жили. В обозы ходили». Иван Иванович «со товарищи» возил зимой обозы до Якутска и вниз по Енисею. Был он, да и остался, неграмотным. Расписок и счетов в получении товаров не знали, «на слово верили». Чудилось от его рассказов: как букашки по карте, ползли по Сибири, скрипели полозьями конные обозы. Пересекали ее старые хожалые тропы. Словно в разных пластах времени шли струны телеграфа, кольца железной дороги и санные пути. Еще не врубалась городская стальная жизнь в тайгу, жили там по своим обычаям. Рассказывал

Иван Иванович: «Обещался кто, к примеру, мне вернуть товар или деньги там к Покрову. Приходит Покров — не возвращает, просит отложить до Николина дня. Ну берут бирку, ставят зарубку. Придет Николин день, отдаст он — ломают бирку, всё слава богу. Не принесет к сроку — опять зарубка. Не принесет вовремя — пущу бирку по рукам, извещаю тем: ненадежный человек. И нет ему боле ни у кого кредиту. Опасались этого».

Как назвать, уважаемые товарищи, такие взаимоотношения? Зарей капитализма? И величать ли этих, развозивших по Сибири товары людей — предпринимателями или кулаками? Не знаю. Как-то не укладывается в кулачество старенький Иван Иванович, рассказывавший про эту жизнь. Оборвалась она на барже, спущенной вниз по Енисею до голого места, где зимовали сосланные кулаки, питаясь добытой в петлю дичью. Кулаки ли они?

Выжил Иван Иванович и, вернувшись в Залив, начал все сначала. Ездил лишь за кедровыми орехами верст за восемьдесят вниз по Енисею и сдавал их государству. По установленным ценам давало ему государство дозированные продукты: хлеб, керосин, соль. Было ли это социалистическими начинаниями? Не знаю. Но

должна сказать, что в деревне старики как-то предпочли бы жить без опеки и отеческой заботы государства.

* * *

С соседкой Онисьей Ивановной были у нас о другом беседы. Учила она меня, как сохранять всю зиму свежими испеченные калачи:

— Прямо из печи, горячими, нанижи их на палку и сразу в казенку, на мороз, — (казенками зовут в Сибири кладовые), — хошь — месяц будут лежать! Как понадобятся, внести в избу, оттают и — как сейчас из печи. Только сразу, говорю, надо выносить — горячими.

Сидя за тканьем пестрых половиков, постукивая бердами, рассказывала она сказки. Одну из них я много позднее записала на Ангаре.

Липа много моложе своей невестки, прошлое не интересовало ее. Она ожидала будущего, загадывала, что будет, как сын ее кончит учение в штурманской школе, станет штурманом плавать по Енисею. «Загудит пароход на реке, станет у сигнальных бакенов и — опять загудит, — мечтала она. — Я и догадаюсь: это Колька мне знак подает, что пароход вниз ведет. Выду на берег, помашу ему — приезжай, мол, домой!» Муж у Липы про-

пал в войну, одна она вырастила своего Кольку и жила, ожидая, «как Колька в люди выходить станет». Колька у нее один, а у другой соседки, Марии, ребят пятеро. Муж у нее тракторист, в своей деревне почти не живет, все на МТС. Дом и ребята целиком на Марии.

— Мальчишки нешто, — говорила она, — мала забота: уйдут в армию, там и выучатся, приобретут специальность. Назад в колхоз ни один не придет. А вот девчонок учить надо. У нас только в Пяткове семилетка, надо куда-то дальше отправлять. Дорого на квартиру ставить, продукты возить, а надо девкам специальность приобретать. Учиться колхоз не имеет права не отпустить, а выучится — поезжай куда хошь. Не выучишь — оставайся в своем колхозе куковать. Ни тебе заработков, ни женихов. Ребята в армии, ни один не ворочается — куда девкам деваться? Обязательно их учить надо.

Так делали многие, и не только в Заливе: в Казачинске мне рассказывали учителя, что в старшие классы из деревень присылают почти исключительно девочек. Мальчишек оставляют дома до армии. А уйдет в армию и — отрезанный ломоть, домой не вернется.

Когда я уехала от Сергеича, ко мне чаще стали

приходить люди — сама хозяйка, никто не станет мешать. По утрам, истопив печку, я садилась писать. К вечеру появлялись посетители.

* * *

Ужас в том, что не можешь ни одной своей мысли сформулировать, не сверяясь внутренне: а законно ли это? А дозволено ли это будет? Каждое сколько-нибудь оригинальное суждение уже одиозно. И никто не говорит то, что думает, но лишь то, что дозволено думать на сегодняшний день. Меняется день — меняется установка, и каждый спешит подтвердить новую установку и заплевать старую. И, делая так, не стыдятся смотреть друг другу в глаза, утверждать диаметрально противоположное тому, что говорили лет десять назад. В 30-е годы моден был Марр, и целые библиотеки написаны в защиту и прославление марровской теории, и никто не смел высказываться иначе. Сейчас Марр признан вредителем, от него отрекаются, его отрицают и пинают повсячески. И все это знают и не стыдятся. Впрочем, нет — верно, все-таки стыдятся: ведь недаром же Сергея Толстова в возрасте до пятидесяти лет хватил удар? Это результат внутренних потрясений. Он, несомненно, человек талантливый, а труд-

но человеку с талантом и темпераментом идти противу собственных мыслей — это разрывает сосуды в голове.

Я начинаю писать и останавливаюсь:

1. Что я могу написать серьезное, не имея в руках никаких источников? 2. Как могу я написать, когда не смеешь думать так, как думается, а как велят указания? 3. Ведь то, что думаю я, многие, верно, понимают, но не говорят.

И вот все-таки именно потому, что никто не говорит, хочется засвидетельствовать нелицеприятно, как я понимала и думала в эти годы. Оставить как мемуарный документ человека определенного класса и поколения. Человека, который всем сердцем хранит веру в лучшее будущее человечества, но не хочет прятать, какими путями и муками шла наша эпоха. Хочет правдиво показать будущему микроразрез эпохи, отложившийся в одной жизни и ее наблюдениях. Л. Н. Толстой в «Севастопольских рассказах» свидетельствует: «Главный герой всего этого — правда. Правда, как я ее увидал». Толстой, гений, видел огромный объем жизни и об этой, широко зачерпнутой жизни писал. Пусть бы каждый брал хоть на ту ширину, что по силам его, но писал до конца правду, не сглаживая и не пряча ее проти-

воречий. Так хочу делать я, потому что пишу не для сегодня и не на завтра, но для Великого дня — Будущего.

27 марта. Читала книгу Олеся Гончара, получившего две Сталинские премии: роман и дальше в том же тоне — повесть «Микита Братусь» и рассказы. Первое чувство — негодование: ну можно ли так бессовестно лгать! Ложь, все ложь, самая неприкрытая и беззастенчивая. Он не может не знать, что лжет. Может, думает — так нужно? Это странная психология: новое поколение выросло, воспитанное на том, что велят видеть, нужно видеть именно то, что велят, и уметь закрывать глаза на остальное. Он не может не знать о тысячах заключенных, о миллионах страданий и делает вид, что все счастливо. И невольно встает вопрос: а может, и не делает вид? В самом деле не знает? Ведь не может же человек так лгать? ⟨…⟩

Жизнь многогранна и многообразна: там, где один человек увидит дерево, другой — только тень его; и тень будет ломаться по песку кривой линией. Библиотекарша, которая мне дала книгу, сказала: «Очень, очень интересная!» Видно, ей-то и вправду кажется, что все это «отображает действительность» — ведь такова задача реалистического искусства.

Иногда мне кажется, что я — последний из могикан, не умеющий понять этого нового мира и не умеющий его увидеть. А надо увидеть! Не может быть, что все — ложь. В этом какие-то новые, мне недоступные формы жизни. Настоящая высота заключается в том, чтобы уметь проникнуть в любую чуждую форму, уметь посмотреть непредвзятыми глазами. И вот я честно стараюсь увидеть, как прорастает новое. Куда направляется этот рост? Новое, несомненно, сменяет старое, сменило уже во многом.

И не скажешь, что это старое было лучше. Вот я расспрашиваю о том, как жили раньше. И все, даже эти старейшие старики, которые по старости, конечно, являются сторонниками прежнего, в рассказах о прежнем признают — «тогда боле работали-те». Из рассказов Рычкова и хозяина моего, Сергеевича, встает прежняя жизнь: добротная, крепкая, грузная. Валили лес, били зверя; чтобы убить соболя, срубали дерево, чтобы добыть орехи — тоже. Жгли лес, потому что сила его была несметна, и не могли додуматься даже сделать печи с дымоходами: у них до сих пор пол-избы занимают тяжелые, глинобитные русские печи, где нет ни одного колена — летит прямо в трубу огонь, прогревая тяжелый гли-

няный свод только частью тепла сожженных дров. Выстывает печь. Тогда затапливают «подтопок» — чугунную печурку, раскаливаемую докрасна. Этими печурками и обогреваются. По «горницам» здесь только печурки и стояли, о голландских печах понятия не было даже… «А дров кругом хватало, коней, возить их, тоже хватало». И феноменально глупое отопление «чугунками», даже без заслонок, существовало до последнего времени. Дома были большие, крашенные и снаружи, и внутри, бревна мыли и терли, крашеными были и полы, и наличники, и лавки, и столы — здесь почитали первым признаком благоустройства «крашеный дом». Полы застилали тканые, полосатой шерсти половиками, полати, полки и кровати занавешивали ситцевыми занавесками, «чистоту» культивировали как признак зажиточности. Сюда входили и «сады», т. е. фикусы и алоэ в крашеных туесах. Но стирали — в поганой шайке, из которой и пол мыли, бани по-черному существуют до сих пор. Быт хранит остатки примитивности и какой-то, я бы сказала, переселенческий элемент. Именно потому от него оторвались, переходя к новым формам, почти незаметно.

Например, семья: здесь и раньше, сколько

помнит это старейшее поколение, сходились и жили, не венчаясь или венчаясь потом. На это очень просто привились городские, современные взгляды о легкости расхождений и вольности отношений. И теперь какой-то вовсе странный быт воцарился: старожилов почти не осталось, больше половины населения — пришлое, ссыльное. Но они женятся на местных, входят в местную жизнь под присказку: «Наши деды-те тоже ить ссыльны же были». Дома продаются и покупаются с легкостью велосипедов. Они перестали быть «недвижимой собственностью» — их передвигают. Чуть ли не каждый дом переезжал на своем веку. И чуть ли не каждый хозяин менял два-три дома. Быт тоже перестал быть неподвижным, потому что почти все где-то побывали. Мужского населения (молодого, здорового, во всяком случае) в деревне почти нет — только ссыльные. Уходя в армию, парень ни один не возвращается в свой колхоз, девушки силятся учиться и тоже поступить на какую-нибудь работу. Не знаю, как живут в других местах, здесь продолжается то же, что наблюдала в Чаше: отлив от колхоза всего наиболее здорового, энергичного, инициативного. Но есть все-таки случаи, когда молодежь не хочет никуда уходить и хочет работать в колхозе.

Встречала и таких.

Каждая семья теперь расслоена: почти в каждой есть те, кто «выбились в люди», стали учителями, зоотехниками, мастерами на производстве. Они меняют быт и все больше вносят в него городские навыки. Они презрительно относятся ко всему старому — «темнота». И они — правы: они знают больше, у них шире кругозор, они слушают радио, ходят в кино, читают газеты. И так как их много, они есть в каждой семье, это становится массовым, общим. Как общей уже стала привычка лечиться, принимать лекарство и рассуждать о своих болезнях, оперируя медицинскими терминами.

Но боже мой, как ограничен и у них кругозор! Основной идеал: чистая кровать, вязаная салфетка на столе, занавески на окнах, радиоприемник. Высшее удовольствие — хорошо одеться. Лучшее отдохновение — пьянка. Пьют здесь, впрочем, все. Пьют не переставая. По традиции старых «гулянок» собирают «вечера», варят брагу, гонят самогон, «стряпают»: гуляют по 2–3 дня, собирая гостей по 30–40 человек. «У нас раньше в праздники гуляли, а теперь когда придется». В этом отличие. Теперь, впрочем, все делают «когда придется». И топят печи, и едят. Старый ритм и

уклад — сбиты, новый — еще не установился. Какой он будет — новый? Он, несомненно, идет, идет во всем мире, пробиваясь мучительно. Он сметает уже недвижимость, культ хозяйства… Увеличение свободного времени в деревне признают все. Сейчас не умеют его использовать по-человечески: просто сидят, болтают, перебирая им доступные события и новости, смотрят в окна. Каждый проходящий человек вызывает обсуждение: куда и зачем? Раньше такое было у мещан, крестьянам некогда было, да и не было таких отвлекающих внимание и развлекающих явлений в повседневности. Сейчас как бы вся страна превратилась в мещан: она приняла внешние навыки города и бессодержательность полугородской жизни.

Целью крестьянина было заведение хозяйства. Тут нажива собственности превращалась как бы в творческий процесс, в самоцель. Он недопивал, недоедал, недосыпал, потому что этого требовало хозяйство. Оно важно было — как цель жизни, ради которой жертвовали и собой, и чувствами, и близкими. Фетиш хозяйства отпал. Это несомненно. И — слава богу! Но взамен осталась глухая пустота. Олесь Гончар и подобные ему уверяют, что появилась новая цель — общественное благо

и прогресс. Я этого не вижу. Рада бы, очень рада увидеть, да никак не встречается ни одного энтузиаста! И если раньше нажива хозяйства для крестьянина являлась творчеством и тем самым — поэзией жизни, теперь она ограничивается стремлением хорошо поесть и одеться. Причем раньше человек все делал для хозяйства, в котором подразумевалась хозяйственная единица — семья как нечто устойчивое, тянущееся из века в век, теперь каждый имеет в течение жизни две-три сменяющиеся семьи, и все, что он добывает, — на сегодняшний день и в основном для себя.

Быть может, это тоже хорошо? Быть может, это — выколупывание индивидуума из рода? Оно — необходимо. Раньше индивидуумами, достигавшими чрезвычайной рафинированности, были только представители привилегированных классов. Теперь каждый начинает ощущать свое «я». Он еще не знает, куда ему деть и что ему делать с этим «я», оно, пробуждающееся, еще томит его. Но через два-три поколения он научится. Научится думать, научится любить, научится проявлять свою любовь. Все это — продукты свободного времени. Давно сказано: лень — мать культуры, т. е. культура создается из стремления

к свободному времени и умения его использовать. Этим заняты сейчас миллионы.

Л. Н. Толстой инстинктом чуял, как свойственно гению, основные проблемы подступающего времени. И он недаром заговорил о необходимости физического труда для каждого человека. Потому что одна из основных проблем современности — координация умственного и физического труда. Толстой, «граф-пахарь», разрешал ее тем, что брал в руки топор, плуг, косу. Он сомневался в благах цивилизации, в необходимости железных дорог, в счастье, которое приносит механизация. Это потому, что он «перепользовался» всеми этими благами и устал от них. Выступающие вперед слои с жадностью детей хватаются за механические игрушки. Им кажется, что счастье человечества наступит, если все смогут пользоваться электричеством, машиной, даже сами превратятся в винтики гигантской машины, которой управляет кто-то сверху. Это потому, что они еще не испытали, не впитали в себя это. Будет ли это счастье? Привилегированная оторванность от всякого физического труда давала гипертрофию индивидуальности и вызывала томление ее.

Включение человека в механически центра-

лизованные процессы вначале создает авторитарное мышление, так как человек еще не умеет пользоваться своей индивидуальностью. А в дальнейшем? Куда денет человек появляющееся свободное время? Научится индивидуально думать или стандартизируется? Если научится индивидуально думать — он потребует для этих мыслей свободы вкусить соблазн противоречий и сомнений, т. е. превратится в интеллигента. Если стандартизируется — мысль не сможет двигаться вперед. Ибо воистину существует закон диалектики, а это значит: всякое движение идет путем развития противоречий, стандартность же исключает противоречия.

Для меня лично, быть может в силу моей классовой принадлежности, возможен только тот путь, который предложил Толстой: трудами рук своих выращивать хлеб для себя и в этом находить удовлетворение. При этом, если Толстой и его последователи делали это вполне добровольно, отказывались сами от паразитирующе-умственного труда, мне теперь жизнь вменила это в обязанность, лишив меня умственного труда как средства к существованию. Я вынуждена быть работником физического труда. Моя задача: разрешить это так, чтобы он пошел только на

благо и накопление духовной энергии. У Толстого Левин развлекался физическим трудом, и это становилось у него базой для философствования. Я должна жить физическим трудом, освещая его философией. Это очень трудная задача, и я в ней очень одинока. Потому что интеллигенты панически бегут от физического труда, предпочитая ему любое, даже бессмысленное, бумагомаранье, а люди физического труда шарахаются от мышления. В добродетельных книгах они «культурно развлекаются», а в жизни больше просто пьют…

Ссыльные

Приобретение своего жилья дало свободу распределять время. По утрам, истопив печь, я садилась писать — кончила начатую в лагерях и присланную Ликиным повесть.

К вечеру у меня появлялись гости. Соседи. Или, осторожно постучав, входил Хасэгава. Долго кланялся, отступая к порогу, по японскому этикету. Я тоже кланялась.

— Здравствуйте, Хасэгава-сан, — приглашала войти. — Мне прислали посылку, и я приготовила рис. Прошу вас, попробуйте.

Всегда сдержанный и церемонный, он сел.

— Семь лет, — он показал на пальцах, — семь лет я не видел риса.

Я протянула ему тарелку. Он ел, и я понимала: еда эта — воскрешение жизни, восстановление себя в прошлом.

Хотелось от безмолвного понимания перейти к речи, к рассказу, но не было слов. Однажды он привел с собой товарища. Молодой человек, лет двадцать семь, склонил светловолосую голову и поцеловал мне руку жестом человека, привыкшего к этой форме вежливости.

— Золтан Риво, — отрекомендовался он.

— Здравствуйте! Что бывший зэк — понятно, — улыбнулась я, — давно ли здесь и откуда прибыли? — (Зэки всегда начинают с этого вопроса, потому что он может установить связи с близкими.)

— С Лубянки. Просидел там пять лет. Арестовали меня в сорок пятом году в Болгарии: я преподавал в Софийском университете. А родом из Будапешта. А вы из последнего этапа?

— Да. Прибыла из темниковских лагерей, где отсидела пять лет.

Ритуал знакомства был совершен.

— Вы хорошо говорите по-русски, — сказала я.

— Выучился в тюрьме. Сидел я больше в одиночке. Мне давали много русских книг. Начал легко, потому что знал болгарский, и это помогло. Вот и познакомился довольно подробно с русской литературой. Книг в тюрьме много дают.

— Не всем.

— Я считался не арестованным, а «временно задержанным» и имел некоторые привилегии. — Он улыбнулся. — Хасэгава-сан пользуется моими переводами, мы с ним объясняемся по-английски.

От Золтана Риво я узнала биографию Хасэгавы.

Химик по специальности, он был главным инженером на военном заводе в Корее. Когда японцы под давлением советских войск покинули Корею, он получил приказ японского правительства: взорвать завод. Выполнил приказ, но не успел уйти, попал в плен. Его отправили в советские лагеря, где он пробыл с 1945 по 1952 год, а потом — в ссылку. Хасэгава слушал внимательно, переводя глаза с Риво на меня, старался понять рассказ.

— 58-1а, — сказал он, разводя руками. Улыбнулся: — Мико-мико-дей, помогай!

— Кто такой Мико-мико-дей? — спросила я у Золтана.

— Бог смеха Мико-мико-дей, — ответил Хасэгава, поняв вопрос. Ему действительно помогал этот бог; позднее он приходил ко мне с искорками смеха в глазах, заменяя мимикой недостающие слова, изображал комические сценки, которые видел в колхозе, — его поставили сторожить колхозный инвентарь.

В чужой стране ему было смешно и удивительно смотреть, как валяются под открытым небом машины, как весной колхозный председатель бегал и суетился, торопя сжечь неубранное осенью поле пшеницы, потому что боялся, как бы не наехал из района кто-нибудь и не нагорело

за прошлогодние огрехи. Мне не было смешно. Японца потешала неорганизованность работ, нежелание работать. Мне становилось стыдно перед ним за то, что делали, как стыдно было и за нелепость суда над ним: почему военнопленный, выполнявший приказ своего правительства, получил наказание по статье 58-1а, гласившей «измена родине»? Какой родине он изменил? Помочь пережить ему мог только старый бог смеха — Мико-мико-дей.

* * *

В апреле стали темнеть и таять снега. Ручьи потекли по деревне. Тронулся Енисей. С моего крыльца было слышно, как звенел он бегущими льдинами. Льдины наскакивали, поднимались, как белые медведи, на задние лапы, выползали на берег. Сшибались, раскалываясь на голубые хрусталины. Хрусталины под солнцем превращались в ручьи, бежали обратно в Енисей. Свежий ветер летел и летел, нес на север гусиные стаи.

Хасэгава пришел ко мне на урок. Когда выпускали из лагеря, ему выдали валенки, в них нельзя весной ходить по воде, он сделал себе японские сандалии на высоких деревянных колодках. Портянки намокали, ноги были красные, как у гуся,

но он долго не заходил в тепло избы: на крыльце мы смотрели ледоход. Летели серые гуси, летели белые облака в голубом небе, белые льдины плыли по Енисею.

— Карасиво, — сказал Хасэгава, показывая рукой на бегущие тени, на силуэты лиственниц по скалам. Он покачал головой. — Кент! Рокуэлл Кент!

— Правда, похоже, — обрадовалась я. И подумала: не надо много слов, чтобы понять друг друга, нужны общие ассоциации, они международны в определенном культурном слое. И у меня их больше вот с этим японцем, чем с бакенщиком Сергеичем.

В деревне Залив в 1952 году общие ассоциации в искусстве оказались у шестидесятилетнего японского самурая, пятидесятилетней русской интеллигентки и молодого венгерского филолога. Называя источники ассоциаций, мы могли общаться, минуя разноязычие. Вечерами, рассматривая великолепие переливающихся красок вечернего неба, я говорила Хасэгаве: «Бах, Себастьян Бах». Он радостно кивал головой, любуясь фугой небесных цветов. Иногда не соглашался: поднимая палец, зачеркивал мою мысль и говорил: «Лимошко (это значило „немножко“)

Вагнер». Указывал на потоки небесных огней, опускавшихся на скалы. Они напоминали вагнеровскую «Гибель богов».

Я по-русски читала ему стихи. Смысл слов был необязателен, звук передавал настроение. Он отвечал мне японскими стихами. Увы — у меня было много меньше японских ассоциаций, чем у него европейских! Он учил меня приемам японской живописи, указывая сочетания красок, которые стремятся передать японцы, называя незнакомые имена японских художников и столетия, когда они жили. Летом он стал приносить букеты цветов, составленные как художественные произведения: у японцев обучают искусству составлять букеты.

Он садился на крыльце, в арестантских штанах и грубых ботинках, но каждое движение его оставалось изящным и продуманным тысячелетним этикетом японской культуры. Поднимал круглую голову с узкими темными глазами: древняя мудрость Японии смотрела на эту варварскую страну… Он не всегда умел применяться к обычаям. Золтан раз встретился мне на улице и сказал:

— Знаете, хозяйка дома чуть не побила Хасэгаву грязной тряпкой, устроила страшный шум…

— В чем же дело?

— Он нагрел воду на солнце и при всех, совершенно нагой, как это принято в Японии, хотел мыться. Хозяйка закричала: «Ах, охальник! Ах, срамник какой!» Кинулась на него с грязной тряпкой: «Вон убирайся!» А он ничего не может понять. К счастью, я подошел. Пришлось забрать его ко мне.

Не умел японец и получать пропитание. Колхоз обязали выдать продукты приехавшим из лагерей как «аванс на трудодни». Нам выдали картошку, немного муки, раза два за весну дали мясо, чтобы не уморить перед посевной. Ему выдавали гнилье, и пришлось нам потребовать, чтобы не обманывали его. Заявили мы, что он не будет ходить на работу босой по талому снегу. Председатель колхоза ворчал, но выдал ему ботинки, тоже «в счет аванса». Золтан Риво поселил его у себя и как мог — опекал.

Золтана встречала я редко.

— Почему вы не приходите ко мне? — спросила его. — Мне пришли книги в посылке, ведь вас интересуют вопросы славянского языкознания? У меня журнал «Советская этнография» есть, теперь и книги по языкознанию. Приходите посмотреть.

Риво покраснел:

— Это очень интересно… Если позволите, я зайду с женой.

— Заходите, конечно!

На следующий вечер он пришел с конопатой подкрашенной женщиной лет сорока.

— Феня, — сказала она, подавая мне руку дощечкой.

— Здравствуйте! — улыбнулась ей я. — Проходите, садитесь, пожалуйста!

Риво помог ей снять пальто и церемонно подвинул единственный табурет. Она села, сложив на коленях руки, неподвижно и прямо глядя перед собой на стену.

Риво подошел к книжной полке.

— Державин? — заинтересовался он. — Я в Болгарии видел его книгу о болгарских колониях в России.

— Да, он занимался говором этих старых колоний до революции. Собрал и этнографический материал…

Заговорили о связях этнографии с языкознанием. Риво увлекся. Я тоже. Рассказывала о методах этнографии, об учителе моем Д. К. Зеленине, слависте широкого профиля.

Феня молча сидела и смотрела на нас деревянными глазами…

— Так хочется поговорить на научные темы! — сказал Золтан, как бы оправдываясь.

— Ну конечно! Приходите, берите книги! Вот Штром… У него интересно поставлен вопрос о фольклористике. Я могу вам дать эту книгу.

— Спасибо!

Феня поднялась с табурета:

— Ну, Золтан, пойдем, нам надо дрова пилить.

Он покорно подал ей пальто, она протянула мне руку дощечкой, покосилась, наблюдая, как он склонился, целуя мне руку, и гордо пошла к двери.

Я поняла по интонации, что она местная. Что связало их? Сосед мой, Майер, рассказал мне об этом. Прямо этапом, из московской тюрьмы, доставлен был в Залив Золтан Риво. Приютился он, от сибирских морозов, у Майера на печи, «как петух в корзине». Оглядывался — как дальше жить? И появилась тут Феня. Муж у нее на войне пропал, живет одна, баба бойкая. Пришла в гости звать. Напоила, накормила, приголубила. «Какой ни мужичок, все в хозяйстве находка», — сообщала она людям. А ему, пожалуй, по-другому говорила, потому что он принял это за любовь и ее стал считать женой. Ему было 22 года, когда посадили в тюрьму. Пять лет не видел он ни одной женщи-

ны, пришла женщина, пригрела, обмыла, одела, он счел ее своей женой и стал, европейский интеллигент, относиться к бойкой Фенечке, как его учили относиться к жене. Фенечка гордилась и радовалась, ходя с ним под ручку. Справила ему полупальто и хромовые сапоги, «чтоб приличнее было». А он, как только мог, вкладывал силы в ее хозяйство. «Молодого и целого мужика получила, — говорили, вздыхая, бабы, — немного мужиков-то в деревне после войны».

Я пишу о прожитом из сегодняшнего дня и невольно откликаюсь на прожитое сегодняшним.

4 сентября 1967 года похоронили Илью Эренбурга. Засохло дерево из флоры лжи, выращенной в сталинскую эпоху. Когда засохнет вся поросль — настанет новая эпоха. Может быть, и доживем. Я пишу не о деревьях, о грибах той эпохи, что росли в глухом и сыром мху, а над ними шелестела ложью мощно возросшая поросль. ⟨…⟩

Пишу воспоминания не об этой поросли, а о том, как жилось грибам. Трудно человеку превращаться в гриб, душно ему во мху. Но миллионы были обречены сидеть так, бессловесные и прикрепленные к месту. Постепенно они начинали приспосабливаться, обзаводились домиками, ого-

родами. Налаживался быт, и возрастал интерес к нему. Он распространялся как ряска по прудам, покрывая зеленым поверхность.

Теперь он разросся по целой стране. Каждый желает иметь свой очаг. Население заводов мечтает о дачках и индивидуальном садоводстве. Стремятся обиходить свою виллу писатели и академики, строят халупки мелкие служащие, каждый большим или малым ножичком старается отрезать кусочек государственного пирога и скушать его в кругу своего семейства, не занимаясь посторонними вещами. И если раньше, при царе-косаре, собирались в Заливе мужики и знали, что им надо сообща построить мост, теперь они сидят у радио и телевизора, покуривают и говорят: пусть его строит государство. Отношение к людям как к стаду овец превратило их, нет, не в овец, а в сусликов, основное движение которых — нырнуть в свою норку.

После смерти Сталина

Мы не скоро почуяли оттепель. К нам подошла она голыми черными ветками на снегу. В сыреющем воздухе, не поднимая глаз, продолжали мы заниматься своими делами, не веря в какие-нибудь перемены.

Первые признаки этих перемен у нас в ссылке сказались месяца через два. Ослабел режим: прекратилась ежемесячная регистрация ссыльных, стали ездить в Казачинск, не спрашивая разрешения коменданта, а он делал вид, что не замечает. Потом пронеслась новость: иностранных подданных отпускают на родину. Я встретила Золтана на улице:

— Это правда, что вас отпускают в Венгрию?

— Да, предложили заполнить бумаги, но я не могу уехать, оставив жену. Подал заявление, чтобы ее отпустили со мной.

— А не будет там ей трудно и одиноко? Ведь она не знает ни одного языка, кроме русского. И вряд ли легко выучит.

Он пожал плечами:

— Тогда мне придется остаться здесь — я не имею права бросать жену.

Что можно сказать на это?

— А Хасэгава как? Он у меня давно не был.

— Разве вы не знаете? Вы же написали ему заявление, чтобы разрешили работать на лесопильном заводе. Разрешили, через несколько дней туда переезжает.

Лесопильный завод был в десяти километрах вверх по Енисею. Через несколько дней Хасэгава зашел прощаться, он переезжал туда. Это было большое облегчение: на лесопилке он будет получать зарплату, питаться в столовой, сможет купить хоть какую-нибудь одежду. В июле он явился ко мне в гости в чистой белой рубашке, крепких штанах без заплат, с коробкой конфет и неизменным прекрасно собранным букетом цветов. Но глаза стали более грустными, у него появилось время и силы, чтобы тосковать по настоящей, подлинной своей жизни. Ведь в предельном напряжении — нельзя тосковать, надо выживать.

Надвинулось и покатилось лето. Огороды были засажены, весенние работы окончены. В газетах мы прочли, что пересматривают дела заключенных, дана амнистия лагерникам, получившим срока не выше пяти лет. Первыми освободили уголовников. О ссыльных — молчали. Скоро мы

услышали: снизу, из Норильска, идут пароходы с освобожденными бытовиками. Впереди их бежали вести: везут на «Марии Ульяновой». Сначала пароход останавливался на пристанях, как обычно, но урки разбрелись по поселкам, хватали, что попадало под руку, разбивали магазины, чтобы добыть вино, наводили панику. Перестали останавливать пароходы у пристаней. Но они стали прыгать с парохода в воду, разбегаться по деревне, ловить кур, поросят, гусей, грузить добычу в лодки, а потом догоняли пароход.

Идет свистопляс, пиры и картежная игра. Скоро «Мария Ульянова» поднимется до Залива, сами увидите…

Жители забеспокоились: надо прятать и закрывать. А где взять замки? Сроду ни по Енисею, ни по Ангаре не было замков! И в магазинах их не продавали — никто не покупал. Может, ехать в Казачинск за замками? Не успеем… Близко уже… И вот утром закричали мальчишки: «„Мария Ульянова“! „Мария Ульянова“ идет!» — «Ой, запирайтесь! Сторожите дома!» — «Не пустили бы красного петуха!» — волновались бабы.

Все высыпали на берег Енисея.

Из-за поворота показался величественно-белый пароход. Он медленно шел по середине реки,

рассекая быстрые и светлые воды Енисея. Вот на палубе забегали, замахали руками черные человечки. Видно было: несколько фигурок скидывают рубахи и сапоги, прыгают в воду, плывут к берегу. Бабы хлынули к своим домам. Мужики сгрудились на берегу, на береговом яру, смотрели: что будет?

Плывущие увидели их, повернули вниз по течению, к другому концу деревни. Пароход протяжно загудел, замедляя ход у сигнальных столбов.

Я не стала дальше смотреть на все это, поспешила к своему дому — замка-то ведь тоже не было. Бабы с топорами стояли у своих ворот. Урки, полуголые и мокрые, разбежались по проулкам.

Кончилось все сравнительно благополучно: они поймали одну овцу, двух поросят и бросились к берегу. По Енисею всегда много лодок на берегу. Погрузив в лодки добычу — угребли к пароходу. Лодки прибило потом ниже деревни, к нашему берегу.

Из Красноярска пошли с идущих вниз пароходов слухи: «гуляет нынче голытьба», чуть не средь бела дня освобожденные лагерники грабят по улицам. Вечерами люди боятся выходить из дома.

А снизу всё шли пароходы с освобожденными.

Впрочем, они не только грабили, они торговали лагерным имуществом, которое захватили, продавали столы, табуретки…

К счастью, путь из Игарки долог и рейсы были редкими. Между рейсами мы жили спокойно: ходили в тайгу по малину и смородину, собирали грибы, готовясь к зиме. В нашей судьбе, видимо, ничего не менялось…

Жизнь продолжается[31]

А жизнь шла своим чередом. Напряженно билась мысль, искала себе дорогу. Бездумное, «грибное» состояние и Нина Ивановна несовместимы. Все, что можно было сделать в поисках выхода — возможности интеллектуальной жизни, — было сделано. Освобождение от ссылки или хотя бы возможность если не научной, то преподавательской работы (опыт преподавания у нее был и в Институте народов Севера в тридцатые годы, и в школе и техникуме в Зауралье, после первого тура лагерей) — вот о чем просила она в многочисленных заявлениях в высшие инстанции. В письме ко мне от 17 августа 1953 года она пишет:

«⟨...⟩ Я же извелась совершенно тем, что не могу найти работу и так и должна сидеть „на иждивении“ твоем и Веры[32]: сейчас о работе по специальности писала в МВД в Москву, Гене-

---

[31] Примечания: 31

Отрывки из дневников и писем Нины Ивановны с комментарием Г. Ю. Г.-Т.

[32] Примечания: 32

Вера Федоровна Газе — астроном, подруга с 1936 г.

ральному прокурору (2 раза), в крайком партии, в Верховный Совет, всюду твердя, что нельзя человека выбрасывать из жизни; если не освобождают ссыльных, то дайте, черт возьми, работать! У нас говорят, что в другом, не Казачинском, районе один ссыльный через Москву добился, что ему разрешили преподавать. Бьюсь во все дырки и во все концы! Но насколько бы проще было, если бы приняли к печати „Ломоносова“! Этого можно добиться ⟨…⟩».

В одной из тетрадей, в черновиках, нашлось даже рифмованное заявление:

ОСО постановленьем
Попала в заключенье:
Пять лет дубровских лагерей!
А по отбытии срока
Отправили далеко:
В Сибирь, на Енисей.
Не страшно Енисея,
Прожить везде сумею —
В работе весь вопрос!
Здесь в самом мне начале
Сурово указали:
Ступайте вы в колхоз!

«С моим здоровьем хилым
В колхозе не по силам
Работать мне теперь!
Была я педагогом».
Но оборвали строго:
– Туда закрыта дверь!
Не нужны ваши знанья,
Как бесполезный дым.
Как ни старайтесь много,
Работы педагога
Мы ссыльным не дадим.

– У граждан в нашем строе
Есть право основное:
Нести любимый труд.
Его навек лишают
Меня. Я к вам взываю:
Где справедливость тут?
Правительства указом
Судимость сняли разом,
Без разгляда статей,
Всем, что пять лет имели.
А мне на труд ужели

Не отворят дверей?!
Пишу теперь стихами,
Зачем – поймете сами,
Что эдаким посланьем,
Быть может, я вниманье
Сумею обратить:
Какой же ради цели
Меня, на самом деле,
Без пользы погубить?!

Внизу, чернилами, надпись — отправлено 13/IX 53 г. Послания оставались без ответа. Осенью, после поля (муж был в экспедиции в Туве), мы с мужем приехали к маме в Залив. Уехали. Еще горше стало одиночество. Но, несмотря на все, шла интенсивная внутренняя работа. Сохранились записи — размышления о становлении нации и государства, об украинском национализме, о Гоголе, его последних годах, о роли истории и этнографии и границе между этими областями человеческого знания, отзывы-отклики на прочитанные книги и журнальные статьи. Шла интенсивная переписка с друзьями-астрономами. И — стихи. Стихи-картины, стихи-переживания, стихи-размышления.

Целый день надо мной Абсолют[33] *Распростер свои черные крылья.*
Мы – как дети. Минуты бегут.
Мы, как дети: кричим от бессилья.
И беспомощным счетом минут,
Измеряя безмерного грани,
Мы не знаем, куда приведут
Нас слепые усилья сознанья.
Ртом касаясь осенней земли,
Я в опавшем листке угадаю,
Как века за веками текли
И как солнца – в крови возникают.

А потом февральская запись.

3 февраля 1954 г.

Право, иногда, читая «критические» статьи, кажется, что это лепечут дети: так мало логики и так много принципа народов банту: «Если Кали украл корову — это хорошо, если у Кали украли корову — это дурно». Этому не следует удивляться: если розовое масло влить в чан с водой — запах почти незаметен. Так и с логикой.

---

[33] Примечания: 33
Стихотворение более раннее, 1950 года — видимо, вспомнилось.

Возникает сомнение: нужна ли она? Ведь ею никогда не руководствовались миллионы, а жили. Она была привилегией немногих. И видимо, отменена вместе со всеми прочими.

Будет создаваться новая логика, построенная на иных, не формальных основах. Она вырастет в новом обществе, пока же — не существует никакой. Это довольно мучительно для тех, кто привык к общению с этой старой Аристотелевой дамой: понимать, что красавица отцвела и больше уже не чарует, — люди даже не замечают ее отсутствия.

Хотелось бы сохранить ясной голову до тех пор, пока вырастет следующее поколение, поколение внуков, так как, быть может, с ними можно будет о многом говорить и они начнут кое-что разыскивать, в чем им мог бы даже помочь опыт прошлой культуры. Вот тут бы и оказалась полезной сохранившаяся ясной голова.

5 февраля 1954 г.

...Но все чаще встает вопрос — да сохраним ли голову-то? И стоит ли она того, моя голова, чтобы ее сохранять? Голова неудачника... А ведь я продолжаю считать, что человек сам делает свою судьбу. Я сделать свою не сумела. И вот подошла старость. И коротать мне ее, никому не

нужной и заброшенной, коротать, мучась чужим куском хлеба (по чувству долга Галей данным). Ради чего? А в Енисее — манит и блестит под солнцем незамерзшая черная полынья. Не проще ли и не достойнее ли — нырнуть и покончить все? Самое разумное при этом было бы написать предсмертное письмо Маленкову и в Верховный Совет, что затравили, пусть подумают о тех, кто еще жив. Ведь когда человек подтверждает свои слова смертью — это производит какое-то впечатление. Может быть, это и будет то полезное, что я оставлю в жизни?

Марина Цветаева, Марина Цветаева… Она повесилась, не выдержав. Нет, я — предпочту Енисей. Холод охватит всю сразу, мгновение ужаса и — конец…

И еще подобное настроение той же зимы:

Нет, я не знаю пока
Нужных звуков и слов…
Перед глазами – река
В белом покрове снегов.
Льдины неслись, шипя, —
Застывало от берегов…
Разве ты понял себя?

Знаешь – к чему готов?

Куда ты пришел и чем стал,
Жизни чертя края?
В белых снегах – провал —
Черная полынья.

Но конца не было. Воля и жизнелюбие сделали свое. Добилась. Еще весной 1954 года, до массового возвращения политических, вернулась ко мне в Москву, а затем и в свой родной Ленинград. Восстановилась в своем родном Институте этнографии. Получила полную реабилитацию. Взяла к себе мать. Долго и очень трудно возвращалась к жизни «по эту сторону». Но это — особая тема. Немного об этом в приводимых ниже письмах.

Те же, о ком шла речь в этих записках, — Хасэгава Хидео и Золтан Риво — вернулись к себе на родину. Хасэгава канул в неизвестность, а от Золтана Риво было одно или два письма и свадебная фотография: на ковровой дорожке, видимо, мэрии жених во фраке и невеста с длиннейшей, до полу, фатой.

На обороте подписи: Золтан Риво, Гедвиг Риво.

Дома

Из писем Н. И. Гаген-Торн (по возвращении из ссылки) Т. М. Шатерниковой (в темниковские лагеря)

Ленинград, 20 марта 1955 г.

Дорогая моя Танюша, вот уже две недели, как я в Ленинграде. Я тебе писала перед отъездом и просила писать мне на главный почтамт до востребования. Завтра пойду туда и узнаю, нет ли писем от тебя и от Коли. Сегодня же, пользуясь тем, что сегодня воскресенье и утро свободно, сажусь наконец за письмо к тебе. Дела мои все еще не совсем устроились: надеюсь, что мне вернут мою жилплощадь, но это будет не очень скоро, не рассчитываю раньше, чем к 56-му году, пока же придется снимать комнату, что достаточно дорого. Снимать буду тогда, когда оперюсь настолько, чтобы иметь возможность перевести к себе маму, она очень мечтает об этом, трудно ей, бедной, на восьмом десятке жить в одной комнатенке в 12 м с Галей, Яшей, малышом и домработницей. Как сложится лето у нас у всех — еще не

знаю. Где-то надо старых и малых устраивать, но где — под Москвой, под опекой Гали, или под Ленинградом, — еще не определилось. Нелегко начинать выковывать жизнь сначала. Но силы прибывают в возлюбленнейшем из городов. Как он великолепен! Москва тревожит нервы шумом, грохотом, муравейником и великим несоответствием, доведенным до апофеоза: высятся в небо гиганты, светя красными звездами по ночам, а рядом притулилась и ушла в землю какая-нибудь старенькая полуразрушенная халупа. Величественно вздымаются мосты, а под ними течет — так себе речечка. И хотя уверяют, что она стала в два раза шире и глубже, на мой, привыкший к величию Енисея взгляд, тут и смотреть-то не на что — лужица. А Нева, оказывается, не посрамит себя даже после Енисея. Влюбленная в Енисей поздней и последней любовью, я, конечно, не могу восхищаться ею, как раньше, но она полна могучего достоинства и простора в своих великолепно оформленных берегах. Новые, яркие нити крупных жемчужин — матово круглых и сияющих фонарей — окаймляют ее вечерами. А днем разворачиваются перламутровые пересветы солнца на дворцах и Исаакии. От каждого здания веет обдуманной простотой завершенно-

сти мысли. Никакой суеты, никаких фикфоков, все просто, прочно и строго. Прямые, ровные линии, бесконечные дали перспектив изредка смягчаются силуэтами деревьев и расширяются в гладь Невы и каналов. И от завершенности, от гармонии города мысль начинает работать с привычной, восстанавливающейся сквозь десятилетия четкостью. Рука уверенно берет книгу, как рабочий инструмент. А занимаюсь я сейчас знаешь чем? Этнографической литературой братских республик — Чехословакии, Болгарии, Польши. Очень помогает мне в этом знание украинского языка и те небольшие знания польского, что удалось накопить. Жалею, что распускалась и мало занималась польским. Но все-таки чувствую, что кое-что поняла и накопила по культуре Чехии, Польши, что это помогает сейчас ориентироваться. Разумеется, надо и можно было сделать гораздо больше. Ну — что было, то было. Сейчас надо спешно, но методично строить заново свою научную работу и начинать нормальную жизнь. Еще очень, очень много трудностей материальных. Как-то ты, Танюша? Послала ли тебе Н. В. посылку, я была у нее перед отъездом, и она обещала. Когда-то я смогу наконец посылать тебе регулярно посылочки?! На днях напишу еще.

Целую тебя, дорогая моя. Нина.

17 апреля 1955 г.

Христос воскресе, Танюша дорогая!

Хотя сегодня такая метель и такой крупный, хлопьями, снег засыпает землю, что кажется, это Рождество, а не Пасха. Все бело-бело и не думает таять. Кучи снегу сметают дворники, вьются и крутятся снежные вихри вокруг зажженных фонарей. К вечеру метель разыгралась еще больше. И не верится, что будет весна. Но ведь она — будет. Этим я утешаю себя, потому что теряю веру и в то, что когда-то определится наконец мое положение, когда-то будут наконец добрые вести от тебя. Была на почтамте, от тебя ничего нет… Хорошо писать, когда легко на сердце, но при тяжести, неопределенности и тревоге очень трудно заставить себя писать. Поэтому и тебе пишу так редко… Пока плохо — надо молчать. В особенности при сознании своего бессилия сделать что-нибудь. Я сейчас ничего не могу сделать ни для тебя, ни для себя… В мае буду в Москве и тогда сделаю все, о чем ты просила… Но пока-то и у меня все еще очень неясно. Надо набраться терпения и, стиснув зубы (которых не так много осталось), — ждать. Ведь будет же, будет, Таня, и солнышко, и расцветающие деревья, и трава, и

радостный покой на душе.

Как часто я жалею, что уехала с Енисея, что бросила свой милый маленький домик на берегу большой реки. И своего Чапушку. Везти его нельзя было, ему бы это слишком большое мучение — жить в городе. Это мучительно даже и мне. И я не перестаю думать, что когда-то добьюсь того, чтобы домик, о котором мы с тобой мечтали, дорогая…

Нина.

Ленинград, 8 мая 1955 г.

Ну наконец, Танюша, дорогая моя, я могу вздохнуть спокойнее за себя (увы — не за тебя!). Я наконец имею твердую зарплату и узаконенное служебное положение: работаю в Ленинградском отделе Института этнографии Ак. наук. Теперь надо срочно расплачиваться с долгами, которых накопилось немало, а тогда смогу помогать и тебе регулярнее. Пока что не было никакой возможности заняться твоими делами. Напишу, что смогла сделать; очень немногое… На Майские дни смогла вырваться в Москву и просрочить только один день… 3 мая пошла справиться в Генпрокуратуру и там узнала, что твоя жалоба к ним поступила и 28 апреля направлена в прокуратуру Мордовии. Делать что-нибудь дальше можно только по по-

лучении ответа от этого прокурора…

Оставаться в Москве я не могла, так как надо было вернуться на работу. Ею нельзя манкировать, так как надо слишком много наверстывать. Думаю, что все лето просижу в Ленинграде. Мама до осени останется у Гали на даче.

…С осени же заберу маму к себе в Ленинград. Еще очень много дела, пока налажу жизнь, очень много долгов и много трудностей. Но слава богу, появилось основное: любимая и творческая работа, дающая возможность обеспеченного существования…

Обнимаю и целую тебя, родная. Н.

Послесловие

Возвращением в Ленинград, письмами к Татьяне Шатерниковой заканчиваем мы эту книгу. Но на этом отнюдь не кончается жизнь Нины Ивановны. Интенсивнейшая научная и литературная работа еще ждут ее. Дальнейших мемуаров нет. Сохранившиеся отрывочные дневниковые записи скорее напоминают бурный поток, вырвавшийся из горного ущелья на равнину: он разбивается на множество русел и несет все — и золото, и обломки деревьев. Разобраться в этом — большая работа, но все-таки я надеюсь, что еще удастся сделать ее.

Коротко же дальнейшая жизнь была такова: в 1956 году была полностью реабилитирована. Вернулась в свой родной Институт этнографии (Ленинградское отделение). Участвовала в экспедиции к русским Сибири. Опубликовала 35 статей, две монографии. Кроме того, написала и то, что впервые видит свет в этой книге. И еще лежат и ждут своего часа исследование о «Слове о полку Игореве», две поэмы, около трех сотен стихотворений, колымские рассказы, рассказы

о животных.

А внешне жизнь протекала так: с великими трудностями сумела вернуть себе старое родовое гнездо — деревянный дачный дом в Большой Ижоре, под Ораниенбаумом, битком набитый жильцами. Постепенно все они выехали. В этом доме провела свои последние дни мать Нины Ивановны, умершая зимой 1958 года, в этом доме выросли внуки и правнуки, долго жила и писала она сама, пока не одолели старость и надвигающаяся слепота. Умерла она 4 июня 1986 года, на восемьдесят шестом году жизни. Похоронена на Большеижорском кладбище, рядом с матерью, среди сосен, у родного Финского залива. Она прожила долгую жизнь, прожила ее с честью, но, если бы была возможность писать и, главное, увидеть опубликованными плоды своих раздумий, — жила бы еще долго. Крепкий была человек.

Галина Гаген-Торн

Приложение
Из поэтического цикла Н. И. Гаген-Торн «Дом» (1964–1977)

* * *

Каждому дан Дом,
И каждому путь дан.
Думай о том,
Чтоб идти по своим следам.
Не спутай свои следы
С отпечатком чужих ног.
К дому вернешься ты
В положенный срок.
В окнах зажжется свет,
Волны омоют снег,
Склонятся сосны в ответ:
Путь завершил человек.
Только б к нему дойти,
Только б не сбиться с пути,
Детям оставить след

В растущем тумане лет.
Неведом нам Отчий Дом,
Не знаем, куда идем...
Гулок сырой туман,
Ноги горят от ран.

* * *

Дом мой светлый и веселый
Посреди высоких сосен.
В этом доме мыслей пчелы
Мед стихов ко мне приносят.
Там весной цветут сирени,
Летом пахнет земляникой,
Осень всходит на ступени
В журавлиных звонких кликах.
Если ж станет Лаухи злая,
Прогневясь, трясти перины —
Сосны дом мой защищают,
Дом высокий и старинный.

* * *

Дом, мой дом.

Отзываешься ль на гром?
Откликаешься ль на свет
От прожитых лет?
Лунный свет из окна,
Темных бревен тишина…
Может, чувствуешь беду?
Я по комнатам иду,
Отключаю, заключаю двери
И считаю, исчисляю
Все потери…
На заливе прибой.
Кто-то встретится со мной?
Кто-то стукнет в окно?
Заждалась я давно.

* * *

Сплю я глубоким сном,
Лежу в забытьи, верней.
Вижу – мой дом
Полон родных и друзей.
Слышу веселый смех,
Бокалов веселый звон.

Подняли тост за тех,
Кто давно погребен.
Пожелали мне долгих лет,
Славу увидеть свою.
И я поднимаюсь в ответ,
Опираясь на внуков. Встаю:
«Мы прожили честные дни,
А слава – пусть будет другим».
В море горят огни,
Но стелется серый дым.

* * *

Тишина. Рвет сгустившийся мрак
Лай далекий собак.
Не поют петухи.
Тихо ходят стихи,
Забираются в дом.
Пошептались с котом
И уселись в углу.
Вон сидят на полу,
Еле слышно звеня, —
Ожидают меня.

* * *

Горькой ягоды рябины
Круто кисти созревают.
Чья-то кровь падет безвинно?
Что судьба уготовляет?
Ходит благостная осень,
В желтых листьях солнца много.
Страхом наши души косит
Непонятная тревога:
Не углом летели гуси —
Лавой серые летели…
Смерть как яблоко раскусит
Мир, что мы недоглядели.

* * *

Аксинья – полухлебница —
Зима на перевал.
Мороз суровый след лица
В деревья надышал.
Стоят они как в сахаре,
Как сахаром хрустят.

А бревна ночью ахали,
С морозом говоря:
Ах, колемся, расколемся —
Тяжка твоя рука!
Святой Аксинье молимся,
Заступе бедняка.
В печи Аксинья солнечный
Раздует огонек,
Осядет иней полночью,
Как белый творожок.
Аксинья-именинница
Всем шанег напечет;
Зима на север сдвинется,
Нам – солнца поворот,
В последний раз, Аксиньюшка,
Метелица метет.

* * *

Дом, пес и кот;
Да серых волн ворожба —
Вся тут судьба:
Под сосновый шум

Ритмы идущих дум,
На кровавый закат
Осенний долгий взгляд,
А в весенний небес прибой —
Разговор с тобой.

* * *

Ни родных, ни друзей.
Снег. Кругом – никого.
Ветер стих. Блеск ветвей
Над моей головой.
Облаченный в хрусталь
Блеск застывших стволов,
И луна, как печаль,
В ореоле кругов.

* * *

Дом молчит.
В саду ни звука,
Лунный луч дрожит.
Положи на лоб мне руку.
Положи.

Ты пришел ко мне сегодня,
Мой услышав зов,
Из каких садов Господних?
Из каких миров?
Это значит, это значит,
Путь намечен мне.
Белым цветом обозначен
Лунный круг в окне.

* * *

Слепнут мои глаза,
А кажется – мир померк.
Не могу я тебе сказать,
Начинается ли фейерверк,
Или в небе идет звездопад
И бездны миров горят.
Слепнут мои глаза…
И не видят больших высот,
Не могу я теперь сказать,
Начинается ли полет,
Разрушается ли земля
И встает Мировой океан?

Черной коркой покрыты поля
Или только в глазах туман?

* * *

Значит – ты знаешь теперь?
Губы твои холодны.
Горькие складки потерь
Стали видны.
Бредом прошли года,
Мы потушили свет,
Может быть, никогда
Не замечали, что света нет?
Привычными были дни,
Привычным казался труд;
И вот – мы одни
И знаем, что годы – лгут.

* * *

Кто ты, ко мне приходящий
Шорохом теней ночных?
Дома сколоченный ящик
Тих.

Что совершается в небе?
Кто там прошел по земле?
Пятна в истаявшем снеге
След.
Мы – муравьи. Заметались
В вырытом трактором пне:
Вырубки леса кончались,
Щепы сжигали в огне.

* * *

Взялись за руки Девы Обиды
И обступили мой дом:
«Выйди к нам в заросли, выйди!
Тебе мы расскажем о том,
Как горькое горе бродило
По весям, стуча посошком,
Считало, считало могилы:
Убитых, забитых, зарытых,
Затянутых в водоем».
Обиды, не надо нам счета —
Убитых нельзя сосчитать.
Но кто нам откроет ворота

В грядущее? Путь увидать.

* * *

День прошел.
И – слава Богу,
Все окончены дела,
Но неясная тревога
Синий вечер привела.
Спят деревья в полумраке,
Огоньки горят на льду.
Как тревожен взгляд собаки —
Жду:
Вот придут дурные вести
В наше тихое предместье —
Принесут беду.

* * *

Снова ты, Несравненный!
Нет нигде перламутровей далей,
Несказаннее синих теней.
На гранит преклонить колени
В запах моря и свет

Столько лет мы мечтали!
Под горбатым мостом величаво
Протекают тяжелые воды
И стоят драгоценной оправой
Желтых арок широкие своды.
На поднятой руке Император
Мое сердце высоко вздымает,
И, спустившийся чайкой крылатой,
Черный ангел на площадь взирает.
Вон в широкое облако света
Окунаются мощные своды,
В воздух вздыбились люди и кони.
Мысли – в темную бронзу одеты,
Под копытами – цокают годы,
Их и смерть никогда не нагонит.

* * *

Ничего я больше не хочу,
Кроме безболезненной кончины.
Чтоб подобно лунному лучу
Смерть погладила мне спину.
И сказала, заглянув в глаза:

«Собирайся в дальнюю дорогу.
Опадают листья, и назад
Прирасти они не могут.
Точно листья опадают дни,
В день вчерашний – нет возврата.
Руку мне спокойно протяни —
Ты в чужих скорбях не виновата.
Так пойдем...» Иду!

Фотографии



Дом семьи Гаген-Торн в Большой Ижоре



Вера Александровна и Иван Эдуардович Гаген-Торн, родители Нины. *1899*



Иван Эдуардович Гаген-Торн. *1902–1903*



Нина Гаген-Торн с родителями

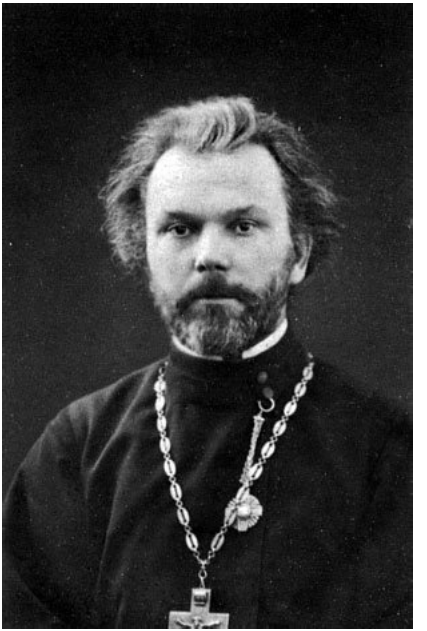


Семья Гаген-Торн.

Слева направо: Вера Александровна, Иван Эдуардович, Нина, Мария Оскаровна (племянница) с мужем Сергеем Ивановичем Фрейбергом, Оттилия Эдуардовна Гаген-Торн (тетя Тиля)



Нина Гаген-Торн с отцом и семьей Бианки в лесу под Ораниенбаумом. *1912 или 1913*



Отец Иоанн (Егоров)

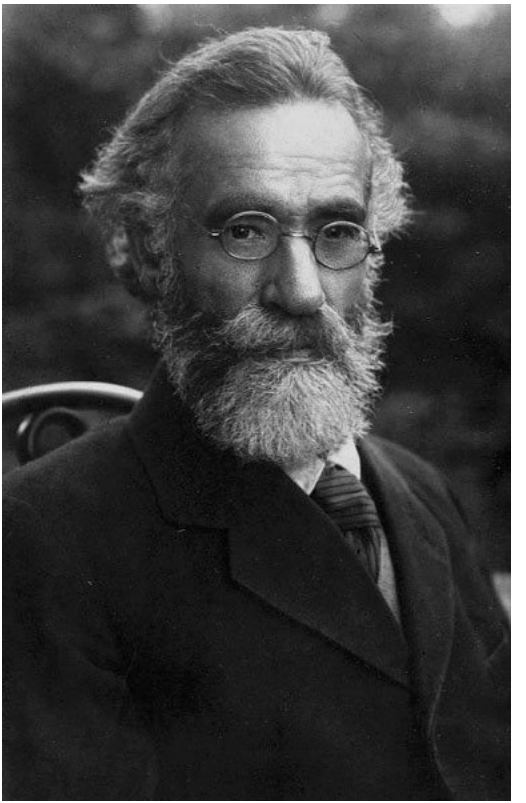


Алексей Георгиевич Ярошевский, преподава-

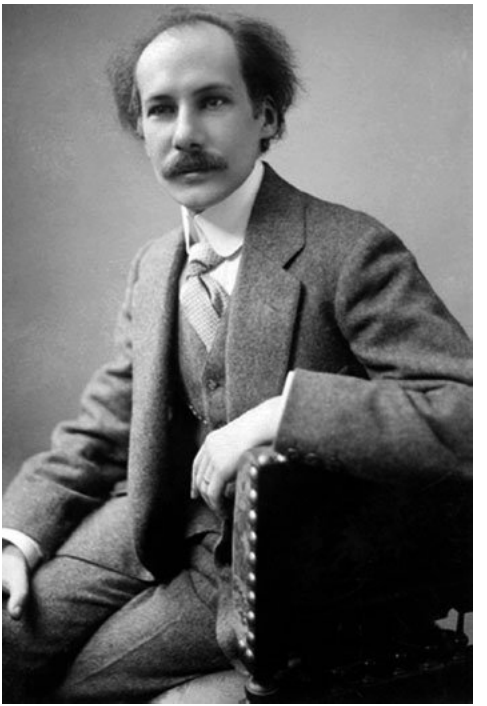
тель истории



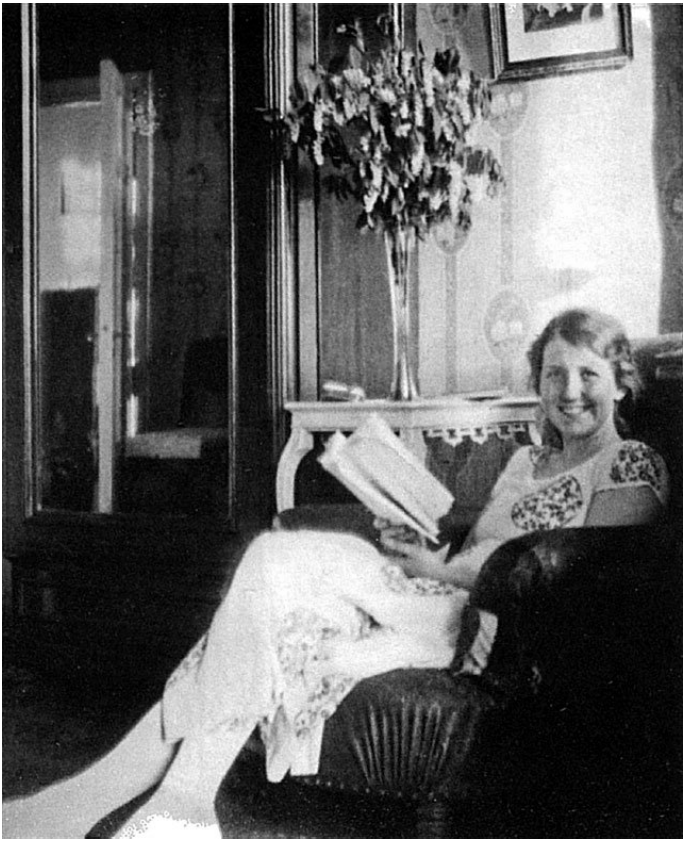
Нина Гаген-Торн. Гимназия княгини Оболенской. *1916*



Лев Яковлевич Штернберг, профессор Петроградского университета. Этнограф



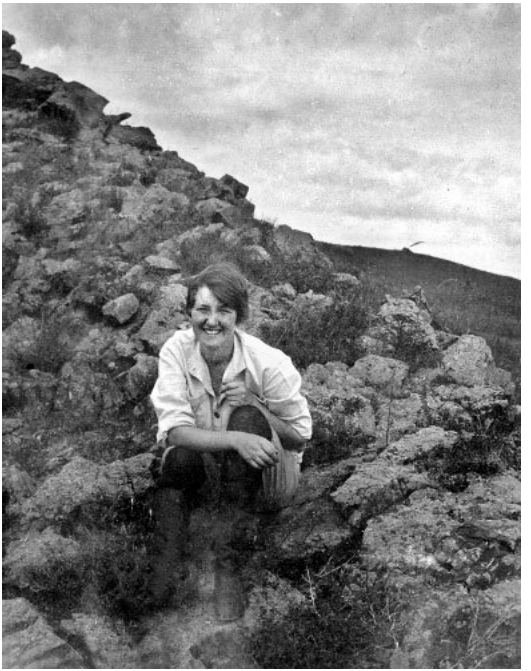
Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый)



Нина Гаген-Торн по окончании университета. *1924*



Нина Гаген-Торн в студенческой этнографической экспедиции. *1922–1923*



Нина Гаген-Торн в геологической экспедиции мужа в Восточном Забайкалье. *1927*



Юрий Михайлович Шейнманн, муж Нины Гаген-Торн. *1931–1932*



Нина Ивановна с Галей и Ладой на курорте в Аршане



С дочерью Галей. *1930*



Дочери Галя и Лада. *1938*



Нина Ивановна Гаген-Торн с директором Лапландского заповедника Германом Михайловичем Крепсом. *1934*



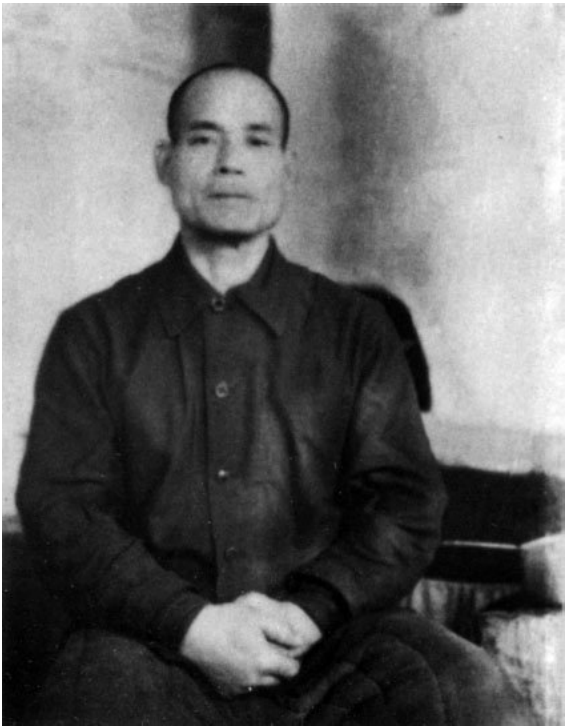
Вера Федоровна Газе. *1930-е*



Нина Ивановна Гаген-Торн после колымских лагерей. *1942*



Нина Ивановна Гаген-Торн в ссылке на Енисее. *1954*



Хасегава Хидео на Енисее. *1953*



Внуки Оля и Женя. *1959*



Нина Ивановна с грачом Карлычем. *Большая Ижора, 1960-е*


ЗДЕСЬ В 1910 ПО 1986 Г.Г.
ЖИЛА
НИНА ИВАНОВНА
ГАГЕН-ТОРН

Открытие мемориальной доски на родовом доме семьи Гаген-Торн в Большой Ижоре. *2004*